

ЛИТЕРАТУРА
РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ



Н.Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ



КОГДА РУШАТСЯ
ТРОНЫ...

Брешко-Брешковский Н. Н. Сочинения: Когда рушатся троны... Печатается в сокращении по изданию: Брешко-Брешковский Н. Н. Когда рушатся троны... Роман: В 3 ч. София: "Русь", 1925 //НПК "Интелвак", Москва, 2000
FB2: "rvvg ", 03 October 2012, version 1.1
UUID: 46fd536d-3c51-102b-838a-b2b8826265d3
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Николай Николаевич Брешко-
Брешковский**

Когда рушатся троны...

Содержание

#1	0010
Часть первая	0010
1. ШЕФ ТАЙНОГО КАБИНЕТА	0010
2. ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ ВИДИТ, ВСЕ СЛЫШИТ	0020
3. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОРОЛЕВСТВЕ ПАНДУРИЯ	0028
4. С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ	0035
5. ПОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ТУНДЫ	0043
6. К ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ	0051
7. ПЫТКИ ВОДОЙ	0059
8. СЕКРЕТАРЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА	0066
9. ТАЙНА КОМНАТЫ БЕЗ ОКОН	0073
10. В МАСТЕРСКОЙ ЗНАМЕНИТОГО ХУДОЖНИКА	0084
11. КАТАСТРОФА	0095
12. КОРОЛЬ И ДЕМОКРАТЫ	0102
13. ПОЯВЛЕНИЕ ЗИТЫ	0109
14. МИССИЯ КАРДИНАЛА ЧЕРЕТТИ ДЕЛЛА ТОРРЕ	0119
15. НЕОЖИДАННЫЙ УДАР	0129
16. УСЛОВИЯ ЗИТЫ	0136
17. БРАЧНАЯ НОЧЬ	0146
18. ИХ РОМАН	0158
19. ЖРЕБИЙ БРОШЕН	0166
20. ТЕРРОРИСТ С ВОЛЧЬИМ ЛБОМ	0175

21. КОМУ РАДОСТЬ, КОМУ ЗАБОТА	0186
22. ЗДЕСЬ ВНИЗУ И ТАМ НАВЕРХУ	0194
23. В СЕТЯХ ПРОВОКАЦИИ	0201
24. ПЕРЕД ВЫСОЧАЙШИМ ВЫХОДОМ	0208
25. В ТРОННОМ ЗАЛЕ	0214
26. ТАМАРА КАРСАВИНА	0223
27. БУРЖУИ И СОЦИАЛИСТЫ ЗА КОРОЛЕВСКИМ УЖИНОМ	0229
Часть вторая	0237
1. «ЛАУРАНА» НЕ СПИТ	0237
2. ЧУТЬЕ «МОРСКОГО ВОЛКА»	0243
3. ТРОЕ ШТАТСКИХ И ДВА ОФИЦЕРА	0252
4. ПЛАН ПОЛКОВНИКА ТИМО	0260
5. ДОН ИСААК АБАРБАНЕПЬ ПО УШИ ВЛЮБЛЕН	0271
6. ТРАГЕДИЯ СТАРОГО ДИПЛОМАТА	0280
7. «КАКОЙ ПОЛУЧИЛСЯ ЭФФЕКТ»	0287
8. ВЕРОНИКА БАРАБАН	0297
9. МИМО «АБАРБАНЕЛЬ-БАНКА»	0304
10. «ПЕШИЕ ОТКРЫВАЮТ ОГОНЬ, КОННИЦА СМЕТАЕТ ЧЕРНЬ...»	0313
11. УШИБЛЕННЫЕ «ДЕМОКРАТИЗМОМ»	0321
12. В КЛАССНОЙ КОМНАТЕ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА	0329
13. ДОСТАТОЧНО ТРЕХ ТЕЛЕГРАММ	0338
14. ГЛАВА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ	0346
15. ПОД СТУК МАШИНКИ	0352

16. КОРОЛЕВА ПАМЕЛА «В ОЖИДАНИИ»...	0361
17. В НОЧЬ С 28 НА 29 МАЯ.....	0369
18. ЗОРРО НАХОДИТ ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ.....	0378
19. С ПОМОЩЬЮ «ПУШЕЧНОГО МЯСА»...	0386
20. ВОРВАЛАСЬ ЧЕРНЬ.....	0394
21. НОЧЬ АРЕСТОВ, НОЧЬ ТРЕВОГ И СОМНЕНИЙ.....	0403
22. ТРЕВОЖНЫЕ ПОЛЧАСА.....	0414
23. К ЧУЖИМ БЕРЕГАМ.....	0422
24. ПРИЗРАК ДИКТАТУРЫ.....	0434
25. ТО, ЧЕГО НИКАК НЕ ОЖИДАЛИ.....	0444
26. ДВА КОРОЛЯ.....	0451
27. ДВОЕ МОНАРХИСТОВ, УБЕЖДЕННЫХ И БЕСКОРЫСТНЫХ.....	0459
28. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА.....	0467
29. КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ ИСПОЛНИЛА СВОЙ ДОЛГ.....	0475
30. ХАМСТВО.....	0483
31. ЗИТА ХОЧЕТ БЫТЬ БЕЗУМНО БОГАТОЙ.....	0493
32. ГАДИНА.....	0501
33. ПИСЬМО ЗИТЫ.....	0505
34. НОВЫЙ КАПРИЗ.....	0512
35. В КАФЕ-ШАНТАНЕ.....	0520
Часть третья.....	0529
1. ТОГДА И ТЕПЕРЬ.....	0529
2. ЛИШНЯЯ.....	0537
3. ДВА МАЛЬЧИКА — ЖИВОЙ И ВОСКОВОЙ.....	

0542

4. НОВОЕ ЧУВСТВО	0551
5. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ	0560
6. РАСКАЯНИЕ...	0570
7. В НОВОЙ РОЛИ	0578
8. БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ КОСТЬ	0586
9. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА АВЕНЮ АНРИ МАРТЕН	0593
10. КОРОЛЕВА ЭКРАНА	0603
11. НОВЫЙ РОМАН	0610
12. АХ, ЗАЧЕМ ОН КОРОЛЬ?	0619
13. «МАКЛАКОВЩИНА»...	0625
14. БИМБАСАД-БЕЙ СОМНЕВАЕТСЯ	0637
15. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТУНДЫ В ПАРИЖЕ	0647
16. ТО, ЧЕГО КОРОЛЕВА БОЯЛАСЬ	0654
17. СМЯТЕНИЕ СЕРЕЖИ, ГОРЕ БЕДНОЙ МАТА- ГЕЙ	0661
18. ТРАГЕДИЯ ДОНА ИСААКА, И ЧЕМ ОНА КОНЧИЛАСЬ	0667
19. ТАЙНА ДВУХ ЖЕНЩИН	0677
20. УЗУРПАТОР	0683
21. ГЛАВА, ЛЮБЕЗНО ПОСВЯЩАЕМАЯ ВСЕМ ПРЕЗИДЕНТАМ РЕСПУБЛИК	0694
22. ФИЛИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВДЕПИИ	0706
23. «ДИТЯ РЕВОЛЮЦИИ»	0715
24. БОЛЬНАЯ ДУША В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ	0721
25. ОБРЕЧЕННЫЙ	0726
26. ДВЕ СМЕРТИ	0732

27. ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР	0742
28. КАЛИБАНОВ СТАРАЕТСЯ	0752
29. ПОХОРОНЫ ЕГО И ЕЕ	0759
30. ТО, ЧЕГО НЕ ОЖИДАЛ ЯЧИН	0763
31. В ГОСТЯХ У ИСПАНСКОГО КОРОЛЯ	0768
32. ПЕРЕД ОТЛЕТОМ	0775
33. ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО	0781
34. НА ГРАНИ ЧУДЕСНОГО	0787
35. СЫН СОЛНЦА	0794
36. ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ	0801
37. ПРОТИВНИКИ АДРИАНА	0807
38. В ГОРОДЕ И ВО ДВОРЦЕ	0816
39. ПАНИКА НА КРАСНОМ ОЛИМПЕ	0826
40. РАСПЛАТА	0836
41. КАК ЭТО ВСЕ НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖЕ! .	0844
42. ТРОННАЯ РЕЧЬ	0854
43. ПО-КОРОЛЕВСКИ	0858
44. ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ . .	0865

Когда рушатся троны...

Н.Н. БРЕШКО-БРЕШКОВСКИЙ
**КОГДА РУШАТСЯ
ТРОНЫ...**

РОМАНЪ
ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ



Издательство „РУСЬ“ София - 1925 г.

Часть первая

1. ШЕФ ТАЙНОГО КАБИНЕТА

Премьер-министр граф Видо имел два служебных кабинета. Один — у себя в министерстве иностранных дел, — он руководил не только внутренней, но и внешней политикой, — а второй во дворце. Здесь он совещался с Его Величеством, делал ему ежедневные утренние доклады. Дворцовый кабинет графа был обставлен далеко не с дворцовой роскошью. И мягкая мебель, и бронза, и портьеры, и письменный стол, ковры, — все это несвежее, как бы поблекшее, выцветшее, напоминало громадный салон первой-классной гостиницы, большую часть дня заливаемый солнцем. Внушительности не было. Ни дворцовой, ни даже министерской в великодержавном значении слова.

Зато внушительен был сам граф Видо, высокий, немного полный старик, с лысой, как бильярдный шар, головой. Громадная густая серебряная борода была известна на всю Евро-

пу. Половины этой бороды с избытком хватило бы покрыть густой шапкой отливающий глянец слоновой кости обширный, с высоким лбом, череп графа Видо. Но так уже подшутила природа, с незапамятных еще времен молодости сняв с семидесятишестилетнего теперь графа Видо «скальп» и наградив его бородой во всю грудь, более четверти века вдохновлявшей и своих, отечественных, и заграничных карикатуристов.

Желтые, светлые тона преобладали в кабинете, и на их фоне еще строже и резче оттенялась фигура премьер-министра, сидевшего за письменным столом в черной, солидного покроя визитке. Первое впечатление, что в кабинете одна всего дверь — большая, двухстворчатая, тяжелая, в таких же тяжелых, канареечного цвета портьерах. На самом же деле, в глубине, за креслом графа Видо, была еще другая дверь — маленькая, оклеенная такими же обоями, как и все стены, почти потайная.

Граф дважды надавил пуговку, и еще не смолкло сухое дребезжание, как бесшумно распахнулась дверца и вошел корректный,

бесцветный дежурный чиновник.

— Господин Бузни приехал?

— Господин шеф тайного кабинета уже четверть часа как дожидается приема у Вашего Сиятельства...

— Просите!

Чиновник с низким поклоном исчез. Пять-шесть секунд — и в ту же самую дверь вошел начальник тайного кабинета, соединявший две должности — директора департамента полиции и заведующего охраной королевской семьи.

И от родителей своих, и от Господа Бога получил Бузни густые, великолепные, каштанового цвета волосы. Он брил их зимой и летом. Брил начисто каждые два дня, брил, как самый правоверный мусульманин. Брил, чтобы не раздражать графа богатым природным «париком» своим. У премьер-министра, полного самых прекраснейших и человеческих, и государственных качеств и добродетелей, была невинная слабость: пышноволосые люди раздражали его. А так как шеф тайного кабинета вовсе не хотел раздражать могущественного первого сановника в королевстве,

то он притворялся лысым и, надо отдать справедливость, не только не в ущерб себе, своей внешности, а даже совсем напротив...

Бритая голова молодила его, придавая какую-то особенную выразительность энергичным, с твердым блеском, вечно бегающим глазам. Если бы не эти беспокойные, нервирующие собеседника глаза, шеф тайного кабинета мог бы сойти за красавца. В самом деле, для своих сорока лет он был очень, очень молоджав и едва ли не юношески свеж. Правильное, бритое, удлиненное, с четкими, в меру крупными чертами лицо его алело все до того теплым, густым румянцем, что получалось впечатление театрального грима. Глаза, бегавшие на этом «загримированном» лице, казались чужими, совсем другому человеку принадлежащими. Он мог сойти и за того, кем он был, — за крупного полицейского чиновника и за выхоленного, имеющего много поклонниц, католического прелата. И, действительно, трудно было сказать, где кончался в нем опытный разведчик и начинался лукавый иезуит.

Одевался шеф политического кабинета в

духе и стиле своей таинственной, довольно-таки зловещей профессии. Черный, с иголочки, элегантный костюм, темный галстук, темная перчатка на левой руке, державшей черный модный котелок.

Как всегда, граф посмотрел из-под седых бровей выцветшими глазами в живые, молодые, бегающие глаза Бузни, как всегда, плавным жестом крупной старческой руки предложил ему сесть и, как всегда, спросил из-под седой бороды и таких же седых, густых, закрывающих губы усов.

— Ну, милейший господин Бузни, что принесли нам истекшие сутки?

— Есть кое-что интересное, Ваше Сиятельство... Интересное! — повторил шеф тайного кабинета с улыбкой.

Странная улыбка. Насмешливые, с твердым блеском глаза принадлежали как бы одному человеку, а улыбающееся румяное лицо — другому.

Граф чутко насторожился. Он сразу понял, что Бузни, вместо обычного букета светских, дипломатических и городских скандалов преподнесет ему нечто совсем другое, политиче-

ское, и политическое далеко не в успокоительном смысле. Неужели? Неужели все растет революционная пропаганда?

— Проницательность Вашего Сиятельства — исключительная! Увы, это именно так! Уже на рассвете я получил от своих агентов ряд весьма неутешительных сведений... Пропганда идет полным ходом, и не только в низах, не только среди рабочих и подонков столицы, а и — это самое страшное;— в армии!..

— В армии?! — переспросил Видо, поднимая седые пучки бровей, — в армии? Позвольте!.. Вот где, казалось бы, это не должно иметь никакого успеха... Насколько я знаю, — это самые точные сведения как из генерального штаба, так и от военного министра... Наш король в армии пользуется заслуженной популярностью. Заслуженной, — говорю с полным убеждением, ибо вы сами знаете, сколько неисчерпаемой доблести проявлено было Его Величеством в минувшей войне. Те, на чьих глазах он был ранен, те, о которых он всегда заботился с такой трогательной любовью, — чтобы они изменили ему и присяге — ни за

что не поверю! Слышите, я, старик, выдавший всякие виды, знающий, что человеческой подлости нет предела, я говорю вам, что рас-пропагандировать нашу армию невозможно! — И уверенный в своих словах, однако, все же с какой-то смутной тревогой выжидал граф, что скажет ему человек с бегающими карими глазами.

Бузни ответил не сразу. Улыбался несколько секунд и, решив, что пауза достаточна, молвил мягко, по-кошачьи заискивающе:

— Ваше Сиятельство, разрешите мне высказаться?

— Конечно!

— То, что вы сейчас изволили сказать, подчеркивает лишний раз ваше собственное благородство. Да, Его Величество Адриан I, король Пандурии, был ранен; да, Его Величество, несмотря на свою молодость, отечески, именно отечески, относился и относится к своему дорогому детищу — армии. Но где солдаты — сподвижники Его Величества по минувшей войне? Где они? Нет их! Большинство убито, погибло от ран, зачахло в плену, сторе-ло от сыпного тифа. Уцелевшее же меньшин-

ство, выйдя в запас, рассосалось по деревням и селам Пандурии. Им на смену пришли молодые солдаты, еще не воевавшие и знающие о рыцарском героизме своего монарха на полях брани только понаслышке. Правда, Его Величество часто посещает и столичные, и провинциальные гарнизоны, интересуется жизнью и бытом своих солдат. Он обаятелен верхом на коне, пропуская мимо себя церемониальным маршем войска. Он обаятелен и в казарме, пробуя пищу, задавая простые сердечные вопросы и молодым рекрутам, и выслужившимся унтер-офицерам. Но... Ваше Сиятельство, только что вы сами обмолвились метким словечком, что нет конца-краю человеческой подлости. Я позволю еще добавить от себя — человеческой неблагодарности, человеческому хамству. И, как ни обаятелен король, темные проходимцы, шныряющие по казармам, делают свое преступное дело. Что нужно для этого? Немного! Купить горсть бесовестных крикунов и зарядить их всем самым подлым, самым клеветническим. Я не фантазирую. Во-первых, мы имеем опыт русской революции, а во-вторых, — донесения

моих лучших, способнейших агентов. Я должен повторить услышанное от них, должен, хотя это больно мне, да и будет тяжело Вашему Сиятельству.

Граф сделал нетерпеливый жест.

Бузни, поклонившись, — сам, мол, хочешь этого, — продолжал:

— Они говорят: вот вы за своего короля, а знаете ли вы, что такое ваш король? Вы его видите конфетным офицериком, устраивающим дорогие, никому не нужные парады и маневры, а знаете ли, сколько это стоит народу, своим потом и кровью содержащему королевский дом? Знаете ли, сколько он тратит денег на своих любовниц, а королева — эта распутная пятидесятилетняя баба — на своих любовников?

Белое старческое лицо графа от негодования стало красным. Он сжал руки, захрустели пальцы.

— Мало этого, Ваше Сиятельство, — они в своих омерзительных целях не щадят даже чистую принцессу Лилиан, закидывая липкой грязью ее лучезарный облик. Они кричат, что все ее благотворительные дела придума-

ны для того, чтобы чаще видеться со своим горбатым секретарем — ее любовником.

— Клеветать на принцессу Лилиан? Да это прямо кощунство! Для этого надо быть гнуснейшей тварью! — воскликнул премьер-министр. — Необходимо положить этому конец! Необходимо принять меры. Но скажите мне, Бузни, от кого и на кого работают эти господа?

— Главные нити, Ваше Сиятельство, тянутся к Трансмонтании. Главные рычаги, главные пружины — там. Здесь же у нас руководит всей агитацией парочка адвокатов, Шухтан и Мусманек.

— Знаю обоих! Первый — способный прохвост! Ужасно ему хочется быть пандурским Гамбеттой. А второй — озлобленный, бесталанный неудачник. Надеюсь, вы не упускаете обоих из вашего поля зрения?

— Ваше Сиятельство, шеф тайного кабинета должен все знать, все видеть, все слышать...

2. ВСЕ ЗНАЕТ, ВСЕ ВИДИТ, ВСЕ СЛЫШИТ

— Все знать, все видеть, все слышать... — повторил граф. — В этом отношении вы, господин Бузни, прямо незаменимы!..

— Ваше Сиятельство, незаменимых людей нет, — скромно отозвался польщенный Бузни, — но каковы будут ваши директивы относительно этих двух каналов: Шухтана, метящего в наши Гамбетты, и Мусманека, мечтающего сделаться президентом «Пандурской демократической республики»?

— О, это уже слишком! В особенности Мусманек! Круглое ничтожество! В президенты!

— Революции только для того и совершаются, как это Вашему Сиятельству хорошо и без меня известно, чтобы все ничтожное, бездарное, тупое, невежественное и преступное могло достигнуть власти, жадно за нее ухватиться.

— Ну, не скажите... Я сам был молод, сам увлекался... Но у нас были идеи, мы горели священным огнем любви к ближнему, — возразил граф, как-то молодея от дрогнувшего

отзвука воспоминаний. — Все это было, когда-то было, и так свежо еще, и столько дало разочарований... А теперь...

— А теперь, — подхватил Бузни, — Ваше Сиятельство считается одним из первых политических мужей в Европе. Вы мудро правите нашей страной, и вчера только я раскрыл десятое, «юбилейное» покушение на особу Вашего Сиятельства.

— Десятое? Как быстро бежит время!.. В мои годы нечего бояться покушений. У меня уже давно пропал аппетит к жизни. Да и частые покушения, переходящие в нечто хроническое, или же, как любят выражаться революционеры, — «перманентное», — теряют свое запугивающее свойство. Иногда я получаю анонимные письма: «Тиран! Твоей головой давно уже хочет народ!» И знаете, Бузни, так и подмывает ответить: «Мошенники, народ никогда ничего не хочет. Ни вашей революции, ни голов тех, кого вы называете тиранами. Он хочет быть кое-как сытым и чтобы его оставили в покое. А это вам, вам нужна революция, чтобы упиться властью, набить свои карманы и охотиться за нашими черепа-

ми, так как мы умнее и талантливее вас!» В самом деле... Да, относительно директив... Я же вам сказал — не выпускайте обоих из поля вашего зрения...

— И только? — многозначительно переспросил Бузни с быстро забегавшими глазами.

— А что же еще? Пока...

— Что же еще? Я хотя и доктор прав по своему образованию, но в душе я хирург, хирург смелый и решительный. С государственной точки зрения, полезнее для спокойствия и порядка в нашем отечестве, если и отъевшийся, жирный Шухтан, и сухой, плюгавый Мусманек исчезнут... Исчезнут раз и навсегда...

— Что вы, что вы! — заволновался граф. — Левые в парламенте поднимут такую бучу!

— Это, — если бы имело место политическое убийство. А с целью грабежа... Найден труп без часов, без бумажника. Даже самые левые болтуны и те...

— Нет, нет и нет! Я запрещаю вам даже думать об этом, — решительно заявил граф.

— Да, да, да! — не менее решительно сказал сам себе Бузни. Вслух же произнес с опу-

ценной головой: — Как будет угодно Вашему Сиятельству, но я не отвечаю за последствия.

— За последствия отвечает премьер-министр, а не шеф тайного кабинета, — слегка обиделся граф. — Вы меня знаете. Когда пробьет решительный час, я не остановлюсь перед мерами самой железной строгости. Но пока... Пока будем держаться конституционных рамок. Относительно пропаганды в армии, — сегодня же вызову к себе военного министра... Какие еще новости?

— Ах, этот Рангья, — начал Бузни и умышленно осекся, зная, что граф Видо терпеть не может министра путей сообщения.

— Что Рангья? — насторожился граф, ожидая услышать какую-нибудь столь же пикантную, сколь и возбуждающую брезгливое чувство подробность из жизни господина Рангья.

— Представьте, какое нахальство! Через свою маленькую Зиту он дерзнул добиваться у Его Величества графского титула! За какие такие заслуги, спрашивается?..

— И что же? Его Величество отказал, отказал, несмотря на свое расположение к Зите?

— Ваше Сиятельство угадали наполовину.

В графском титуле отказано было с настоящей королевской твердостью!

— Я так и знал! Так и знал! — с облегчением вырвалось у старика. — Бальтазар, покойный король, царство ему небесное, пожаловал мне графский титул. Но когда и за что? В день моего шестидесятилетия. После того, как я заключил выгодный для нас мир с Трансмонтанией. И вдруг, какой-то левантинец, недавно принявший пандурское подданство... Наглость, на которую способен только Рангья!.. Клянусь Богом, случись этот позор, я, несмотря на все мои верноподданнические чувства, вернул бы сыну то, чем пожаловал меня отец. Итак, и без того носатый Рангья остался с еще большим носом?..

— Наполовину! Наполовину, как я уже докладывал Вашему Сиятельству. Маленькой Зите обещан титул баронессы... — и, заметив пробежавшую по белым чертам премьер-министра недовольную гримасу, Бузни поспешил добавить, — баронский титул, — об этом даже не стоит и говорить! Безделица! В Австрии чуть ли не каждый еврей мог купить себе баронство.

— Да, вы правы, Бузни, — согласился граф, и лицо его прояснилось... — Что же касается Его Величества, — ему трудно было отказать мадам Рангья в этой, как вы говорите, бездельнице! Надо только озаботиться об одном, чтобы это не попало в газеты, дабы не дать лишнего козыря Шухтану и Мусманеку. Пусть Рангья подписывается бароном, пусть закажет себе визитные карточки, пусть выдумает себе фантастический герб, но только бы не в газеты! Есть еще у вас что-нибудь?

— Ах, Ваше Сиятельство, самое пикантное я приберег напоследок. Для вас, конечно, не секрет и не новость, что почтенная супруга не менее почтенного церемониймейстера, знаменитая Мариула Панджили, крутит свой новый, неизвестно, который по счету, роман с первым секретарем испанского посольства, герцогом Альба?..

— Да, да! — усмехнулся граф, — вот уж, действительно, как говорят, черт с младенцем связался! Мариуле этой — сорок восемь, а испанцу — двадцать четыре. Ровно вдвое моложе своей любовницы...

— Ваше Сиятельство, с каждым днем раз-

ница эта будет уменьшаться в пользу маркизы Панджили.

— Вы остроумны и злы, как всегда... Но где же ваши пикантные подробности?

— Вот они! Вчера она была вместе с герцогом Альба в оперетке. Сидели в закрытой ложе и после второго акта уехали ужинать. Ну, конечно, к Рихсбахеру — всякий другой ресторан был бы для нее менее шикарен. Заняли кабинет номер 16...

— Друг мой, пока это очень банально и для Мариулы — весьма прилично. И не такие колленца выкидывала.

— Терпение, Ваше Сиятельство, терпение! — забегал карими, беспокойными глазами Бузни. — Во втором часу ночи влюбленная парочка изволила покинуть кабинет, но как вещественное доказательство на турецком диване осталась самая пикантная часть туалета супруги церемониймейстера. Прямо мечта! Пена кружев, тончайший шелк, и вся эта комбинация пропитана крепчайшими духами.

— Безобразие! Свинство! Безобразие! — повторял граф, удерживаясь, чтобы не расхохо-

таться. Задрожала его серебряная густая борода. — И что же, какая судьба этих... Этой мечты из пены кружев и шелка?

— О, судьба — историческая! Он попали в музей шефа тайного кабинета. Попали условно. Может быть, я возвращу их маркизе... может быть. Это всецело будет зависеть...

— А у вас, должно быть, интересный музей?! — с усмешкой заметил граф.

— Есть чем похвастать, Ваше Сиятельство, есть чем! — улыбнулся чужими глазами на чужом лице шеф тайного кабинета.

Граф хотел еще что-то спросить, и уже шевельнулись его седые усы, закрывавшие губы, как чья-то властная рука распахнула большую массивную дверь, и в кабинет быстро вошел молодой, лет тридцати двух, гусарский генерал в зеленой, бутылочного цвета венгерке, густо расшитой белыми бранденбургскими, и в сургучно-красного цвета галифе. В левой, затянутой в белую перчатку руке он держал тоненькую трость из испанского камыша, заменяющую берейторам и наездникам стек.

— Его Величество!

Премьер-министр и шеф тайного кабинета

застыли в глубоком поклоне.

3. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОРОЛЕВСТВЕ ПАНДУРИЯ

Прежде чем углубиться в дальнейшее повествование, скажем несколько слов о королевстве Пандурия и о правящей в нем династии, древней династии Ираклидов.

В начале девятого века откуда-то из глубины Азии двинулись на Европу сотни тысяч воинственных всадников. Сухощавые, усатые, подобно скифам сросшиеся со своими конями, азиатские всадники, вооруженные кривыми саблями, луками и легкими копьями, сметали все на своем пути. А за ними шли обозы — двухколесные скрипучие арбы, влекаемые верблюдами и нагруженные всякой домашней утварью. На них восседали женщины, старухи и дети. Это многочисленное племя пандуров вел за собой вождь-завоеватель Ираклий. Некоторые называли его Иракли. Этот самый Ираклий, или Иракли, и создал просуществовавшую около тысячи лет династию Ираклидов.

Нашелся историк, который в льстивом

усердии своем пытался доказать, что королевский дом правильнее было бы назвать не Ираклидами, а Гераклидами, ибо родоначальником является не кто иной, как сам Геракл, этот мифический полубог, победивший Каледонского вепря, убивший своей знаменитой палицей Немейского льва, очистивший Авгиевы конюшни и совершивший еще девять не менее славных подвигов.

Справедливость требует отметить, что брошюра слишком усердного историка была конфискована по высочайшему повелению Балтазара I, приходившегося дедом ныне благополучно здравствующему королю Адриану.

Пандурия мало-помалу принята была в семью европейских народов, особенно с тех пор, как пандуры с языческой веры своей перешли в христианство.

Уже в эпоху средневековья Пандурия считалась могущественным и сильным воинской силой королевством. Пандуров охотно звали служить в чужеземных армиях как смелых, отважных, одинаково искусно бьющихся и в пешем, и в конном строю. Длинноволосые, мужественные, усатые, смуглые пандуры

одним видом своим внушали неприятелю ужас.

Венецианцы пандурские полки свои послали против турок, и мусульманский полумесяц бледнел, стусhevывался перед крылатым львом Святого Марка, развевавшимся над железными фалангами пандуров. А много позже прусский король Фридрих Великий с особенной охотой вербовал пандуров в наемные войска свои.

После многолетних боев, кровавых приключений в далеких землях возвращались покрытые шрамами, с изрубленными лицами пандуры к себе, на свою славную родину, возвращались не с пустыми руками. Привозили меха, восточные ковры, дорогие итальянские доспехи, и у каждого был пояс, тяжелый и туго набитый русскими червонцами, оттоманскими цехинами, голландскими гульденами, австрийскими флоринами и еще другими, более редкими золотыми монетами.

А династия Ираклидов расширяла свои границы, где выгодными династическими браками, где хитроумной, полувосточной политикой своей, а где и удачными войнами.

За десять с лишним веков Ираклиды успели породниться чуть ли не со всеми дворами Запада. Кровь, азиатская кровь вождя Ираклия, успела смешаться за тысячу лет и с Бурбонами, и с Габсбургами, и с баварскими Виттельсбахами. Было много браков и с потомками Рюрика, и с польскими и венгерскими королевскими семьями. Нашли себе вторую родину в пандурской столице дочери генуэзских и венецианских дождей.

В момент нашего повествования главными представителями пандурской династии были: король Адриан, взошедший на престол двенадцать лет назад, по кончине своего отца Бальтазара II, вдовствующая королева-мать — Маргарета, изумительно сохранившаяся в свои пятьдесят лет красавица, и дочь ее — принцесса Лилиан.

Было еще несколько принцесс и принцев уже боковой линии. И те, и другие поженились и вышли замуж в других королевствах, княжествах и герцогствах и там и остались. Своим чересчур для монарха продолжительным холостячеством Адриан приводил в отчаяние не только свою мать, премьер-мини-

стра, сенат и двор, но и те коронованные семьи, где имелись невесты.

Он был бы завидным женихом и без своего положения, и без своей королевской мантии. Будь он средним гвардейским офицером в Пандурии, он обращал бы на себе внимание и ловкостью сильного, молодого спортсмена, и яркой, не шаблонной красотой, и тем обаятельным, чарующим во всем облике, что уже отмечено было графом и Дудой. Ростом Адриан был не очень высок, но далеко и не мал. Именно при таком среднем росте мужчины бывают чаще всего хорошо и пропорционально сложены. Все правильно, все в меру. Ниже — получится короткость фигуры, выше — неприятная вытянутость. Античные греки, влюбленные в пластику, чувствовали, понимали это, и вот почему Аполлон Бельведерский Ватиканского музея не высок и не мал, и так гармоничен весь. Если бы его одеть в гусарскую форму Адриана, то и расшитая белыми брандесбургскими венгерками и галифе как по мерке пришлись бы мраморному богу. Вот только разве в талии король пандуров был гибче и тоньше, особенно по сравнению со

своими широкими плечами и выпуклой грудью. Но это объясняется тем, что Аполлон вел сидячий и даже ленивый образ жизни, лишь время от времени бряцая на лире, тогда как Адриан отлично фехтовал на рапирах и эспадронах, считался одним из лучших кавалеристов Пандурии, плавал, метко стрелял, греб, играл в теннис. Словом, искусен и опытен был чуть ли не во всех видах спорта. И это отражалось в походке его, легкой, эластичной и в то же время упругой и цепкой, как-то энергично несущей вперед мускулистое, молодое тело.

Если б кто мельком увидел его, сказал бы с первого впечатления: «Кавалерийский офицер, ловкий, стройный. А на лошади это должна быть картинка». Но, взглядевшись в лицо и в манеру нести и держать голову, наблюдатель тотчас бы угадал в этом кавалерийском офицере нечто большее, почувствовал бы какую-то исключительную, особенную породу и расу.

Во внешности Адриана было кое-что и от Габсбургов, и от Бурбонов и, — это всего удивительней, — сказалось атавистическое чу-

до, — еще бы не чудо: спустя тысячу лет в молодом короле Пандурии заговорил голос крови, голос крови Ираклия, славного родоначальника славной династии.

Точеный, с горбинкой, тонко прорисованный нос — наследие бабушки, принцессы Бурбонской. Алая, капризная, чуть-чуть приподнятая верхняя губа и нижняя, в меру сочная — это сказался род матери, австрийской эрцгерцогини. Но смутло-матовый цвет лица и темные глаза, большие и в то же время узкой миндалевидной формы, томные, глубокие, мерцающие, говорящие о какой-то далекой и знойной сказке — все это, облагороженное и утонченное культурой, десятками поколений, воспитанием, воскрешало невольно забытые образы диких воинственных всадников, топтавших копытами коней своих поля Европы.

Небольшие усы и черные, отливающие синевой, гладко расчесанные волосы над невысоким лбом, невысоким — это уже монгольское, откинутым назад — это уже бурбонское, — дополняли портрет Адриана.

И когда, поздоровавшись с премьер-мини-

стром и с шефом тайного кабинета, король улыбнулся приветливо и мягко, в этой улыбке, оттеняемые смуглым лицом, сверкнули белые зубы, и почудилось, что в солнечном кабинете стало еще светлее и ярче...

4. С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ

Он вообще комнат не любил, — пусть это даже обширные дворцовые апартаменты. Любил простор и воздух, ширь, и даль, и свист ветра. И здесь тысячелетний отголосок. Предкам-всадникам тесно было в Азии, и они устремились за добычей и счастьем, устремились далеко за Урал. Королю показалось душно и тесно в громадном, с пятью окнами, кабинете премьер-министра.

— О, да у вас здесь нечем дышать.

Граф позвонил. Старый, внушительный ливрейный лакей молча открыл все пять окон и так же молча удалился, мелькая высокими, до колен, песочного цвета плюшевыми гетрами.

Адриан сидел на подоконнике, обвеваемый морским осенним воздухом, сидел, похлопывая себя камышовой тросточкой по но-

ге. Граф Видо и шеф тайного кабинета стояли перед ним, хотя они просил их взять кресла и подсесть к нему.

— Вот так совсем иначе себя чувствуешь. А то не угодно ли, — закупорились!

— Ваше Величество, в ваши годы я сам всегда спал при открытом окне, а теперь эти предательские осенние ветры...

— Осенние? — воскликнул король, — начало октября... В нашей благословенной Пандурии — еще лето. Цветут — и как пышно цветут — олеандры, апельсины, магнолии. Но что у вас нового для меня, дорогой граф?

Видо переглянулся с Бузни, как бы совещаюсь: говорить или не говорить. Бузни утвердительно чуть-чуть кивнул бритой головой своей.

— Нового? — переспросил Видо, выигрывая время. — Шеф тайного кабинета информировал меня перед приходом Вашего Величества... В столице замечается не брожение, — его пока еще нет, — а антигосударственная агитация...

— Но ведь она никогда и не прекращалась, потому что никогда еще ни один режим не

удовлетворял всех поголовно, — возразил король, — хотя откуда бы взяться агитации при нашей либеральной конституции и при почти отсутствующем рабочем вопросе? — сощурил он свои томные, черные, мягкие, в тени длинных ресниц, миндалевидные глаза. — Разве отрывка русского большевизма...

— Вот, вот, Ваше Величество, именно отрывка! Поветрие! Болезнь! — подхватил шеф тайного кабинета.

— Но я полагаю, и вы, дорогой граф, и вы, милейший Бузни, сумеете справиться с этой... болезнью?

— Я готов умереть на посту за свою родину и за своего короля! — с чувством ответил Видо, и король поверил его искренности.

— И я всецело присоединяюсь к Его Сиятельству! — поспешил Дуда.

Но ему король не только не поверил, а еще и подумал, следя за беспокойным беганьем его карих глаз: «Ну, голубчик, кто-кто, а уж, наверное, ты первый готов продать меня, когда найдешь это для себя выгодным». Помолчав, король тихо молвил, как бы думая вслух:

— Что же, революция... Я готов встретить

ее лицом к лицу. Моя совесть чиста. Я далеко не идеал монарха, но смею утверждать, что народ свой и люблю, и знаю гораздо больше, чем какой-нибудь адвокат с ловко подвешенным языком, мечтающий занять в этом дворце мое место. Когда висела над Пандурией катастрофа... где были тогда эти адвокаты? Где?

Старый Видо расчувствовался. Глаза наполнились крупными слезами, пучки седых бровей задвигались и, порывисто схватив руку Адриана, граф припал к ней губами. Сконфуженный король освободил руку и обнял графа.

Видо бормотал сквозь старческие всхлипывания:

— Я не могу... Не могу... Его Величество на смертном одре завещал... завещал мне... «Смотри, Видо, помни!.. Адриан совсем еще мальчик, будь ему как отец»... Я, я плакал. Я, недостойный такой чести... Детей у меня нет, и все свои... всю свою отцовскую любовь... Я помню, когда вам было пять лет, вы взбирались ко мне на колени и детскими... двадцать семь лет назад моя борода была такая же седая, вы теребили ее... Нет, не могу...

— Ну, будет, будет, мой дорогой, верный Видо... Я все чувствую, все понимаю, — молвил король со своей обаятельной улыбкой, от которой становилось светлее кругом и которой он так пленял и мужчин, и детей, и женщин, — а теперь давайте о другом, более веселом. Давайте сплетничать. Бузни, наверное, принес что-нибудь новенькое из скандальной хроники столицы?

Граф Видо, успевший вытереть глаза, прояснился весь, как ребенок, быстро переходящий от слез к улыбке.

— Вы не ошиблись, Ваше Величество... Впрочем, пусть он сам...

— Рассказывайте, Бузни!

— Ваше Величество, это... это слишком фривольно...

— Так что ж! Не стесняйтесь, пожалуйста!.. Мы с вами не монастырские воспитанницы. Да и монастырские воспитанницы в наши дни могут просветить любого из моих эскадронных командиров. Итак!.. — и, забросив ногу на ногу и похлопывая камышинкой по голенищу своего гусарского сапога, король, сузив миндалевидные глаза, приготовился

слушать.

И тут только спохватился Видо, что последний трюк Мариулы, лишившей Адриана невинности, когда ему было восемнадцать лет, еще неизвестно, как будет принят Его Величеством. Влажными от слез глазами Видо хотел остановить шефа тайного кабинета, но было поздно.

Бузни описал королю времяпрепровождение Мариулы и герцога Альбы, начатое в закрытой ложе оперетты и кончившееся в отдельном кабинете у Рихсбахера. Сочно смакуя, дополнил Бузни всю картину описанием забытых, надушенных dessous [1], являвших собой пену кружев.

Бузни имел успех, Адриан от души хохотал.

— Ах, Мариула, Мариула! Бедный Панджили! Если б у него могли расти рога, он перецеголял бы всех оленей наших пандурских лесов.

— Но меня вот что удивляет, Ваше Величество, — недоумевал шеф тайного кабинета. — Что в ней такое? Чем она берет в свои годы, со своим потрепанным лицом, со своими губами

негритянки?

— И со своим так чудесно сохранившимся телом, добавьте, — подхватил король. — Мы с вами видели ее руки, плечи, шею, грудь, которые она так охотно обнажает вопреки придворному этикету, ставящему границы оголению женских прелестей. Что же касается ее губ, чувственных, развратных, то, я думаю, это скорее плюс, нежели минус в глазах таких молодых любовников, как этот юный герцог Альба. — И матовое лицо Адриана порозовело теплым румянцем. Он вспомнил свои восемнадцать лет. Вспомнил свое первое падение в опытных, грешных объятиях Мариулы. О, как целовали его эти полные выпяченные губы, и сколько острого, неизъяснимого блаженства было в прикосновениях и ласках белого, холерного тела, которое так ослепляло... Ему казалось тогда, что он безумно влюблен в маркизу Панджили, что лучше ее нет никого и ничего на свете и что, отказавшись от престолонаследия, он умчится с ней в какую-нибудь глушь, где они будут без конца наслаждаться...

Но наслаждения хватило на две-три неде-

ли, успевших иссушить молодого принца, погасить свежий румянец и обвести густой, темной синевой миндалевидные глаза. Материнское око Ее Величества Маргареты заметило кое-что, а незамеченное было подсказано кавалером Мекси, предшественником Бузни. Мариула вынуждена была уехать за границу, «для поправления здоровья», и в течение трех месяцев не показываться при дворе, без лишения, однако, звания статс-дамы королевы. А престолонаследник был отправлен адъютантом во Францию для прохождения курса в военной Сен-Сирской школе.

Сейчас, четырнадцать лет спустя, были так живы, так трепетны воспоминания. И королю было приятно и стыдно вспомнить все это, и казалось, что Мариула осталась такая же неотразимо пленительная для теперешних своих любовников и для молодого испанца, какой тогда была для него.

Бузни отпущен. Король вдвоем с графом, тотчас же приступившим к тому, чем он был озабочен уже давно.

— Ваше Величество, говорю вам со свойственной мне прямоотой: так продолжаться

дальше не может.

— О чем это?

— Все о том же. Прошли все сроки. Необходимо Вашему Величеству выбрать себе поскорее супругу. У монарха голос сердца должен умолкнуть перед благом народа и династии. Пандурии нужен престолонаследник, особенно же теперь, ввиду пока еще глухого, отдаленного прибоя... Теперь, когда наступают тревожные времена.

5. ПОЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССОРА ТУНДЫ

Адриан ответил не сразу. Да и что он мог ответить на справедливый упрек верного старого Видо. Что, если действительно голос сердца не умолк у него в данном случае перед благом народа и династии. Что он мог ответить, когда и сейчас, на расстоянии, она, Зита, была такая яркая, желанная, близкая. Он видел ее, изящную, миниатюрную, всю сверкающую в сиянии золота мягких густых волос, с маленьким ртом и с белой, нежной, чуть-чуть розоватой шеей...

А ее глаза? Сколько в них переливов, от-

тенков. Какие они всегда? Разве можно сказать, можно определить? «Всегда» — нет для них этого слова. Они «всегда» разные. Светлые, они до жуткого становятся темными в минуты сердечней мольбы, страсти и сладостной истомы. Когда Зита спокойна, мечтательна, у нее глаза синевато-серые. А когда она в гневе, они зеленые, как изумруд, как у готовой прыгнуть на свою жертву молодой тигрицы...

И после этого Видо требует, чтобы он выбрал себе невесту. Выбор сделан, да, сделан! Если не будущей королевы, то, во всяком случае, восхитительной любовницы...

Граф угадывал, что происходит в душе короля, но упрямо, насупив седые пучки бровей, ждал ответа. И, в конце концов, услышал то же самое, что ему приходилось уже слышать раз десять, по крайней мере.

— Успеем... успеем... Как-нибудь женимся... И вы, и мама все с одним и тем же...

— Я удивляюсь только неистощимому терпению Ее Величества, — укоризненно покачав лысой головой, произнес Видо.

— Я и сам удивляюсь, — с какой-то шалов-

ливой доверчивой улыбкой, осветившей смугло-матовое лицо его, воскликнул Адриан. Он обезоружил премьер-министра.

— Ах, Ваше Величество, Ваше Величество!.. Ничего с вами не поделаешь! Если б вы не были так обаятельны... Вы этим пользуетесь...

— Как испорченный мальчишка, приводящий в отчаяние солидного, уравновешенного опекуна. Да, граф, какого вы мнения о господине министре Рангья?

— Мое мнение об этом господине известно Вашему Величеству. Знает свое дело, неплохой инженер, поднял нашу железнодорожную сеть, но как человек...

— Знаю, что вы скажете. Дрянцо и едва ли не темная личность. Согласен. Я его сам терпеть не могу, но раз полезен стране, почему его не наградить?

— Баронским титулом? — ядовито подхватил граф.

— А, вы уже знаете. Ах, этот Бузни! Я уверен, Бузни мои письма читает... А что касается баронства, право, это даже не титул. Так себе, что-то переходное. Назовите мне мошенника-банкира, который, в конце концов, не

купил бы себе баронства, прежде австрийского, а теперь папского? Заготовьте мне для подписи скромный, сдержанный рескрипт, придравшись, ну, хотя бы, к последней проведенной им линии, соединяющей горную Пандурию с плоскостной... И в стратегическом отношении, и еще более в...

Распахнулась дверь, заколебалась портьера, вытянулся дежурный чиновник, тот самый, который с полчаса назад открыв «почти» потайную дверцу, докладывал графу о Бузни. Теперь он доложил еще торжественнее:

— Министр изящных искусств профессор Тунда к Его королевскому Величеству...

— Как, господин министр уже здесь? Простите!..

Министр изящных искусств, знаменитый художник с европейской славой, порывистый, спешащий куда-то, нервный, взвинченный и своим вечно юношеским темпераментом, и коньяком, не вошел, а влетел в кабинет.

Ловким и цепким движением спрыгнув с подоконника, Адриан встретил маленького,

с бритым, пухлым лицом и с шапкой седых курчавых волос министра изящных искусств.

Появление Тунды было сюрпризом. Несколько дней назад совет министров командировал его в отдаленную часть Пандурии последить за археологическими раскопками в одном из небольших имений короля Адриана. Там были высокие, правильной формы курганы; им около восьмисот лет. Почему же веселый, жизнерадостный Тунда не там, а в столице, и с криво повязанным галстуком, с сигарным пеплом на пиджаке, пулей врывается в кабинет, где его принимает король?.. Он так знаменит и так исключительно талантлив, — еще при покойном Бальтазаре, когда этикет был строже, чем теперь, Тунде прощалось многое — и артистический беспорядок в костюме, и развинченность манер, и привычки артиста, на всю жизнь оставшегося богемой.

На Тунду никак нельзя было рассердиться. Своим пухлым лицом, своими весело поблескивающими, нередко хмельными глазками, своим неизменным благодушием он обезоруживал всех, начиная с покойного короля

Бальтазара, одним взглядом своим приводившего в трепет сановников и генералов...

— Ваше Величество, поздравляю Вас!

— С чем?

— Как с чем? Э, вы еще ничего не знаете!

Да и не можете знать! Разве я примчался бы оттуда, если бы...

— Да с чем же вы меня поздравляете, дорогой профессор?

— С наследством! И еще с каким наследством!

— Откуда? К сожалению, короли не имеют американских дядюшек. С неба, что ли свалилось?

— Как раз наоборот. Ваше Величество! Из самых недр земли. Продолжая раскопки, мы наткнулись на два глиняных горшка в виде урн, примитивных, грубых, заостренных книзу. Обе наполнены старинными золотыми монетами.

— При чем же я здесь?

— Как при чем? Клад найден на вашей земле, следовательно, — ваша собственность! Не верите мне, Государь, — спросите графа Видо. Граф большой законник...

— Господин министр изящных искусств вполне прав. Клад — законная собственность Вашего Величества.

— Но все это странно так, и я себя нелепо чувствую. Менее всего хотелось бы воспользоваться этим золотом. Какая приблизительно ценность его?

— Это не по моей части, Ваше Величество, — ответил Тунда. — Я люблю тратить деньги, но не люблю их считать. А вот один из моих чиновников подсчитал приблизительную стоимость... В обеих урнах золота будет, по его словам, этак, этак миллионов на пятнадцать французских франков...

— Чудесно! — воскликнул король, — значит, я могу осуществить мое желание... Построить гигантский дом для инвалидов последних войн, где они могли бы спокойно доживать свой век... Люди, проливавшие кровь за свою родину, безногие, безрукие, нищенствующие на улице, провожаемые снисходительными взглядами, взглядами тех, кто трусливо боялся огня, прячась за их спинами, — это ужасно! Мы выберем красивую местность с хорошим климатом и немедля приступим...

Будут концертный зал, библиотека, общая столовая... Вы, милый Тунда, распишете стены батальными картинами, воспевающими доблесть и славу этих инвалидов-героев... Часть же «наследства» я отдам в распоряжение сестры для ее благотворительных целей...

— Ваше Величество, — начал Видо, — все это делает честь вашему благородному сердцу, но, — вы простите меня, старика, вмешивающегося не в свое дело, — по-моему, нельзя совершенно забывать себя. Королевский дом Пандурии никогда не был особенно богатым, а за последние годы... В будущем мало ли что... И монархи должны обеспечивать себя на черный день. К тому же цивильный лист, урезанный парламентом, более чем скромн...

— Мое решение твердо, — перебил Адриан, — так поступлено будет с этим кладом, как я сказал... — и сейчас это не был уже молодой красивый гусарский офицер, это был король, — так звучал его голос и такой царственной осанки исполнена была вся фигура, сильная, стройная, с гордо поднятой головой.

— Воля Вашего Величества священна, —

произнес Видо, низко кланяясь и чуть-чуть разводя руками.

Профессор Тунда заморгал жиденькими ресницами и, отвернувшись, начал громко сморкаться...

6. К ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ...

Боката — столица Пандурии — считалась одним из красивейших городов на юго-востоке Европы. Особенно интересен с моря вид на этот хаотический амфитеатр домов, старых католических церквей, живописных мусульманских кварталов, мечетей.

Этот каменный хаос оживлялся и расцветался густой, сочной зеленью садов и парков. Прелесть пандурской столицы была еще и в близком сочетании Запада с Востоком. Европейские улицы — чистые, прямые, с громадами пятиэтажных домов, с трамваями, автомобилями, шумными кафе, зеркальными витринами магазинов, с нарядной толпой, — и в какой-нибудь сотне шагов мусульманский квартал с базарной площадью, где под сенью густых платанов горбоносые пергаментные люди сладко дремлют, пьют из маленьких ча-

шек густой кофе и втягивают из длинных бисерных змеевидных чубуков ароматный дым, проходящий сквозь булькающую в стеклянном резервуаре воду. Здесь все патриархально. Вместо каменных громад — белые домики под черепичной крышей. Ровный асфальт заменен кривой булыжной мостовой, а вместо грохочущих трамваев и гудящих автомобилей — ушастые, многотерпеливые ослики, нагруженные фруктами, овощами, мехами с водой и всякой всячиной, до мусора включительно. И кладбища здесь мусульманские. Над гранитом и мрамором стоячих плит высоко поднимаются стройные игольчатые темно-зеленые кипарисы. Женщины закрывают нижнюю часть лица и ведут гаремную жизнь.

Далеко с моря виден королевский дворец. Его никак нельзя назвать красивейшим зданием в городе. Есть особняки — последнее слово комфорта и нового павильонного стиля. Есть небольшие частные дворцы, сохранившие серый, благородный налет времени и архитектурную прелесть минувших, отдаленных от нас веками, эпох.

Королевский дворец, — нечто переходное, среднее между обоими типами только что упомянутых зданий. Ни легкости павильонного стиля, ни монументальных пропорций, обвеянных тонким вкусом старины. Ни того, ни другого, а просто большой трехэтажный дом кирпично-красного цвета, обнесенный такой же кирпично-красной каменной стеной в два человеческих роста. Над крышей на длинном шесте — красно-желто-черный пандурский флаг. Самое внушительное — фронтон подъезда, тяжелые портики, подпираемые массивными квадратными колоннами, тоже кирпично-красного цвета.

К этим портикам съезжались чужеземные государи, съезжались министры для совещаний под председательством короля. Съезжались иностранные дипломаты и гости в дни парадных обедов и придворных балов.

Слева и справа — более скромные, маленькие подъезды. Один вел в апартаменты короля и сестры его Лилиан, разделенные площадкой, другой — в помещение королевы-матери.

Маргарете исполнится со дня на день пятьдесят лет, но никто не даст ей и тридцати пя-

ти, — так она изумительно сохранилась. И не только сохранилась, но и сумела себя сохранить. Болтали разное. Что ежедневно королева принимала ванны из молока ослицы, подобно Попшее, дабы сохранить вечную молодость. Что дважды в год она ездила в Париж, где какой-то маг и чародей покрывает ее лицо пленкой кроличьих желудков, и, таким образом, на старой увядшей коже вырастает новая, свежая. Для этого надо около месяца лежать в темной комнате с забинтованным лицом.

И болтали подобный вздор не только в низах столицы, но и люди общества, дамы, если и не совсем свои в королевском дворце, то, во всяком случае, бывшие на общих официальных приемах.

Секрета молодости королевы никто не мог знать лучше ее любимой, преданной камеристки Поломбы, бессменно состоявшей при своей госпоже в течение нескольких лет.

Веселая, глазастая, пышно-румяная Поломба — единственное существо, перед которым превращалась королева Маргарета в женщину, и только в женщину. А между тем даже

в общении с Адрианом и с Лилиан, — с детьми, — Маргарета почти никогда не становилась обыкновенной матерью, а всегда была королевой, пожалуй, королевой-матерью. И это при несомненной любви и к Лилиан, и к Адриану. Что дети, что сын и дочь? Даже наедине со своим любовником, личным секретарем своим, южным, хищного типа красавцем ди Пинелли, даже в его объятиях она не переставала чувствовать себя королевой.

И сам ди Пинелли никогда, ни на одну минуту, не забывал, что ласкает и целует королеву. Даже в моменты самого острого, безумного наслаждения бедный ди Пинелли не смел, не повиновались губы, сказать своей любовнице «ты».

Дабы опровергнуть сплетни о кроличьих желудках и о ваннах из молока ослицы, мы подробно опишем действительные ухищрения, помогавшие королеве бороться, и так успешно бороться, с призраком надвигающейся старости.

Очень поздно королева не засиживалась почти никогда, — бессонные ночи губят красоту и свежесть. Увядает лицо, шея, появля-

ются морщины возле висков и глаз. Вот почему балы в иностранных посольствах назначались рано, в девять вечера, чтобы к полуночи вдовствующая королева могла отбыть к себе во дворец.

Обыкновенно же, когда не было ни выездов, ни приемов, Маргарета с десяти часов запералась вместе с камеристкой на своей частной половине.

В глубине обширной спальни под балдахинном стояла на возвышении широкая белая золоченая людовиковская кровать. К спальне примыкали две уборные — малая и большая. Последуем за королевой и Поломбой в первую. Раздетая проворными руками бойкой Поломбы, Маргарета, в капоте, садится против туалетного зеркала, отражающего ее густые, пепельные волосы и тонкие, красивые, породистые черты.

А Поломба уже приготовила несколько банок разных мазей и кремов. Смешивая их, как художник делает это с красками, Маргарета густо покрывала лицо жирным слоем косметиков. Эти втирания, заменяющие собой и массаж, продолжались минут двадцать.

У Поломбы уже готова паровая ванна — целое металлическое сооружение с горизонтальной трубой, как у граммофона. Включается электрический ток. Ванна, содрогаясь, гудит. Королева подсаживается к ней, держа лицо у самого отверстия трубы, дышащего горячим и влажным паром. И чем пар горячее, тем лучше, полезней. Эта процедура, требующая немалой физической выносливости, — говорят же французы: *pour être belle, il faut souffrir* [2], — длилась тоже минут двадцать. И всегда визжала Поломба, с веселым, плутовским видом втягивая голову в плечи и прижимая острые локти к бокам:

— Ваше Величество, открывайте глаза! Открывайте глаза, а то не будут блестеть!

Королева, вообще стоически переносившая боль и обжигающую лицо горячую тягу пара, нуждалась в этих поощрительных выкриках Поломбы, так как чему-чему, а глазам особенно доставалось.

А держать их закрытыми, — не будут на другой день блестеть блеском вечной, возбуждающей у одних зависть, у других восхищение, молодости... Поломба выключала ток.

Гудящий аппарат умолкал. Поломба, взяв нагретое полотенце, не вытирала им лоснящееся лицо Маргареты, а сушила медленным, постепенным накладыванием. И после каждой такой «сушки» черты королевы становились свежее и готовые там и сям прорезать их морщинки разглаживались.

Три-четыре раза в месяц Маргарета слегка втирала еще в теплые поры лица лимонный сок, обыкновенно же лицо смазывалось американским вазелином, и королева так и ложилась в постель, и подушки ее всегда были жирные, впитывая в себя за ночь вазелин. Однако это еще не все. Прежде чем покинуть уборную, Поломба массировала своей госпоже руки, натягивая потом на них особенные перчатки, пропитанные снадобьем, смягчающим кожу, придающим атласистую нежность пальцам, красоту и упругость ногтям.

В семь утра, зимой и летом, всегда — пробуждение. Поломба заставляла свою госпожу с открытыми глазами, потягивающуюся под одеялом. Королева спала совсем нагая.

7. ПЫТКИ ВОДОЙ

Поломба являлась не с пустыми руками. В небольшом тазу, наполненном борной кислотой, — два довольно больших жгута из ваты, пропитавшихся влагой и поэтому тяжелых. Поломба накладывала эти жгуты на глаза королевы, и королева минут десять лежала так, выбивая пальцами легкую дробь по белым жгутам, как если б это были клавиши. Снималась с глаз мокрая вата, подавался длинный, широкий смирнский купальный халат, а пепельные волосы исчезали под красивым резиновым чепчиком. Утренний туалет начинался в большой уборной — сплошь из мрамора. Стены, ванна, пол, души — все мраморное, сверкающее металлическими кранами. Ничего лишнего, просто и даже строго, как в гидропатической лечебнице. Да это и была для Маргареты лечебница, из которой она выходила обновленная, бодрая, с быстро бегущей по жилам горячей кровью...

Здесь, в большой уборной, Поломба уступала первую роль высокой, мускулистой, с неподвижным лицом шведке. Обернувшись к

стене, держась за никелированный прут, королева предоставляла шведке свою, в прямом и переносном смысле, царственную спину, гибкую, немного полную, но без всяких признаков ожирения. Спина переходила в плавные линии чуть-чуть розовеющих бедер, а дальше, — дальше стройные белые ноги в нежно-голубеньких жилках.

Шведка, взяв гуттаперчевый длинный рукав, оканчивавшийся тяжелым никелированным хоботом, выпускала сперва на пол струю воды, для пробы. И всякий раз Поломбу охватывало какое-то детское волнение... Шведка верными твердыми пальцами, как орудие, наводила этот хобот на ослепительный затылок, розовеющий в отблесках красного чепчика. Толчок... Такой сильный толчок горячей густой струи, что королева, невольно подавшись вперед великолепным торсом своим, крепче охватывала металлический прут. Это было только начало. Медленно опускался рукав от затылка все ниже, ниже, вдоль спины. Струя все холоднее, холоднее, и вместе с этим усиливалась ее упругость, способная свалить с ног средней силы человека. И под конец у

королевы бывало ощущение, что ее засыпают всю мельчайшей ледяной дробью и что дальше уж никак не выдержать напора этой беспощадной холодной воды. Королева вскрикивала. И вот тут-то бывал каждый день повторявшийся для Поломбы праздник. Втянув голову в плечи, прижав локти к бокам, трясая кулаками, с пронзительным визгом, бросалась она вперед, чтобы заглянуть королеве в лицо, чтобы увидеть на нем отражение этих пыток, пыток водой, которым подвергала ее неумолимая, суровая, с окаменевшим лицом шведка.

Маленький антракт. Королева, повернувшись к своей мучительнице, подставляет ей и свои точеные, покатые, эластично закругленные плечи, и свою, в меру полную, упругую, с твердыми розовеющими сосками грудь, и свой отлично сохранившийся живот. Никто не сказал бы, что она дважды была матерью. Королева принимала одну и ту же позу, весьма к ней идущую. Ровная, прямая, сомкнувшая обутые в сандалии ноги, соединив руки на затылке, она держала их локтями врозь. Получалась фигура удивительно гармониче-

ская простой скульптурной гармоничностью своей.

Новые пытки. Новая боль от мощной струи: то горячей, то ледяной. Захватывает дух. Взвизгивает Поломба. Кончив одно дело, шведка приступает к другому. Тут же, на узкой, покрытой белой мохнатой простыней кушетке, стальными пальцами своими массирует она королеву, после чего растирает ее всю докрасна жесткой волосяной перчаткой, смачивая в тарелке, наполненной душистой эссенцией.

А дальше — безмолвно исчезает шведка. Королева, чувствуя себя восемнадцатилетней девушкой, переходит в малую уборную. Здесь она пудрит лицо фиолетовой пудрой, кладущей нежный, почти естественный румянец, слегка, чуть-чуть, подкрашивает губы, подводит брови и, едва тронув чем-то розоватым тонкие ноздри, отдает свои ноги и свои волосы в распоряжение Поломбы.

У Поломбы, открытой, наивной, не было и тени подхалимства. Она искренно любила свою королеву и столь же искренно фамильярничала с ней... Это выходило иногда гру-

бовато, но никогда не было ни нахальным, ни навязчивым, ни противным.

В течение восьми лет Поломба не переставала восхищаться:

— Ах, Ваше Величество, какое у вас тело! Какое тело! Смотришь — не налюбуеться! Какая грудь! Ноги! А спина, — и весело-весело поблескивали живые, шельмовские глаза, и румяное лицо расплывалось в улыбке.

— Ты находишь? — снисходительно улыбалась в ответ, королева. — А по-моему, эта белая негритянка Мариула гораздо лучше сложена. Моя фигура тяжелей. У Мариулы больше гибкости, я хотела бы иметь ее длинные ноги, ее небольшую грудь. Такие женщины — стильные!..

— Тоже сравнение! — фыркала Поломба. — А что длинные ноги у этой Панджили, — у цапли еще длиннее.

— Ты ничего не понимаешь. У тебя дурной вкус. У нее ноги Дианы. Эти ноги сводят с ума мужчин, хотя она некрасива со своим вздернутым носом и вывороченными губами. Ты знаешь, кто была Диана?

— Знаю. Богиня, которая охотилась на оле-

ней с борзыми собаками. Я на картинке виде-
ла...

— Вот как! Моя Поломба смыслит кое-что в
мифологии...

Иногда королева противопоставляла себе
вместо Мариулы Панджили — Зиту Рангья.

— Вот у кого точеная фигура. Живая стату-
этка. А такой нежной, молочно-розоватой ко-
жи я не встречала ни у одной женщины. Она
вся изящна, вся!.. Я понимаю увлечение сына.
И ко всему — аромат и какая-то звенящая
упругость молодости... Зите всего двадцать
четыре года... двадцать четыре года, — мечта-
тельно, с легким вздохом повторяла короле-
ва.

А Поломба упрямо твердила:

— Им, Ваше Величество, далеко до вас! Пе-
реберите всех придворных дам, ни одна не
может соперничать с вами.

— Я предпочла бы, моя Поломба, чтобы
вместо тебя так говорили мужчины.

— И говорят! Говорят! Что вы думаете! — с
жаром подхватила Поломба.

— Кто ж говорит?

— Все! Ну решительно все! Даже Тунда!

— Тунда?.. Тунда — большой художник. Его мнением нельзя не дорожить. Так что ж он говорит?

— Он говорит... Знаете, Ваше Величество, раз он писал в белом зале портрет короля Адриана. Король куда-то ушел после этого... ну... сеанса, а Тунда еще вырисовывал что-то, кажется, мундир... Ну и, как всегда, перед ним был коньяк.

— Милый Тунда, он «черпал вдохновение»... Дальше...

— Дальше, — я проходила мимо... Никого не было больше... Тунда, с сигарой в зубах, перехватил меня... «Куда спешишь, плутовка, не пущу тебя»... Потрепал меня по щеке и сунул за корсаж золотую монету. «Откуда, плутовка»? — «От Ее Величества». — «А как поживает Ее Величество?» — Великолепно, говорю, поживает... А он смотрит на меня... уже немного навеселе, и говорит: «Если бы она не была королевой, я написал бы с нее Венеру, выходящую из пены морской... Какая это была бы Венера!» И, знаете, Ваше Величество, даже глаза под лоб закатил...

— Что ж, не будь я королевой, с удоволь-

ствием позировала бы Тунде для его Венеры, — молвила Маргарета, — и все на выставке любовались бы. Но я королева, и мною любитесь только одна Поломба...

— А ди Пинелли? — чуть было не сорвалось у камеристки, но она вовремя прикусила язык, зная, что и для нее существуют границы, переступить каковые не рекомендуется...

8. СЕКРЕТАРЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Грехом было бы сказать, что королева Маргарета вся отдалась целиком поддержанию своей неблекнущей красоты и неувядаемой молодости. На это уходило вечером около часу, утром приблизительно столько же, — в общем приблизительно два часа. Все же остальное время она читала, принимала живейшее участие в государственных делах, а ее дипломатический ум и такт ценился далеко за пределами Пандурии.

Корреспонденты французских, английских, американских газет, избравшие себе специальностью интервьюирование высочайших и коронованных особ, разносили по

всему свету про удивительную начитанность королевы пандуров, про ее тонкое знание литературы, про ее любовь к живописи, про изящную скромность ее туалетов. Действительно, трудно было представить что-нибудь более скромное. Почти всегда темное, гладкое, без всяких украшений платье, великолепно охватывающее дивную фигуру. Никаких драгоценностей, ничего, за исключением жемчужной нитки на шее.

Это — в обычной, повседневной жизни. Но в моменты парадных, торжественных выходов в тронном зале, в горностаях и в короне, с голубой лентой и звездой на груди, королева поражала царственным величием, великолепием своим, поражала и тех даже, для кого зрелище это далеко не было новым. Совсем другой, но одинаково чарующей волшебницей была она верхом на коне, одетая в белый уланский мундир, и в кивере с белым султаном, когда производила смотр шефским гвардейским уланам своего имени. Старые, много выдавшие на своем веку царедворцы сравнивали Маргарету в смысле чудесной посадки и особенного умения носить амазонку с един-

ственной женщиной в Европе, да и то давным-давно угасшей, — Елизаветой Австрийской.

При жизни короля Бальтазара у Маргареты не было ни одного романа. Самая злая сплетня, даже и та не могла указать любовника, молодой красавицы-королевы. Не изменяла мужу Маргарета не из любви к нему, — нет, брак этот был не по чувству, скорее политический брак, — а из гордости. И хотя муж — суровый солдат, солдат с головы до ног, не внушал ей ничего, кроме холодного уважения, именно, быть может, в силу этого самого уважения, не допускала она и мысли, чтобы дерзнул кто-нибудь назвать короля «Его Величеством-рогоносцем».

А велик был соблазн. Каждый гвардейский офицер, каждый молодой человек из общества, принятый при Дворе, был влюблен в свою королеву. У многих влюбленность эта переходила в обожание. И были среди этих обожателей писанные красавцы. Подданными королевства, кроме господствующих пандуров, высоких, мужественных, были еще сухощавые, пергаментные мусульмане, изящные

итальянцы и белокурые, богатырского сложения славяне. Цвет молодежи всех этих четырех племен служил в гвардии, занимал гражданские места в привилегированных канцеляриях, и, пожелай Маргарета изменить своему вечно занятому реорганизацией армии супругу, было бы на ком остановить свой выбор.

Но жена цезаря должна быть выше всяких подозрений, и на всех своих явных и тайных воздыхателей она производила впечатление мраморной красавицы, не знающей, что такое страсть, что такое темперамент.

А между тем и страсти, и темперамента, и даже просто здоровой чувственности, — всего этого много было у королевы. Но было у нее еще более умения владеть собой, дисциплинировать и призывать к порядку голос бунтующей молодой крови.

Когда же Бальтазар, простудившись и схватив воспаление легких на горных зимних маневрах, скончался и был погребен с пышными, подобающими почестями, под девяносто девять выстрелов береговых батарей, королева Маргарета почувствовала себя раскре-

поощенной. Жены цезаря нет больше, — есть вдова цезаря. Она может позволить себе то, чего не могла позволить раньше, конечно, в железных рамках самой строгой тайны. Жажда любви, знойных, сжигающих тело и душу наслаждений охватила тридцатисемилетнюю красавицу. Выбор пал на чиновника министерства Двора, итальянца ди Пинелли. Он был моложе королевы на четырнадцать лет. В его южной красоте было много хищного, чувственного, сводящего с ума самых добродетельных женщин. И ко всему этому он обожал королеву, обожал еще юным студентом, имея богатейшую коллекцию ее фотографий: и в горностаевой мантии, и в уланском мундире, и в темном гладком платье, и в бальном туалете с обнаженными плечами и с пышным длинным треном, что, как живой, повиновался легкому движению ног.

Королева родилась политиком. Далеко неспроста приблизила она к себе ди Пинелли. Сперва узнала о нем всю подноготную. Узнала, что он не болтун и хорошо воспитан не только в смысле внешнего лоска, но и житейских принципов. В духовном и моральном от-

ношении — джентльмен. Узнала, что он никогда не болел тем, чем болеет девяносто процентов молодежи. А о том, что ди Пинелли боготворит ее, об этом и узнавать не было никакой нужды, — это она отлично сама знала. Оставалось одно — приблизить его к себе, так приблизить, чтобы их ежедневные официальные встречи были неизбежными...

Личный секретарь королевы, почтенный пожилой кавалер Кнор, сам попросился на покой и вышел в отставку с полной пенсией и орденом Ираклия первой степени. Министр Двора настойчиво рекомендовал Маргарете в личные секретари своего чиновника ди Пинелли. И вышло вполне естественно, как будто иначе и не могло быть, что в небольшом кабинете, рядом с приемным залом королевы, в этом самом кабинете, где в течение шестнадцати лет ежедневно просиживал от десяти до трех кавалер Кнор, спустя год после кончины короля Бальтазара водворился кавалер ди Пинелли.

Однажды королева пригласила его пить кофе в свой интимный маленький голубой будуар, где не бывал никогда никто из посто-

ронных и где висели две небольшие картины Ватто. Кофе подан был опустившей свои плутовские глаза Поломбой, тотчас же исчезнувшей.

Говорили об искусстве, вернее, говорила одна королева. Секретарь молчал, ни жив, ни мертв, поднося дрожащими пальцами к ярко-чувственным губам своим крохотную чашечку с густым, горячим, ароматным кофе.

— Вы любите Ватто? — спросила Маргарета. — Я почти не знаю художника с такой чарующей нежной блеклостью, именно блеклостью красок...

Ди Пинелли поспешил согласиться. Он готов был согласиться на смертный приговор себе, произнесенный устами своего божества.

Королева от живописи перешла к скульптуре.

— Я не люблю драпировок и одежд в скульптуре. Я люблю за то греческих ваятелей, что они богов и богинь своих изображают нагими. Красивая нагота уже сама по себе нечто божественное. И если смертные хотят приблизиться к богам в своих любовных успехах, — никаких прикрытий, никаких

одежд, отзывающихся отдельным кабинетом и мещанством. Но я не выношу босых ног. Не выношу! Музейных Аполлонов, Диан и Венер мне всегда непременно хотелось обуть в сандалии или в котурны. Хотя... В мраморе и в бронзе еще можно кое-как примириться, но у живых людей — это совсем отвратительно, — и по тонким чертам Маргареты скользнула легкая брезгливая гримаса.

9. ТАЙНА КОМНАТЫ БЕЗ ОКОН

Казалось, королева совсем забыла об эстетической беседе в голубом будуаре. Относилась к ди Пинелли как к своему секретарю, не более. Каждое утро он получал обширную корреспонденцию, кипу иностранных газет, и, бегло ознакомившись и с тем, и с другим, докладывал Маргарете о самом важном, существенном, достойном внимания.

Королева диктовала ему ответные письма и на пандурском языке, и на нескольких иностранных. Да и не только письма. Диктовала заметки, целые статьи для напечатания в заграничной прессе.

Ди Пинелли оказался редким — нахва-

литься нельзя было — секретарем, но душа его полна была вся отчаянием. Он терзался. Теперь, когда он так близок к своему боже-ству, он в то же время так бесконечно далек от него, как если бы они находились на разных планетах. Голубой будуар чудился ему волшебным сном, который никогда, никогда не повторится больше...

Он был близок уже к самому безысходно-му горю, и вдруг — опять голубой будуар, опять кофе, на этот раз с ликерами и с другой темой, нежели искусство. Королева интересовалась его семьей, интересовалась тепло, задушевно, насколько вообще могла быть задушевной и теплой. Фамилия секретаря ей далеко не чужда. Ди Пинелли известны в королевстве, но кто была его мать, была, потому что, по его же словам, ее нет в живых?

— Моя покойная матушка — славянка из рода Матачич.

— А, славянка! Этим объясняется ваша способность глубоко переживать, чувствовать. Итальянский темперамент отца и славянская душа матери — это... это очень интересно и... красиво, — добавила как бы про себя Марга-

рета.

Потом она спросила его, щуря свои светлые, молодые, блестящие после паровой ванны глаза:

— А скажите, вы любили уже?.. Захватывающе, сильно, отдавая целиком всего себя?

— Любил и люблю... — не сразу ответил он, ответил чуть слышно, не смея поднять глаз.

На лице ее дрогнула тень, дрогнула, мгновенно исчезнув.

— Что же, она была достойная вас... особа? Вы были счастливы? — продолжала она с внешним безразличием.

— Достойна ли меня? О, Ваше Величество, я прах и человеческая пыль в сравнении не только с ней, а с ее мизинцем. Что же до счастья — одна лишь смутная надежда на взаимность свела бы меня с ума от блаженства.

— Вот как!.. Право, такой очаровательнице можно позавидовать, — молвила каким-то странным голосом королева, и сухая, надменная линия габсбургских губ ее стала еще надменнее. — Кто же она, эта волшебница? Имени я не спрашиваю, конечно... Опишите ее.

— Описать? Не знаю, хватит ли красок. У

нее дивные пепельные волосы, она сложена, как богиня... она... — Тут нервы молодого секретаря не выдержали, и он осекся, вот-вот готовый разрыдаться.

Награда ему — нежный, томный взгляд. Королева Маргарета никогда еще ни на кого не глядела так томно за все тридцать восемь лет своей жизни. Миг — и это мягкое, нежное, исходящее из собственной души и проникающее в чужую душу, сменилось обычным твердым, холодным блеском.

— Кавалер ди Пинелли, пейте ваш ликер. Он густ, маслянист, переливается, как жидкий рубин, и, право же, стоит попробовать.

Ликер, действительно превосходный, показался ему расплавленным свинцом, который лили в горло еретикам отцы святой инквизиции. Да и в самом деле, разве не был он сейчас жертвой терзающих если не тело, то душу инквизиционных пыток? За что, за что эти нестерпимые муки? Переходы эти от надежды к отчаянию и, наоборот, от отчаяния к надежде? Эта жестокая игра женщины, знающей силу и своих чар, и своей безграничной власти над ним?

Прошло еще несколько дней, таких будничных, деловых. Просмотр иностранных газет, писем, диктуемые ответы, — все в строго официальных рамках. Он похудел, он клялся, что идет во дворец в последний раз и, бессильный бороться со своей неразделенной страстью, разmozжит себе череп...

И вновь нежданно-негаданно, уже в третий раз — голубой будуар... Был гаснущий осенний вечер, и хотя осень в этом краю благодатная, теплая, но горел камин, и было тепло, как в оранжерее. Не успел он войти, чьи-то руки, охватив его шею, привлекли к себе и, опьяненный этим прикосновением, знакомым ароматом духов и близостью упругой и теплой груди под гладким простым темным платьем, груди, касавшейся его груди, он с мучительным блаженством ощутил на губах поцелуй... Поцелуй королевы... И хотя этот поцелуй дал ему такое острое, нечеловеческое напряжение, за которое он готов был заплатить жизнью, чувственность, пылкая чувственность итальянца, до этой вожденной минуты загнанная в клетку, как дикий зверь, уступила свое место, — славянская кровь ма-

тери, — молитвенному благоговению. Он как-то соскользнул весь вниз, вдоль прекрасного, трепещущего желанием тела Маргареты и, упав на колени, в священном экстазе коснулся губами подола ее платья, пахнувшего теми же самыми духами, и ее телом, и еще каким-то неуловимо дорогим, уютным запахом любимой женщины.

А дальше, дальше совсем не помнил, как она его подняла с колен, смутно помнил, как они сидели вдвоем на узеньком диване, прижавшись друг к другу. В мягких сумерках пылающий камин дышал им в лицо сухим жаром. Смутно помнил что-то похожее у себя на легкий нервный припадок, окончившийся какой-то детской, покорной истомой и, если и не детскими, то, во всяком случае, обильными слезами... И, как сквозь сон, ощущал прикосновение холеных, мягких пальцев. Они нежно успокаивали и вместе с тем обещали. Гладили его лоб, лицо, волосы. И это все тихо, тихо, — без слов. Они сейчас не нужны были, такие бледные, слабые в сравнении с тем, что безмолвно говорила и пела душа...

А когда он выплакался и, не вздрагивая

больше, затих, эта же самая рука с мягкой властностью потянула его за собой. Он шел, пьяный нечеловеческим счастьем своим, шел, не замечая на пути мебели, наталкиваясь на нее. И когда ему казалось, что перед ним сплошная стена, а он на нее наткнется, вдруг в этой самой стене, точно в сказке, открылась маленькая незаметная дверь.

Принимать любовника в спальне королева считала вульгарным и не снизошла бы до этого никогда. Вот почему перед секретарем Ее Величества открылась маленькая потайная дверь. Она ввела его в квадратную небольшую комнату, сплошь в драпировках и без окон, освещаемую электричеством, в мягких, цветных полутонах и с широким низким восточным диваном посередине. К этой комнате примыкала крохотная уборная. Комната, где раньше складывались чемоданы и дорожные сундуки, превращена была в уютное затерянное гнездышко. Только одна Полomba посвящена была в новое назначена комнаты без окон и с широкой оттоманкой. Но Полomba умела молчать. Заботливой рукой сервирован был столик с шампанским, конфетами,

вазой фруктов. Но еще большая была проявлена заботливость в широком, очень широком халате, шелковом на черной подкладке, брошенном на диван, и в бело-розоватых, как человеческая кожа, мягких котурнах, стоявших на ковре.

Смягченная голубоватым матерчатым абажуром лампочка создавала призрачный свет, какое-то призрачное настроение. Лица королевы и ее секретаря чудились голубоватыми.

И когда начали пить шампанское, холодное, бодрящее, так легко и ярко возбуждающее, и начали есть шоколадные конфеты и груши, как ни был захвачен счастьем своим темпераментный итальянец со славянской душой, от него все же не ускользнуло, что гордая, неприступная Маргарета, под впечатлением новых поцелуев и вина, превращается в вакханку.

Да и раньше в ней под этим холодным великолепием жила вакханка, жила вместе с королевой, но королева подавляла вакханку, подчиняла ее сильной воле своей до тех пор, пока считала это необходимым. И вот в тридцать семь лет, когда минула вторая, вернее,

третья молодость, она с ужасом спохватилась: еще каких-нибудь десять лет, и все будет кончено. Увянет сначала лицо, увянет вслед за ним и тело, могущее более сопротивляться времени, и конец — осень, безотрадная осень с завыванием холодного ветра, гонящего скрюченные, пожелтевшие листья...

Так для чего ж, так зачем берегла и тщательно холила и сохраняла она себя, обжигая лицо паровыми ваннами и перенося ежедневные пытки водой? И тем ужасней, тем трагичней это все, что множество самых красивых, самых видных, самых элегантных мужчин всегда и неустанно желали ее и желали мучительно... Желали, не подозревая, что под этим гладким, темным, почти монашеским платьем ответным желанием трепещет прекрасное тело вакханки...

Судьбе угодно было, в конце концов, чтобы пал ее выбор на самого пламенного, самого романтического поклонника. И вот они вдвоем пьют искрящееся вино, пьют из узких длинных бокалов, пьют из уст друг друга, и замороженное шампанское кажется им раскаленной лавой, огнем, зажигающим кровь,

зажигаящим все тело, все существо... И вдруг резким движением она поднялась. Его сердце перестало биться. Он подумал, что она уходит, уходит, совсем, отравив его смертельным ядом и обрекая его на новые страдания, еще более мучительные, чем предыдущие.

Тихое, как шелест:

— Тебе жарко в этом... Жди меня, я приду... жди... — и, легонько тронув его за борт черной визитки и бросив скольльзящий взгляд на широкий японский халат и на котурны телесного цвета, Маргарета исчезла.

Он понял все, понял ее «ты». Понял, что ей таким же самым «ты» он никогда не ответит. Никогда. Ее же «ты» особенное, деспотическое, — «ты» какой-нибудь древнеегипетской или вавилонской царицы, приблизившей к себе молодого всадника из фаланги дворцового конвоя. И понял он, что ему надо раздеться донага и облечь свое молодое тело в этот освежающий прикосновением холодного шелка халат...

Он вспомнил их первую беседу об искусстве в голубом будуаре, вспомнил, что любовный пир богов — это пир наготы, но и вспом-

нил также, что и боги должны быть обуты в сандалии или котурны. И когда, запахнувшись в халат, в который можно было бы запахнуться втроем, он ждал изнемогающий, неутоленный, бесшумно открылась и закрылась маленькая дверца. Он увидел свою королеву в таком же, как и он, халате. Увидел сверкнувшую руку из откидного широкого рукава. Пальцы тронули выключатель, и мягкий голубоватый свет мгновенно сменился густыми потемками.

Она подошла к нему. Еще не было прикосновения, и он уже чувствовал ее, чувствовал какое-то неотразимое, влекущее, притягивающее тело... У него подгибались колени. Она толкнула его; еще толчок и еще, заставивший подойти вплотную к дивану и опуститься на него правым плечом. Он ничего не видел, но услышал едва уловимое шуршание медленно спадающего на ковер шелка. И вслед за этим почувствовал рядом с собой тело своей богини. Она прижалась к нему, ласкающая и требующая ласк, упругая и нежная, сводящая с ума. Он запахнул ее в свой халат, и они стали еще ближе, теснее, а две руки двумя гибкими

лианами крепко и судорожно обвились вокруг него. И вспыхнули какие-то горячие молнии, подхватили их, закружили в своем огненном вихре, и трудно сказать, где началось неизъяснимое, острое наслаждение и кончалось такое же острое, неизъяснимое страдание...

10. В МАСТЕРСКОЙ ЗНАМЕНИТОГО ХУДОЖНИКА

Профессор Тунда был крупным талантом, весьма и весьма многогранным. С одинаковой легкостью, с одинаковым блеском, с одинаковой изумительной яркостью волшебных красок своих писал он и эффектные великосветские портреты, и пейзажи, и картины — батальные, исторические, жанровые, и в то же время почти не знал себе соперников в области декоративной живописи.

Если бы он не так любил женщин, вино, игру и вообще веселую кипучую жизнь, он творил бы гораздо больше и, пожалуй, творчество его было бы серьезнее и глубже. Но этого маленького подвижного человека с густой шапкой вьющихся пепельно-седых во-

лос надо брать таким, каким он был. И, кто знает, если б от профессора Тунды отнять его увлечение прекрасным полом, у которого он имел успех, несмотря на свой более чем почтенный возраст, если б отнять у него дорогие сигары, коньяк, азартные игры, — почем знать, может быть, лишившись всех этих возбуждающих удовольствий, он утратил бы и свою богатую, неистощимую фантазию, а его яркие краски побледнели бы...

Ранним утром в своей студии, такой же, как он, хаотической, где музейные драпировки и дворцовые гобелены покрывались пылью, не обмахиваемые ничьей заботливой рукой, Тунда, с неизменной сигарой в зубах, в бархатной куртке и в бархатном берете, напевая мотив из «Сильвы», рылся в углу среди потускневших золоченых рам, подыскивая резную овальную старинную рамочку для небольшого, почти миниатюрного, овального портрета баронессы Зиты Рангья, заказанного ему королем.

Звонок. Ленивый, распущенный своим добрым и мягким господином, лакей, не спеша, с независимым видом, пошел отпирать.

Однако вернулся уже более подтянутый.

— Камергер ди Пинелли, секретарь Ее Величества!

— А, милый мой ди Пинелли, — радушно двинулся навстречу профессор, — очень, очень рад вас видеть... Вот вам сигары, пожалуйста, курите... вот коньяк!

— Сигару с удовольствием, но коньяк в девять утра?.. Я думаю, это немного рано, господин министр, — с улыбкой ответил выдержанный, корректный и, как всегда, изящный ди Пинелли.

— Эх, вы, молодежь! Тренируетесь, бережете себя, соблюдаете какой-то режим... Старое поколение, — мы не разграфливаем своей жизни по клеточкам, а зажигаем ее со всех четырех концов. Что лучше, ваша ли воздержанность, наша ли цыганская удаль, — судить не берусь... Я вообще не охотник философствовать... И картины свои пишу, как поет птица на ветке. Поет, потому что не может не петь... Итак, закуривайте... Вот огонь, вот гильотинка, а я... — и с этими словами профессор налил себе коньяку, выпил залпом и, смакуя, облизал красные, не по возрасту красные

губы.

Выпустив из-под холеных маленьких черных усиков голубоватое облачко дыма, да Пинелли начал:

— Господин министр, я обеспокоил вас вот по какому поводу... Вы, вероятно, еще не изволите знать, что ровно через месяц исполняется пятидесятилетие Ее Величества королевы Маргареты.

— Что такое? — привскочил Тунда. — Что такое? Одно из двух: или я ослышался, или это мистификация...

— Господин министр, это была бы неуместная, совсем неуместная мистификация...

— Но позвольте, позвольте! Этой цветущей красавице пятьдесят лет! Ее Величеству пятьдесят лет? Не поверю ни за что! — затряс головой Тунда с молодым, задорным блеском маленьких, живых глаз, блеском не без участия четырех выпитых рюмок коньяку. Выпитая сейчас — была уже пятая...

— Я сам согласен с вами. Трудно, очень трудно поверить, но это именно так... Предполагаются торжества. Намечены высочайшие особы, которые съедутся в качестве предста-

вителей от своих дворов. От святейшего Отца — монсеньор Черетти делла Торре, от нашей соседки Трансмонтании — князь Леопольд, от Югославии — принц Павел, от итальянской королевской четы — герцог Аbruццкий, из Мадрида — инфант Луис. Но это мало должно интересовать вас, министра изящных искусств, это больше по части министра Двора. Однако не буду отнимать у вас драгоценного времени. Каждый взмах вашей кисти — золото, каждый ваш крохотный этюд — чек на «Абарбанель-банк». Приступаю к цели моего посещения. Ее Величество изволила направить меня к вам...

— Каким приказом осчастливит меня моя королева? — встрепенулся Тунда.

— У Ее Величества две просьбы: не будете ли вы так добры взять на себя наблюдение над декоративным убранством тех дворцовых апартаментов, где будет происходить торжество? Королева всецело полагается на ваш вкус.

— В пределах скромных сил своих постараюсь угодить Ее Величеству.

— Второе же... Ее Величество обдумала

свой вечерний туалет в день юбилейного торжества.

— Воображаю! — воскликнул Тунда, — вот у кого бездна тончайшего вкуса...

— Ваши слова, господин министр, как нельзя более можно целиком отнести к тому, о чем идет речь. Вся прелесть в строгих античных складках, ниспадающих вдоль всей фигуры. Ни одна самая лучшая портниха в мире не может так почувствовать подобные складки, как художник-живописец, изучавший драпировки на древнегреческих статуях. Если бы вы, господин министр, в течение двух-трех дней соблаговолили исполнить эскиз...

— Двух-трех дней? — перебил Туна. — Через двадцать минут! Но сначала пью здоровье Ее Величества. — И не успел ди Пинелли оглянуться, как Тунда опрокинул шестую рюмку. Сделав бритым лицом своим гримасу, жуя губами потухшую сигару, он поставил на мольберт небольшой картон и, наметив карандашом пропорции фигуры, взяв плоский металлический ящик с акварельными красками, подвинув к себе тарелку с водой, стал набра-

сывать эскиз, все время занимая гостя.

— Слышали про новый трюк этой Мариулы Панджили?

— А что? — спросил ди Пинелли, знавший про «новый трюк» Мариулы, но в силу корректности своей предпочитавший молчать.

— Как что? Сенсация! Очередной бум! В отдельном кабинете у Рихсбахера она потеряла culotte [3], ужиная вместе с юным герцогом Альба. Каково? Представляете себе этот веселенький ужин?.. И эта пикантная часть туалета очутилась у шефа тайного кабинета. О, я уверен, каналья Бузни сумеет прошантажировать ими их обладательницу. Ах, Мариула, Мариула!.. Я не встречал еще такой отчаянной бабы. Но за ее тело можно многое ей простить. А вы слышали про ее константинопольский подвиг?

— Нет, не слышал, — ответил ди Пинелли, на этот раз вполне искренно.

— О, это, я вам доложу, был номер! Это было лет пятнадцать назад. Ваш покорный слуга, тогда почти молодой человек, — усмехнулся Тунца свободным углом рта, в другом была зажата сигара, — командирован был в Кон-

стантинополь покойным королем для росписи зала в нашем посольстве. Я волочился за турчанками, — уверяю вас, таких хорошеньких ножек вы не встретите нигде в Европе... Это я так, между прочим, а дело вот в чем. Нашим посланником в Константинополе был тогда нынешний церемониймейстер маркиз Панджили. Весь дипломатический корпус знал про связь его жены с испанским посланником Кампо Саградо. Какое постоянство? Не правда ли? И там испанец, и здесь... Однажды они вдвоем, Мариула и Кампо, задумали совершить по Босфору *partie de plaisir*... [4] днем. Взяли каик, стрелой помчавший их вниз по течению. Высадились в Бебеке. Вы знаете Константинополь? Бебек удивительно живописен, как, впрочем, и весь Босфор. Влюбленная парочка, побродив среди холмов, нацеловавшись под деревьями, забрела в глухой турецкий кафан утолить жажду. А в кафане этом бражничало, вопреки мусульманскому закону, с десятков турецких артиллеристов-солдат соседней береговой батареи. Как это вышло, не берусь сказать в точности, свидетелем не был, но только солдаты схватили

Кампо Саградо, связали его, и тут же по очереди, как говорят военные, «в затылок», наслаждались Мариулой... Не солдаты, а звери! Дикаие анатолийцы...

— Ужас! — вырвалось у ди Пинелли.

— Не знаю, был ли это для Мариулы особенный ужас. Она такая любительница сильных ощущений... Слушайте же, в этот самый день вечером у нее был парадный обед. Она сидела на своем почетном месте хозяйки, сидела, ну решительно, как ни в чем не бывало! Такая милая, обворожительная, светская... А ведь мы, гости, мы-то знали, что было днем на Бебеке...

— Какая выдержка! — изумился ди Пинелли.

— И добавьте, какая физическая выносливость. Другая на ее месте пластом, без задних ног лежала бы... И это еще не лучший конец... Дальше, — что ж дальше? Панджили был отозван по высочайшему повелению и до самой смерти короля Бальтазара оставался в тени.

— А Кампо Саградо?

— Его перевели куда-то с понижением. Не то в Аргентину, не то в Бразилию. Ну-с, ми-

лый ди Пинелли, эскиз готов. Потрудитесь взглянуть...

— Какая прелесть, какая прелесть! — загорелся секретарь Ее Величества, глядя на картон, — это не эскиз, это целый портрет во весь рост. И какое сходство. У вас богатейшая зрительная память. Это не платье, а шедевр! Ее Величество будет в восторге.

— А посему за здоровье Ее Величества еще раз, — подхватил Тунда, с какой-то жонглерской быстротой и ловкостью наливая и опрокидывая седьмую рюмку.

В соседней комнате затрещал телефон. Слышно было, как лакей подходил медленными шагами. Через минуту он, как встрепанный, вбежал в ателье.

— Полковник Джунга, адъютант Его Величества, спрашивает, может ли господин министр принять Его Величество минут через десять?

— Конечно, может. Постой! погоди! Ты, по обыкновению, все перепутаешь... Я сам поговорю с полковником, — и профессор Тунда мячиком выкатился из мастерской.

Оставшись один, кавалер ди Пинелли тот-

час же сбросил маску хорошо воспитанного, корректного человека вообще и светского придворного в частности. Этот уже седеющий, вдруг преобразившийся красавец ушел в созерцание эскиза. Сухое ястребиное лицо его выражало бесконечную трогательную влюбленность, а глаза так и светились романтическим обожанием. И чудилось, что это не двадцатое столетие, а средние века, и затянутый в черный жакет мужчина южного типа — не тридцатилетний придворный сановник, а юный паж, готовый целые ночи играть на лютне под окном своей королевы...

Мячиком вкатился из глубины квартиры знаменитый художник. Он застал ди Пинелли равнодушным, холодным.

— Итак, господин министр, я могу сейчас захватить с собой этот маленький шедевр, дабы скорее порадовать им Ее Величество?

— Конечно, конечно! Я вам его сейчас заверну, — и Тунда, неумело завертывая эскиз в белую твердую бумагу, задел ею торчавший в зубах окурок, и пепел обсыпал его бархатную куртку. Так, с этим пеплом, размазанным по груди, не замечая его, встретил министр

изящных искусств своего короля.

11. КАТАСТРОФА

Адриан приехал со старшим адъютантом, полковником Джунгой. Этот широкоплечий и грудастый великан считался одним из первых силачей во всей Пандурии. Густые усы, похожие на двух крысят, клубочками усевшихся под носом, крысят в постоянном движении, сообщали чрезвычайную свирепость лицу Джунги, в действительности человека доброй и мягкой души.

Адриан, осматриваясь томными, в шелку длинных густых ресниц глазами, молвил со своей обаятельной улыбкой:

— У вас, как всегда, такой живописный беспорядок.

— Увы, к сожалению, Ваше Величество, совсем не живописный. Беспорядок старого холостяка, привыкшего жить цыганом...

— А я к вам сразу по нескольким делам. Во-первых, относительно декоративного убранства к юбилейному празднику. Я уверен, ваш вкус и ваша фантазия сумеют скрасить недочеты и бедность наших дворцовых апарта-

ментов. У вас был только что ди Пинелли по этому самому поводу от мама, но я еще от себя прошу. Затем архитектор уже представил мне проект дома инвалидов. Я хочу узнать ваше мнение... Сегодня за завтраком у меня обсудим с вами вместе проект, который лично мне нравится. Он сумел сочетать архитектурное благородство общего с технической стороной. У каждого инвалида будет своя небольшая светлая комнатка, где он может заниматься тем ремеслом, которое ему по душе и по силам... Наконец, в-третьих, относительно портрета баронессы Рангья. Мы с вами остановились на небольшом, овальной формы.

— Так точно, Ваше Величество, соблаговолите взглянуть на выбранную мною рамочку. Она в гармонии и в стиле с задуманным портретом.

Не успел Тунда показать рамочку, как вновь затрещал телефон. Лакей доложил:

— Граф Видо покорнейше просит Его Величество пожаловать к аппарату.

— Мы виделись с графом всего полчаса назад. Вероятно, что-нибудь очень серьезное, — недоумевал король, идя к телефону, мелькая

длинными, стройными ногами в красных галифе, в гусарских сапогах и чуть слышно звеня маленькими шпорами.

Вернулся взволнованный, возбужденный.

— Катастрофа... Несчастье! Городок Чента Чинкванта весь уничтожен, раздавлен. Сорвалась большая скала... Много человеческих жертв... Какой ужас! Видо уже отправил летучие санитарные отряды. Джунга, едем сейчас же. А вы, господин министр... Для вас как для художника...

— Сию минуту, Ваше Величество, сию минуту... Только захвачу альбом и карандаши, — и, взяв поспешно и то, и другое, сунув в карман своей бархатной куртки несколько сигар, Тунда, как был, в мягком, домашнем берете, кинулся догонять короля и Джунгу, уже гремевшего по лестнице саблей. Напрасно зывал сверху лакей:

— Шляпу, господин министр... шляпу!..

У подъезда все трое сели в мощный королевский «Мерседес» с шофером, одетым во все белое, и выездным лакеем в ярко-голубом плаще с пелериной и в треуголке с плюмажем из белых перьев.

— Чента Чинкванта. Полный ход! — бросил король.

Машина, содрогаясь, гудя, ринулась через весь город, как взбесившийся зверь.

Маленький городок Чента Чинкванта находился в тридцати километрах от Бокаты, почти у самого моря. Вела туда шоссейная дорога, то прямая, гладкая, то серыми петлями и зигзагами прорезывающая складки гор, особенных, прибрежных гор Пандурии с их нежной голубоватостью, переходящей в ярко-фиолетовый тон. Гор, увенчанных Бог знает на какой высоте острыми, ослепительно розовеющими на солнце вершинами. Попадались гранитные мосты, переброшенные выгнутой аркой через головокружительные бездны. Не нынешнее, а что-то далекое, циклопическое, отзывающееся мощным размахом и мощной работой уже давным-давно вымерших титанов было в этих монументальных, переживших тысячелетие гранитных арках.

Древние римляне, владевшие миром, владели и этой прибрежной полосой.

Острой колокольней, еще более острым минаретом мусульманской мечети и красно-

ватыми чешуями почти плоских черепичных крыш лепилась Чента Чинкванта по склону пышно-зеленых, сплошь в садах и огородах, холмов. Веками жила тихо и мирно Чента Чинкванта. Жители с детьми и женщинами — было их всех тысяча с небольшим — занимались кто рыбной ловлей, кто садоводством. Фрукты, овощи, рыба — все возилось в базарный день в Бокату на остроносых и длинных фелюгах. И пандуры, и мусульмане гнали эти перегруженные кладью фелюги гибкими веслами, гнали с изумительной быстротой.

Городок, обращенный к морю, живописный своей хаотичностью и едва ли не полным отсутствием улиц в европейском значении слова, поднимался, цепляясь белыми домиками, до подножья горы, где уже начинались пастбища с одинокими фигурами обожженных солнцем и ветром пастухов, с грязно-серыми силуэтами овец и баранов. А вверху, на невероятных крутизнах, высилась вот-вот готовая свалиться скала, величиной, по крайней мере, в двадцать многоэтажных домов. Висела она так еще с тех незапамятных

времен, когда не было еще не только Чента Чинкванты, но даже и циклопических мостов из гранита.

И надо же случиться катастрофе в глухую ночь, на самом рассвете, когда необыкновенно сладок сон и весь городок спал под красными плоскими крышами. Скала, висевшая в течение сотен, а может быть, и тысяч жизней человеческих, сорвалась с безумной крутизны своей, в таком же безумно стремительном падении дробясь на глыбы минеральных пластов, земли и камней. На своем пути чудовищные глыбы так расплюснули небольшую глинобитную мечеть, как если бы это был карточный домик, и так сломали минарет, как если бы встретили на пути своем воткнутый в землю острием вверх карандаш. Церковь пострадала меньше. Прокатившиеся мимо глыбы стихийно разворотили весь фасад, сделав гигантскую брешь. Из ста пятидесяти домиков Чента Чинкванты добрая половина была сметена, раздавлена, четверть пострадала весьма значительно и лишь последняя четверть отделалась кое-как, сравнительными пустяками.

Чента Чинкванта имела стратегическое значение. Здесь был ключ к подступам с моря к Бокате. В полукилометре находилась береговая, искусно замаскированная батарея, соединенная телефонным проводом с генеральным штабом и военным министерством.

Артиллеристы — офицеры и солдаты, прибыв с топорами и лопатами, начали раскапывать похороненных замертво и заживо, но, убедившись в своем бессилии, дали знать в Бокату.

Военный министр в восемь утра поднял с постели графа Видо, занимавшегося до трех часов ночи. Пошла телефонная трескотня, какой не было еще со времени войны, когда король Адриан, отовсюду окруженный неприятелем, казалось, обреченный, погибающий, вдруг дерзким, молниеносным маневром сам перешел в наступление и, разбив втрое многочисленного врага, преследовал его, бил и гнал сто двадцать километров...

О событиях в Чента Чинкванте уже в десять утра вся столица оповещена была экстренными выпусками газет. Левая и социалистическая печать не упустили, разумеется,

случая лягнуть вечно во всем виноватое правительство. И то, что маленький городок расплюсчен был сорвавшейся скалой, и в этом усматривала «оппозиция» империалистические и реакционные козни графа Видо и всей его «буржуазной камарильи».

12. КОРОЛЬ И ДЕМОКРАТЫ

Все шоссе от столицы до Чента Чинкванты было занято всадниками, автомобилями, экипажами, пешими колоннами войсковых частей. Полк гвардейских улан Ее Величества шел на рысях, чтобы, скорее достигнув Чента Чинкванты, принять участие в спасении погибающих. Жандармерия, полиция, саперные и технические команды с грохотом, в облаках густой и едкой пыли, мчались на грузовиках. Мчались серые автомобили Красного Креста, мчались санитарные «фаланги» имени королевы-матери, принцессы Лилиан и короля Адриана. Врачи, сестры милосердия и фельдшерский персонал — все, кое-где и кое-как примостившись, привставая от нервного нетерпения и думая ускорить этим бег машины, с пьяными от возбуждения лицами, хрип-

ло срываясь, глотая пыль, подгоняли шоферов.

Легким гимнастическим шагом, почти не отставая от конницы, бежал полубатальон горцев-мусульман в красных фесках, в синих куцых куртках и в широких синих шальварах, переходящих в белые чулки и мягкие полусапоги буйволово́й кожи.

И все: пехота, конница, Красный Крест, санитарные колонны — все, заслышав сзади знакомые звуки мелодичной сирены, единственной во всей Бокате, давали дорогу, и королевская машина проносилась в вихре и только можно было заметить трепещущий флаг да белый плюмаж выездного лакея.

Сначала король обогнал несколько автомобилей — с графом Видо, министрами, депутатами парламента и высшими военными властями. Потом, увидев в сером, низком, почти гоночном автомобиле сестру милосердия с большими, как звезды, сияющими глазами, приветствовал ее рукой в белой, уже запыленной перчатке. Это была принцесса Лилиан с секретарем своим, горбатым Гарджуло, и двумя фрейлинами.

Страшен вид человеческого жилья, уничтоженного бомбардировкой. Менее страшно зрелище деревьев, пострадавших таким же образом, но все же впечатление сильное, хватающее за душу. Ни одного кипариса на мусульманском кладбище не осталось в живых. Да и все кладбище было погребено под обломками свалившейся скалы. От гордых кипарисов с темно-зеленой листвой, поднимавшихся к небесам заостренными верхушками, осталось лишь жалкое воспоминание. Одни лежали во прахе, с вывернутыми корнями, с еще свежей, землисто-черной воронкой. Другие, сломанные пополам или на некоторой высоте, являли собой острые арки, и что-то жалкое, щемящее было в уткнувшихся в землю верхушках.

Когда прибыла вереница автомобилей, раскопки уже шли полным ходом. Работали соседи-артиллеристы и уцелевшие — их было немного — горожане. Бузни как истый шеф тайного кабинета очутился в Чента Чинкванте за несколько минут до прибытия короля. Он знал, что на Адриана готовится покушение, и, бросив впереди себя на грузовике два-

дцать дюжих, усатых и бритых, одетых во все черное и в шляпах-котелках агентов, искусно разместил их. Так разместил, что каждое неизвестное лицо, которое пожелало бы приблизиться к Его Величеству, находилось бы и в поле зрения, и в поле «прицела».

Были курьезы, почти неизбежные в подобных катастрофах. Один дом, например, уцелел весь, но деревянный резной восточный балкон вдоль всего фасада сорвался и висел, как говорится, «на ниточке». Другой домик, привлечший всеобщее внимание, тоже остался цел и невредим, но непостижимо, в силу каких таких законов баллистики, перемахнувшие через крышу глыбы земли, каждая в полтора человеческих роста, плотно завалили и дверь, и единственное оконце. Закупоренные обитатели не могли выйти из дому. Высохший, с подслеповатыми глазками мусульманин, побывавший на своем веку не менее пяти раз в Мекке, бессильно ковырялся в завалившей дверь земле.

Подошел король. Ему казалось, что этому ковырянию конца-краю не будет. Он порывисто снял с себя расшитую белыми бренден-

бургами венгерку, бросил ее на ловко подхватившие руки выездного лакея и, вырвав у старика лопату, начал так орудовать ею, что во все стороны полетали большие, рыхлые комья... Богатырь Джунга тотчас же присоединился к королю, творя чудеса тяжелым огородным заступом.

Адриан в одной рубахе и красных галифе, раскапывающий засыпанный домик, произвел сенсацию. Все министры, за исключением графа Видо, спеша раздобыть кто кирку, кто лопату, с неуклюжестью штатских людей, не знающих, что такое тренировка и спорт, бросились подражать королю.

Особенно суетился новоиспеченный барон, все время желая попасться на таза Его Величеству. Тщетные усилия, ибо король никого не замечал: ни обливавшегося потом министра путей сообщения, ни стоявших в десятке шагов с независимым видом с папироской в зубах депутатов сейма — Шухтана и Мусманека.

Не замечал он и сухо тарахтящих кинематографических аппаратов. По всей Пандурии, по всему Западу разнесутся снимки, где на

фоне страшного несчастья король, движимый таким гуманным порывом, работает, как простой солдат. А левые депутаты, мечтающие спихнуть его, дымя папиросами, один насмешливо, другой злобно, критикуют короля и принцессу Лилиан, заботливо перевязывающую на санитарных носилках раненых, искалеченных мужчин, женщин, детей.

Шухтан — высокий, упитанный, с животиком, избалованный большой практикой адвокат. Мясистое лицо, горбоносый семитский профиль. Густые волосы в жестких завитках. За стеклами золотого пенсне поблескивают самодовольные, наглые, сытые глаза. Одет с иголки, но это — безвкусица, дурной тон. На левой руке — английский дорожный плащ. На жирных пальцах правой руки — два бриллиантовых перстня. Красный, бантиком, галстук, куцый коричневый пиджак, панталоны «петита» — рисунок мелкой шахматной доски, бледно-желтые туфли, а на голове — с небрежностью, претендующей на артистическую, — заломленная панама.

Таков был кандидат в премьер-министры будущей Пандурской демократической рес-

публики.

Резкий контраст являл собой другой адвокат, метящий в президенты Пандурской демократической республики. Бесталанный, безнадёжно лишенный малейшего дара слова как адвокат и неплохой митинговый болтун, Мусманек не имел практики. Даже «политические» избегали обращаться к нему: провалит. Но жил он безбедно, получая какие-то загадочные субсидии. У него была некрасивая жена и некрасивая дочь — старая дева с прыщеватым, лошадиным лицом. Сам он был не так мал ростом, как плюгав, сер и бесцветен. Узкие плечики, впалая грудь и, как на вешалке, измятый пиджак. Маленький носик, маленькие глазки, скрытые «профессорскими» очками. Грязно-седоватая борода, прямая, жесткая, растущая кое-как и вместе с усами закрывающая губы.

13. ПОЯВЛЕНИЕ ЗИТЫ

После коротконового Шухтана оставалось впечатление большой головы и большого лица на короткой шее. После Мусманека не оставалось никакого впечатления, — до того весь он бесцветен. Мелкое, закрытое лицо забывалось через минуту. Вернее, это был человек безо всякого «лица».

— Ищут популярности. Ищите, ищите! Вас ничто не спасет! Над вами уже занесен меч судьбы! — тихо произнес Шухтан с такой же самой жирной улыбкой, как и его мясистые, крупные черты и глаза.

Мусманек подобострастно хихикнул:

— Зажрались они в своих дворцах! Зажрались! Пора итога...

Неудачник-адвокат уже рисовал себе, как он будет жить в королевском дворце и как будет выписывать из Парижа для своей супруги и дочери последние модные новинки. Их будут привозить, вернее, они будут прилетать на аэроплане.

Только на аэроплане! Мусманек видел в этом особенный президентский шик. Но сей-

час он увидел перед собой нечто более реальное. Животом и широкой грудью напирал на него черноусый «дядя».

— Господа, потрудитесь отойти подальше...

— Мы депутаты парламента, — с присущим ему апломбом, переходящим в наглость, возразил Шухтан.

— Я знаю, но это нисколько не меняет дела. Потрудитесь отойти! — повысил тон, нисколько не повышая голоса, черноусый господин в котелке, делая вид, что беседует самым наилюбезнейшим образом.

Шухтан и Мусманек, фыркая, повиновались.

— Этот Бузни всю местность наводнил своими шпиками, — ворчал Шухтан.

— А чем же держится королевская власть, как не шпиками? — буркнул в свою грязно-седую бородку Мусманек.

Баронесса Зита Рангья помогала принцессе Лилиан ухаживать за ранеными. На каждом шагу — потрясающие картины. Особенно много было детей, вынесенных в одном белье, как застала их катастрофа во время сна.

Окровавленные лохмотья и куски мяса. Никакие швы, никакие перевязки не могли их спасти. Они умирали с той особенной кротостью и беспомощностью, как только умеют и могут умирать дети. Были посиневшие тельца с раздробленными ножками, ручками, изуродованным личиком. Матери кидались к ним, выхватывая у санитаров и сестер, прижимали судорожно, истерически, словно думая этим материнским порывом вдохнуть угасающую жизнь...

Мусульмане мучились и умирали с поистине восточным фанатизмом, без криков, а лишь с тихими глухими стонами, призывая Аллаха.

Миниатюрная Зита, вся в белом, напоминающая волшебную фею из балета кукол, поработав и желая отдохнуть, подошла к дому, где привалившая к дверям глыба, стараниями Адриана, Джунги и ротмистра Алибега, командующего королевским конвоем, уменьшилась на уже целых девять десятых. Еще немного усилий — и можно будет проникнуть в дом.

Рангья питал слабость к форменной одежде

де. Заняв министерский пост, он тотчас же избрал для своего ведомства красивую форму с нашивками, цветными кантами. Фуражки — с блестящим золоченым значком на околыше. И сам он был расшит весь кантами и галунами, а фуражка, съехавшая на затылок, сверкала девственной новизной.

Тучный, обливающийся потом, сопящий в крашенные усы, он все время вместе со своей лопатой держался возле короля.

Зита никогда еще не видела их так близко, а может быть, и видела, но не обращала внимания. Но сейчас, в блеске ясного утра, на фоне величавой, живописной природы, такой равнодушной, безучастной к смерти, страданиям и горю, сейчас особенно ярко видела она разницу между любовником и мужем.

Рангья был типичнейший левантинец, и к его смуглому лицу, его маслянистым иссиня-черным волосам и влажным глазам навывкате, с напухшими тяжелыми веками, гораздо больше шла бы феска, нежели фуражка.

— Вот что значит, — мелькало у Зиты, — плебей, и вот что значит — порода!

Рангья весь был мокрый, пот с него лил ру-

чьями, застилая глаза, размазывая краску густых усов. Защитного цвета мундир пропотел и под мышками, и на спине.

Мускулистый, великолепно сложенный Адриан — сухой весь, как если бы не было ни тяжелой, напряженной работы, ни знойного солнца. Только откинутый назад пандурский лоб слегка влажен, лицо и ресницы напудрены густым слоем пыли, сообщавшей какой-то особенный прекрасный блеск глазам. Белые зубы, освещая в улыбке лицо, блестели еще ярче.

Темные, миндалевидные глаза короля встретились с большими светлыми глазами баронессы Рангья, постоянно меняющими свой цвет с каким-то неуловимым очарованием.

Десятки чужих, посторонних глаз отделяло их. Отделял этикет, ибо и здесь, в этом горном, полудиком местечке, король без мундира, в одной рубахе и с лопатой в руке, оставался королем. И потому, что оба не могли двинуться друг к другу навстречу, как пара самых обыкновенных влюбленных, именно потому их запретный, тщательно скрывае-

мый, хотя и явный для многих, роман и почувствован был в момент встречи взглядов с особенной, жуткой, стыдной и интимной остротой. Адриан вспыхнул. Это не было замечено потому лишь, что смугло-матовое лицо его, как гримом, было покрыто пылью. Зато маленькая баронесса предательски зарделась. Предательски, ибо необыкновенная, нежная и чуткая кожа бледного лица выдавала ее с головой, выдавала все ее душевные переживания. И тем горячее и смущенней был ее румянец, заливший и высокий лоб, и бело-молочный подбородок, что в глазах, опущенных длинными ресницами, она прочла:

— Когда же я буду опять всю тебя, точеную, ослепительно-белую, покрывать безумными поцелуями? Когда? Ведь мы уже несколько дней не виделись...

Это было только для нее. А «для всех» он произнес с улыбкой и легким поклоном в ответ на ее глубокий придворный реверанс, такой, как если бы это было на парадном обеде в кирпично-красном дворце, за кирпично-красной стеной:

— И вы здесь, баронесса? Делает честь ва-

шему доброму сердцу, что вы приехали помочь хоть немного этим несчастным...

— О, государь, ваш личный пример может воодушевить самых черствых, может растрогать самое каменное сердце!

Так говорил маленький, нежно-коралловый ротик с чуточку кривой линией губ, — эта неправильность сообщала им что-то особенно милое и детски-капризное, — а глаза, ставшие синими, говорили: «О, как я люблю тебя!»

Все это один миг, да и то прерванный. От имени Лилиан явилась за Зитой одна из фрейлин принцессы и увела ее, — число раненых увеличивалось и все рабочие руки были на счету.

Адриан, довольный сознанием, что любит и любим, что ему тридцать два года и впереди так вольно разлеталась вся жизнь, еще с большей энергией и силой схватился за лопату. Через несколько минут забаррикадированная стихией дверь была освобождена. Адриан первый проник в дом. Из бедного мусульманского жилища он вынес на руках полузадохшегося трехлетнего ребенка. Джунга

бережно, как будто опасаясь раздавить своими железными руками, нес молодую мать, от ужаса впавшую в глубокий обморок. Не желавший ни в чем отставать Рангья тащил на спине отца ребенка, тоже обморочного, либо от удушья, либо от страха. На воздухе все трое, впрыснутые водой, растертые, мало-помалу приходили в себя.

В этой человеческой трагедии, трагедии с декорациями, которых не создать ни одному живописцу мира, — так они созданы были Господом Богом, — трагедии на фоне безмятежных, бирюзовых небес и воздушных фиолетовых горных далей, были разные герои и действующие лица, и пострадавшие, и те, что нуждались в уходе, и те, для которых вместо всякого ухода необходим был вечный покой. Были те, которые облегчали страдания одних и снаряжали других в далекий, далекий неведомый путь. Были равнодушные и праздные, пытавшиеся сочинить из катастрофы политический скандал, зрители вроде Шухтана. Были чиновники долга, — сановники, министры. Высокое положения обязывало их поскучать. Были хищники, почувавшие зарабо-

ток и во имя этого заработка слетевшиеся: сотрудники газет, иностранные корреспонденты, кинематографисты.

И среди этой пестрой толпы, по разным причинам съехавшейся в расплющенный несколькими сотнями тысяч тонн минеральных пород и земли, крытый чешуйчатой черепицей городок, профессор Тунда единственный был «сам по себе».

Трагедия Чента Чинкванты была для него изумительным по своему драматизму пейзажем. Пейзаж после битвы титанов, швырявшихся обломками поднебесных скал.

И вот их нет уже — титанов. Они скрылись, и вместо них суется, хлопочут в этом хаосе какие-то новые человеческие муравьи. Оставаясь спокойным, сошедшим с Олимпа — художником-творцом, Тунда в берете, с погасшей сигарой в зубах, зарисовывал в свой альбом и превращенные в бесформенные груды жилища, и причудливые формы гигантских глыб, и поверженные в прах кипарисы, и с одинаковым мастерством успел набросать и тонкую Лилиан, ухаживающую за ранеными, и величавого графа Видо, окруженного мини-

страдами, и миниатюрную фигуру баронессы Рангья, и короля с лопатой, и Джунгу, и везде поспевающего Бузни.

Каждый набросок — шедевр в смысле сходства, движения.

Француз-корреспондент, маленький, кругленький, еврейского типа, следовал по пятам за профессором, через плечо засматривал в альбом, ахая, охая, восхищаясь. Наконец не выдержал:

— Господин министр, за большой рисунок этой катастрофы, специально исполненный для «Illustration», — десять тысяч франков! Чек сейчас!..

— Убирайтесь к черту! — не отрываясь от альбома и не зная, кого он посылает к черту, буркнул художник, сквозь сжимавшие потухшую сигару зубы...

14. МИССИЯ КАРДИНАЛА ЧЕРЕТТИ ДЕЛЛА ТОРРЕ

Кардинал монсеньор Черрети делла Торре был назначен папским нунцием в Бокату, сменив предшественника своего, кардинала Звампу, отозванного в Рим.

Черетти делла Торре, несмотря на свои пятьдесят шесть лет, считался одним из красивейших князей католической церкви. Он был совершенно седой, имел свежее, молодое бритое лицо и еще более молодые глаза, чернью, жгучие глаза сицилийского пирата. Да он и был родом из Катании. Может быть, в очень отдаленные времена предки его и занимались морским разбоем, но уже пятьсот лет назад Черетти делла Торре считались далеко не последними в семье сицилийской аристократии.

У женщин кардинал имел такой успех, какой ни одной оперной знаменитости даже не снился.

Но монсеньор отличался в этом отношении большой разборчивостью, выделяя поклонниц, соединявших приятное с полез-

ным — внешнюю красоту с положением в свете и с политическими связями.

Сам человек светский с головы до ног, монсеньор владел собой с великолепной ватиканской выдержкой. Одного не мог только, — гасить яркий разбойничий блеск глаз своих, живых, слишком живых для такой высокой духовной особы... Но этими глазами и покорила он женщин, изнемогавших от их сицилийского зноя...

На другой день после катастрофы в Чента-Чинкванте кардинал был принят в частной аудиенции королевой-матерью в ее белой гостиной с громадным портретом, где на фоне дворцового парка Тунда изобразил Ее Величество в черной амазонке, верхом на белом арабском коне. Эффектное сочетание стройной и сильной фигуры царственной амазонки в черном с белым, как снег, розовеющим на солнце арабским скакуном чрезвычайно удалось Тунде.

Кардинал в темной рясе, подпоясанный широким фиолетовым поясом и в красной шапочке, чудесно оттенявшей его седые волосы, знал, что сообразно выработанному для

этой аудиенции этикету, сначала он королеве целует руку, а затем тотчас же она коснется губами его руки.

И так и вышло. Он с явным удовольствием мужчины поцеловал маленькую, надушенную, выхоленную руку Ее Величества, а Ее Величество коснулась губами аметистового перстня на пальце кардинала, давая понять, что ее поцелуй — символ.

Черетти делла Торре, до мозга костей куртизан, с восхищением оценил этот дипломатический жест Маргареты.

Начал он с того, с чего начинают в таких случаях все политики в пурпуровых мантиях.

Он привез Ее Величеству благословение Его Святейшества. Он бесконечно счастлив быть аккредитованным при дворе, где молодой и красивый король стал мудрым вождем и героем своего народа и где королева-мать восхищает всю Европу своим умом, изяществом, своим обаянием королевы, обаянием женщины, тонкого политика и не менее тонкого ценителя искусств и вообще прекрасного.

Не оставшись в долгу, королева ответила

той же монетой:

— Монсеньор, я очень рада. Мое искреннее желание осуществилось. Когда я узнала, что кардиналу Звампа предлагают пост в Риме, я написала Его Святейшеству, прося назначить в Бокату вас, монсеньор.

И светлые глаза королевы встретились со жгучими разбойничьими глазами Черетти. Лукавый нунций знал, что королева не писала ничего о нем папе и что вообще, если даже имела о нем, Черетти, какое-нибудь представление, то весьма смутное, однако рассыпался в таких благодарностях, как если б он был скромный, незаметный каноник и от Маргареты зависела вся его карьера в дальнейшем.

Лгал вкрадчивый голос с таким богатством вибрирующих интонаций, лгала выразительная актерская улыбка, но полные дерзкого огня глаза не могли лгать.

Он это чувствовал и был недоволен собой.

Дальше он выразил, опять-таки без участия глаз, свое соболезнование по поводу катастрофы в Чента Чинкванте.

— Это ужасно, ужасно! — повторяла королева, — столько несчастных жертв! Ах, монсе-

ньор!..

— Божья воля, — со вздохом развел он руками. — Весь город только об этом и говорит... Его Величество, рискуя в порыве христианского человеколюбия драгоценной жизнью своей...

— Ах, не вспоминайте, монсеньор... Мне даже сейчас жутко. Не правда ли, странное чувство? Бояться за близкое, дорогое существо по миновании опасности. Так бояться, как если бы опасность все еще грозила. К великому сожалению, я не могла поехать. Я была не совсем здорова.

«Да и вообще, как я слышал, ты избегаешь показываться при свете дня. Особенно же на солнце», — подумал кардинал, соболезнующе качая головой.

А она, смотря на него сощуренными глазами, думала в этот же самый момент, что ему, с его лицом и глазами, больше был бы к лицу расшитый золотом костюм испанского матадора, чем кардинальская мантия.

Так, мысленно критикуя друг друга, они все же оставались довольны: королева пандуров — монсеньором Черетти, монсеньор Че-

ретти — королевой. А главное, дальнейшая беседа послужила причиной резкой перемены в судьбе главных героев нашего романа.

Путь из Рима в Бокату лежал через Трансмонтанию. В столице Трансмонтании монсеньор был принят и обласкан королевской четой. Хотя королевская чета, подобно всей трансмонтанской династии, отличалась особенной исключительной преданностью Святейшему Престолу, — королеву и короля многие называли вассалами Ватикана, — однако прием, оказанный монсеньору Черетти, таил в себе еще и другое кое-что, кроме верноподданнических чувств к наместнику Христа на земле.

Кардинал покинул страну, пожалованный в счет будущих заслуг своих высшим орденом. Сейчас, в белой гостиной Маргареты, он хотел оправдать доверие. Он дипломатически стал нащупывать, как относится королева-мать к Трансмонтании и к тем, кто ею правит.

Маргарета высказалась:

— Внешние добрососедские отношения не оставляют желать лучшего, и в прошлом году

мы обменялись визитами. Королева Элеонора, король Филипп и прелестная Памела гостили у нас три дня. Было сделано все, чтобы они не скучали. Мы большие друзья, а между тем, всегда какие-то пограничные инциденты... Но это пустяки... А вот главное... Трансмонтания в последнее время является базой революционной пропаганды, направляемой в Пандурию.

— О, Ваше Величество! — горячо воскликнул монсеньор. — Я уверен, что об этой базе королевской чете ничего не известно.

— И я уверена. Однако... Однако остается какой-то неприятный привкус...

— Ваше Величество, к сожалению, конституция в Трансмонтании еще либеральнее, чем в Пандурии. Венценосец Филипп, этот прямой потомок Людовика Святого, изволил с горечью обмолвиться мне, как он опутан по рукам и по ногам этой конституцией. Парламентаризм — вот зло.

— Зло, — вдумчиво согласилась Маргарета, — и не как идея, — идея прекрасная, подобно большинству идей, — а как осуществление. Для вершения с парламентской трибу-

ны судьбами государства идут, увы, гораздо чаще глупые, тупые, продажные, с низкой и грязной душой, чем умные, образованные, неподкупные и с чистым сердцем. И уже потому это именно так, что первых неизмеримо больше на свете, чем вторых.

— Золотые слова! — согласился монсеньор, склоняя голову. После некоторой паузы он спросил, с виду меняя тему, а на самом деле логически развивая ее.

— Ваше Величество, вы тонкий знаток женской души. Каково мнение ваше о принцессе Памеле?..

«А, вот где зарыта собака», — подумала королева, ожидавшая этого вопроса.

— Я уже сказала, монсеньор... Она прелестна. Будь жив Веласкес, он написал бы с нее одну из своих инфант. Памела хорошо образована и воспитана, далеко не в пример многим теперешним принцессам, которые убегают с какими-то чуть ли не настройщиками и берейторами из цирка. Когда она выйдет замуж, она будет красива, горда, величественна. Последнее совсем не легко, — носить и свою мантию, и свою корону. Одного боюсь...

— Да? — насторожился своими жгучими глазами кардинал.

— Что при ее слабом здоровье она или совсем не будет иметь детей, или же первые роды явятся для нее, бедняжки, фатальными.

— О, я полагаю, что в данном случае опасения Вашего Величества напрасны, — поспешил возразить папский нунций, и с такой уверенностью, как если бы он всю свою жизнь был лейб-акушером.

— Дай Бог, чтобы вы были правы, монсеньор, и я ошибалась... Дай Бог...

Теперь кардинал ощутил под собой более твердую почву. Он понял, что Маргарета согласна увидеть Памелу супругой своего сына и только одно смущает, — возможная бесплодность Памелы.

— Когда она гостила у нас, — продолжала Маргарета, — от меня не ускользнуло ее увлечение Адрианом, — да и в самом деле, разве он может не понравиться? Он, с его внешностью, с его обаянием?..

— С героической легендой, обвеявшей его славное имя? — подхватил кардинал. — Самый завидный жених в Европе, увы, слыш-

ком долго остающийся женихом, — вздохнул Черетти так глубоко, словно женитьба короля Адриана была для него вопросом жизни или смерти.

Поэтому он как бы вскользь упомянул, что Памела далеко не бесприданница. Королевской четой положена крупная сумма на ее имя в один из лондонских банков. Но самое главное не в этом, а в драгоценностях, доставшихся Памеле, когда она была еще ребенком, от ее покойной бабушки, графини Шамбор.

Кардинал видел эти драгоценности. Королева-мать показывала ему. Среди них очаровательная бриллиантовая диадема Марий-Антуанетты. Настоящий шедевр в смысле подбора камней и тончайшей художественной работы.

Отпуская нунция, Маргарета обнадежила его:

— Монсеньор, мною будет сделано все в пределах моих слабых материнских сил... Я приглашу принцессу Памелу на свое пятидесятилетие, чтобы она ближе могла познакомиться с Адрианом. А вас милости прошу пожаловать сегодня к обеду. Вы где останови-

лись?

— В отеле «Мажестик», Ваше Величество.

— В семь вечера адъютант сына заедет за вами...

И опять он поцеловал ее руку, а она коснулась губами аметистового перстня.

15. НЕОЖИДАННЫЙ УДАР

Маргарета сама ничего не имела против того, чтобы породниться с правящим домом Трансмонтании, почти великодержавной соседки своей. Это давно приходило ей в голову. Больше чем приходило — не давало покоя. Но сейчас, после беседы с папским нунцием, она с какой-то особенной выпуклой ясностью поняла: этот брак необходим, неизбежен. Осуществить его надо возможно скорей и во что бы то ни стало. Гибкий ум королевы подсказывал: идти прямой дорогой, как это было до сих пор, убеждать сына, переходя от угроз почти к мольбам, и наоборот, — никакого успеха не будет...

Она так и сказала секретарю своему, камергеру ди Пинелли.

— Он влюблен в Зиту Рангья. Натура глубо-

ко честная, прямая, чистая, — Адриан не способен делить себя между королевой-супругой и любовницей. Не способен. Бывают такие мужчины, их очень мало, но все же бывают...

— В таком случае создается невозможное положение, Ваше Величество! — озабоченно развел руками жгучий, уже седеющий красавец.

— Невозможных положений нет, — улыбнулась Маргарета, — есть трудные, очень трудные. Мы имеем дело с очень трудным положением, но это еще не значит — невозможным. Выход есть. Победа возможна. Но там, где победители, там и жертвы. В данном случае придется пожертвовать маленькой Зитой, которую я очень люблю, как за нее самое, — ведь она же прелестна, — так и за то, что она искренно любит моего сына. Да, да, не делайте таких глаз и не возражайте! У меня сердце чуткое, — сердце женщины, и я вам скажу: ее не привлекает в нем блеск обстановки, высокое положение. Если б мановением волшебной палочки он из короля пандуров превратился вдруг в скромного офицера или чиновника, Зита... Вы понимаете, вот за что я ее

ценю и люблю, и вот почему мне так тяжело сознавать ее роль жертвы, жертвы, увы, неизбежной! Позвоните и от моего имени пригласите ее к пяти часам.

В пять часов Зита Рангья удостоилась особенной чести.

Вдвоем с королевой она пила чай в том самом голубом будуаре, порог которого еще не переступила еще ни одна из самых знатных и заслуженных дам Двора.

Обласканная, Зита сияла. Королева похвалила ее светлый весенний туалет, цвет лица и, указывая на картину Ватто, где на лужайке резвились напудренные маркизы, молвила:

— Дитя мое, вы точно сошли ко мне прямо оттуда. Вам даже не надо мушек. Сама природа позаботилась. Эти два родимых пятнышка... До чего они в стиле вашей капризной и хрупкой красоты...

— О, Ваше Величество, вы так незаслуженно милостивы и добры ко мне, — отвечала маленькая Зита с кроткой улыбкой, с дивным сиянием глаз и чуточку искривленной линией маленьких, едва подкрашенных губ.

— Дитя мое, не знаю, добра ли я, но вы сей-

час увидите, что я умею быть жестокой. У нас с вами будет сейчас очень серьезный и для нас обоих очень тяжелый разговор.

И это предисловие, и тон, каким оно было сказано, и лицо Маргареты, хотя по-прежнему обаятельно-ласковой, но уже какой-то другой, — все это вместе омрачило Зиту, застало врасплох, и не только ее, но и ее улыбку. Линии губ, выражение черт еще не успели встретить готовящийся неведомый зловеющий удар, но глаза уже потемнели тревогой, как подернутые тучами небеса.

Не давая опомниться, выскользнуть из-под уже создавшегося настроения, королева продолжала быстро, убедительно и едва ли не впервые в жизни своей — горячо:

— Дитя мое, я знаю все! Сначала, помните, я относилась к вам с недоверием, я изучала вас, ревниво изучала, как изучает мать избранницу своего сына. Потом, когда я убедилась в глубине вашего чувства, я полюбила вас! Настолько полюбила, что если бы Адриан не был королем, а его младшим братом, моим вторым сыном, я первая, слышите, первая благословила бы ваш морганатический брак.

Но, к сожалению, у меня один сын-король, король, до сих пор еще холостой. Это невозможно. Династия не может пресечься из-за того, что монарх влюблен в свою подданную, к тому же еще супругу своего министра. И вот, дитя мое, если вы действительно любите настоящим чувством, готовым на самопожертвование, — в чем я ни на один миг не сомневаюсь, — вы принесете свое личное счастье... — королева не договорила, увидев крупные, заблестевшие на ресницах молодой женщины слезы. Углы губ Зиты подергивались. Подергивалось личико. Гордость и сильная воля, сильная в этой миниатюрной женщине, удерживали ее от рыданий.

С сочувствием и затаенной тревогой наблюдала королева происходившую в Зите борьбу. Сейчас, в маленьких ручках своих, баронесса держала участь династии Ираклидов. Победит в ней эгоизм женщины, не выпускающей своего, — рухнет план королевы Маргареты и нунция Черетти.

И пятидесятилетняя волшебница, привлеки Зиту к себе, обняв, покрыла поцелуями ее щеки, большой выпуклый лоб, сияю-

щий золотом, яркие, густые волосы.

— Дитя мое, дитя мое... Мне так же больно, как и вам.

Зита, на ласку отвечая лаской, прижала к губам сначала одну руку матери Адриана, потом другую, потом, решительным движением отстранив их, отстранилась сама, как стальная пружина, одним движением выпрямившись. Это уже не была готовая разрыдаться маленькая женщина, линия губ уже не была детски-капризной, а выражение сухих, еще более потемневших глаз было почти вызывающим. Какие-то снопы огненно-синих искр метали эти глаза.

— Ваше Величество, я бросила жребий. Я взяла в руки себя, свое сердце и готова поступиться своим личным счастьем, моим чувством, которое до сих пор было всего дороже на свете. Приказывайте...

— Какие слова... Зита, я могу только просить, и я прошу вас... — королева запнулась. — Боже, как это мучительно... Зита, я не скажу ничего больше... Вы умная, чуткая, и эти ваши чуткость и ум подскажут вам...

— Они уже мне подсказали, — твердо под-

хватила Зита. — С этого момента мое поведение будет по внешности таковым, чтобы Его Величество имел полное основание считать меня дрянной, гадкой, недостойной. Отвернувшись от меня с презрением, вылечившись от своей любви, он бросится туда, куда уже давно зовут его долг монарха и долг последнего из династии Ираклидов... Клянусь, я сделаю так. Клянусь! Довольны ли вы мною, Ваше Величество?..

Королева молча смотрела на нее. Смотрела, как до сих пор еще никогда ни на кого не смотрела. До сих пор это был взгляд сверху вниз. А сейчас перед ней было существо, не только равное ей, но и высшее, высшее через принесенную жертву, через свой подвиг, такой благородный, прекрасный, такой величественный. Маленькая баронесса, изящная фея из балета кукол, выросла вдруг до таких исполинских размеров, что королева сама себе показалась рядом с ней такой маленькой-маленькой.

И, отпуская Зиту, она уже не утешала ее. Теперь ее высокая, больная душа не нуждается ни в чем утешении. Да и всякое утешение

будет лишним, ничтожным. И королева ограничилась безмолвным поцелуем в лоб, а баронесса Рангья — таким же безмолвным реверансом.

16. УСЛОВИЯ ЗИТЫ

Таких, как Зита Рангья, называют «дети любви». Она была незаконной дочерью герцога Тосканского и Паулины Гварди, танцовщицы. Мать дала своей дочери отличное воспитание, образование и, покончив с артистической карьерой своей уже чуть ли не на пятом десятке, отяжелев, потеряв гибкость движений и пластику, переехала из Италии в Бокату, предполагая открыть здесь балетную школу.

Балетная школа Паулины Гварди наполнилась учениками и ученицами. Преподавались не только характерные и классические танцы, но и салонные. Тайком, под секретом, постигал премудрость всех этих модных фокстротов и шимми не кто иной, как сам Рангья, министр путей сообщения, желавший превратить себя из неуклюжего леватинского увальня в светского человека. Тяжелый, непо-

воротливый министр потел, заплетаясь ногами. Потел над ним балетмейстер, говоривший потом директрисе, что охотнее предпочел бы иметь учеником своим лесного медведя, чем министра путей сообщения.

Паулина Гварди сумела хорошо поставить себя в столице Пандурии. Ее частые, в уютном особняке, вечера посещались и артистами, и гвардейской молодежью, и финансовой знатью, и людьми общества. Миниатюрную Зиту окружали блестящие поклонники. Некоторые ухаживали за ней из снобизма как за дочерью герцога из владетельного дома, и незаконной хоть, но все же дочерью.

Увлекся ею по-своему, как мог и как умел, и господин Рангя. Восточные маслянистые глаза его, плотоядно блестящие в мякоти набухших, тяжелых век мысленно раздевали Зиту, как раздевали по-настоящему предки господина министра, левантийские пираты, своих рабынь, захваченных где-нибудь на дальнем чужом берегу.

Для ценителя, подобного министру путей сообщения, Зита была слишком хрупка и тонка. Ее узкие, покатые, девичьи, как бы еще

недоразвившиеся, плечи были в его глазах скорее, пожалуй, минусом, чем плюсом.

Ее небольшая грудь — то же самое. Но линии бедер и ног, в особенности бедер, упругие, чистые, законченные линии, говорящие, что девушка эта может распуститься в великолепную женщину, в любовницу, волновали его.

И когда он проверял железнодорожные сметы, вместо прозаических скучных цифр видел красивые бедра Зиты!..

Рангя был не из тех мужчин, которые вздыхают, объясняются в любви, ищут взаимности... Человек практический, деловой, он решил побеседовать прежде всего с мамашей. Он сказал ей:

— Вот что, почтеннейшая и уважаемая сеньора Гварди, мне нравится ваша дочь, и я буду очень рад, если вы благословите наш брак. Я еще далеко не стар, мне всего сорок четыре года. Из всех министров Его Величества — я самый молодой. Ваша дочь образованная, изящная и умная особа, со вкусом одевается, умеет держать себя в свете. Я не обещаю ей какой-нибудь сказочной роскоши, но у нее бу-

дут бриллианты, парижские туалеты и как супруга министра она попадет ко Двору. Понимаете, ко Двору, уважаемая синьора Гварди! Это должно щекотать ваше материнское самолюбие. Многие дамы всю жизнь тщетно добиваются высокой чести быть принятыми у Их Величеств. Что же вы скажете на все это?

— Что я скажу?.. — развела руками директриса балетной школы. — Я ничего не могу обещать, не переговорив с Зитой. Пока ее сердце свободно вполне, но я не знаю, бьется ли оно учащеннее по отношению к вам, господин министр.

Господин министр цинично улыбнулся в ответ смуглым, носатым лицом своим.

— Э, полно, синьора Гварди! Учащенное биение сердца — все это весьма возвышенно, может быть, верю охотно, верю, но жизнь, жизнь, которая держит нас в лапах, говорит совсем другое. Будем откровенны: Зита ваша — не девушка, а жемчужина... Да, да, это не подлежит никакому сомнению. Но у жемчужины этой нет имени и надлежащей оправы. Я дам ей и то, и другое. Я вижу, с нее не спускают глаз молодые красивые гвардейцы,

звонящие шпорами. Но — вы дама не глупая, вы сами знаете цену этим ухаживаньям...

Синьора Гварди была женщина добрая. Единственную, дочь любила хорошей, материнской любовью, но Рангья соблазнительными речами своими вскружил ей голову.

Мать объяснилась с дочерью, полагая, что придется выдержать немалую борьбу, уговаривать, убеждать, умолять. Но, к великому изумлению Паулины Гварди, ни уговаривать, ни умолять не пришлось. Глядя на нее в упор большими, светлыми, постоянно меняющимися цвет глазами, Зита спросила.

— Тебе этого очень хочется, мама?

— Дитя мое, при чем здесь я? Тебе делает предложение господин министр, а не мне, — смутилась синьора Гварди, избегая смотреть на дочь.

— Мама, ты должна ответить на мой вопрос, так же прямо, как я его поставила... Тебе этого очень хочется?

— Откровенно говоря — да, — еще более смущаясь, тихо вымолвила мать. — Я нахожу эту партию блестящей... Правда, Рангья не так молод, он не красавец, но это солидный

человек с большим положением. Ты будешь бывать при Дворе.

— Я буду бывать при Дворе... — со странной загадочностью, как будто вслух думая, повторила Зита, и, встрепенувшись, уже совсем другим тоном закончила. — хорошо, мама, я согласна...

Паулине Гварди следовало радоваться — победа оказалась такой легкой. Но Паулина растерялась. Может быть, потому именно и растерялась, что уж как-то чересчур легка оказалась она, эта победа.

И господин Рангья как-то многозначительно зашевелил черными, крашеными усами, узнав о согласии Зиты быть его женой. Правда, он вовсе не такого уже скромного мнения о своей персоне, о своих достоинствах, о своем положении одного из первых сановников в королевстве, но и он, при всем самомнении, никак не ожидал такой быстрой капитуляции от хорошенькой, избалованной, обаятельной Зиты.

Но капитуляция оказалась имеющей весьма и весьма острые и пренеприятные шипы.

Зита прямо заявила своему жениху:

— Вы предлагаете мне стать вашей женой? Хорошо, я согласна, господин министр, но при одном условии: спальни у нас будут разные, и дверь моей спальни будет закрыта для вас до тех пор, слышите, пока я этого захочу.

— Хе-хе... Это милая шутка, — попробовал засмеяться Рангья, хотя ни голос Зиты, решительный, твердый, ни такое же твердое, решительное выражение лица ее не располагали к смеху.

— Нет, господин министр, такими вещами не шутят.

— Мм... позвольте, как же это, в самом деле, так, — замямлил Рангья, сбитый совсем с толку, — ну, хорошо, допустим, я согласен... А сколько времени будет длиться этот искус? Когда вы пожелаете впустить меня в свою спальню?..

— В свое время, а может быть, и раньше, — чуть-чуть улыбнулась Зита, но не глазами, а искривленной линией маленького рта.

— Что такое? — ничего не понял Рангья.

— Я не могу установить точного срока, указать день, когда это произойдет. Может быть, не скоро, а может быть, и это вернее всего, —

никогда!..

— Я, в таком случае, не понимаю...

— Не понимаете? Зачем же, в таком случае, вам, господин министр, жениться на мне? — подхватила Зита. — Я вам сейчас скажу, зачем. Только вы не обижайтесь, пожалуйста, я человек откровенный и почти всегда говорю то, что думаю... Вы — министр, но министр, не чувствующий под собой почвы. В Пандурии вы чужой человек, и в бюрократических, и в светских кругах, у вас нет связей ни в высшем обществе, ни при Дворе. Вас терпят как хорошего инженера и знающего свое дело министра. У вас есть большая казенная квартира, но у вас нет «дома». Я же, войдя в эту казенную квартиру, создам, сумею создать «дом». У меня, госпожи Рангья, будут бывать люди, которые не переступили бы порога вашего, да и вас к себе на порог не пустили бы... А самое главное, будучи принятой ко Двору, я сумею поднять там ваши до сих пор не очень высоко стоящие акции... Ну, вот теперь не угодно ли решить, нужна ли я вам даже при условии отдельной спальни?..

Ошеломленный Рангья с минуту не мог

произнести ни звука. Потом вдруг ни с того, ни с сего:

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать...

— Девятнадцать. И уже такая... такая умная! — вырвалось у него с искренним восхищением.

— При чем тут возраст, господин министр? Это уже от Бога — ум... А если измерять его выслугой лет, то черепахи, попугаи и слоны, живущие двести — триста лет, оказались бы в числе самых умных существ нашей планеты... Вы согласны?

— Отныне я буду согласен со всем, что бы вы ни сказали.

— Вот видите, как хорошо! Отныне я прибрела в вашем лице покорного друга... Итак, вы принимаете мои условия?

— Подписываюсь обеими руками. Но вы действительно создадите мне «дом» и укрепите мое положение при Дворе? У вас там имеются связи?..

— И есть, и будут! Будут большие связи, господин министр... Я, невзирая на девятнадцать лет свои, столь удивившие вас, я нико-

гда ничего не говорю на ветер... Впрочем, в этом вы сами скоро убедитесь.

Рангья долго не мог оправиться от изумления. Этот приехавший с востока левантинец вывез оттуда вполне определенные понятия о женщине: что-то среднее между невольницей, гаремным предметом наслаждения и вьючной скотиной. К Зите он подходил если и не с таким азиатским масштабом, то, во всяком случае, смотрел на нее как на живую игрушку. Он заведет ее у себя, нарядную, изящную игрушку, и все будут любоваться ею. Он убьет одновременно двух зайцев — удовлетворит самолюбие выскочки и свое сластолюбие человека, до совершеннолетия ходившего в феске. И вдруг эта миниатюрная девушка в ярко-золотистом сиянии густых волос оказалась женщиной неукротимой воли, железного характера. И если кто в чьих руках будет игрушкой, так это он, Рангья, в ее маленьких пальчиках, а не она в его волосатых коричневых лапищах. О гаремных утехах придется забыть, но гаремные утехи могут быть и на стороне, а взамен их она даст ему необходимые связи и благосклонность Их Величеств.

17. БРАЧНАЯ НОЧЬ

Рангья хотел самой пышной свадьбы, Зита же, наоборот, самой тихой, скромной. Вышло, как она хотела. Кроме шаферов и свидетелей — никого из посторонних. Обвенчались в старинной, еще венецианцами построенной в двенадцатом веке церкви на окраине города, а потом обедали у синьоры Гварди.

«Молодой» был во фраке, новом, дорогом, сидевшем коряво на его тяжелой, сутуловатой фигуре. На груди горела фальшивыми бриллиантами звезда. И хотя она была не пандурского происхождения, — в Пандурии он еще не успел заслужить никаких знаков отличия, — а турецкого, однако Рангья чрезвычайно гордился ей.

За обедом один из свидетелей спросил:

— Господин министр, это персидская звезда?

— Ошибаетесь, сударь! — обиделся он. — Стал бы я носить персидскую звезду!.. Персидские звезды носят разбогатевшие евреи, фокусники и парикмахеры. Эта звезда пожалована мне была Халифом всех Правоверных,

Его Императорским Величеством покойным султаном Абдул-Хамидом в знак внимания к моим особенным услугам.

— Но, господин министр, ведь при Абдул-Хамиде вы были совсем еще молодым человеком! — воскликнул свидетель.

— При чем тут молодость, и мало ли какие бывают услуги? — фыркнул из-под усов Рангья и отвернулся.

За этим свадебным обедом он много пил, вливая в себя и коньяк, и шампанское, и ликер. Он побагровел, как багровеют люди с темной кожей. Наливались кровью глаза, а тяжелые, набухшие веки тяжелели и набухали еще больше.

После обеда Рангья в казенном автомобиле увез молодую супругу свою на казенную министерскую квартиру, где все, начиная с официальной роскоши, было такое холодное, неуютное. Среди этих безвкусно убранных афилад спальня Зиты являлась каким-то оазисом в пустыне. За несколько дней до свадьбы Зита придала этой комнате вид теплого гнездышка, расставив мебель, развесив ковры, затянув углы и стены драпировками и заменив

«министерские» лампочки интимными, домашними. Вместо белого, резкого света струилось что-то мягкое, нежное, в таких же мягких и нежных полутонах. И вот она в спальне у себя, не в девичьей комнате, а в спальне замужней дамы. Как это странно все... И эта постель в кружевах, и тонкое кружевное белье. Казалось бы, из пены этих кружев в истоме потянутся белые, точеные руки для объятий, — вообще спальня эта вместе с кроватью на возвышении будет алтарем любви, пламенных ласк, наслаждений... А между тем...

Сделав ночной туалет, отпустив горничную, Зита лежала, запрокинув красивые, в меру полные руки свои за голову. В широкой большой кровати она казалась такой маленькой, затерянной. Вся комната была во мраке, и лишь у изголовья, на тумбочке, горела мягким оранжевым светом небольшая лампа. И на белые плечи и грудь Зиты ложились теплые, оранжевые отсветы.

Широкий взгляд потемневших глаз под темными дугами бровей устремлен перед собой. Чуть-чуть вздрагивают тонкие ноздри небольшого носа с едва заметной горбинкой.

Вместо полумрака спальни с затаившимся безмолвием, — жаркий солнечный полдень. Это было два года назад...

Это было пятнадцатого мая... На площади Беллоны, за городом, торжественный парад, первый после войны. Зита, недавно приехавшая с матерью в Бокату, отправилась с ней смотреть парад. Они сидели на лучших местах деревянного амфитеатра. Уже правильными геометрическими фигурами выстроены были войска, но Зита не видела их. Ее внимание привлек молодой всадник в парадной гусарской форме, в высокой собольей шапке, с белым султаном и с леопардовой шкурой за плечами. Он был впереди всех. За ним — блестящая конная свита. В молодом всаднике, красиво и гордо сидевшем на белой нервной арабской лошади, Зита узнала короля. Узнала как-то не сразу, а через несколько секунд, узнала по фотографиям и портретам.

Ей почудилось, что, проезжая шагом мимо трибун, король бросил на нее взгляд темных миндалевидных глаз своих из-под надвинутой на брови меховой шапки. Этот всадник, уже обвеянный славой венценосного вождя и

героя, почувствовался ей каким-то прекрасным полубогом.

Смутно слышала она какие-то командные слова, точно разрезавшие пополам все поле Беллоны, смутно видела, как ее полубог, а за ним вся свита помчались галопом вдоль фронта.

В тумане уехала Зита с поля Беллоны. С тех пор два года была верна своей мечте. Два года спустя Рангья сделал ей предложение, и она согласилась. Через этот брак Зита надеялась мечту свою претворить в действительность. Манящий сон сделать подлинной осязаемой явью...

Вдруг эти мечты разлетелись, как стая белых чаек, вспугнутая охотником. Охотником, вспугнувшим мечты маленькой Зиты, был неожиданно появившийся в спальне господин Рангья.

Зита, веря его обещанию, веря, что он сдержит словесный договор их, не нарушит его, не заперлась в своей спальне. Этим воспользовался сановный супруг.

Лукавый левантинец, обещая не предъявлять к Зите супружеских требований, лгал,

уже тогда лгал, зная, что не сдержит слово. А тут еще коньяк и шампанское, окончательно пробудившие зверя в этом грубом животном, получившем специальное образование в Бельгии. О, он не так наивен! Целых шесть недель мечтать о ней и не сметь подойти к ней, когда она стала его женой... Слово?.. Ха-ха.

И грузный, в халате, с обвисшими, липкими от густого маслянистого бенедиктина усами, ввалился он в спальню, вспугнув не только грезы Зиты, но и ее самое...

После знойного поля Беллоны, после всадника на белом арабском коне, всадника, за спиной которого развевалась на галопе леопардовая шкура, — неожиданный-негаданный визит левантинца в халате и туфлях был слишком уродливой сменой впечатлений.

Застигнутая врасплох, Зита инстинктивным движением натянула до подбородка стеганое атласное одеяло. Глаза ее сделались такими большими и темными, — все личико ушло в эти глаза.

— Вы? В таком виде?! Что вам угодно? — спросила она.

— Я хочу вам сказать одну вещь, — подмигнул Рангья, желая притвориться более пьяным, чем был на самом деле, и этим маневром своим обнаруживая, кроме путейских, еще и стратегические таланты. Маневр заключался в нелепом для его фигуры прыжке, отрезавшем Зиту от «груши» электрического звонка, лежавшей на тумбочке. Между Зитой и звонком вырос господин министр.

— Я хочу вам сказать одну вещь, — повторил он с новым подмигиванием.

— Оставьте меня! Поговорим завтра, когда вы будете в другом виде...

— А если я желаю сейчас? — и он шагнул на возвышение и уже стоял вплотную у самого изголовья.

Страх и презрение чередовались во взгляде молодой женщины. Когда Рангья был трезв, этот взгляд укрощал его. Теперь же на пьяного не действовал укрощающе. Тем более, господин министр уже дома зарядил себя еще для храбрости полубутылкой шампанского.

— Что вы на меня так смотрите? Вы не Медуза, и я не окаменею... Но к черту всякую ди-

пломатию! К черту! Я пришел не для того, чтобы говорить, а чтобы делать... Я женился не ради прекрасных глаз испанского короля и не ради ваших еще более прекрасных глаз, а чтобы получать то, что мне, как мужу, полагается... Слышите, вы, принцесса-недотрога...

— Как вам не стыдно! Опомнитесь! Я прощаю вас, вы пьяны... Прощаю с условием... выйдите, выйдите сию же минуту!..

— Что, — вскипел он, — условия? К черту условия! Надоели мне ваши условия...

— Но вы же обещали! — возмутилась Зита.

— Обещали, обещали... — передразнил он, — обещания даются, чтобы их не исполнять... Глупцы верят, а умные не исполняют. Однако надоели мне все эти предисловия. Слышишь?.. Слышишь? — уже хрипел он, переходя на «ты», разжигая себя, опьяняясь еще более.

И, багровый, отвратительный, с распахнувшимся на животе халатом, навалился он, крепко и больно схватив Зиту за девичьи белые груди. Но если он думал встретить в ней по внешности слабое и хрупкое существо, он ошибся. Мать, хотя и не готовила дочь в ба-

летные артистки, но с детства развивала ее ритмической гимнастикой и танцами: для своего роста и своих миниатюрных пропорций Зита была сильна, очень сильна. Пожатие маленьких пальцев ее не всякий мужчина выдерживал.

Вот почему Рангья встретил энергичное сопротивление, сначала ошеломившее его. Зита молча отбивалась, отбивалась как-то по-мужски, не царапаясь, не кусаясь, а нанося противнику своему твердыми, упругими кулачками удары в грудь, в лицо, подбородок, глаза. Рангья расвирепел от боли. Сейчас для него насилие было не только удовлетворением похоти, но и мезтью за эти градом сыпавшиеся удары. Пыхтя, напрягаясь, скрежеща зубами, он схватил свою молодую жену за тонкую, гибкую талию, приподнял, перевернул и бросил лицом и грудью на подушки. Его ослепили длинные белые ноги, ослепили упругие, молочно-розоватые бедра, обнаженные, такие близкие... До сих пор он только угадывал их под платьем, но не угадывал, что у тоненькой миниатюрной Зиты могут быть такие сильные ноги вполне развившейся

женщины, и Рангья, решив овладеть ею, упал на Зиту, закрыв и придавив ее своим грузным, тяжелым телом...

Омерзение и ужас удесятирили энергию Зиты, превратив ее в одну стальную пружину. И она так распружинилась вся, что сброшенный Рангья повалился рядом с ней на спину и тотчас же получил удар кулаком в переносицу, удар, высекший из глаз искры и повлекший за собой довольно-таки обильное кровоизлияние.

Воспользовавшись тем, что противник, на минуту ослепленный и оглушенный, выбыл из строя, Зита, вскочив с кровати, босая, в тонкой кружевной сорочке, сквозь которую, как сквозь паутину, угадывалось ее точеное тело, подбежала к тумбочке и, овладев звонком, почувствовала себя уже совсем победительницей. Теперь она могла диктовать свои условия. И продиктовала:

— Если вы сейчас же, немедленно не уберетесь из моей спальни, я на всю квартиру подниму трезвон! Прибежит горничная, сбегутся лакеи и на завтра вся столица узнает, каким скандалом сопровождалась брачная ночь

министра путей сообщения... А я думаю, подобный скандал нисколько не улыбается нам обоим, вам же в особенности... Если я вас очень больно ударила, — я защищалась, а в защите все средства хороши, только бы привели к победе. Кроме того, да послужит вам уроком этот маленький прием бокса, которому научил меня в Милане знаменитый Кастаньяро. Надеюсь, теперь вы забудете дорогу сюда... На всякий же случай предупреждаю: я буду тщательно запираяться, а под подушкой у меня будет лежать револьвер. Это все между нами. А для света, на людях, мы будем супружеством, если и не пламенеющим взаимной любовью, то, во всяком случае, внешне корректным и приличным. Вот и все. Запомните и убирайтесь... Мне холодно...

Уничтоженный Рангья, поднявшись с кровати, запахивая полы своего халата и прижимая к окровавленному лицу платок, медленно, тяжелый, сутуловатый, двинулся к дверям, как смертельно раненный дикий кабан, продирающийся сквозь густые темные заросли...

Уже взявшись за ручку двери, он бросил

последний взгляд на свою жену. Последний. Он больше никогда не увидит ее в этой сорочке-паутинке, такую соблазнительную, с белым девичьим покатым плечом, с которого спустилась чуть ли не до локтя пена кружев. Он видел и чувствовал ее такую так близко в первый и последний раз. Он сравнил ощущения свои с таковыми же праотца Адама, покидавшего врата Эдема. Только вместо ангела с мечом была Зита, все еще державшая наготове пуговку электрического звонка. И сейчас, именно сейчас, казалось, что на него смотрят не светлые, капризно меняющие свой цвет глаза Зиты, а глаза Медузы...

18. ИХ РОМАН

Хотя ценой совместных усилий Зиты и ее супруга сделано было все, чтобы скандал не вышел за пределы четырех стен спальни, однако же он проник в общество и, если не во всей своей пикантной красоте, то все же в салонах Бокаты определенно говорилось, что маленькая Зита как была, так и осталась девственной, и Рангья, желавший настоять на своих правах мужа-собственника, потерпел фиаско. О Зите заговорили как о феномене, вроде сиамских близнецов. Зита разжигала любопытство мужчин. Всегда окруженная поклонниками, она теперь не имела от них отбоя. Все самое родовитое, блестящее, богатое, щеголяющее золотым шитьем придворных и гвардейских мундиров, было у ее маленьких ножек.

Обещания Зиты, данные жениху какой-нибудь месяц назад в квартире Паулины Гварди, сбывались одно за другим. Рангья все больше и больше проникался уважением к Зите. Убеждался, что миниатюрная золотистая блондинка эта не бросает своих слов на ветер.

Действительно, благодаря жене Рангья приобрел такие связи в обществе, о которых и мечтать не смел раньше. Действительно, благодаря Зите положение его при Дворе, где она имела успех, упрочилось. Левантинец-выскочка темного происхождения так мечтал попасть в высшие сферы. И он попал туда, попал не как министр, а как муж очаровательной Зиты. Королева Маргарета обласкала ее. Даже сдержанно-застенчивая принцесса Лириан отнеслась с мягкой, ободряющей благосклонностью к госпоже Рангья. Что же касается короля, то он с первой же встречи обратил на нее внимание. Это было на одном из придворных балов. Хотя Пандурия считалась страной демократической, однако придворный этикет отчасти напоминал традиции испанских Бурбонов и Габсбургов. Например, дамы должны были целовать руку монарху Пандурии, как это принято в Испании. Только происхождение этого обычая другое, нежели при мадридском Дворе.

Династия Ираклидов, вышедшая из глубины азиатских степей, принесла в Европу и свои азиатские нравы. Пандурские женщины

как низкие существа, как рабыни, подобно всем восточным женщинам, смиренно подползая на коленях, целовали руку своим вождям. Спустя тысячу лет изменилась лишь форма, традиция же осталась. Дамы высшего пандурского общества не подползали к своему королю на коленях, а, сделав по всем правилам глубокий реверанс, которому учил их балетмейстер, подходили к руке Его Величества.

Если у Зиты осталось впечатление волшебного сна от воинского парада на поле Беллоны, то ее первый дворцовый бал чудился ей еще более упоительно-волшебным. Она даже не могла вспомнить, в какую форму был одет король. Он весь был для нее тем же самым сияющим полубогом, мчавшимся вдоль фронта с леопардовой шкурой за спиной.

Церемониймейстер маркиз Панджили в тяжелом от густого золотого шитья, подобном кирасе, вицмундире, в коротких панталонах и в белых чулках, обтягивавших его дряблые икры, жеманный, манерный, с напудренным лицом, напоминающий версальского пети-метра, не без величия играя своей церемо-

ниймейстерской тростью, называл королю представлявшихся дам. И когда пришла очередь госпожи Рангья, она вспыхнула, вся так вспыхнула, что горячо покраснели и ее большой выпуклый лоб, и лицо, и задрожавший подбородок, и шея, и обнаженные плечи, и полуобнаженная грудь. А она, смутно услышав произнесенную фамилию свою, смутно видела красивое, удлиненное, смугло-матовое лицо с темными миндалевидными глазами. Это лицо ослепили сверкнувшие в улыбке ослепительные зубы. И она улыбнулась в ответ. Улыбнулась как-то восхищенно-кротко, умоляюще, словно отдавая себя всю молодому человеку, властным жестом протянувшему ей свою руку, чтобы она коснулась ее алыми, горячими, трепещущими губами...

Потом, уже в разгар бала, сам король подошел к ней:

— А я вас помню. Два года назад я видел вас на параде. С какой-то дамой вы сидели в трибунах. На майском солнце ярким золотом ваши волосы горели, как сияние...

— О, Ваше Величество, неужели вы меня помните? — пролепетала она, вся зардевшись

вновь, и вновь что-то умоляющее, кроткое было в потемневших глазах, ставших из светлосерых темно-синими, и в тонкой линии губ чуть-чуть искривленного и от природы, и от нервной судороги маленького рта...

Адриан уже отошел к другой даме, а Зита продолжала стоять, смущенная, счастливая каким-то неземным блаженством, не замечая подобострастно вертящегося около нее мужа, не замечая завистливых поздравлений и приветствий.

Так начался их роман.

Потерявший невинность свою в опытных объятиях маркизы Панджили, престолонаследник Пандурии недолго оставался аскетом. Горячая, буйная кровь степных наездников не давала покоя, искала выхода. И, посланный отцом и матерью во Францию, подалее от страшной Мариулы, Адриан, будучи воспитанником Сен-Сирской школы, увлекался такой же, как и он сам, юной танцовщицей из Большой оперы.

Именно увлекался. Его не тянуло к женщинам вообще. Его тянуло к той избраннице, в которую он влюблялся или которая хотя бы

правилась ему. И в свой Сен-Сирский период и позже, когда из престолонаследника сделан королем, он, отдавая необходимую дань темпераменту, однако, не подчинялся ему всецело.

Между ним и женщинами становился спорт. В верховую езду, в теннис, в фехтование, в плавание, в легкую атлетику, покрывавшую мускулами стройное, молодое тело — вот во что и на что уходил избыток здоровья и животной производительной силы. Спорт оберегал его от распущенности, зовущейся развратом, или от разврата, зовущегося распущенностью. И этот же самый спорт, полный физического движения, полный близкого, облагораживающего общения с природой, сберег и сохранил чистую душу Адриана, сберег и сохранил ее для настоящего, хорошего чувства.

Таким настоящим, хорошим чувством любил он Зиту. Будь у нее другой супруг, Адриан, пожалуй, затаил бы в себе все то, что внушала ему Зита, затаил бы из гордости. Он презирал бы сам себя, если б, пользуясь своим исключительным положением, взял в любов-

ницы жену одного из министров. Делить ее вместе с ним? Какая гадость! И еще большая гадость сознавать, что эта жена отдается ему потому, что он король, король, от которого оба супруга ждут великих и богатых милостей.

Но в данном случае все, решительно все было совсем по-другому. Он знал, что Зита влюбилась в него давно. Влюбилась, даже не смея мечтать о встрече. Знал, что она еще невинная девушка. Знал, что делить ее ни с кем не придется и что Рангья внушает ей непреодолимое отвращение. За всю четырехлетнюю связь единственный раз обратилась к нему Зита с личной просьбой, да и то с каким смущением и с какими оговорками, и вообще чего это ей стоило! Рангья умолял ее на коленях, униженно целуя отдергиваемые руки, умолял выхлопотать ему у короля баронский титул. Еще бы, непроходимо глупо было бы, с его точки зрения, не использовать роман призрачной жены своей с Его Величеством...

Он притворялся, — ему больше ничего не оставалось делать, — что закрывает свои во-

сточные, в тяжелых набухших веках, глаза на отношения между Зитой и Адрианом. На самом же деле он ревновал жену к ее царственному любовнику. Ревновал по-своему, с глухим, скрытым бешенством левантинца, навсегда обожженного знойным смирнским солнцем. Никаких тонких, извилистых переживаний в его ревности не было. Это была ревность восточного рабовладельца. Не самый факт измены мучил его, а мучило, что Зита, сломившая его, покорившая раз навсегда силой своей воли, умевшая быть с ним жестокой, недостижимой, презирающей, эта самая Зита с Адрианом была детски-женственна, кротка, мягка, нежна. И всегда потом, всегда сопоставлял Рангья два момента...

Один — когда Зита прогнала его, гневная каким-то холодным, уничтожающим гневом, такая сильная в миниатюрной хрупкости своей. Другой — когда на первом ее придворном балу она улыбалась своему полубогу с потемневшими, восхищенно-умоляющими глазами и таким же восхищенным маленьким ртом...

О, министр путей сообщения никогда не забудет этой знаменательной, бьющей его,

как хлыстом, параллели. Никогда... Только бы представился удобный случай, он отомстит...

19. ЖРЕБИЙ БРОШЕН

Все надежды, все мечты о будущем, «их будущем», разбивались о королевскую мантию Адриана, как если бы это была не мантия, а гранитная скала.

Ах, зачем он король, а не самый обыкновенный смертный? До чего все было бы легко и просто! Она развелась бы со своим министром и ушла бы к тому, кого полюбила. Но в данном случае, в том-то и весь ужас, что монарх не может, не имеет права остаться холостяком навсегда. И как ни оттягивал Адриан женитьбу свою, дамокловым мечом висела она над ним.

Зита хорошо знала взгляды своего Адриана. Предполагаемая, неизбежная в конце концов женитьба короля — это больное место для обоих — неоднократно бывала темой бесед. Адриан высказывался так:

— Не будем закрывать глаза на то, чего, к сожалению, никак не избежать. Но это будет брак не по любви, — я люблю тебя и только

тебя... Дорогая Зита, нам пришлось бы с тобой расстаться, хотя бы ценой большого неутешного для меня горя...

— Для нас обоих, — с тихой тоской и умоляющей, кроткой, светящейся улыбкой добавляла Зита.

— Для нас обоих, — повторял он. — Я не считаю грехом изменить нелюбимой жене, чуть ли не силой навязанной мне, только для того, чтобы у нее родился от меня сын. Такая измена — не грех. Но я слишком люблю тебя, слишком берегу и ценю мое к тебе чувство... Из вынужденных объятий далекого и чуждого мне существа в тот же самый день или на другой — не все ли равно — ласкать тебя... брать твои ласки?... Никогда. Может быть, это смешно, глупо... Может быть...

После некоторой паузы, вдумчивой, длительной, как бы что-то собирая в глубине себя, Зита тихо, по обыкновению тихо, ответила:

— Нет, дорогой, это не смешно, — это прекрасно! Я ничего другого не ожидала услышать... Ты рыцарь, рыцарь с головы до ног. Ты именно тот самый очаровательный

принц, который волновал мое детское воображение в красиво переплетенных книжках с наивными цветными картинками. Но я, Адриан, я другая, чем ты... Я хуже тебя, и любовь моя — более грешная... Откровенно говоря, я сама не знаю, что меня больше влечет к тебе — мужчина или человек с высокой, благородной душой... Иногда мне кажется — и то, и другое вместе, неразделимое, гармонично переплетенное, а иногда....

И умолкнув, стыдливо, робко-умоляюще, горячо вспыхнув вся, спешила она спрятать на его груди личико, спешила крепко прильнуть к нему и пышно-золотистой головкой, и всем гибким, трепещущим телом.

Чтобы удержать Адриана, готова была Зита делить его между собой и будущей королевой. Только бы не ушел! Когда он уйдет, и свет, и солнце погаснут в ее меняющихся глазах.

От королевы Зита уехала в министерском автомобиле. Шофер спросил:

— Баронесса прикажет ехать домой?

— Нет, нет! — испугалась Зита.

Одиночество будет угнетать ее еще боль-

ше. Нет, пусть будет улица, толпа, шум, солнечный свет. Она сказала шоферу:

— Я хочу подышать воздухом.

Напрасно думала, что прогулка развеет хоть немного мрак больной, сжавшейся в нервный комочек души. Наоборот, всюду разлитая кругом яркая жизнерадостность беспечным ликующим равнодушием своим лишь оттеняла горе Зиты. Она никак не могла понять: сейчас заставили ее, — сама себя заставила, — уйти, отречься от любимого человека. В апартаментах королевы в несколько минут совершилось что-то громадное, непоправимое. Разбилась жизнь, жизнь ее, Зиты... А звенящие трамваи, пешеходы, коляски, автомобили спешат, как всегда. И, как всегда, зыблется жидким серебром густая синь моря. И, как всегда, прекрасны темно-зеленые колоннады игольчатых кипарисов мусульманского кладбища. Зита машинально отвечала на поклоны мужчин, жадно впивавшихся в нее глазами, дам, кивавших с лицемерной заискивающей приязнью... По губам Зиты пробегала ироническая улыбка... Завтра, послезавтра, через несколько дней узна-

ют они, что между ней и Адрианом все конечно. Узнают, что маленькая Зита уже не любовница Его Величества. О, как будут злорадствовать унижавшиеся перед ней дамы, и как сразу обнаглеют мужчины...

О, до чего теперь ей все равно это... Она презирает одинаково и тех и других, и тем и другим зная настоящую цену...

Шофер, пронизав европейские улицы и площади, взбирался по булыжной мостовой мусульманских кварталов, чтобы, спустившись к морю, помчаться вдоль берега.

Зита приводила в порядок невеселые мысли свои. Горевать она успеет. Горе будет тяжкое, как трудная мучительная болезнь. А сейчас необходимо обдумать план действий. Он должен быть ясен и прост, убийственно прост для обоих — для нее, Зиты, и для него — Адриана. Необходимо, не теряя времени, выбрать кого-нибудь из толпы окружающих ее поклонников. И выбрать не лучшего, а наоборот, выбрать того, кого она никогда не приблизила бы к себе, никогда, если бы даже ее сердце было свободно, как ветер.

И, держа его на почтительном отдалении,

на людях она умышленно будет себя компрометировать. Будут говорить, что маленькая Зита увлекается таким-то... Кем — она сама еще не знала. Не знала до случайной встречи минуту спустя. Обогнав ее на дорогом шестиместном «лимузине», раскланялся наилюбезнейшим образом плотный и крупный, бритый, полнолицый мужчина семитско-восточного типа.

Самый богатый человек во всей Пандурии, «эспаниол» — потомок евреев, выходцев из Испании, — дон Исаак Абарбанель. Покойный дед его, седобородый старик с красными, гноившимися глазами, в длинном халате и в лисьей шапке имел в Салониках меняльную лавку — полутемную щель, куда шумной гурьбой втискивались матросы превращать фунты, франки и доллары в турецкие лиры. А внук сетью банков своих покрыл всю Пандурию, поставлял военно-морскому и железнодорожному ведомствам уголь из своих копей и нефть из своих промыслов.

Больше двадцати многоэтажных домов в Бокате принадлежало дону Исааку. Принадлежали ему самые красивые женщины, кото-

рых он покупал, не жалея денег и бриллиантов, платя широко и щедро.

Зита Рангья весьма и весьма ему нравилась — и сама по себе, как может нравиться черномазому «эспаниолу» ослепительно-белая блондинка, и как любовница короля, и как жена министра.

Он готов был бы с ног до головы осыпать ее золотом, как Зевес осыпал Даная, за право хотя бы только показываться вместе с ней.

Он бывал в доме министра путей сообщения. Рангья гнулся перед ним, как гнулся перед всем, что было деньгами и властью. Исаак Абарбанель с цинизмом привыкшего все позволять себе, избалованного человеческой подлостью нахала говорил Зите с глазу на глаз:

— Баронесса, одно ваше слово из двух букв, — это слово «да», — и я окружу вас роскошью, какая не снилась еще никому в Пандурии. Одно только слово... Скажите «да». Ваш ответ?

— Мой ответ, — с холодным, презрительным спокойствием молвила Зита, — убирайтесь вон и не смейте больше переступить по-

рога моего дома!

Он умолк смущенный, оторопевший, быть может, в первый раз в своей жизни. Это было на днях. А сегодня дон Исаак Абарбанель раскланялся как ни в чем не бывало...

И не только раскланялся, а еще велел своему шоферу замедлить ход. На что рассчитывал он? Самое большее — на гневный, презрительный взгляд светлых очей, умеющих, — он это знал, — метать великолепные синие молнии. На лучший конец, а на худший — пожалуй, не взглянет даже. Это еще оскорбительней.

— Мне все равно, мол, что столб фонарный, что ты, Исаак Абарбанель, со всеми твоими миллионами, банками, лесами, углем и нефтью.

Но каково же было удивление тридцатидвухлетнего богача, когда баронесса, приветливо ему кивнув, дала знак остановиться. Абарбанель с чрезмерной для его большой, полной фигуры поспешностью и быстротой, выскочив из своего «лимузина», разлетелся к ручке Зиты.

— Дон Исаак, вы меня совсем забыли... это

нехорошо, — и она слегка погрозила ему.

Он с полминуты ничего не мог ответить. Ну, можно ли так издеваться над человеком? Давно ли она его так коварно выгнала. А сегодня вдруг: «Вы меня совсем забыли...»

Освободившись, однако, от одеревенелого состояния, Абарбанель, сообразив, что подули какие-то новые ветры, овладел собой. Тотчас же к нему вернулась обычная для него наглость избалованного человека.

— Я все эти дни был очень занят. Да и теперь... Но по одному мановению ваших волшебных пальчиков, баронесса, я готов забросить все дела и...

— И поэтому я жду вас сегодня от 5 до 6. Приезжайте, будем пить чай... поболтаем...

— О!.. — только и мог воскликнуть дон Исаак.

Поощряющий блеск лучистых глаз. Мелькнула затянута в перчатку миниатюрная ручка, и дон Исаак остался один посреди набережной. Зита была уже далеко...

20. ТЕРРОРИСТ С ВОЛЧЬИМ ЛБОМ

Шеф тайного кабинета, сорокалетний румяный молодой человек с бегаящими глазами и с бритой головой, Артур Бузни делал обычный утренний доклад свой премьер-министру.

— Близится высокаторжественный день, милый Бузни. Уже отовсюду съезжаются гости. Во дни таких торжеств эти революционеры всегда выкидывают какую-нибудь гадость... — в лучшем случае, в худшем же — совершают какое-нибудь очередное злодейство. Я всецело полагаюсь на вас, на вашу энергию, на ваше чутье и умение ориентироваться в обстановке...

— Постараюсь оправдать лестное для меня мнение Вашего Сиятельства. У меня будут повсюду глаза, уши и ловкие опытные молодцы, одинаково владеющие как боксом, так и браунингом. Но все же, не скрою, мы не гарантированы от сюрпризов. К нам в Пандурию с каждым днем просачиваются под разными псевдонимами и паспортами большевицкие агенты. Мы их вылавливаем на границе, вы-

лавливаем на территории королевства... Но сколько ни вылавливай, они, эти негодяи, как клопы, плодятся. Я уже докладывал Вашему Сиятельству, что Третий Интернационал, имеющий свою штаб-квартиру и базу в Москве, особенно заинтересован коммунистическим переворотом в Пандурии. Для этого Зиновьев-Апфельбаум располагает крупной суммой, вырученной от продажи сокровищ императорской короны. Часть денег ловкий проходимец и жулик прикарманил, а часть...

Граф Видо закрыл лицо руками.

— Боже, до чего это противно и мерзко! И зачем я еще живу? Отчего я еще не умер? Лучше бы мне умереть несколько лет назад, умереть, когда король Адриан после войны въехал в Бокату и народ в безумном радостном исступлении, в энтузиазме падал на колени и целовал его стремяна...

— Помню, помню, Ваше Сиятельство. Незабываемая картина... Я, как вы изволите сами знать, натура далеко не сентиментальная, не романтическая, но и я не мог удержать слез... Но я внесу маленькую поправку, маленькую...

Народ — вы сказали. А я скажу — толпа... Но в том-то и вся трагическая загадка, что она, толпа, умеет быть с одинаковой легкостью, одинаковой экспансивностью и народом, целующим стремяна вождя или монарха-освободителя, и чернью, способной через месяц, через год, — не все ли равно? — так же стихийно броситься и жечь, и грабить королевский дворец, и требовать голову своего монарха, монарха-победителя, национального героя... И так — всегда... Толпа всюду и везде одинакова... Мгновенно воспламеняется и гораздо чаще бывает буйной хулиганствующей чернью, нежели патриотическим народом. Первое гораздо легче и, кроме того, если даже честные, умные люди в толпе теряют голову и волю, глупеют, звереют, чего же требовать от тех, которые были и останутся подлецами и дураками?.. Если я расфилософствовался, прощу меня извинить... Я вот о чем хотел посоветоваться, вернее, спросить инструкцию Вашего Сиятельства. Сегодня был у меня с предложением своих услуг знаменитый русский террорист Савинков.

— А, этот... профессиональный убийца рус-

ских министров и великих князей, — поморщился Видо, — какое он произвел на вас впечатление?

— Внешне — безусловно понравился. Со всем не похож на этих грязных, лохматых русских революционеров. Он корректен и, я бы сказал, даже вылощен. Вылощен в речи, в манерах, в одежде, в белых выхоленных руках. Когда он курил в моем кабинете, я смотрел на его красивые пальцы и мне чудилась на них кровь. Смотрел на его ширококостый, упрямый, волчий лоб и на его львиный профиль.

— Любопытное сочетание, — заинтересовался Видо.

— Сочетание я бы сказал — символическое. Дерзок и смел, пожалуй, как лев, и кровожаден, как волк, и как волк, способен на подлость. Душа волчья! Если бы он не был предателем, если бы ему можно было верить, я без колебания взял бы его к себе в ближайшие помощники. Но, во-первых, он может продать, а во-вторых, он слишком влюблен в себя, чтобы удовлетвориться маленькой ролью. В самом деле, господин этот мечтал сде-

латься мужицким царем в России, и вдруг — помощник шефа тайного кабинета в Пандурии...

— Однако же этот честолюбец явился к вам.

— Да, потому что, как бы вам сказать, — выдохся! Уже ни французы, ни поляки, ни чехи — никто не дает ему больше денег на его политические авантюры. А деньги нужны. Последним отказал ему, — Савинков из Рима только что, — Муссолини... Вот он и разлетелся к нам попытать счастья.

— Что же он предлагает?

— Предлагает создать свою частную антибольшевицкую агентуру. В конце концов, и сам этот Савинков, и большевики — все же это крысы одного подполья... Многих большевиков-эmissаров, пользующихся нашим... нашим гостеприимством, — улыбнулся шеф тайного кабинета, — он знает лично. И я нахожу, если за ним следить в оба, он может быть полезен. До поры до времени и... постольку поскольку, — прибавил Бузни, — в случае же чего-нибудь, в случае двойной игры на оба фронта, его всегда можно аресто-

вать или выслать за границу... Словом — обезвредить... Но не использовать его я считал бы...

— Попробуйте...

— На первое время он получит десять тысяч франков. А дальше будет видно по работе...

— Он приехал один?

— С любовницей и с ее мужем... Неразлучное трио.

— А как же обещанная им агентура? Где же его агенты?

— Кой-кого он выпишет, а кой-кого навербует из находящихся здесь русских. Итак, Ваше Сиятельство...

— Я же вам сказал, — попробуйте! Но следите за каждым его шагом.

— О, в этом отношении будьте спокойны...

В час дня шеф тайного кабинета завтракал у Рихсбахера с первым секретарем польской миссии. Этот молодой человек, немного манерный, немного томный, значительно пополнил сведения Артура Бузни о Савинкове.

Благодаря своей дружбе с Пилсудским, — их связывало революционное прошлое, — Са-

Савинков создал в Польше нечто подобное государству в государстве. У него были не только свои адъютанты, была не только своя контрразведка, но были даже свои «министры», свои генералы. И те, и другие часами дожидались в приемной, пока «властелин» соблаговолит их принять.

Савинков направо и налево швырял деньги, деньги польской государственной казны. Вся столица говорила о савинковских кутежах. Савинковские сбирывали неудобных своему господину русских офицеров и граждан, и те в двадцать четыре часа высылались за пределы Польши.

Самоуверенность Савинкова не знала границ. Однажды министерством иностранных дел перехвачено было письмо Савинкова, адресованное в Париж на имя «дедушки» русской революции Чайковского. В письме этом Савинков хвастался «дедушке», что идет со своим генералом Балаховичем на Москву и при одном имени его, Савинкова, встанет вся Россия, как один человек. Попутно в своем горделивом послании Савинков чернил Врангеля.

Поход на Москву оказался блефом. Дальше Мозыря и Пинска новый тушинский вор не продвинулся. В одном из этих городов благодарное население преподнесло ему еврейскую шубу.

Молча, с неустанно бегающими глазами, слушал все это Бузни. Потом спросил:

— А что-нибудь об его деятельности в России царского периода и тотчас же после революции? Предупреждаю, почти все террористические акты, совершенные им, известны мне...

— А известно Вашему Превосходительству, как он в Севастополе бросил бомбу в адмирала Неплюева?

— Об этом не слышал...

— Как же, это очень... очень интересно... Сам Неплюев остался жив и невредим, но бомба, чудовищной разрушительной силы, — это был парад возле церкви, — разорвалась в самой гуще выстроившихся воспитанниц епархиальной школы. В результате 98 жертв. Девочки в белых платьицах превращены были в какое-то кровавое месиво... Оторванные головы, руки, ноги застряли в листве дере-

вьев, очутились на крышах соседних домов...

— Какой ужас, — проговорил Бузни.

— А дальше; уже в период революции, он присоединился к генералу Корнилову, чтобы раздавить Керенского, но, в конце концов, перебежал к Керенскому, чтобы раздавить Корнилова. Он привык играть чужими головами. Но ему не повезло на этот раз. Социалисты-революционеры выгнали его из своей партии, а Керенский выгнал из военных министров. Выгнал, хотя накануне этот же Савинков сделал большую ему услугу, предательски, через занавеску, застрелив доблестного генерала Крымова... Так говорили... в Петербурге.

В семь с половиной вечера Бузни обедал с Савинковым, тоже у Рихсбахера, но не в общем зале, а в кабинете.

Сверкал белоснежный воротничок. Сияли лакированные ботинки. Голова с волчьим лбом, переходившим в лысину, вымыта была душистой эссенцией. Вылощенные ногти. Вылощенный весь, самоуверенный, надменный. Но сквозь эти самоуверенность и надменность Бузни опытным полицейским глазом

своим угадывал озабоченность Савинкова — дадут или не дадут ему несколько тысяч франков.

Бузни впервые наблюдал такого террориста. С иголки одет. Манеры надушенного бонвивана, знающего толк в кухне и винах. Смакуя, пил Савинков шамбертен, сетуя, что вино скорее теплое, чем холодное. Бузни, глядя на его белые, холеные руки, вспомнил Севастополь, вспомнил детские ножки и головы на крышах и на деревьях...

— Мы воспользуемся вашими... вашей опытностью... — пообещал шеф тайного кабинета, — завтра же вы получите обусловленную сумму...

Сквозь бесстрастную внешность революционера-денди угадывался, по-актерски проглоченный, вздох облегчения.

«А деньги тебе до зарезу нужны», — подумал Бузни.

Уже в конце обеда, в дыму сигар, Савинков сделал новое предложение.

— Располагай я крупными деньгами, я послал бы верных людей в Москву ликвидировать Троцкого и Зиновьева. Пока эти господа

живы, не будет покоя в Европе, а, следовательно, и у вас, в Пандурии. У меня уже разработан план... Успех гарантирован... — и холодные, с твердым блеском, жестокие глаза нащупывающе уставились на собеседника.

— В принципе отчего же? Ничего не имею против, — пожал плечами Бузни, — но мы еще успеем вернуться к этому... Сначала я должен увидеть вашу работу здесь, на месте...

Савинков ничего не ответил, только чуть прикусил нижнюю губу. Этот «шеф» третирует его, как простого агента, и надо молчать, надо, потому что нужны деньги.

Давно ли он, Савинков, «учил» Мильерана, Ллойд Джорджа, Керзона, учил, как надо спасать Россию, и они его слушали, вернее, делали вид, что слушают. Так или иначе — давали деньги. А теперь этот шеф тайного кабинета в маленьком королевстве щелкнул его по самолюбию, и он вынужден молчать, стиснув зубы. И еще спрашивает:

— Какими духами вы душились?

— Английскими — «Шипр» Аткинсона, — должен был ответить Савинков...

Прекрасные дни Аранжуеца, где вы?

21. КОМУ РАДОСТЬ, КОМУ ЗАБОТА

Уже съехались гости.

Из Трансмонтании — принцесса Памела с братом-престолонаследником. Святейший отец послал от своего имени кардинала Звампу, архиепископа в Болонье. Кардинал Звампа считался одним из красивейших мужчин во всей Европе. Вместе с ним в качестве адъютанта приехал папский гвардеец маркиз делла Торетта, герцог ди Лампедуза. И своим гигантским ростом, и своим раззолоченным мундиром, и своей каской греко-римского типа, и своим громким двойным титулом он производил весьма внушительное впечатление.

Испания была представлена миниатюрным, бледным, женоподобным инфантом Луисом. Болгарский двор — князем Кириллом. От сербской династии Карагеоргиевичей — принц Павел. Из Бухареста прибыл румынский престолонаследник Кароль.

Виктора-Эммануила заменял герцог Аbruццкий, английского короля — принц Баттенбергский. От Франции — ее слава и гор-

дось — маршал Фош.

Еще не наступил самый праздник, а настроение было уже праздничное. Оживилась и принарядилась столица, расцвеченная флагами.

С утра до вечера носились по всем направлениям дворцовые автомобили и экипажи, увозя, привозя и катая высочайших и титулованных гостей. И городская толпа как-то подтянулась. Мужчины и дамы, выходя на улицу, одевались, как в день собственных именин. Да каждый и сознавал себя именинником.

Церемониймейстер Двора, жеманный, потасканный маркиз Панджили, манерами своими напоминающий версальского петиметра, с ног сбился, не знал ни покоя, ни отдыха. Он делал визиты приезжим гостям, устраивал для них загородные прогулки, — окрестности Бокаты славились своей живописностью. Он обязан был помнить и помнить, у какого подъезда и к какому часу должен стоять автомобиль для принцессы Памелы, для маршала Фоша, для кардинала Звампы, для тех или других герцогов, князей, принцев и графов.

Но церемониймейстер был счастлив. Он чувствовал себя в своей родной стихии и об одном жалел, почему сутки имеют двадцать четыре часа, а не сорок восемь?..

Далеко не в таком блаженном упоении был шеф тайного кабинета. В глубине души он проклинал и этот юбилей, и этот съезд высочеств, светлостей, сиятельств, высокопревосходительств... Он был, как на раскаленных углях. Каждый стук в дверь кабинета, каждое появление секретаря, каждый телефонный звонок — все это бросало его в холод и жар.

Он знал, что темные подпольные силы собирались омрачить юбилей «террористическим актом». По самым последним агентурным сведениям, готовилось покушение на генералиссимуса Фоша. Этим думали заразить двух зайцев. Во-первых, уничтожить великого вождя французской армии, обезглавить ее, что было бы весьма на руку большевикам и немцам, а во-вторых, скомпрометировать Пандурию в глазах Франции.

Бузни до собственного изнеможения охранял особу маршала, и тем труднее это было, что сам Фош убедительно просил не заботить-

ся об его охране.

Еле-еле хватало агентов, и в конце концов совсем не хватило. Волей-неволей Бузни должен был прибегнуть к содействию частного бюро детективов. А когда и этот резерв истощился, шеф «мобилизовал» Савинкова, а Савинков, в свою очередь, мобилизовал около двадцати безработных эмигрантов. Он их знал лично, и с ними в 1921 году пошел «на Москву».

Каждый по-своему был озабочен.

Министр изящных искусств, взявший на себя декоративное убранство парадных апартаментов, еще за неделю до праздников перебрался совсем во дворец.

Целая армия садовников, плотников и обойщиков подчинялась ему. Ни одна мелочь не ускользала от него. Он видел все артистическим глазом своим, хотя пил коньяк рюмку за рюмкой и спал три-четыре часа в сутки, наспех прикорнувши на диване. Наиболее казенного вида гостиные Тунда превратил в уютные, очаровательные уголки с тропической зеленью. Фон для этой зелени — пышные складки богатых тканей и восточных

ковров. Получались какие-то сказочные шатры сказочных мавританских калифов. Часть этих драпировок и тканей — боевая добыча воинственных пандуров в эпоху войн с турками, часть же — собственность самого Тунды, вывезенная им во время скитаний по Ближнему и Дальнему Востоку. Он разгромил на эти дни свою мастерскую, и все самое яркое, пышное, ласкающее глаз, снятое со стен, вынутое из сундуков — перекочевало во дворец.

Он поражал всех своей энергией, этот маленький старик с маленьким морщинистым лицом и с шапкой седых волос. Заметив, что обойщик без надлежащего вкуса собрал складки материи где-то высоко у потолка, Тунда сам быстро поднимался по лестнице и собственноручно, с молотком и гвоздями добивался необходимого эффекта.

Живой, как ртуть, с вечной сигарой в зубах, он успевал балагурить, острить, напевать шансонетки, успевал попотчевать коньяком угодивших ему драпировщиков, успевал подразнить чем-нибудь маркиза Панджили, успевал сказать ласковое слово пробежавшей мимо Поломбе, называя ее «крокодилкой».

— Ты куда бежишь, «крокодилка»?

Действительно, в белых редких и острых зубах камеристки Ее Величества было что-то крокодилье, особенно когда она улыбалась.

Непременной обязанностью маркиза Панджили как церемониймейстера было приготовить списки всех званых гостей. Сюда входили чины дипломатического корпуса, министры, сановники с их семьями, депутаты парламента, сенаторы, кое-кто из именитого купечества, делегаты округов и областей. Списки предлагались на утверждение Их Величеств, вернее — Ее Величества, ибо Адриан всецело предоставлял это матери.

Дон Исаак Абарбанель мучительно хотел попасть во дворец, но до сих пор для него были закрыты королевские двери. Он знал, что маркиз Панджили весь в долгах — и сам по себе расточитель и мот, и вдобавок еще супруг Мариулы, не знающей счета деньгам и несколько раз в год обновляющей в Париже и свои туалеты, и свою увядшую красоту.

Дон Исаак подъехал к маркизу. Вернее, даже не подъехал, а с цинизмом богача заявил:

— Господин церемониймейстер, я ассигно-

вал на это дело пятьдесят тысяч франков. Половину сейчас, половину после бала...

Маркиз схватился за этот случай если и не поправить, то, во всяком случае, заштопать свои расстроенные финансы. Зная Маргарету, он был уверен, что она вычеркнула бы фамилию богатого парвеню-эспаниола. Но маркиз надеялся на одно лишь: королева просто-напросто не заметит Абарбанеля среди списков из 432 фамилий.

Но Панджили ошибся. Он задрожал и побледнел потасканным лицом своим. Карандаш Ее Величества задержался против имени дона Исаака. Одно движение магического карандаша, и маркиз будет ограблен. Прощай 25 тысяч! Да и за первые 25 придется униженно отчитываться.

— Это что такое? — спросила королева.

— Это... Ваше Величество... Это дон Исаак Абарбанель...

— Ну, милый маркиз, это уж слишком! Его миллионы еще не дают ему права...

— Ваше Величество, это весьма достойный молодой человек, безгранично преданный династии: дон Исаак большой патриот. Во

время войны он так много жертвовал... Ваше Величество соблаговолит вспомнить... Если Ваше Величество его вычеркнет, он... он готов на самоубийство. Да, да, он такой, я его знаю! — вдохновенно импровизировал церемониймейстер.

Королева поглядела на него с умной, пылливой улыбкой.

— Вы непременно хотите меня напугать. Я не имею основания сомневаться в его преданности нам, но сомневаюсь, чтобы он лишил себя жизни от огорчения. Скажите откровенно, маркиз, вам очень хочется, чтобы этот ваш протеже несколько часов потолкался во дворце в день моего юбилея?

— Лично я не заинтересован ничуть... Но для достойных Вашего Величества подданных в этот счастливый, знаменательный день...

— Словом, я оставляю вам вашего Абарбанеля... — и карандаш, не задерживаясь, двинулся дальше.

Невыносимая тяжесть свалилась с плеч маркиза. Дон Исаак спасен, и вместе с ним спасены 25 тысяч.

22. ЗДЕСЬ ВНИЗУ И ТАМ НАВЕРХУ

Несколько дней назад всего Адриан с гордостью любящего сына думал о пятидесятилетия своей неувыдаемой и прекрасной матери. Он ждал этого дня, как ждут волнующего праздника, полного красок, движения, блеска, новых впечатлений и радостей.

И вот погасли краски, еще не успев загореться, погасли впечатления, еще не успев вспыхнуть, и казалось, что нет и не будет никакого движения, как нет и не будет новых людей, новых впечатлений и радостей.

И всему виной эта миниатюрная женщина с золотистым сиянием вокруг своей хорошенькой головки, с переменчивой игрой глаз, то синих, то голубых, то серых, и с капризной линией детского рта. Адриан встретился с Зитой на краю города на маленькой вилле, уютной и простой, павильонно-охотничьего стиля. Да и вправду, как охотничий домик, поднималась она острой крышей своей из глубины сада. Вилла эта, — гнездо их любви, — куплена была на имя королевского адъютанта Джунги.

В течение трех с лишним лет, изо дня в день считала Зита часы и минуты, когда будет вдвоем со своим возлюбленным на этой вилле... И вот уже два дня Зита не давала никаких признаков жизни. Впервые, впервые за весь долгий роман их король позвонил ей, позвонил в часы, когда муж бывает в министерстве.

Подошла Христа, верная Зите горничная.

— Христа, дома баронесса?..

— Дома, только не могут подойти к телефону. Нездоровы... Лежат...

Таков был ответ, но Адриан почему-то не поверил недомоганию Зиты. С чего это вдруг она заболела? Она, отличавшаяся исключительным здоровьем? Она, чутьем влюбленной женщины угадывавшая его телефон и ревниво поджидавшая в своем будуаре, когда затрещит маленький, из черного сверкающего металла аппарат, чтобы с так шибко забившимся сердцем прильнуть нежным, розовым ухом к трубке...

Это было в полдень, а в третьем часу, после завтрака, Адриан вместе с военным министром и Джунгой ехал на аэродром на испы-

тание полученных из Франции новых аэропланов.

На полпути повстречался автомобиль, возвращавшийся в Бокату. Сидели в нем баронесса Рангья и грузный, упитанный молодой человек, низко и угодливо снявший шляпу шагов за двадцать, пока успели поравняться автомобили.

Вся кровь, кровь горячих Ираклидов, густо залила разгневанное лицо Адриана. Было ощущение смертельной обиды, смертельного оскорбления. Ему показалось, что военный министр подавил насмешливую улыбку, что усы Джунги как-то особенно зашевелились. Показалось, что даже шофер и выездной лакей в треуголке с петушиным плюмажем как-то многозначительно переглянулись.

И лишь когда после этой встречи оставили за собой полкилометра, вспомнил Адриан, кто такой спутник Зиты... Вспомнил его имя. Это банкир Абарбанель. Он оборудовал на свой счет во время войны большой госпиталь, и, когда король посетил раненых, этот Абарбанель представился ему вместе с врачами.

Овладев собой, Адриан обратился с каким-то вопросом к военному министру.

На аэродроме стаяей исполинских полуптиц, полунасекомых выстроена была эскадрилья новых аэропланов. Мощные моторы блестяли на солнце.

Король поздоровался с летчиками: своими, пандурскими, в защитной коричневой форме, и с французскими, в небесного цвета мундирах. Они привезли аппараты и сдали их, сделав несколько пробных полетов. Сейчас будут еще испытания уже в присутствии Его Величества.

В том и ужас весь, что король непременно пожелает лететь.

Маргарета вызвала утром к себе военного министра.

— Генерал, вы сопутствуете королю на аэродром?

— Так точно, Ваше Величество.

— Что эти... аппараты надежны?

— Вполне! Результаты вчерашних испытаний — выше всяких похвал...

— Но я все же не хотела бы... Он и так слишком много летал... Король не должен

подвергать себя риску. Генерал, я надеюсь на вас...

— Ваше Величество, я сделаю все, что могу... Но в данном случае могу-то я очень мало. Король — единственный военный в стране, единственный, которому я не смею приказывать...

И надо было бы видеть растерянное, умоляюще-испуганное лицо военного министра, когда, невзирая на все его увещевания, король, сняв фуражку и надев кожаный шлем, сел в аппарат с лично ему известным капитаном-пилотом Дукато. Гигантская птица, сделав три плавных круга и поднявшись метров на 800, полетела к Бокате, все уменьшаясь и уменьшаясь.

Военный министр и все оставшиеся на аэродроме пережили беспокойных и неприятных сорок две минуты, ибо сорок две минуты продолжался полет Его Величества.

Люди воздуха, люди, летающие в заоблачных высях, — это уже не люди, а полубоги. Все оставшееся внизу кажется сверху таким ненастоящим, таким бездушно-игрушечным, жалким.

Природа, самая живописная, величественная, перестает быть природой, а стелется под ногами цветной рельефной географической картой.

Люди перестают быть людьми, превращаясь в насекомых, в оловянных солдатиков. И какая-то безграничная отчужденность создается у парящего в небесах полубога ко всему, что пришито к земле, будь это человек, дерево, будь это храм или музей, полный сокровищ.

Так и Адриан, оторвавшись от земли, почувствовал себя сверхчеловеком. Душа наполнилась не безразличием, нет, а какой-то ясной, безмятежной радостью олимпийских богов.

И трагическое там — внизу, здесь — вверху — чудилось ему пустяком, скорее смешным, чем досадным, эпизодом. Да и разве могло быть по-другому, иначе, когда все уменьшавшийся аэродром превратился в носовой платок и когда во время полета над Бокатой королевский дворец производил впечатление карточного домика, министерство путей сообщения, где жила Зита, чуть-чуть угадывалось

и вообще вся столица походила на тот план ее, который мальчишки на улице продают за 20 сантимов.

Спуск лишь отчасти вернул Адриана к действительности. Там, на высоте 1000 метров, он забыл, что существует военный министр, а если и помнил, то как оловянную фигурку в два-три сантиметра. Сейчас же это было солдатское, блаженно-счастливое лицо в резких морщинах. Но Зита, Зита, как была в течение 42 минут кукольной фигуркой, так и осталась. Он ее не разлюбил, нет, он ее продолжал любить, но не как живую, а как мертвую. Она умерла для него. Умерла, хотя появление Зиты в автомобиле с этим Абарбанелем далеко еще не было изменой...

И после того как он лично украсил грудь четырех французских летчиков пандурским орденом, уже возвращаясь с аэродрома в столицу, король думал о том, что через два дня Зита, сделав реверанс, подойдет к его руке. Пусть. Этого не избежать, но он и не взглянет на нее, а если даже и взглянет, то как на чужое и чуждое существо...

23. В СЕТЯХ ПРОВОКАЦИИ

А в его отсутствие произошло событие, едва не ставшее катастрофой, едва не омрачившее праздник. Маршал Фош завтракал во французской миссии. В третьем часу, когда, выйдя с адъютантом из посольства, он сел в автомобиль, два агента схватили субъекта, пытавшегося бросить бомбу. Агенты сделали это чрезвычайно ловко. Ни сам маршал, ни провожавший его французский посланник, ни чины миссии — никто ничего не заметил.

Оба агента, предотвратившие злодеяние, оказались агентами Савинкова. Бомбист оказался русским большевиком. Бомба, маленькая, карманная, оказалась снарядом большой разрушительной силы. По словам разряжавших ее артиллеристов, будь она брошена, не только ничего не осталось бы от маршала и его свиты, но и посольство, и весь прилегающий квартал — все взлетело бы на воздух.

Бузни лично допрашивал бомбиста, закованного в стальные наручники. Это был типичный дегенерат с перекошенным, асимметричным лицом, гнилыми зубами и с силь-

но развитой лобной костью с острыми надлобными дугами.

— Какие мотивы побудили вас на совершение этого акта? — спорил шеф тайного кабинета.

— Генерал Фош — враг пролетариата. Мы вынесли ему смертный приговор.

— Кто это — «мы»?

— Штаб Третьего Интернационала. Все дальнейшие вопросы бесполезны: я не скажу больше ни слова...

— Даже если за вашу словоохотливость вас не расстреляют?..

— Даже... Я шел на все... На самые жестокие пытки...

— Это у вас пытаются... У вас несчастная Россия — сплошной застенок.

Бомбист молчал. Ни одного звука нельзя было из него выжать.

Но Бузни, сделавший карьеру из небольших чиновников политического розыска, по личному опыту знал, что внешность преступника, его манеры держаться бывают обманчивы.

Корчит из себя этакое революционного,

можно сказать, Муция Сцеволу, а прижечь ему хорошенько пятки — все выболтает и еще как. И виноватых, и правых — всех в одну кучу свалит!

Этому же гнилому слизняку довольно всыпать десяток — другой шомполов, чтобы язык у него развязался.

И всыпали. И уже на девятом ударе бомбист с окровавленной спиной покаялся в своих прегрешениях. Назвал и свое настоящее имя, и полдюжины партийных кличек своих и выдал сообщников.

По горячим следам были произведены аресты. Кой-кого захватили, кое-кто, испуганный провалом покушения, успел бежать. Были даны телеграммы и в глубь королевства, и на границу с описанием примет беглецов.

Организация оказалась куда более серьезной и опасной, чем можно было предполагать. Обыски дали много компрометирующих документов, много взрывчатых веществ, оружия и много московских денег в хорошей валюте и золоте.

Как азартный игрок, ушел Бузни весь с головой в разматывание случаев подсунутого

человеческого клубка, добираясь до его сердцевины.

Всю ночь допрашивал арестованных. К утру погас весь его румянец и, падая от изнеможения, прошел он в маленький интимный кабинет заснуть часок-другой на диване, пока доставят новую порцию сообщников бомбиста.

Разбитый физически, он ликовал. Во-первых, от профессиональной гордости, во-вторых же, от сознания, что после разгрома нельзя ожидать никаких сюрпризов на ближайших днях, и юбилей пройдет благополучно.

Не успел он вздремнуть, явился дежурный чиновник.

— Господин Савинков желает видеть Ваше Превосходительство по очень важному делу.

— Просите...

Великий террорист был синевато-бледен в сизой дымке осеннего рассвета. Это сообщало ему сходство с ожившим разгуливающим трупом.

— Я побеспокоил вас, господин шеф, вот по какому поводу. Сейчас вам доставят неких Черника и Садыкера. Предупреждаю вас, что

это мои люди, только позавчера прибывшие из Чехии по-моему вызову.

— Да, но на них указал этот болван! — воскликнул Бузни.

— Еще бы не указать, — криво улыбнулся Савинков, — они же его и спровоцировали, а двое других моих людей помешали ему бросить бомбу.

— Значит, все это ваших рук дело...

— Моих, господин шеф, моих! Благодаря мне захвачена вся банда. Вы можете спокойно спать. Ну, что довольны вы моим первым дебютом?

— Очень. Хотя... вы знаете, этот путь... путь провокации...

— Скользкий путь, угодно вам сказать. Согласен с вами... Но такое уж это грязное дело, что без провокации и шагу не ступишь...

Светлые, холодные, как у мертвеца, застеклившиеся глаза человека с волчьим лбом встретились с карими, бегающими глазами шефа.

Глаза очень редко лгут. Слова же — почти всегда. Вот почему взглядами Савинков и Бузни сказали друг другу правду, в словах же бы-

ли притворство и фальшь.

Бузни спросил:

— Какими духами вы душились?

— Всегда одни и те же. Английские духи «Шипр» Аткинсона, — ответил Савинков.

На самом же деле Бузни хотел сказать: «Однако, милый мой, хотя такие, как ты, революционные кондотьеры и могут принести пользу, но еще больше — вреда. Я не сомневаюсь, что за чудесное спасение Фоша и за раскрытие коммунистической шайки ты с меня сдерешь семь шкур и, во всяком случае, сделаешь изрядное кровопускание секретным фондам моего кабинета».

Савинков же хотел ему ответить: «Я тебе показал, что я могу и какая мне цена. Прошу это помнить... Моя шпага умеет разить с одинаковым искусством как направо, так и налево. Сегодня я играю одними головами, завтра другими...»

— «Шипр» Аткинсона... «Шипр» Аткинсона, — повторил Бузни. — Да, так вы говорите, что одного зовут Черником, другого — Садыкером? Я их для приличия задержу несколько часов и после тихонько освобожу. Это все?..

— Все, — губами ответил Савинков. Взгляд же его был понят шефом, как следует, по-настоящему.

— Я смертельно измотался и просплю здесь до десяти, по крайней мере, а в 12 пожайте к Рихсбахеру, в тот же самый кабинет. Самая лучшая конспиративная квартира. Мы позавтракаем, и заодно я вручу вам аванс под вашу дальнейшую работу и наградные вашим агентам, арестовавшим преступника.

Савинков ушел, оставив запах английских духов и впечатление синевато-бледного гальванизованного трупа.

Несколько минут шефу было не по себе. Савинков подействовал ему на нервы. Этот человек блеснул талантом своим подпольного провокатора, но, увы, нельзя на него положиться. Он далеко не из тех работников сыска, скромных, добросовестных, которые так нужны для дела. Нужно тихое ровное горение вместо ослепительных, мгновенно погасающих бенгальских огней, от которых ничего, кроме вони, копоты и чада, не остается. С этой мыслью шеф крепко уснул...

24. ПЕРЕД ВЫСОЧАЙШИМ ВЫХОДОМ

В декорированных профессором Тундой Вапартаментах собрались гости Их Величеств. Со времени покойного короля Бальтара еще не было такого блестящего съезда. После войны это был первый большой прием.

Даже левые депутаты парламента, — койкого из них по политическим соображениям нельзя было не пригласить, — даже они, в своих новеньких, к этому дню сшитых, дурно сидящих фраках шептались между собой:

— Разумеется, все подобные торжества и балы, это — вопиющее преступление перед народом. Разумеется... Однако надо отдать справедливость, — эта буржуазная толпа имеет очень, очень импонирующий вид.

Сами же социалисты неловко чувствовали себя в этой «буржуазной толпе» и напускной демократической развязностью маскировали свое смущение, свою беспомощность, — куда девать лезущие из прицепных манжет ширококостые, плебейские руки, — плебейские, хотя некоторые обладатели их учились в загра-

ничных университетах.

Самым непримиримым был невзрачный Мусманек, с лицом, которое забывается через пять минут, с «готовым» бантиком белого галстука, сползавшим в сторону. Вертевшийся вокруг самодовольного, одетого с адвокатским щегольством Шухтана, злой, жадный, завистливый Мусманек фыркал на все и на всех. Его возмущали туалеты и бриллианты придворных дам, их обнаженные плечи и руки, возмущали принцессы и принцы, возмущали изящные дипломаты, молодые гвардейцы, возмущало все красивое, изысканное, породистое, отмеченное вкусом и умением держаться, как дома, в этом Дворце, где сам строгий Мусманек был таким случайным, никому не нужным, никому не интересным гостем.

Тунда, во фраке уже не первой свежести, но отлично сидящем на его подвижной фигурке, с голубой лентой, с тремя звездами и несколькими цепочками, — на них, как брелоки, висели десятки миниатюрных орденов, — говорил кардиналу Звампе:

— Монархия — всегда монархия! Не так ли, монсеньор? Возьмем Пандурию. Небольшое

королевство, бедный королевский Двор, а сколько живописного величия во всей этой картине! Мне случалось бывать на больших балах в Елисейском дворце у президента богатой и великодержавной Франции. То, да не то! Какая-то подделка, да и подделка второстепенная, не из важных. Здесь немного портит общее впечатление эта парламентская шушера с левых скамей... Но ничего не поде-лаешь. В наше время нельзя обойтись без взяток «его величеству хаму»...

Красавец кардинал, такой декоративный в своей пурпурной мантии, сочувственно улыбнулся.

— После того, как погибла Россия, вы, монсеньор, нигде такой гвардии не увидите, как у нас, — продолжал Тунда.

И вправду же, великолепно были эти гвардейские гусары в парадных белых, опушенных соболем и расшитых золотыми бранденбургскими доломанами с леопардовой шкурой за плечами. Впечатление восточной феерии или балета производили офицеры мусульманских частей и королевского конвоя. Им одним полагалось оставаться в головных уборах, — ча-

стью высокие фески, частью белые тюрбаны и чалмы. Короткие красные и голубые мундиры, старинные дедовские, осыпанные драгоценными камнями сабли. Стройные, мускулистые фигуры, хищные, цепкие движения и бледно-матовые лица, черноусые мужественные лица султанских янычар.

А эти кирасиры в чешуйчатых доспехах и высоких ботфортах? Одна рука в перчатке до локтя держит массивную каску с пандурским орлом, другая опирается на гнутый эфес длинного, тяжелого, как рыцарский меч, палаша. Совсем ожившие рыцари, только что снятые оруженосцами со своих монументальных коней. Один из этих рыцарей — усатый гигант, склонившись, как только мог, почтительно беседует с миниатюрной и хрупкой Зитой. Кирасир, закованный в чешуйчатое железо, и крохотная златоволосая фея кукол...

Не выдержал министр изящных искусств, художник победил сановника... Было раз навсегда приказано лакею в заднем кармане фрака оставлять небольшой альбом. Вынув альбом, забыв, что это придворный бал, хотя Их Величества еще не появлялись, забыв про

собеседника своего в пурпурной мантии, — начал Тунда волшебным карандашом своим зарисовывать поразившую его своей удивительной контрастностью пару — изящную миниатюрную Зиту и ее кавалера — Исполина. Тунда не видел, не замечал вертевшихся возле этой пары господина Рангья, — твердый воротник мундира залил кровью левантийское лицо его, — и Абарбанеля. Этот тщеславный испаниол, в первые минуты ног под собой не чувший от прилившегося счастья, быстро уже как-то освоился, считая дворцовые апартаменты уже чуть ли не своими. Во всяком случае, его собственный дворец обставлен хотя и с гораздо меньшим вкусом, но зато и несравненно, неизмеримо богаче.

Белые двери белого концертного зала полуприкрыты. Два камер-лакея вежливо, с глубокими поклонами, однако же самым решительным образом не пропускают туда любопытных гостей. Там идут последние приготовления. Электротехники пробуют на сцене световые эффекты.

Чем ближе к девяти с половиной часовая стрелка, тем озабоченней становится маркиз

Панджили и, глядя на него, как-то подтягивается вся эта нарядная толпа раззолоченных военных и гражданских мундиров, черных фраков со звездами, нежных точеных плеч, как из пены морской, выходящих из пены кружев и тюля. Блестят глаза, напряженной улыбки. У дам, а у мужчин серьезнее и строже лица. Запросто, без всякой свиты, выйдет король, а через четверть часа торжественный выход королевы с дочерью, с целым созвездием принцесс, принцев и знатнейших статс-дам и обер-гофмейстерин.

Маркиз Панджили — одна прелесть. Вспоминается, — нельзя не вспомнить, — Версальский дворец короля-Солнца. И, как версальский маркиз, — Панджили то появляется, то исчезает слегка танцующей, жеманной походкой, расточая улыбки дамам и чинам дипломатического корпуса. Мелькают его икры, туго обтянутые шелковыми чулками. Церемониймейстерским жезлом он владеет, как виртуоз-дирижер своей палочкой. Подобно полководцу перед генеральным сражением, расставляющему на плацдарме свои войска, Панджили опытным глазом своим оживил пока

еще пустынный, гладким паркетом сияющий тронный зал.

В течение пятнадцати минут он успеет, должен успеть, собрать из всех гостиных несколько сот человек и расставить их двумя группами от самого трона во всю глубину зала. Каждому из наиболее почетных и важных гостей он уже определил его место согласно рангу и положению. Никто не почувствует себя обойденным. Никто! Слишком для этого маркиз Панджили придворная косточка.

25. В ТРОННОМ ЗАЛЕ

Король вместе с маркизом еще за целый месяц установил весь церемониал. Чтобы отметить триумф матери, Адриан ступевал и отодвинул себя на второй план. Вот отчего он появился среди гостей запросто, без всякой свиты, даже без адъютанта.

В свите же Ее Величества будет десять принцесс и принцев крови.

И никто уловить не успел, когда, в какой момент и из какой двери вышел Адриан из своих апартаментов. Он был уже на виду у всех, — стройный, в своей излюбленной фор-

ме генерала гвардейских гусар. Благосклонная, приветливая улыбка освещала его смуглое, нежно-матовое лицо, и хотя и сверху, и со стен щедрыми потоками лилось электричество, там, где проходил король, становилось как будто еще светлее.

Оскорбительно-жестоко нанесенная Зитой рана все еще так мучительно свежа была, но это разве лишь обыкновенные смертные могут позволить себе роскошь отдаваться переживаниям настоящей минуты. Короли должны прятать свои чувства, должны уметь носить маску. Вот почему с одинаковой, не покидавшей его лицо, светящейся, обаятельной улыбкой здоровался Адриан с дипломатами, министрами, дамами, подходившими к его руке с глубокими реверансами, и с живописной группой представителей пандурского селячества, мусульманских общин и горных областей.

Король узнал старика-горца, высокого, худощавого, с медалями и крестами и за минувшие войны, и за последнюю. Король знал его как бойца на фронте и как охотника, — вместе с ним бил в горах диких кабанов. Адриан

пожал ему руку и обласкал, вспомнив какой-то случай, уже забытый горцем. Старик не выдержал, и слезы покатались по сухому, обветренному лицу с двумя шрамами, — следы рукопашных схваток с албанцами и турками.

Увидев короля, Зита густо, горячо вспыхнула, терзаясь, как может один сплошной комок нервов терзаться. Она ожидала встретить убийственно-презрительный взгляд, а встретила ту же самую чарующую улыбку, что за минуту пленяла сенаторов, посланников, крепстьян тучных равнин и горцев неприступных заоблачных твердынь. И стало еще больнее Зите, и, целуя похолодевшими губами руку Его Величества, она подумала с острой накипью горя:

«Это равнодушие ужаснее, чем ненависть...»

Панджили в тяжелом, как кираса, от золотого шитья вицмундире, за который еще не было заплачено портному, улыбками, поклонами, церемониймейстерским жезлом своим приглашал всех в тронный зал. И вот там-то проявил он всю свой профессиональный

гений. В несколько минут воздвиг маркиз вдоль всего зала чудесные человеческие шпалеры. Широкий, словно по ниточке, проход вел от дверей к ступеням трона под пышным балдахином. Ничего не упустил маркиз Панджили. По обычаям пандурского двора, стало у тронного кресла восемь гвардейцев с обнаженными саблями и палашами. Восемь самых рослых молодых людей во всем королевстве. Два кирасира в касках, два гусара в меховых шапках, два улана в киверах, два мусульманина в фесках. Генералитет, сановники, дипломаты, епископы и кардиналы, — для них этот высочайший выход был далеко не первый, — знали свои места. Но, хотя и знали, все же маркиз, как мастер, кладущий на законченную картину несколько последних вдохновенных мазков, «одухотворил» и украсил эти и без того красивые нарядные группы, кой-кого выдвинув, кой-кого отодвинув, кой-кого медовым вкрадчивым голосом и нежным прикосновением пальцев попросив взять чуточку вправо или чуточку влево.

Дисциплинированную мужчины беспрекословно повиновались, а вот с дамами труд-

нее было, не с придворными, нет, а с теми, что впервые или почти впервые очутились во дворце. Каждой непременно хотелось быть ближе к трону и быть в первом ряду человеческой стены, мимо которой проследует Ее Величество.

Но с этими дамами церемониймейстер не «церемонился». Вместо вкрадчивых просьб и увещеваний, нежного прикосновения пальцев, — задушенные окрики сквозь стиснутые зубы, злые глаза и еще нетерпеливые толчки жезлом, толчки в грудь, заставлявшие пятиться. И все это проделывалось с такой жонглерской стремительностью, так поразительно ловко, что никто ничего не замечал со стороны.

Неумолим был маркиз в соблюдении иерархической лестницы. Неумолим, но есть ли правило без исключения? Такое исключение — Абарбанель. Встретив умоляющий взгляд банкира и вспомнив, что завтра он получит с него еще 25 тысяч, маркиз пристегнул дона Исаака к группе сенаторов.

Уже на своих местах ярко одетые в своих национальных костюмах крестьяне и еще бо-

лее ярко одетые горцы с кинжалами и револьверами за широким матерчатым поясом. И горцы, подобно мусульманам, имели право оставаться в своих круглых черных шапочках с красным, вышитым золотом верхом.

Окинув последним взглядом, церемониймейстер, довольный собой, исчез. Затихло все. Шепот смолк. Напряженное состояние, скованы и мысль, и желание, и воля четырехсот человек. Восемьсот глаз повернулись к дверям, где исчез маркиз Панджили... Так прошло две-три минуты, показавшиеся целой вечностью.

И вот вновь появляется маркиз Панджили и стучит о паркет своим жезлом.

Эти короткие удары как-то значительно отозвались в сердце тех, чье сердце и так учащенно билось...

Плавно, изгибаясь, как балетмейстер, показывающий па менуэта, двинулся вперед, словно в священном экстазе каком-то, маркиз Панджили. Хотя дверь с парными часовыми в кирасирских чешуйчатых латах давно уже приковала всеобщее внимание, однако же никто не мог объяснить себе, как это он про-

глядел королеву.

Ее увидели, когда она уже проходила мимо селянских и горских депутаций.

Еще никогда она не была так молода, свежа и прекрасна. Лицо, фигура, все существо — один сплошной вызов: смотрите, смотрите все! Я не только не скрываю своих лет, я сказала на весь мир, что мне минуло уже полвека!.. Смотрите же, завидуйте, восхищайтесь!..

И действительно, было чем восхищаться..

Сшитое по рисунку знаменитого художника, зеленое, как изумруд, бархатное платье с античными складками, сохраняя царственное величие стройного тела, подчеркивало его моложавую гибкость и плавность.

Ниспадавшую вниз с плеч и далеко тянущуюся горностаевую мантию несли четыре мальчика, одетых средневековыми пажами.

Эта пышная мантия составляла как бы неотделимое продолжение Ее Величества. Над белым чистым челом королевы горела бриллиантовая полудиадема-полукорона.

Вслед за пажами шли две принцессы — Лилиан и Памела. А дальше за ними принцы, князья, герцоги. Инфант Луис-Евгений, брат

Памелы, принц Павел Карагеоргиевич, румынский престолонаследник, герцог Абрुццкий, Кирилл Болгарский и двое принцев пандурской династии, живущих постоянно за границей.

Это зрелище, такое величавое и гармоничное, в меру пышное и в меру блестящее, чтобы не походить на пышность и блеск восточных дворов, а также балетных и оперных постановок, победило воображение социалистических депутатов даже помимо их воли.

Бледные, позеленевшие, отравленные классовой ненавистью, глотая слюну, с перекошенными лицами, смотрели они на это шествие, а слова осуждения, злой критики и вообще демократической пошлятины, изрыгаемой в таких случаях — все это застревало в горле.

У самых ступеней трона сын склонился к руке матери, первый поздравил ее, помог взойти и помог сесть. Четыре маленьких полупажа-полухерувима, еще не кончившие своих обязанностей, двумя парами стали на нижней ступеньке тронного возвышения.

Мы не будем утомлять читателя описани-

ем поздравлений, без малого целый час длившихся. Дальнейший церемониал изложен был на следующий день во всех правых и даже левых газетах. А еще подробнее всяких газет рассказывал о юбилейном торжестве в дневнике своем маркиз Панджили.

Отметим то разве лишь, что было вскользь отмечено газетами и совсем не было отмечено маркизом Панджили.

Особенной сердечностью, наивно-трогательной, отличались поздравления крестьян и горцев, поздравления дрожащими от переполнения чувств голосами. По грубым щекам катились слезы. Эти простые, немудреные земледельцы, скотоводы и охотники видели родное что-то, близкое и понятное в своей королеве, тонкой, рафинированной женщине, тридцать три года назад приехавшей сюда юной, чужой принцессой соседней великой державы...

И вот, без всякой манерности, без всякой фальши, сумела она сделаться понятной, доступной и любимой, сумела добиться того, чего не могли и не хотели понять парламентские левые.

Ведь они, эти тупые болтуны, думали, иначе не умели думать, что раз у нее на голове корона, а на плечах мантия, значит ни о каком объединении с народом не может быть и речи.

Как негодуяще изумился бы каждый из этих Мусманеков, — они все Мусманеки, — если бы ему сказать, что королева с ее горностаями, ее царственным величием, ее породой, ее аристократизмом — демократичнее каждого из них в широком, благородном, а не в узком, партийном значении этого слова.

26. ТАМАРА КАРСАВИНА

Опустел тронный зал, и лишь потускневший, утративший сияющую зеркальность свою паркет говорил о том, что происходило здесь каких-нибудь полчаса назад.

Обворожительная королева, королева-монархиня, превратилась в не менее обворожительную королеву-хозяйку. Каждый гость, каждая гостья, независимо от положения, обласканы были одинаковым приветом, одинаковой улыбкой, одинаковым вниманием.

В ожидании, пока пригласят в концертный

зал, гости группировались в декорированных Тундой покоях. Сам Тунда уже успел слегка «наконьячиться». Где и как, — это была его тайна, его да еще старого камер-лакея.

Министр изящных искусств в орденах и звездах восемнадцати государств чувствовал себя отлично. Сияло морщинистое лицо. Поблескивали добрые, веселые глаза. Его артистическая душа была вполне удовлетворена всей парадной стороной так удавшегося великолепия. Сейчас он думал, как бы подобрать себе для ужина поинтереснее компанию. Тем более, Их Величества, принцы и высшие чины дипломатического корпуса будут ужинать, согласно этикету, отдельно. Все же остальные, без рангов и чинов, разместятся, с кем кто желает, — за сорока двумя круглыми столами. Предусмотрительный Тунда уже подбирал «свой стол». У него два условия: должно быть весело и должны быть интересные женщины. Без них, как без хорошего вина, — какое же веселье?

Согласием Тамары Карсавиной, знаменитой балерины, приехавшей из Лондона в Бокату на один вечер, по личному приглаше-

нию королевы, — он уже заручился.

Тунда, несколько лет назад написавший большой прекрасный портрет Карсавиной, был горячим поклонником и почитателем великой артистки.

Он говорил о ней:

— Карсавина — из тех редких, очень умных женщин, в чьем обществе не только не скучно, а даже совсем наоборот. Она может написать книгу, — да и писала, — о пластическом искусстве, о литературе, о балете, но она ничуть не «синий чулок», а вся такая нежная, тонкая, женственная...

— Ну, хорошо, — дальше соображал Тунда, — возьмем старую греховодницу Мариулу Панджили. А раз она будет, нельзя обойтись без этого бесплатного приложения к ней — герцога Альбы. Он молодой дипломат, и за королевский стол его не посадят. Дальше! Дальше, — мигая набухшими веками, соображал Тунда... Его взгляд упал на проходившего мимо с озабоченным видом шефа тайного кабинета.

— Ба, разумеется, Бузни должен быть вместе с нами!.. За одним столом с Мариулой, —

это будет пикантно!..

— Что ж, Карсавина, Альба, Мариула, Буз-ни, я — и довольно. Хотя, нет, не довольно... Зита еще... Зита, она прелестна! Только без супруга и без этого Абарбанеля. Пусть они оба за какой-нибудь другой стол...

Уже полон концертный зал. Нескольких рядов кресел и стульев далеко не хватило для всех. Большинство зрителей толпилось сзади.

Знатные гости, впервые посетившие дворец, восхищались занавесом кисти профессора Тунды. Мифологические богини и боги, сплетаясь в гирлянды, летели в облака, мчались на колеснице и, трудно сказать, чего больше было в этой сложной композиции: яркой, богатой фантазии или такого же яркого мастерства. Целая оргия ослепительно сочных красок и пятен.

После музыки и пения — Карсавина с кавалером своим Владимировым. Это была восточная пляска, сочиненная самой Карсавиной и не похожая ни на баядерку, ни на индусский танец. Это было что-то совсем новое, томное, легкое, воздушное, как солнечный сон, сон где-нибудь в тропических джунглях.

И декорации, написанные Тундой специально к выступлению Карсавиной, действительно напоминали какие-то первобытные чащи, ярко-густо-зеленые, горящие фантастическими цветами нестерпимого зноя и блеска. И было впечатление грациозно резвящихся наивных и чистых подростков на лоне этой мощной природы.

За дирижерским пюпитром сидел Кусевский, одним только видом своим вдохновлявший музыкантов королевского оркестра. Мелодии, жалобные, тихо-заунывные, журчащие, сменялись чем-то бурным и страстным, увлекающим подобно вихрю...

Полуприкрытые звериными шкурами, полунагие Карсавина и Владимиров то носились по всей сцене, то, создавая пластические моменты изумительной красоты, замирали в объятиях, то молодой, сильный танцовщик, в победном упоении мужчины, подымал высоко над головой хрупкую балерину с ногами таких линий, таких форм, каких никогда еще не было во всем русском Императорском балете.

В один из последних таких моментов, ко-

гда, напрягши все мускулистое тело свое, тело юного Геркулеса, Владимиров на вытянутых руках держал Карсавину, медленно стал опускаться занавес, расписанный языческими богинями и богами.

Две-три секунды затаившегося немого очарования, и — аплодисменты королевы были сигналом. Весь зал, все кругом застонало, задрожало от безумных, неистовых рукоплесканий. Занавес приостановился...

Было впечатление живой скульптуры, неизъяснимо-прекрасной, и чудилось, что Владимиров целую вечность продержит высоко над собой одну из величайших танцовщиц на свете.

Занавес скрыл от зрителей это великолепное живое изваяние. Новые рукоплескания, новые восторги. Теперь уже взявшись за руки, балерина и танцовщик, низко кланяясь королеве, отвечали на благосклонные аплодисменты Ее Величества. Королева сделала знак одному из адъютантов. Он прошел за кулисы, через минуту вернулся под руку вместе с Карсавиной и подвел к королеве.

Встав с кресла, она поцеловала артистку, и

сняв со своей руки перстень, — осыпанный бриллиантами и изумрудами, — надела его на палец Тамары Карсавиной. Владимир же получил от короля Адриана жемчужную булавку.

27. БУРЖУИ И СОЦИАЛИСТЫ ЗА КОРОЛЕВСКИМ УЖИНОМ

Ужинали в нескольких гостиных. В одной из них, убранной под шатер мавританского калифа, Тунда занял столик поближе к окну. Хотя на дворе уже глубокая осень, — вечера теплые, — окна гостиной были распахнуты настежь.

И вместе с мягкой ночью вливался в эти окна из города неясный гул народной толпы, под открытым небом справляющей юбилей королевы Маргариты.

Знаменитый художник собрал всех тех, в чьем обществе ему хотелось поужинать. Мило, с той особенной светскостью, что дается лишь частым и долгим общением с людьми самых разнообразных кругов, держала себя Карсавина, в меру веселая, чтобы не казаться вульгарной, в меру тонная, чтобы не казаться

чопорной, в меру умная, чтобы не казаться сухой. С любопытством изучала прекрасными живыми глазами своими сидевшую визави маркизу Панджили. Артистка много слышала о ней, — скандальной репутации маркизы было тесно в Пандурии, она бежала далеко за границы королевства, — но видела эту женщину, прозванную «белой негритьянкой», впервые.

Никакие ухищрения косметические не могли скрыть увядающее лицо Мариулы, не могли затушевать морщин возле ушей, возле губ и на подбородке. Но все же в этом лице со вздернутым носом, с вывороченными губами, — красивым оно никогда не было, — так много было животной развращенности... Отлично сохранившаяся грудь Мариулы обнажена была до тех крайних пределов, за которыми уже начинается неприличие.

Сидевший рядом с ней Тунда попивал коньяк, моргая своими глазами-живчиками. Вообще, самый вид Мариулы вызывал у него игривое настроение.

— Маркиза, помните Константинополь? — не удержался Тунда. — Хорошее было время.

Уже потому хотя бы, что мы были молоды...

— Что это такое — мы? — возразила Панджили, — говорите о себе... А я... я и сейчас молода...

— Верно! Простите мне эту гаффу. Вашу ручку! Да, кстати, маркиза, где теперь Кампо Саградо? — вспомнил профессор тогдашнего сезонного любовника Мариулы.

— Да вы откуда, с луны явились? Разве не знаете, что Кампо Саградо умер?..

И это все с таким завидным, небрежным спокойствием. Нет, ее ничем не прошибешь. Поэтому, именно поэтому хотелось мальчишески-задорному Тунде «прошибить» Мариулу. Он видел перед собой румяное, как под слоем грима, лицо с быстрыми, словно чужими, глазами, лицо, принадлежавшее шефу тайного кабинета. И в сердце Тунды закралась надежда...

— Милый Бузни, отчего вы не пьете? Впрочем, виноват, забыл... Ах, этот Бузни! Всегда при исполнении служебных обязанностей. Скучно... А вот я — я наоборот. Я и на службе забываю, что я министр... Да, Бузни, я слышал, что музейная ваша коллекция обогати-

лась одним... одним почти невесомым шедевром... Скажите, это должно быть очень забавно?.. А? — и Тунда, посмеиваясь дробным смешком, уставился на Мариулу с фамильярной, поощряющей ласковостью.

Герцог Альба, вместе с Мариулой давший возможность шефу обогатить его, шефа, коллекцию, так вспыхнул, — покраснели лоб и шея, оттеняемая белоснежным воротничком.

Мариула, погрозив пальцем бритоголовому Бузни, бесстыдно расхохоталась.

— Смотрите, Бузни, я только и жду удобного случая, чтобы вам отомстить!

— Помилуйте, за что же, маркиза?..

— За то, что вы куда не следует суете длинный ваш нос...

У Зиты Рангья было тяжело на душе. Ни к чему не прикасаясь, она смотрела и слушала, ничего не видя, не понимая, ко всему безучастная, целиком ушедшая в свое горе.

Но даже и ее вывел из оцепенения, даже и ее поверг в изумление хохот Мариулы и какой-то забронированный цинизм ее.

Зита знала, — весь город знал, — каким «шедевром» обогатился музей тайного каби-

нета.

— Маркиза, я всегда был вашим поклонником! Всегда! — воскликнул Тунда, — сейчас же, сейчас я у ваших ног и... даже в самом буквальном смысле слова, — добавил художник, уронив салфетку и нагнувшись за ней.

— Господин министр, это моя нога, а не салфетка... — со смехом отодвинулась Панджили.

— Но, маркиза, у меня же нет на руке глаз... Это, во первых, а во-вторых, будь мне столько же лет, сколько, например, герцогу Альбе, вы, наверное, воздержались бы от замечаний...

Легкомысленный беспечный жуир Тунда был мягок и чуток. И если никто не угадывал переживаемой Зитой драмы, Тунда инстинктом художника чувствовал ее...

Он готов был отдать свою старую голову на отсечение, что Зита не могла увлечься ни самим Абарбанелем, ни его богатством. И упершийся в какую-то пока еще для него загадку, — Тунда с нежным отцовским сочувствием посматривал на Зиту. Ловя на себе эти его взгляды, она отогревалась как-то, созна-

вая себя менее одинокой, менее несчастной...

А с соседнего стола доносился самодовольный смех успевшего стать багровым почтенного супруга Зиты. Он ужинал в обществе двух крупных чиновников с их женами и Абарбанеля, за которым ухаживал с тем подобострастием, какое всегда внушал ему денежный мешок.

Абарбанель принимал это как должное, рассеянно слушал министра и почти не спускал влажных, как оливки, глаз своих с Зиты.

Зачем она не вместе с ним, эта маленькая мучительница, так не на шутку захватившая дону Исаака и не позволяющая ничего, кроме поцелуя руки?

В глубине гостиной ужинали парламентские социалисты. Они и здесь устроились партийным кружком своим, развязностью заглушая смущение и бесцеремонным отношением к прислуге заглушая свою робость перед важными, бритыми лакеями.

Эти важные, бритые лакеи обносили их громадными блюдами с холодной рыбой, фазанами, артишоками.

Артишоки ставили в тупик демократию.

За исключением Шухтана, самого светского социалиста, никто не решился начать есть, пока не увидели, как обращается с горячими, дымящимися артишоками герцог Альба. Демократы, в особенности жадный Мусманек, таскали с высоких серебряных ваз апельсины, груши и яблоки и украдкой наполняли ими задние карманы своих фраков. А когда в конце ужина лакеи стали обносить гостей ящичками гаванских сигар, каждый социалист, презирающий чужую собственность, спешил захватить две-три сигары, а то и целую горсть.

У дворцовых лакеев это вызвало презрительные улыбки.

Маркиза Панджили спросила Тунду уже после кофе:

— Что, разве Их Величества не будут обходить, по обыкновению, своих гостей?

— На этот раз — нет!

— Почему же?

— Чтобы не оказывать своего монаршего внимания милостивым государям, которые этого ни в какой мере не заслуживают, являясь врагами короны... — и Тунда покосился

при этом на господ с отяжелевшими и разбухшими от королевских фруктов фалдочками фраков.

— А... Ну, конечно... Конечно! — согласилась Мариула. — Что ж, в таком случае, можем вставать?.. — приподнялась она и все последовали ее примеру.

Дымя сигарой, своей собственной, — эта гаванна была ароматнее и лучше тех, которыми обносили лакеи, — стоял у окна министр изящных искусств, вдыхая прохладу ночи и глядя на звездное небо. Столица рокотала неясными, смягченными завесой ночи звуками. Обыкновенно в такой поздний час — глубокая немая тишина кругом...

Теперь же вся Боката еще на ногах, празднуя юбилей своей королевы...

Часть вторая

1. «ЛАУРАНА» НЕ СПИТ

Минуло месяцев шесть.

Молодой лейтенант королевского флота Эмилио Друдри получил донос. Примерно в полночь возле городка Чента Чинкванта, уже застроенного, успевшего оправиться после катастрофы, должна произойти контрабандная выгрузка ящиков с весьма подозрительным содержимым, по всей видимости, с оружием.

Двадцатидвухлетний Друдри был чрезвычайно горд как полученными сведениями, так и всем тем, что должно произойти.

Друдри командовал канонерской лодкой. Ее прямая обязанность — следить за морским берегом от Чента Чинкванты до поселка Сан-Северино. За последнее время участилась доставка контрабандным путем оружия из Трансмонтании, где свила себе гнездо крупная организация эмиссаров, агентов и шпионов Совдепии.

Надо было смотреть во все глаза.

Командир канонерской лодки лейтенант Эмилио Друдри, — как это звучит красиво, — исполнял честно свой долг в пределах, увы, сомнительной быстроходности своей «Лаураны».

Некрупный и довольно изношенный пассажирский пароход, много лет обслуживавший берега самым мирным, самым глубоко штатским образом. Но вот когда большевицкая агитация, проникшая повсюду, начала проникать и в Пандурию, не только в виде тюков с литературой, но и в виде ящиков с револьверами, винтовками, ручными гранатами и пулеметами, скромный «штатский» пароход вынужден был принять воинственный вид. На его носу как-то по-игрушечному засверкал новый полуторадюймовый «точкис», а на палубе маленькими стальными приземистыми хищниками спружинились два пулемета.

Неряшливо одетый, разухабистый «экипаж» и капитан его, с седой, прокуренной бородой, сменились щеголеватым лейтенантом с десятью молодцеватого вида матросами.

Старой, почти отслужившей свой век «Лау-

ране» как-то не к лицу были и «гочкис», и пулеметы, и Друды в золотых погонах, и матросы в ловко сидящей форме с боевыми патронами в кожаных сумках у пояса.

Что и говорить, не к лицу, но — ничего не поделаешь! Истощенная, разоренная тяжелой войной Пандурия, испившая до дна чашу тяжких испытаний, не могла тратить больших денег на флот.

Морской бюджет задыхался под бременем расходов, вызванных покупкой в Аргентине двух миноносцев.

Правда, Пандурии, в награду за понесенная ею жертвы, была обещана часть неприятельского флота, но дальше обещаний не двинулось дело.

Мудрено ли, что для борьбы с усиливающейся контрабандой приходилось домашними средствами вооружать такие одряхлевшие посудины, как «Лаурана».

Но — дело мастера боится. Командуя «Лаураной», лейтенант Друды сумел захватить большой парусник, прижав его к берегу, разоружить и сдать в военное министерство несколько ящиков с автоматическими писто-

летами. В другой раз моторную лодку, пытавшуюся бежать, он пустил ко дну.

Не было туч, были звезды, но было темно. Казалось, прибрежные горы куда выше и таинственнее, чем днем, и сходятся с небесами. Бог знает на какой недоступной человеку заоблачной крутизне.

В этом благодатном уголке природу поделили между собой две стихии — мощные живописные скалы, днем серые, аспидные, фиолетовые, а сейчас такие мрачные, темные, и море — днем зеленое, как малахит, синее, как бирюза, а сейчас такое черное, пугающее, уходящее без конца-краю.

И если много ярких трепетных точек в густо вывездившихся небесах, то очень мало их на фоне гор. Кое-где мигают слабые-слабые огоньки, — и совсем их нет на воде. Фонари освещали палубу и капитанский мостик «Лаураны». Однако уже с половины одиннадцатого лейтенант Друдри приказал их погасить, а окна в нижних каютах завесить непроницаемо-плотно. Если б не эти проклятые искры, бесовским хороводом каким-то вылетавшие вместе с дымом, было бы совсем хорошо.

Выйдя в открытое море так, чтобы иметь под наблюдением всю береговую полосу вправо и влево от Чента Чинкванты, поглощенная мраком, затаилась «Лаурана».

Лейтенант Друдри бросил несколько отрывистых слов с капитанского мостика в рупор вниз, в топку полуголым кочегарам, — они выглядели, как полунегры, — и тотчас же начал стихать валивший из трубы дым и погасли задорные искры «бесовского хоровода».

Друдри не отрывал глаз от длинного, тяжелого морского бинокля. Как одаренный сверхъестественным зрением, видел он перед собой всю морскую гладь и в длину, и в ширину на несколько километров, видел зазубренную линию берега, видел контуры скал или, по крайней мере, их главные морщины. А появившись там человеческий силуэт, увидел бы и его.

Но — ни человеческого силуэта, ни движущейся точки. Тихо, глухо и сонно. Спал гордо, только-только залечивший свои раны после раздавивших его чудовищных глыб. Спали береговые батареи, спали казармы артиллеристов, все кругом спало, кроме Господа

Бога в далеких небесах. Он бодрствовал один за всех.

Когда руки, державшие тяжелый бинокль, начинали неметь, лейтенант закуривал папиросу. И было десять с чем-то коротеньких антрактов и выкурено было десять с чем-то папирос.

Часы — браслетка со светящимся циферблатом — показывали уже пять минут второго, а темная легкая зыбь моря оставалась все такой же, как и была, и хоть бы маленькая рыбацья фелюга с гибкой мачтой и парусом оживила гладкую поверхность воды...

Последнюю папиросу лейтенант уже не выкурил, а сжег, излив свое нетерпение и свою нервность. Да и было отчего нервничать...

В самом деле, он вместе с «Лаураной» очутился в глупом положении. Скоро начнет светать, а контрабандисты, еще к тому же промышляющие оружием, вовсе не так наивны, чтобы выгружать свой товар в сизой дымке рассвета.

Одно из двух: или доносчик обманут был сам, или же он с умыслом, сознательно обма-

нул лейтенанта.

До сих пор он показывал правильно и так же правильно получал за это деньги...

2. ЧУТЬЕ «МОРСКОГО ВОЛКА»

Не будь лейтенанту двадцати двух лет и будь у него над верхней губой вместо нежного темного пушка густая, твердая щетина, можно было бы сказать:

— Чутье «морского волка».

Но хотя он годился настоящему «морскому волку» разве что в сыновья и плавал без году неделю, однако чутье у него было именно морское, охотничье.

Вдруг каким-то необъяснимым, шестым чувством, осенившим его, лейтенант понял, что трудно представить более смешное положение, чем то, в котором он очутился.

Доносчик десять раз может дать верные сведения, а в одиннадцатый изменить, спутать все карты, с выгодой для себя, перекупленный противником. У «них» больше денег, чем у ста Пандурий, вместе взятых.

Бедный юноша готов был рвать на себе волосы и, пожалуй, и кончилось бы этим, если б

не боязнь скомпрометировать свои новенькие лейтенантские погоны в глазах всего «экипажа», находившегося на палубе «Лаураны» в полной боевой готовности. А велик, велик соблазн вцепиться в собственную шевелюру, еще сегодня с такой любовью расчесанную в Бокате одной красоткой...

Еще бы, пока они здесь выжидают неизвестно кого и чего, поблизости где-нибудь эти мерзавцы, эти бандиты преспокойно выгрузили уже свой стреляющий и взрывающийся «товар».

Это «поблизости» рисовалось лейтенанту прибрежным поселком Сан-Северино, километрах в двенадцати от Чента Чинкванты. Дурная слава у жителей Сан-Северино. В былые времена поселок этот дал целые поколения пиратов. А когда пиратство, по крайней мере, в европейских водах обратилось в профессию, столь же рискованную, сколь и невыгодную, жители десятка домишек и лачуг, угнездившихся в ущелье двух гор, близко подошедших друг к другу, лентяи и хищники, промышляли частью контрабандой, частью же укрывательством таковой.

Цепляясь за какую-то слабую надежду и не так цепляясь, как желая сделать все, что можно, дабы исполнить свой долг, лейтенант бросился на всех парах к Сан-Северино. Видимо же, однако, сама судьба хотела, чтобы он поспел не только к «шапочному разбору», а и значительно позже.

В молочно-сизых далях рассвета, — он все смелей и смелей становился в своей борьбе с отгорающей ночью, — ясно была видна моторная фелюга, державшая курс от Сан-Северино к берегам Трансмонтании, до которой было часа четыре хода.

С дерзостью отчаяния решил лейтенант преследовать «этих мерзавцев», хотя между ними и «Лаураной» было добрых три километра, — это во-первых, а во-вторых, куда же угнаться ветхой паровой посудине за моторной фелюгой? Но в двадцать два года нет никаких препятствий, никаких колебаний, сомнений, нет ничего невозможного...

«Лаурана» гудела и вся содрогалась. Черными, зловещими клубами валил из трубы дым, застилая воздух. Бесовский хоровод искр превратился в какую-то дикую оргию. Кочега-

ры обливались потом в своем невыносимо горячем пекле.

Было несколько минут, когда расстояние между фелюгой и «Лаураной» как будто стало уменьшаться. Друдди воспользовался этим и обстрелял беглянку.

Заговорила новенькая, сверкающая «игрушка»-«гочкис». Короткий снап огня, гулкий выстрел, и с металлическим визгом летел снаряд вслед за фелюгой. Лейтенант, волнуясь, наблюдал в бинокль попадания. Увы, их не было — попаданий! Слишком далека и мала быстро движущаяся зигзагами мишень.

Сначала перелет. Еще и еще... А затем пошли недолеты, и море выбрасывало фонтаны воды после каждого разрыва уже далеко позади фелюги. Да и сама фелюга превращалась в чуть заметную точку...

Бессонная ночь, преследование — все это взвинтило нервы молодого лейтенанта. Он уже не мог успокоиться. Хотелось сорвать на чем-нибудь или на ком-нибудь свою неудачу, явилось желание, правда мимолетное, разнести Сан-Северино, — это сплошь разбойничье гнездо, — из еще не остывшего «гочкиса».

«Разнести» — это, конечно, слишком сильно, а вот сделать энергичную усиленную разведку — это его обязанность!

Был какой-то намек на пристань, но причалить к этому «намеку» можно только на лодке. И, оставив свою «Лаурану» в каком-нибудь километре, лейтенант высадился на спущенной шлюпке с шестью вооруженными матросами.

Один из них, высокий мусульманин — они все были высокие мусульмане — рыбак, выросший, воспитавшийся на море, поведя носом, сказал:

— Пахнет бензином, господин лейтенант...

— Разве? Я не чувствую...

— Пахнет, господин лейтенант...

— Ну, так и есть: они побывали здесь, и не с пустыми руками, конечно...

Сан-Северино упоминалось не раз в дипломатических нотах и в историях войн, до последней включительно, а между тем, если бы историки и дипломаты увидели этот глухой поселок из нескольких крытых черепицей лачуг, они руками развели бы от изумления.

Самая большая лачуга — кафан с уже ку-

рившейся жиденьким дымком трубой. На Востоке или полу-Востоке кафан — это «мозг» местности, политический, общественный клуб, газета, все что угодно.

По ведущей в гору тропинке лейтенант со своими людьми направился к кафану.

Прядая длинными ушами своими, стояли вспотевшие мулы с особенной седловкой, приуроченной для тяжестей.

Это не укрылось от лейтенанта. И не укрылось еще, что для раннего утра — солнце еще не выкатилось из-за гор — было слишком много посетителей в кафане. Да и посетители все один к одному — самого что ни на есть разбойничьего вида. Были ястребиные лица, были искромсанные кинжалами и было — лицо с одним глазом.

Все в цветных лохмотьях, в засаленных войлочных шапочках, но у каждого за поясом громадный «кольт» и кривой турецкий ятаган.

Внезапное появление семи человек в форме королевских моряков надлежащего эффекта не произвело потому лишь, что нисколько не было внезапным. Высадка вовремя была

замечена, правильно истолкована, и незваных гостей встретило в закопченном, глубоком кафане больно уж подозрительное равнодушие.

Пившие местную водку и пившие из маленьких чашек густой кофе не шевельнулись даже.

За столом сидели, вернее, лежали друг против друга, два мертвецки пьяных солдата пограничной стражи. На липкий грязный стол как-то унизительно для воинского звания свешивались радужно-синеватые петушиные перья клеенчатых киверов...

Взбешенный Друдри, — за них было стыдно, — хватил обоих солдат револьвером по спине. Оба вскочили, как вострапанные, еле держась на ногах и бессмысленно хлопая мутно-воспаленными глазами.

— Канальи! Так-то вы несете королевскую службу! Так-то гордитесь своим мундиром! Под суд вас! — обрушился на них офицер.

Это вывело из равнодушия всех остальных гостей.

Они переглянулись между собой... О, этот юный, смуглый лейтенант с пушкой над

верхней губой — не желторотый цыпленок...
С ним шутки плохи...

Они убедились в этом уже на самих себе.

— Послушайте, вы! — обратился к ним Друды, и лицо его стало новым, чужим, и чужим вдруг стал звенящий голос. — Я знаю все! Здесь была моторная фелюга. Она выгрузила оружие. Вы это оружие увезли куда-то на мулах. Если вы укажете, где оно спрятано, вы отделаетесь тюрьмой... Если же будете молчать...

Вновь переглянулись, но уже значительнее, эти люди в живописных лохмотьях. Несколько рук неуловимо хищническим движением потянулось было к револьверам, но на полдороге застыли под шестью наведенными карабинами.

Жуткая тишина, и вновь зазвенел голос Друды:

— Пять минут на размышление! Если же через пять минут вы не поведете нас туда, где спрятано оружие, я вас всех расстреляю!.. Начну с тебя! — указал он револьвером на человека с одним глазом и в самой засаленной шапочке. — А пока сдавайте моим людям все,

что у вас понатыкано за поясом!

Не прошло и двух минут, — языки развязались. Да, действительно, прибыли на фелюге какие-то тяжелые кули, зашитые в рогожу, но что в этих самых тюках, — неизвестно. Никто не говорил, никто не спрашивал. Свезены тюки в соседнюю пещеру, ту самую, где в давнишние годы пираты хранили свою добычу.

Часа через три лейтенант отбыл из Сан-Северино в Бокату, имея на своей «Лауране» около двадцати тюков с автоматическими пи-столетами, винтовками и множеством патронов. Это — мертвый груз, а живой — девять связанных контрабандистов.

3. ТРОЕ ШТАТСКИХ И ДВА ОФИЦЕРА

Дон Исаак Абарбанель милостиво разрешил им собираться на своей роскошной, — их было несколько у него, — вилле.

Это надежнее всяких конспиративных квартир. За конспиративными квартирами следят агенты господина Бузни и других Бузни — помельче и поменьше.

Но кому же в голову придет, какому шефу самого тайного кабинета, что люди, готовые взорвать государство, пользуются для совещаний гостеприимством первого во всей Пандурии богача?..

Этого не знал шеф тайного кабинета. Ни один шеф, будь он Пинкертон из Пинкертонов, не может всего знать. Так и обладатель бритой головы и лица-маски, на котором бегали чужие, словно взятые напрокат, глаза.

Он знал, что дон Исаак Абарбанель сочувствует революции. Ему хотелось официально-го положения, неофициальным же он был сыт по горло. Хотелось, например, быть министром финансов, страстно хотелось, а между

тем, пока здесь монархия, ему не видать министерского портфеля.

Совсем другое — республика, особенно же если он, Абарбанель, это республиканское движение будет поощрять и субсидировать. И он поощрял и субсидировал, не жалея денег. Он их вернет с лихвой, очутившись у власти и прибрав к рукам все финансы, всю промышленность, весь кабинет министров. О, в его руках это будут картонные паяцы.

Гостиная с белым роялем, с ковром во весь пол, с дорогими картинами, с мягкой мебелью, располагающей к ленивому кейфу, ничуть не походила на гнездо революционных заговорщиков, однако же в течение многих вечеров именно таковым и была. Шторы наглухо спущены, хотя и без этого ничей любопытный глаз не мог проникнуть на виллу, обнесенную высокой, в два человеческих роста, железной решеткой.

Уютно в полумраке электрических лампочек, затушеванных и смягченных цветными абажурами.

Пять человек. Двое — наши старые знакомые — жирный влюбленный в себя Шухтан с

жирными навывкате глазами и с короткой шей, вернее, совсем без шеи. Рядом с ним, — он всегда рядом с ним, — худенький, плюгавенький Мусманек, полгода назад умудрившийся унести с королевского ужина в карманах своего фрака несколько груш, яблок и едва ли не четверть кило шоколадных конфет.

Третий, четвертый и пятый — новые лица. Двое хоть и в штатском, но сразу видна военная выправка. Последний, — худенький, вертлявенький человечек с желто-лимонным лицом. Казалось, это лицо-кулачок обтянуто не кожей, а пергаментом. Выпячивался вместе с зубами сухой рот.

Это был редактор социалистической газеты «Все для народа», человек, трижды менявший религию, подданство и фамилию.

Последняя кличка тройного ренегата — Макс Ганди.

Военные — оба в отставке. Майор Ячин и полковник Тимо. Оба высокие, но Тимо более твердый, сильный и цепкий. Ячин — красивый южной красотой брюнет. Уже выцветающий красавец и поэтому слегка румянящий немного дряблые щеки. Подводит брови, чер-

нит модные усы, подстриженные ромбиками. Тимо и лобастой головой, и бритым лицом напоминает Наполеона. Внешностью он гораздо более военный, чем Ячин, в сущности, никогда не бывший кадровым офицером.

На войне Тимо командовал батареей, отличался в боях, а знавший языки и получивший образование в Париже Ячин исполнял поручения дипломатического характера. С пандурской военной миссией он ездил в Россию, в ставку Главнокомандующего, где удостоился чести обедать у государя императора.

Что же бросило этих двух офицеров в объятия Шухтанов, Мусманеков и Ганди? Республиканские убеждения? Нет! Совсем другое, личное. Тимо и Ячин ненавидели короля Адриана. А возненавидели вот за что: во время войны, когда перевернулась одна из самых кровавых, самых тяжелых страниц пандурской трагедии и даже самое существование королевства, наводненного неприятелем, висело на тончайшем волоске, полковник Деметрио затеял военный переворот с устранением, физическим устранением, короля Адриана и провозглашением его, полковника Де-

метрио, диктатором.

Зачинщики, — несколько горячих офицерских голов, — вместе с вождем своим по приговору военно-полевого суда были расстреляны.

По слухам, Деметрио действовал в стоворе с главным командованием неприятеля, чтобы, сделавшись диктатором, заключить тотчас же сепаратный мир с врагом.

Выяснилась причастность, хотя и косвенная, к заговору полковника Тимо с майором Ячином. Прямых улик не было, но, во всяком случае, оба скомпрометированные, они должны были снять мундир и выйти в отставку...

Ячина и Тимо связывала с казненным Деметрио давнишняя, с детских лет, дружба. Тимо, пожалуй, искренно верил, что «великий» Деметрио, — он считал его «великим», — диктатурой своей возвеличил бы Пандурию.

В своей страстной ненависти к королю Тимо и Ячин потеряли всякое чувство меры, всякую справедливость. За голову Деметрио они требовали голову Адриана.

Они всячески старались дискредитировать династию. Ячин, владевший пером, печатал в

заграничных газетах отвратительные, грязные пасквилы не только на короля и королеву-мать, но и на чистую, как снег, принцессу Лилиан.

Настроение этих офицеров было кем следует учтено, использовано, и у Ячина завелись деньги. Тимо, как был, так и остался нетребовательным, суровым солдатом. Ячин же пил вовсю из чаши удовольствий.

Тайный кабинет открыл безымянного автора пасквилей и памфлетов в заграничной печати. Бузни сделал об этом доклад Его Величеству, предлагая выслать отставного майора в 24 часа за пределы Пандурии...

— Мы этим ему создадим ореол мученика, — возразил Адриан с осветившей его лицо улыбкой, — и, кроме того, он будет там, пожалуй, опасней, чем здесь. Он будет целыми днями сидеть в кафе на Больших бульварах. На Монмартре будет собирать вокруг себя журналистов и лгать им всякий вздор...

— Почему же именно на Больших бульварах, Ваше Величество?

— Да потому, что Ячин по натуре свой рас-такуэр, и вне Парижа, вне общества пикант-

ных мидинеток я его не представляю себе...

Адриан выявлял поистине царственное благородство по отношению к злобному ненавистнику своему и пасквилянту. А этот ненавистник и пасквилянт с прямолинейной жестокостью требовал «королевской головы».

Вот и сейчас заговорщиками был поднят вопрос, как поступить с династией, если переворот удастся.

— Мы не большевики и не последуем их кроважидному примеру. Они зверски убили царскую семью, мы же арестуем Адриана с матерью и сестрой и, когда все утихнет и республика укрепится, мы их отправим подальше куда-нибудь от этих мест, — свеликодушно начал Шухтан, сам умиленный этим своим великодушием...

— Да, мы их вышлем, — как эхо повторил Мусманек. Он вообще был «эхом» Шухтана.

И они искали сочувствия и у обоих офицеров, и у Макса Ганди. Искали, но не встретили.

Редактор социалистической газеты улыбнулся нехорошей улыбкой. Пергаментное лицо пошло морщинами, и вместе с деснами об-

нажились зубы, длинные, желтые, как изъеденные червями клавиши детского, игрушечного пианино

— Я требую крови тиранов! — свирепо отозвался Ганди, убежденный, что в этот момент он совмещает в себе Марата, Дантона и Робеспьера, всех трех вместе взятых. После некоторой паузы он повторил с еще большей свирепостью:

— Я требую крови тиранов!..

Проще, без фальшивого революционного пафоса отнесся наполеоноподобный Тимо.

— Адриан мертвый нужнее нам, чем живой...

— Верно! — поддерживал своего друга Ячин. — Очутившись вне Пандурии, он своих позиций не сдаст. Начнет мутить... У него много приверженцев... А так, так будет гораздо спокойней. Не сочтите меня, товарищи, за какого-нибудь кровожадного монстра, но я того мнения: когда выжигают раскаленным железом ядовитую рану, нечего жалеть мяса... Заодно уничтожим и королеву Памелу...

— Она же на пятом месяце! — воскликнул Шухтан.

— Вот именно, именно потому, что на пятом месяце, — решительно сдвинул свои подведенные брови Ячин... — А если она разрешится сыном? Не угодно ли? Наследник, претендент... Какая благодатная почва для всевозможных реставрационных авантур... Нет, милые товарищи, нельзя революцию делать в перчатках... Товарищ Шухтан осудил только что русских большевиков, а я их одобряю. Они следуют моему принципу раскаленного железа... Молодцы! Так и надо!..

4. ПЛАН ПОЛКОВНИКА ТИМО

Довольный своей «непримиримой жестокостью», Ячин подсел к роялю и, потрянув головой, взял несколько бурных, стремительных аккордов...

Развалившийся на диване с подмятой жирной короткой ногой, Шухтан, поблескивая в полумраке стеклами своего пенсне, мечтал вслух:

— Итак, роли уже намечены. Я — премьер и ведаю иностранными делами. Дон Исаак Абарбанель — министр финансов, в министерстве путей Сообщения останется Рангья,

это желание Абарбанеля. Внутренние дела любезно согласился взять на себя товарищ редактор, — благосклонный кивок по адресу Ганди, — что же касается постов начальника штаба и военного министра, я думаю, товарищи Тимо и Ячин, так сказать, любовно между собой...

— Позвольте, товарищ, — перебил Мусманек, очень редко позволявший себе такую непочтительность по отношению к Шухтану, — позвольте... Как-никак, мы делим шкуру еще не убитого медведя, мы еще не знаем, не уверены — удастся ли переворот, удастся ли нам раздавить ненавистную тиранию династии Ираклидов? Мы с вами, товарищ, люди штатские, и поэтому...

— И поэтому угодно вам сказать, — ловко, по-жонглерски подхватил Шухтан, — авторитетное слово за теми, кто носит или носил ботфорты со шпорами. Да, да, ибо перевороты обыкновенно совершаются не нами, адвокатами в пиджаках, — мы приходим уже на готовое, — а вот кем! — плавный, немного льстивый жест по направлению Тимо, прямо вытянувшегося на стуле, и Ячина, сидевшего

за роялем в позе готового импровизировать маэстро, — и, хотя мы уже неоднократно касались этой темы, однако же весьма хотелось бы услышать, что нам скажут эти люди военного... военного искусства, люди шпаги. Товарищи Тимо и Ячин, я вам ставлю вопрос, верите ли вы в успех задуманного? И если да, как технически намерены вы это, задуманное, осуществить? Пожалуйста, за вами слово! — Это «за вами» относилось к одному только Тимо.

Тимо не сразу ответил. Весь план был уже давно готов в его лобастой голове, но Тимо вообще медленно думал и медленно говорил, как бы выжимая из себя каждую мысль, каждое слово. И это сообщало ему впечатление сильного духом и волей человека.

— Здесь минуту назад решалась судьба королевского дома. Я присоединяюсь к мнению Ячина... Ираклиды, и в первую голову — Адриан, должны быть уничтожены! Я не заглядываю вперед как политик, а живу сегодняшним днем как солдат. В данном случае политику надо подчинить стратегии. Как солдат, знающий армию, говорю вам: первый наш

шаг — это расправа с теми, кто сидит во дворце. Когда их не будет и когда армия этим будет поставлена перед совершившимся фактом, — мотив для гражданской войны отпадает. Армия, солдатская масса присягнет новой власти. Что же касается тех офицеров, которые остались бы верными памяти Его Величества, мы с ними сумеем...

— Это общее рассуждение, — кивнул Шухтан, — меня интересуют детали... Конкретные детали...

— Конкретных деталей вам хочется? Извольте! У меня будет триста человек.

— Так мало? — изумился, даже испугался Шухтан.

— Вполне достаточно. В таких переворотах лишние люди всегда являются помехой, вредным балластом. Все дело в качестве сообщников, а не в их количестве. Крепко сжатый кулак всегда бьет сильнее... Рыхлые же массы всегда пассивны... Итак, триста человек. Двести пятьдесят занимают главный телеграф, аэродром, телефонную станцию, гараж, броневые машины, арестовывают генералов и министров. С пятьюдесятью я беру дворец.

— А королевский конвой? Эти янычары Его Величества?

— Мы нападём ночью, врасплох. Мы превратим их в лохмотья мяса и костей ручными гранатами. Смелость и стремительность — залог успеха. В это самое время оба миноносца создадут панику, начав обстреливать кавалерийские казармы. А так как кирасирский эскадрон, гусары и уланы, самые верные Адриану части, расквартированы за городом, то, во-первых, не пострадает мирное население, а во-вторых, и это гораздо важнее, бомбардируя казармы и шоссе, мы таким образом помешаем этим верным полкам двинуться на защиту короля и правительства... Начатое нами завершат восставшие рабочие и городская чернь. Что касается рабочих, они, как вам известно, имеют оружие в изобилии... Снабжение шло непрерывно и два-три случая конфискации, вроде имевшей место вчера... Этот юный, слишком ретивый лейтенант...

— Ах, этот дрянной мальчишка! Вы послушайте несколько строк... Они будут посвящены ему завтра в моей газете, — прервал редактор к неудовольствию как самого Тимо,

так и остальных. Он вытащил из кармана статью, отбитую на машинке, — я вам пробегу один маленький кусочек... И, захлебываясь, с пузырьками слюны в уголках рта, Ганди прочел:

...Да, увы, наша пандурская конституция лежит растоптанная во прахе под грубым солдатским сапогом того, кто первый так торжественно присягал этой самой конституции. Что же мы видим? Мы видим полицейское самоуправство. Видим произвол, царивший в императорской России. Неистовствуют всюду разнузданные драгонады не только на суше, но и на море!.. Печальная действительность подарила нас еще одним возмутительным, вопиющим фактом. Командир полицейско-жандармского парохода «Лаурана» лейтенант Друдри совершил бандитский набег на мирный поселок Сан-Северино. Лейтенант оскорбил действием двух пограничных солдат, исполнявших свой долг и, терроризировав нескольких граждан, издевался над их человеческой личностью, грозя их убить...

— Довольно, мы уже имеем понятие. Довольно! — уже входя в свою роль премьер-ми-

нистра, свысока бесцеремонно положил Шухтан конец дальнейшему чтению.

— Но я же еще не кончил, — обиделся Ганди.

— И не надо! Вообще, по-моему, этого не следует печатать. Как вы думаете, товарищ Тимо?

— Да почему же? Почему? — не сдавался Ганди. Статья казалась ему такой удачно-хлесткой, бичующей...

— Потому, что на другой же день последует официальное опровержение, — пояснил Тимо. — Правительство напечатает, как они, эти самые «граждане», признались в сокрытии оружия, как это оружие с их же помощью было конфисковано, и вас привлекут за распространение заведомо ложных сведений...

— Пусть привлекают!.. Пусть!.. Я хочу пострадать... Я хочу...

— Товарищ Ганди, я призываю вас к порядку! — уже начал раздражаться Шухтан, — вы нарушаете революционную дисциплину и... простите меня, суетесь с пустяками, когда мы решаем в этот исторический вечер наше «быть или не быть». Товарищ Тимо, я возвра-

цаюсь к вашему плану. Вы уверены в этих двух миноносцах?

— Вполне! Команда распропагандирована, как один. В ночь, когда мы выступим, они перевяжут своих офицеров и будут господами положения...

— Великолепно! Да, вы сказали — чернь? Удобно ли выпустить из клетки этого многоликого зверя?

— Не только удобно — необходимо. Надо же инсценировать гнев освободившегося народа. Необходимо бросить кость этой черни. Пусть она пограбит. Она внесет этим больше сумятицы, больше замешательства... Потом же, потом мы загоним ее опять в клетку и, если надо будет, возьмем в перекрестный огонь пулеметов во имя демократического порядка...

— Вы сказали — пограбить? Вы понимаете, будет уже совсем неловко, если они бросятся на дворец Абарбанеля, полный бесценных сокровищ.

— Да, это было бы не совсем удобно, — согласился Тимо, впервые за целый вечер улынувшийся, — я это предвидел. У меня уже на-

мечен патруль. Он даже и близко не подпустит чернь ко дворцу дона Исаака...

— Однако до чего у вас все предусмотрительно! — вырвалось у Шухтана, скорее неодобрительно, чем поощрительно. Он уже боялся мрачного полковника. Всматриваясь в это бритое лобастое лицо, лицо фанатика, лицо солдата железной воли и спокойного холодного мужества, ярче сознавал он свою штатскую беспомощность и мягкотелость. Закрадывалась тревога...

Этого, пожалуй, не купить должностью военного министра. Зачем ему получать военного министра из рук Абарбанеля и Шухтана, когда, имея в своем кулаке сотню-другую отчаянных головорезов в офицерских мундирах, он может, — кто помешает ему? — объявить себя диктатором.

«Ах, эти люди — в сапогах со шпорами! С ними надо держать ухо востро, — думал Шухтан, — только бы он совершил переворот, только бы, а уж потом надо будет от него избавиться и чем скорее, тем лучше»...

А Тимо точно вслух развивал мысль Шухтана:

— В революции важно использовать все и вся для достижения цели. Например, мы не большевики и большевизировать Пандурию вовсе не собираемся, но это нисколько не мешает нам пользоваться советским оружием и советскими деньгами. Мы с ними кокетничаем до поры до времени, пока не очутимся у власти... А дальше... дальше мы им наклеим нос. Не правда ли, товарищ Шухтан?

— Но как бы не вышло наоборот? — усомнился Шухтан. — А что, если мы приготовим для них триумфальное шествие, как это сделал в России Керенский?

Тяжелым, как свинец, тяжелым взглядом посмотрел на него Тимо.

— Это возможно, лишь когда во главе армии стоят болтуны в пиджаках, подобные Керенскому... Тогда и армия превращается из армии в банду. А у меня армия будет вот где! — и с этими словами полковник медленно выпрямился и так же медленно сжал сильный, костистый кулак вытянутой руки...

Жирное тело будущего премьера съежилось, и холодной стружкой пошел озноб. Шухтан уже не видел перед собой отставного офи-

цера в дешевеньком потертом костюме, он увидел его в красивом пандурском мундире с обнаженной саблей. Увидел стройные колонны идущих за ним солдат, спянных дисциплиной...

Да, этот не побоится большевиков и сумеет скрутить их в бараний рог. Но от этого будет ли нам всем приятней и легче?.. Шухтан задал себе этот вопрос, не решаясь ответить. Он машинально обратился к Тимо с первым попавшимся:

— А как вы думаете, Савинков с его организацией будет нам полезен?..

Тимо отрицательно покачал головой:

— Ни в каком случае! Его песенка спета. Он выдохся — это раз! При всех его способностях — Савинков революционный шулер, это два, а в-третьих, этот вечный ренегат уже ведет переговоры с большевиками. По моим сведениям, Бузни со дня на день собирается выслать Савинкова за границу вместе с его любовницей и ее супругом...

Тимо опять сел, прямой, жесткий, не сгибающийся, но готовый спружиниться, как хищник.

Шухтан заерзал на диване, вдруг показавшемся ему твердым. Ганди, оскалив вместе с деснами свои желтые зубы-клавиши, черкал что-то в записной книжке, а Ячин вспугнул тишину каким-то новым бравурным аккордом...

5. ДОН ИСААК АБАРБАНЕПЬ ПО УШИ ВЛЮБЛЕН

Еще осенью, в дни юбилейных торжеств, король Адриан и Памела, принцесса Трансмонтании, были помолвлены.

Маргарета спешила ковать железо, пока оно горячо, пока на душе сына свежа и остра еще нанесенная маленькой Зитой рана.

Успех превзошел ожидания...

Мать не сомневалась, что придется уговаривать, убеждать сына. Маргарета мобилизовала все свое красноречие, все свое обаяние матери.

Но с первых же ее слов Адриан согласился, с такой покорностью — сначала даже подзирательным показалось. Но нет... Было это вполне искренно. Теперь ему уже все равно...

Каких-нибудь две-три недели назад мысль,

одна мысль о возможности брака с Памелой приводила его в ужас, а теперь он так ясно и просто решился назвать своей женой эту бледную, высокую, болезненную девушку с узенькими плечами, с некрасивой, но очень породистой головкой.

С каким-то безразличием, — в иных условиях оно могло бы показаться даже «великолепным», — представлял себе Адриан, как он будет в силу необходимости целовать это отмеченное вырождением тонкое лицо, как он будет обнимать вытянутое узкое тело с узкими плечами и бедрами, увы, не обещающими здорового счастливого материнства...

И вместе с этим он уже не сходил с ума, опьяненный страстью, млеющий от вожделения при одной мысли о Зите.

Зита умерла для него, умерла вся — и со своим гибким умом, и со своей душой, и со своим точеным, упругим телом, давшим ему столько наслаждений. Той Зиты уже не было больше. Была другая Зита, экс-любовница короля, жена министра путей сообщения, баронесса Зита Рангья, которую видели с Абарбанелем.

Ни одна живая душа во всей Бокате, во всем королевстве, не сомневалась в их связи.

Сомневались только двое. Это сама Зита и сам дон Исаак Абарбанель.

До сих пор он думал только о своих делах. О женщинах дон Исаак не думал. Они думали о нем. Он покупал их. Легко, до скучного легко, отдавались ему самые красивые, самые «модные» женщины.

Так было до сих пор. А вот со встречи с Зитой, когда она позвала его к себе, позвала, накануне только лишь указав на дверь, с этого дня понял дон Исаак, что такое думать о женщине.

Он растерянно бросался от одной догадки к другой, но не находил ни ответа, ни успокоения.

Душевное состояние дона Исаака лучше всего выливалось в откровенных беседах с его другом Бимбасад-беем. Дон Исаак рос вместе с Бимбасадом, вместе воспитывались они в Вене и почти не имели тайн друг от друга.

Вот что они говорили между собой в начале весны:

— Понимаешь, Бимбасад, этот золотистый

дьяволенок вот у меня где сидит! И здесь, и здесь, и здесь — показывал дон Исаак на голову, на грудь и на поясницу, что должно означать: в печенках.

— Ой, в скольких же местах зараз! А еще где сидит? Где? Скажи? — игриво допытывался Бимбасад-бей.

— Тебе смешно, а мне, ей-Богу, не до смеха. Я никогда и в мыслях не имел, что женщины... Помнишь, еще в Вене... Помнишь, Бимбасад, я мальчишкой отбивал шикарнейших, красивейших любовниц и содержанок у австрийских эрцгерцогов? И не потому, что я был неотразим, как Адонис, — я и тогда, в девятнадцать лет, был увальнем с брюшком, — а потому, что я швырял деньги и в этом отношении не мог за мной угнаться ни один эрцгерцог...

— Ближе к делу, — торопил Бимбасад.

— Это и есть дело. Это необходимо как вступление. Когда она выгнала меня, я был ошеломлен. Когда она вдруг поманила меня пальцем, я был тоже ошеломлен, но уже не так. Я сказал себе: «Видишь, Исаак, сначала эта Зита держала фасон, а потом решила

сдать позиции... Может быть, у нее вышло что-нибудь с Адрианом — почему я знаю? А может быть, нашла, что он для нее уж чересчур бедный любовник?»

— Так оно и есть, — пожал плечами Бимбасад. — Откуда же у Ираклидов могут быть большие деньги? Хотя, хотя помнишь клад, найденный на его земле? Золото в глиняных кувшинах?

— Ну, так он же, дурак, почти все это золото всадил во дворец для инвалидов... Но не в этом дело... Я так думал... Признаться, у меня закружилась голова. Я уже считал себя триумфатором. Отбить такую любовницу! Да еще от такого красавца! Да еще от красавца с короной на голове. Это же чего-нибудь да стоит...

— Да, это лестно для самолюбия, — согласился Бимбасад, — ну, и что же?

— А вот я спрашиваю тебя сам, ну, и что же? Я у нее бываю, мы вместе катаемся, ездим в театр и...

— И больше ни-ни! Бедный Исаак! Я тебе сочувствую. В общем это, разумеется, странно, даже больше, чем странно. Скажи, пробо-

вал ты делать ценные подарки?..

— Еще как пробовал! Но ничего из этого не выходит...

— Хм... Смотря что за подарки. Если какое-нибудь банальное кольцо, она, чтобы самой не показаться банальной, могла его тебе вернуть...

— Что такое? Банальное кольцо? — горячо задетый за живое, перебил дон Исаак. — Слушай же! За день, как сейчас помню, до отъезда короля в Трансмонтанию, где, наконец, он женился на этой несчастной дегенератке, я командировал своего главноуправляющего Медину в Париж, чтобы он, не щадя затрат, купил мне что-нибудь особенное, какую-нибудь из ряда вон выходящую драгоценность.

— Ну, ну! Это становится, право же, интересным...

— Ну, и мой Медина купил в советской торговой миссии Потемкинский султан...

— Что такое? — почти испугался Бимбасад.

— Потемкинский султан! Потемкин, знаменитый временщик Екатерины Второй, носил этот ее царственный дар на своей шляпе. Только русская императрица могла делать

сказочные подарки. Вообрази себе: я тебе покажу — увидишь! Сто пятьдесят довольно крупных, чистейшей воды бриллиантов, необыкновенно артистически, — это не ювелир, это бог! — вделанных в тончайшую платиновую оправу. Этот султан вечно дрожит. Получается прямо-таки волшебная игра камней. Я ничего подобного в жизни своей не видел. Недаром этот султан был гордостью Императорского Эрмитажа в Петербурге! Оценка ему была в мирное время — два с половиной миллиона рублей золотом!

— А ты сколько дал? — загорелся Бимба-сад.

— Миллион франков.

— Так дешево? Счастливец! Это же почти даром!..

— Что значит дешево? Это же крадено! А большевикам нужны деньги. Но я хотел ее поразить. Такой диадемы не сыскать ни у одной королевы, ни у одной миллиардерши, ни у одной женщины в мире... И вдобавок, еще какая историческая реликвия!..

— И она не взяла... Так ее же надо прямо в сумасшедший дом...

— Я уже теперь не знаю, утратил всякое представление, кто же из нас двоих сумасшедший в конце концов — я или она? Я ничего не знаю... Посоветуй, что мне делать.

— Он спрашивает, что ему делать? Не раскисать из-за какой-то девчонки! Я на твоём месте взял бы хороший хлыст, и она сразу оставила бы все эти фокусы и капризы.

— Бимбасад, ты дурак...

— Что?..

— Ты дурак, говорю. На моём месте... Да у тебя рука не поднялась бы... Один взгляд этой маленькой женщины убивает и волю, и рассудок и превращает в телеграфный столб.

— Что же, выходит Медуза какая-то...

— Хуже, чем Медуза! Там, по крайней мере, Персей, отрубивший ей голову, — помнишь, мы ещё в гимназии учили, — а вот хотел бы я увидеть Персея, осмелившегося поднять руку на Зиту.

— Хм... если так, право же, не знаю, что и посоветовать. Уезжай куда-нибудь. Плюнь на всю эту канитель и вырви эту женщину из всех мест, где она у тебя засела.

— Не могу! — и полное лицо дона Исаака,

влюбленного впервые за всю свою жизнь, исказилось настоящей, наболевшей мукой.

— А не можешь, тогда оставь меня в покое и не лезь, чтобы я давал тебе приятельские советы! — раздраженно выкрикнул Бимба-сад-бей.

За последнее время дон Исаак, чтобы хоть немного отвлечься и развлечься, окунулся в политику. Но и это было так или иначе связано с маленькой баронессой. Почему знать, быть может, после переворота, когда он, Абарбанель, займет видное положение в республике, вернее она, республика, станет в его руках игрушкой, а король, умерший для Зиты духовно, как любовник, умрет еще и физически, быть может, она отнесется тогда к нему, Исааку, уже по-другому, совсем иначе?..

6. ТРАГЕДИЯ СТАРОГО ДИПЛОМАТА

Подготавливая революцию, Шухтан налаживал для нее благоприятную почву. На деньги Абарбанеля покупал продажных левых депутатов парламента, а немногих убежденных фанатиков — взвинчивал демагогией.

Парламент и «товарищеская» печать все настойчивей требовали смены кабинета, ухода реакционного правительства вместе с главой его графом Видо.

Сам Видо умолял Адриана отпустить его:

— Ваше Величество, я ни одной минуты не цепляюсь за власть. Мне давно уже пора на покой... Я не хочу быть...

— А я не хочу уступать нелепым требованиям кучки социалистов, менее всего выражающих волю народа... Вас, во-первых, нечем заменить, во-вторых, всякая замена была бы во вред, а не на пользу, а в-третьих, эти господа на полдороге не остановились бы... Через месяц они потребовали бы, — они только и умеют требовать, — нового министерства,

еще более социалистического, потребовали бы полного признания Совдепии, и так в два-три месяца мы сами докатились бы до большевизма. Мои предки не для того на протяжении тысячи лет создавали Пандурию, чтобы я отдал ее во власть тех же самых международных убийц и преступников, которые в шесть с половиной лет превратили Россию в страну людоедов и нищих рабов. Граф, мы переживаем очень тяжелый момент. К нашему кораблю подступают волны, увы, кровавые, быть может. Я вам приказываю остаться на капитанском мостике и продолжать вести корабль, называющийся «Пандурией»... Ни малейших уступок! Мы и так выходим далеко за пределы нашей либеральной конституции и отдаем повод, вместо того чтобы собрать его. Довольно! Мы видим Трансмонтанию, — к чему привели слабость, побуждаемая уступками и уступки, побуждаемые слабостью?

Голос Адриана звучал твердо, и так же тверд был взгляд его темных, обыкновенно мягких, добрых миндалевидных глаз.

Граф с поклоном произнес:

— Благо родины и приказ Вашего Величе-

ства — для меня священны...

Трансмонтания упомянута была королем весьма кстати. Династия шаг за шагом сдавала там свои позиции. На другой же день услышал это граф Видо из уст посланника Трансмонтании барона Оливето.

В трансмонтанской миссии друг против друга сидели седобородый, тяжеловесный, слысым черепом, Видо и барон — сухой старик, типичный дипломат прежней складки с пробритыми посередине баками и ровным английским пробором через всю голову. Надушенный, отлично вымытый, расчесанный — волосок к волоску, только что вышедший из рук своего камердинера, Оливето был печален.

Видо, знавший барона больше тридцати лет, никогда не видел его таким, его, артистически умевшего носить дипломатически-светскую маску.

— Господин министр, несмотря на наши добрососедские отношения, за последнее время ставшие еще более дружественными после того, как наши династии породнились, я, однако, буду принужден выступить с энер-

гичной нотой по адресу королевского правительства. Уже более года является Трансмонтания базой, откуда к нам идет самая злостная большевицкая агитация вместе с оружием. Это недопустимо. В моей ноте я предложу королевскому правительству обратить на это самое серьезное внимание и, соответственно, озаботиться принятием самых решительных мер к пресечению и полной ликвидации очагов коммунистической заразы, плывущей к нам от ваших берегов. Во имя долголетней нашей приязни, господин министр, я счел своим долгом поставить вас в известность...

Видо все с большим и большим удивлением смотрел на Оливето и, в конце концов, удивление возросло до настоящего изумления, когда он увидел слезы на ресницах барона. Да, это не был обман зрения. Это были самые настоящие слезы. Оливето плакал. Не мог удержаться... Он, дипломат с двадцати двух лет, дипломат, чья корректность и выдержка были известны по всей Европе... И вот, на его таком благообразном, таком симметрично-правильном, каменно-непроницаемом породистом лице — слезы...

Момент сильного душевного перелома. Это уже не был чопорный дипломат, всю жизнь носивший маску, державший под семью замками свои сокровенные мысли и чувства.

Это был старик, надломленный, побежденный долго точившей его болезнью, ищущий утешения и поддержки у такого же, как и он сам, старика. Эти слезы давно уже накопились, и нужен был лишь толчок, чтобы они вышли наружу.

Толчок был дан графом Видо.

— Ваше Сиятельство... Ваше Сиятельство!.. — дрогнул его голос, и вместе с ним дрогнула нижняя челюсть с седыми надушенными баками, до глянца пробритыми на красноватом старческом подбородке, — на днях исполнится 45 лет моей дипломатической карьеры. Я честно и верно служил четырем королям, но последние годы для меня — сплошные годы унижения, самого тяжкого... И не только унижения личного — с этим я примирился, но и моего народа, моей Трансмонтании, моей династии, которой я был и останусь верным слугой и которая была для меня, была и останется до самой смерти святыней...

Я более, чем кто-нибудь, разделяю ваше возмущение, понимаю ваше желание обратиться к королевскому правительству с самой решительной нотой, но что мы можем сделать? Наш ответ будет жалким, роняющим нашу державность ответом, будет робкой канцелярской отпиской. Мы бессильны — власть наша призрачна. Кучка парламентских крикунов, опирающихся на низы населения, делает что хочет... Невежественные бездельники — это и есть фактическая, реальная власть. Они развратили рабочих, развратили деревню, развратили армию. Страна большевизирована, пока еще тихо, бескровно. Шло на уступки правительство, шел на уступки Его Величество, и вот — мы докатились... Мы на краю бездны... Мы в том самом положении, в каком была Россия в октябре 1917 года, в каком еще недавно была Италия, за несколько дней до того момента, когда Муссолини со своими чернорубашечниками взял Рим и разогнал этих негодяев, уже захвативших заводы, частные палаццо и только потому не захвативших королевских дворцов, что сам король им уступил 28 замков...

Вы читаете наши газеты, полные угроз и похвальбы смести все, когда этого пожелает демократия? Газеты полны самых наглых выкриков, самых грубых издевательств по адресу Его Величества. Они требуют, чтобы не осталось камня на камне от прежнего. Они требуют разгрома нашего дипломатического корпуса. Во главе заграничных посольств «должны» стоять рабочие и социалисты. Незнание этими господами иностранных языков их нисколько не смущает, «мы найдем переводчиков», — говорят они.

По требованию парламента посланник наш в Вашингтоне смещен, и вместо него назначен какой-то бывший кооператор. За две недели до выезда в Америку этот кооператор засел за французский учебник Марго.

— Почему же за французский?..

— Да потому, что об английском языке и речи никакой быть не могло... Он поедет с несколькими десятками французских слов и комнатных фраз. В переводчики дали ему развязного еврея из политических эмигрантов, много лет промышлявшего в Америке чуть ли не торговлей живым товаром. Оче-

редь за мною. Уже намечен какой-то бывший типографский наборщик. Я сам давно хотел уйти... и, если бы не милостивое отношение ко мне Его Величества... я давно... я нахожусь... Je suis au bout des forces... [5] О, как все это ужасно! Зачем Господь послал мне испытание дожить до этих страшных дней, увидеть их собственными глазами?..

Барон умолк, поникнув головой. Молчал и Видо. Что он мог сказать? Что? Не было чем ободрить бедного старика. Не было ни одного слова утешения...

7. «КАКОЙ ПОЛУЧИЛСЯ ЭФФЕКТ»

Желтое крохотное лицо. Такое впечатление, что не хватило высохшего пергамента обтянуть это лицо, и кожа вот-вот лопнет. Прежде выбивались из-под нее чахлая борода и такие же чохлые усы.

Потом он стал бриться «под англичанина», под «Максимилиана Гардена» и взял псевдоним — Макс Ганди.

Его газета печаталась в нескольких тысячах экземпляров; не имела подписчиков; раздавалась бесплатно; а редакция помещалась

в громадной квартире на главной улице — проспекте Бальтазара.

Кабинет редактора был светлый, обширный, «министерский». Тяжелая мебель монументальной внушительности.

Проникнуть в кабинет Макса Ганди было вовсе уж не так легко.

Два секретаря с большим разбором и с опыtnостью сыщиков фильтровали посетителей.

Чаще всего посетители уходили ни с чем, и лишь немногим удавалось попасть к тому, кто в виде особой милости разрешал сесть на низкое холодное кожаное кресло.

Макс убедил Шухтана и вырвал у него позволение напечатать статью о «неконституционном» поведении лейтенанта Эмилио Друди.

— Выйдут неприятности... Между нами говоря, ведь вы же написали заведомую ложь, — пытался, хотя и слабо, противиться Шухтан.

— Не беспокойтесь, товарищ! Не беспокойтесь! Я знаю, что делаю. Теперь, накануне событий, особенно важно для нас разжигать

благородный священный гнев демократии. А если это, как вы говорите, ложь, или, по-чиновничьи, «не соответствует действительности», то ведь говорят же французы: «Клеветайте, клеветайте: всегда что-нибудь останется». Нет, я уверен, это произведет эффект. Получится бум. Вот увидите!

И в самом деле, «эффект» и «бум» не только обогнали все ожидания самовлюбленного редактора, но еще приняли оборот, никак не предусмотренный Максом Ганди.

Статья вышла утром, а в пять часов дня в редакцию явился плечистый, с тонкой талией молодой человек, почти юноша, смуглый, с нежным пушком над верхней губой и со скромным изяществом одетый в штатский костюм. Он играл камышинкой. Берейторы и кавалеристы пользуются такими камышинками, выезжая лошадей.

В комнате для посетителей с круглым столом, графином воды и массивной пепельницей, которую нельзя положить в карман, встретили молодого человека два секретаря. Они к нему вышли из одних дверей, а на противоположных висел белый картон-прямо-

угольник с надписью: «Кабинет редактора. Без доклада не входить».

— Вам кого угодно? Вы по какому делу? — спросили оба секретаря: длинноволосый в очках — типичная «редакционная крыса» и другой, менее мрачный и более культурный.

— Я хочу поговорить с господином Максом Ганди...

— Господин редактор сейчас занят. Он пишет важную передовую статью к завтрашнему номеру, очень просил его не беспокоить... — и оба секретаря покосились на дверь с белым прямоугольником.

— Я все-таки хотел бы видеть его по важному для нас обоим делу...

Секретари снисходительно улыбались. Вот, мол, чудак еще выискался! Пришел с улицы и подай ему Макса Ганди! Самого Макса Ганди, пишущего сейчас передовицу огромной политической важности!

Длинноволосый пожал плечами.

— Потрудитесь наконец сказать, что вам надо. Я полагаю, мы вам с успехом заменим господина редактора...

— Нет, к счастью для вас же, вы мне его не

замените, — как-то загадочно произнес молодой человек, — я должен увидеть Макса Ганди! — шагнул он к заветной двери.

Оба секретаря поспешили изобразить собой живой барьер, но тотчас же разлетелись, хотя юноша легким, коротким движением оттолкнул их от себя вправо и влево.

Затерянный в громадном кабинете Макс Ганди, в круглых роговых очках, сидел и писал. Он быстро положил перо и так же быстро снял очки при виде вошедшего незнакомца.

Сначала испугался, потом решил дать отпор нахальному молодому человеку.

— Я же приказал! Как можно так бесцеремонно вваливаться? Кто вы такой? Вообще, вообще это недопустимое безобразие! — и маленькая, короткопалая рука потянулась к электрическому звонку.

Одним прыжком очутившийся у стола, смуглый юноша зажал эту руку в своей, так зажал, что она сразу онемела.

— Успеете! Я не хочу, чтобы нам помешали... Кто я такой? Лейтенант королевского флота Друдри, о котором вы так возмутительно нагали от первого до последнего слова...

— Вы... вы... лейтенант Друдри? — опешил редактор и уже нелепо, как-то совсем некстати спросил: — Почему же вы не в форме, а в штатском?

— В штатском легче проникнуть в ваш кабинет... Но, милостивый государь, от вас зависит, чтобы я не повторил свой визит уже в форме, да еще с парочкой моих матросов, этих здоровенных молодцов...

— Чего же... чего же вы от меня хотите? Чего? — спрашивал Ганди с трусливой собачьей улыбкой, обнажив бескровные десны и зубы-клавиши, изъеденные червями.

— А вот мы сейчас побеседуем, — ответил Друдри, устраиваясь поудобнее в кожаном кресле, — ну-ка, садитесь поближе ко мне и подальше от звонка... Вообще, не советую прикасаться к нему... Не советую! — значительно повторил лейтенант, поиграв камышинкой. — Вот что, сударь. Я имею о вас куда более точные сведения, чем вы о моих действиях в Сан-Северино. Отвечайте на мои вопросы. Но с условием говорить правду, не то будет хуже...

На столе задребезжал телефон. Макс Ган-

ди, словно ища в этом спасения, снял поспешно трубку, но Друди с такой же поспешностью выхватил ее:

— Алло. Редактор очень занят! Он пишет важную передовую статью и убедительно просит его не беспокоить. Что? По экстренному делу?.. Никаких экстренных дел, — и Друди с размаху опустил трубку.

— Итак, ваше настоящее имя Лейба Дворецкий?

— Леон Дворецкий, — поправил Ганди.

— Пусть будет Леон. В конце девяностых годов вы бежали от воинской повинности из России в Америку...

— Да, я уехал в Америку...

— Затем вы поступили на службу агентом в австрийскую политическую полицию, перешли в русскую и вернулись в Петербург, занявшись журналистикой под псевдонимом Кирдецова. Не так ли?...

— Да, Кирдецов — мой литературный псевдоним.

— Покамест — довольно. Все ваши остальные мерзости мы оставим в покое. А теперь возьмите редакционный бланк и пишите...

— Что писать?

— А я вам сейчас продиктую... Готово? Пишите!..

— Я, дезертир русской армии Леон Дворецкий, я же впоследствии Кирдецов, искупивший свое дезертирство службой...

— Я этого не могу написать! — взмолился Ганди, кладя перо. Желтое пергаментное лицо его стало бледным.

— А я заставлю вас! Или вы хотите, чтобы этой камышинкой я превратил вашу физиономию в отбивную котлету? Со мной шутки плохи. Возьмите же перо!..

Ганди, холодея, чувствуя, как он проваливается в жуткую бездну, взял перо, плохо повиновавшееся дрожащим пальцам, и сделал кляксу.

— Не набирайте так много чернил. Пишите... «службой в русской политической полиции, именующий теперь себя Максом Ганди, спешу заявить, что напечатанное мной о происшедшем в Сан-Северино и о лейтенанте флота Его Величества Эмилио Друдди — все сплошное, возмутительное вранье. Все действия лейтенанта Друдди были строго согласо-

ваны с понятием воинского и гражданского долга. Пограничников лейтенант Друдри не избивал, а застав в кафане мертвецки пьяными, сделал им строгий выговор. Арестовал же лейтенант Друдри не мирных жителей, а контрабандистов, принимавших участие в сокрытии тайно доставленного в Пандурию большевиками оружия»... Есть?

— Есть...

— А теперь подпишитесь полностью: «Леон Дворецкий — Кирдецов — Макс Ганди». Есть? Давайте! — и, взяв бумагу, Друдри пробежал и вчетверо сложил ее.

Макс Ганди, весь раскисший, каким-то человеческим комочком облип в своем редакторском кресле.

— Как вы намерены поступить с этим... этим документом? — спросил он изнемогающим голосом.

— Напечатаю в нескольких газетах...

— Что же мне делать?.. Вы меня губите...

— Уложить чемоданы и покинуть королевство... Такие, как вы, не пропадают. Вынырнете еще где-нибудь, и уже под новым псевдонимом... Однако вы дешево отделались... По-

ка мы с вами сочиняли этот веселенький документец, мой гнев прошел... И на этот раз вашей физиономии не угрожает волшебное превращение в отбивную котлету...

Появление в правых газетах письма, где Ганди сам себя так зло и так больно высек, было впечатлением разорвавшейся бомбы. Хотя левая печать дружно замолчала этот, в своем роде исключительный, документ, но социалисты рвали и металы от бешенства. Ганди остался в их глазах таким же, каким был, товарищем, взбесил же их трескучий скандал вокруг его имени.

Шухтан сделал ему бурную сцену. Топал ногами, кричал:

— Дурак! Болван! Я же вас предупреждал: не печатайте, не печатайте! Нет, взял и напечатал! А я еще хотел вас в министры внутренних дел. Такое ничтожество!..

— Но ведь он же мог меня избить, искалечить...

— И надо было идти на побои... На все, но не давать ему в руки такого самоубийственного документа... Какой же вы революционер, если испугались побоев? Вы подписали себе

смертный приговор. Это гражданская смерть. Какую ликующую тризну справляют по вас реакционеры! Вы — посмешище города... Вы... Вы... — и возбужденный, багровый Шухтан долго еще кричал и топал ногами...

8. ВЕРОНИКА БАРАБАН

Горяч, но отходчив был Шухтан. Сгоряча отделал Макса Ганди вовсю, а затем великодушно «амнистировал».

Да и нельзя было не «амнистировать». Без таких ловких опытных каналов не обходится ни одна революция. А революция была не за горами, и до свержения монархии остались уже не месяцы, а недели.

Но до революции оставалось еще первое мая. На этот красный день с его красной тряпкой — символом крови, грабежа и слез — возлагались большие надежды.

Вот как смотрел на первое мая Шухтан, высказавший свой взгляд на одном из обычных конспиративных заседаний на вилле дона Исаака:

— Товарищи, в этот большой для всех трудящихся день на площадях и улицах Бокаты

и особенно перед королевским дворцом должна быть пролита кровь демократов. Должны быть жертвы, выхваченные из наших сомкнутых рядов... Товарищ Тимо, вы можете нас информировать, какую линию поведения выявят войска в день нашего праздника? — спросил, поблескивая стеклами пенсне, жирный Шухтан, подмявший под себя жирную, короткую ногу.

Тимо, сидевший на стуле в удобной для него и неудобной для всякого другого позы, не спеша ответил:

— Решено: к умеренно-социалистическим процессиям будет применена политика «стиснутых зубов». Их не тронут, «скрепя сердце», но все же не тронут. Что же до коммунистической манифестации, — ее будут разгонять весьма энергично, до применения оружия включительно...

— Великолепно! Великолепно! — всем своим телом подпрыгнул Шухтан, и под его тяжестью зазвенели пружины. — Мы отнюдь не коммунисты, но в борьбе хороши все средства. Важно что? Накануне революции создать озлобленное настроение в массах по ад-

ресу короля и королевского правительства. А для этого необходимо выпустить толпу с самыми крайними, с самыми разрушительными лозунгами. Десяток-другой возгласов, оскорбляющих Величество, да десяток провокационных выстрелов по жандармерии и войскам, — и те и другие не останутся в долгу, — и пойдет потеха. Польется вода, товарищи, на нашу мельницу. И если, скажем, из демократических рядов будет выхвачено 6–7 жертв каких-нибудь, мы сумеем создать из этого целое избиение трудящихся королевскими преторьянцами... Ну-с, товарищ Ганди, это по вашей части... Организуйте толпу в несколько сот человек, дайте каждой из этих каналов по 20 франков... Но предупреждаю, голубчик, это не должны быть только отбросы — хулиганы, воры, валяющиеся на камнях набережной, пропойцы, — словом, это не должны быть субъекты исключительно явно выраженного дегенеративного типа. Дайте немного настоящих рабочих, дайте хоть горсточку интеллигенции. Это необходимо.

— Да, но и тем, и другим по 20 франков с головы будет мало, — возразил Ганди.

— Ну что ж... платите им больше... Рабочим по 50, а тем, у кого мало-мальски приличная внешность и не особенно плебейская физиономия, тем можно дать и по сто франков...

Макс Ганди одобрительно кивал, подсчитывая, сколько же он заработает на этом первомайском гешефте.

Плебеям он даст по 10 франков, по 25 — рабочим, а интеллигентам — с них и по 50 за глаза довольно...

Свой подсчет Ганди продолжил вслух:

— Толпа должна быть внушительная. По крайней мере, в 1200 человек, со значительным преобладанием интеллигенции.

— Это уже ваше дело... А, вот что. Распустите под шумок, что сама Вероника Барабан поведет коммунистическую манифестацию к королевскому дворцу.

— Действительно поведет? — усомнился Ганди.

— То есть она будет некоторое время в толпе. Наэлектризует ее, нафанатизирует... Но ведь вы же сами понимаете... Подставить Веронику Барабан под сабли королевских жандармов и гусар это... это... ну, как вам ска-

зять... это все равно, что жемчужной булавкой откупоривать бутылки с пивом. Сделав свое дело, вдохновив толпу, дав ей толчок, пустив по инерции в желательном направлении, она... исчезнет...

Вероника Барабан, подобно Максу Ганди, часто меняла свои клички и псевдонимы. И подобно тому, как пергаментный Макс Ганди хотел походить на Максимилиана Гардена, так и Вероника Барабан звучным, действительно барабанным псевдонимом гримировалась под знаменитую Анжелику Балабанову.

Внешностью же и гримироваться даже не приходилось, — так обе эти революционные звезды первой и второй величины мало разнились друг от друга. Обе полные, неопрятные бабы, плохо причесанные, вернее, совсем не причесанные, с громадной свисающей грудью под широкой демократической блузкой. А когда они выступали на митингах в тесном и душном помещении, разгоряченные, машущие руками, со сбившейся набок прической, у обеих под мышками выступали мокрые пятна... Но, невзирая на всю свою «неаппетитность» как женщины, Вероника была любов-

ницей Шухтана. О чувстве каком-нибудь со стороны этого господина и речи не могло быть. Вероника нужна была ему для его революционной карьеры. Она, имевшая влияния в тайных высших кругах, делающих всесветную революцию, тащила за собой упитанного коротконового адвоката. Для пользы — Вероника, для удовольствия — Шухтан содержал уже не революционную, а кафешантанную звездочку Менотти, танцовщицу из варьете «Андалузия». В дорого стоящих ему, надушенных объятиях гибкой, как пружина, выхоленной Менотти забывал Шухтан рыхлую, грязную Веронику, считавшую воду и мыло «буржуазным предрассудком».

Только бы ему достигнуть своего, а уж тогда он как-нибудь сплавит от себя эту растерзанную кудластую бабу и будет принадлежать одной только Менотти.

У Вероники Барабан была связь еще с матросом миноносца «Тигрица». Среди экипажа «Тигрицы» Вероника вела агитацию, и здоровенный, с волосатой грудью матрос Казбан пленил ее воображение своей внешностью сильного грубого самца. Но и матрос Казбан

соблазнился сомнительными прелестями Вероники во имя таких же соображений, как и адвокат Шухтан. Вероника обещала ему всяческие блага, и в том числе — высший комиссарский пост в морском ведомстве после того, как большевицкая революция сметет «демократическую».

А пока что Казбан щеголял в тонком белье, носил бриллиантовый перстень на пальце, а в кармане — золотые часы, — маленькая «экономия» из тех денег, которые давала ему на пропаганду в королевском флоте любвеобильная Вероника Барабан.

9. МИМО «АБАРБАНЕЛЬ-БАНКА»

«Абарбанель-банк» занимал четырехэтажный особняк на проспекте Бальтазара. Конечно, не наемный особняк, а самая что ни на есть собственность дон Исаака. Весь из мрамора, с колоннадами и портиками, внизу — стиль мавританский, модерн-банк напминал Дворец дождей. Только вместо узких венецианских розетчатых окон смотрели на улицу, — дух времени, — исполинские зеркальные квадраты. У одного из этих зеркальных квадратов в деловом кабинете банкира стояли, дымя сигарами, дон Исаак и его друг Бимбасад-бей.

Дон Исаак в отношении еды, или, вернее, кревоугодия, придерживался английской системы. Он говорил: «Культурный европеец должен есть часто, но понемногу».

На самом же деле дон Исаак изволил кушать и часто, и помногу. В восемь утра ему подавали в постель кофе, гренки и два сицилийских апельсина. В одиннадцать, уже в своем банке, он ел второй, «маленький», завтрак — яичница, холодное мясо, какао. А в

два часа дня — большой завтрак с вином, обилием острых закусок и горячих блюд. Сейчас дон Исаак с другом своим откушал «маленький», второй, завтрак. Они подошли к окну взглянуть на первомайскую процессию.

Зеркальный квадрат значительно выступал вперед над фасадом, и оба эспаниола как бы с балкона могли видеть широкий проспект во всю его длину — и вправо, и влево.

— Вели открыть окно, — предложил Бимбасад.

— Не надо. И так хорошо будет видно...

— Но почему ты не хочешь? Такой солнечный день, такой воздух.

— Потому, что эти болваны еще, чего доброго, устроят мне овацию... Им же внушают все эти Ганди, Шухтаны, Мусманеки, что я друг народа и едва ли не благодетель всего человечества. А эти овации могут меня преждевременно скомпрометировать... — и по чисто выбритому лицу Абарбанеля скользнула усмешка.

— Смотри, Исаак, — гусары. Это уже приподнимает настроение...

Справа по шести проходил внизу эскадрон

гвардейских гусар в парадной форме, в круглых меховых шапках. Медная чешуя на подбородке сообщала что-то воинское, мужественное усатым лицам всадников. Вел эскадрон красиво сидевший на горячем арабском жеребце ротмистр ди Пинелли, кузен личного секретаря королевы. За ним трубач на белой лошади. На утреннем солнце блестели стволы карабинов, металлические ножны красивых сабель, золотое шитье и бранденбурги офицерских доломанов.

Что-то гармоничное, цельное было в сочетании всадника с лошадьёу, и так же гармоничен и целен был весь эскадрон. Буржуазная толпа, густившаяся на панелях, кричала:

— Да здравствуют гусары Его Величества! Да здравствует армия!..

Но далеко не всеми зрителями разделялось это патриотическое настроение. Было много и злобных — то колючих, то липких взглядов, провожавших гусар, и было много бранных слов и проклятий, придушенных стиснутыми зубами.

— Они поехали ко дворцу, — сказал Бимба-сад.

— Там, по всей вероятности, будет сегодня горячо, — сказал дон Исаак. — Коммунисты готовят резкую, вызывающую манифестацию...

Минут через десять потянулись колонны социалистов. Они шли рядами, шли почти в ногу, сохраняя порядок. Видимо, внушено было вести себя пайньками.

Раздавалась собственная же команда не выходить из рядов, не мешать движению автомобилей и экипажей. Отсутствие трамваев, не вышедших в этот день пролетарского праздника, лишало улицу обычного вида, — не хватало чего-то, и рельсы пустынно и сиротливо уходили в перспективу.

Социалисты не могут обойтись без красного цвета, но и красные повязки на рукавах, и красные банты, и красные знамена — все было умеренно. И так же умеренны были лозунги, требовавшие восьмичасового рабочего дня, требовавшие, чтобы пролетарии всех стран соединялись и чтобы в правительство вошли социалисты.

Дон Исаак не ошибся. Проходя мимо его банка, многие манифестанты обратили свои

взоры на зеркальные окна второго этажа. Но дон Исаак ступал, благоразумно отойдя в глубину кабинета.

Демократия, не довольствуясь надписями, вышитыми на плакатах, время от времени, словно отбывая повинность, по-казенному выкрикивала:

— Да здравствует восьмичасовой рабочий день! Долой буржуев!..

— Да здравствует пролетариат!..

— Требуем, чтобы наши представители вошли в правительство помещиков и капиталистов!..

Потертый серенький вид был у этих «рабочих» колонн. Не только в смысле внешности, — было много хорошо одетых мужчин и женщин, — но в смысле будничных, невыразительных лиц. Вернее — все на одно лицо. Узкий, нежизненный, прозаический социализм, эта религия желудка, а не духа, обезличивающая, стирающая все и вся, обезличила этих людей. А ведь их было несколько тысяч...

Когда они прошли, не осталось никакого впечатления. Хотя нет, впечатление чего-то

нудного, скучного, убогого во всех отношениях.

Ярче, куда ярче были коммунисты, валившие тысячной бандой по проспекту. Какие типы, какие челюсти, какие глаза! Из каждых десяти демонстрантов — девять самой каторжной внешности, и уже наверное из десяти — девять вырожденцев, зачатых на алкоголе и сифилисе.

Подонки трущоб, кое-как, наспех приодетая городская чернь. Лицо же, душу — никак не приоденешь. Никакой искусственный грим не затушает и не приукрасит мерзкой естественной маски, данной Господом Богом, вернее — дьяволом.

Эти неправильные дегенеративные черты с печатью всех пороков, то словно смазанные жиром, то зеленоватые, скользкие, расцвеченные зловеще набухшими прыщами, эти рубцы на шее, эти глаза — то пьяные, то зверские, чаще же всего — и то, и другое вместе... Низкие скошенные лбы под пролетарскими кепками. Эти широко раскрытые рты с позеленевшими корешками зубов, изрыгающие с богохульственной бранью призывы к грабе-

жу, насилию, убийствам...

Они еще никого не успели убить, они только еще готовились к кровопусканию, на все лады смакуя его, но кровавый цвет уже густо покрывал их с головы до ног. Громадные красные банты напоминали фантастических кровавых пауков, извивавшихся на груди каждого коммуниста. Красные плакаты исполинских размеров ослепительно рдели на солнце, кидая красные отсветы на десятки и сотни иступленно горланящих физиономий.

Чего-чего только не было написано и нарисовано!

«Мир хижинам, война дворцам». «Смерть буржуям». «Выпустим все кишки толстопузым банкирам»...

Когда эта чернь, эта движущаяся оргия красного цвета, проходила мимо особняка или дома, занимаемого министром, генералом, видным общественным деятелем, по адресу того, и другого, и третьего неслись из толпы самые свирепые угрозы...

Но когда зарозовел на солнце мрамор венецианских колоннад «Абарбанель-банка», ни один голос не раздался против первого богача

Пандурии. Ни один. Как будто и в самом деле дон Исаак был величайшим благодетелем всего страждущего человечества.

Вот по дороге — министерство путей сообщения. Вот окна квартиры министра.

— Долой эту королевскую девку! На нее идут потом и кровью добытые народные деньги... — Долой!.. — взвизгивала Вероника Барабан.

Ближайшие эхом повторили за ней эту гнусность, и полетел в окно камешек, пущенный чьей-то рукой.

Жуткое было зрелище.

И если бы не наряды полиции, если бы не буржуазия, отвечавшая с панелей выкриками ненависти и презрения, можно было бы подумать, что столица уже во власти этого сброда, этой пьяной и в прямом, и в переносном значении сволочи...

А девица Барабан с красным пауком на своей жирной, отвислой груди, вспотевшая, с перекошенным лицом и безумными хмельными глазами все больше и больше разжигала толпу:

— Товарищи, мы не остановимся на полпу-

ти! Нет! Мы пойдём ко дворцу и потребуем, чтобы этот угнетатель трудящихся, этот кровопийца Адриан, первый и последний, вышел к нам. Потребуем у него открыть тюрьмы, где томятся наши товарищи, наши славные бойцы за свободу. Потребуем, чтобы вместе со своей потаскухой-матерью он убирался ко всем чертям, пока жив... Пока мы не повесили его там, где трепещет империалистический флаг этих разбойников Ираклидов и где скоро взвьётся наше красное пролетарское знамя! Товарищи, крепче сжимайте мозолистыми руками ваше оружие!

Так взывала от хрипоты пересохшим горлом девица Барабан, повторяя одно и то же, перебегая слева направо и справа налево, от головы к хвосту и от хвоста к голове разъяренного тысячеликого зверя. Но когда уже обрисовались контуры королевского дворца, обнесенного высокой стеной и с «империалистическим» флагом над центральной башенкой, девица Барабан сняла с обширной груди своей красный бант и, незаметно вытиснувшись из толпы, скользнув на панель, смешалась с другой толпой — буржуазной.

Давно и след ее простыл, а нафанатизированное ею стадо повторяло:

— Пусть убирается ко всем чертям вместе со своей потаскухой-матерью!..

10. «ПЕШИЕ ОТКРЫВАЮТ ОГОНЬ, КОННИЦА СМЕТАЕТ ЧЕРНЬ...»

Первое мая. Десять часов утра. Знакомый Пуже нам дворцовый кабинет премьер-министра с мягкой мебелью желтого цвета и с такими же обоями и драпировками.

В присутствии короля и графа Видо Бузни заканчивал свой доклад касательно возможных событий дня.

— Итак, по моим сведениям, коммунисты выбросят самые крайние лозунги, и вообще настроение довольно кровожадное... Как Ваше Величество прикажет действовать? В самом начале разогнать их или когда они выявят злую волю и своим поведением будут грозить общественной безопасности?

— Я думаю так... И граф, и вы, Бузни, надеюсь, согласитесь со мной? — соображая и щуря миндалевидные глаза свои, начал Адриан. — Если их разогнать в самом начале ше-

ствия, этим они тотчас же воспользуются и приобретут сочувствие социалистов. Вот, мол, вышли полные самых миролюбивых намерений, а эти ужасные королевские сбирьы не дали им продемонстрировать свои первомайские чувства... Если они начнут безобразничать, обнаглеют и распоясаются во всю ширь своего хамства, — тогда показать, что власть может навести твердой рукой порядок!.. И тогда уже не мы, а они очутятся в невыгодном положении...

— Я вполне присоединяюсь к мнению Вашего Величества, — сказал граф, но сказал далеко не решительным тоном. Его «вполне» прозвучало не с убеждением.

— Я слышу какое-то «но», граф?..

— Нет, Ваше Величество, я не имею...

— Однако же?

— Конечно, этих мерзавцев необходимо так хватить по воображению, чтобы надолго закаялись выступать... А с другой стороны, если будет несколько убитых, раненых, даже несколько попорченных физиономий, Англия и Франция поднимут вой.

— Пусть поднимают! Пусть! — ответил Ад-

риан, пожав плечами. — Во-первых, мы не позволим никому, даже великим державам, соваться в наши домашние дела, во-вторых, почему же там не поднимают воя, а, наоборот, молчат, видя, как в Совдепии в течение шести лет систематически уничтожается цвет русского народа? В-третьих же, наконец, мы не будем считаться с мнением Франции и Англии, раз во главе их такие выразители этого «мнения», как Эррио и Макдональд со своими полубольшевиками... Да и сами полубольшевики...

— Золотые, прекрасные слова, но не вступаем ли мы на опасный путь? — усомнился Видо.

— Э, милый граф, мы и так зажаты в кольцо всевозможных опасностей, мы и без того сидим на вулкане, а поэтому отбросим всякую половинчатость. Вы говорите, Бузни, эта милая компания в своем маршруте не забыла и нас и направится ко дворцу?..

— И осмелюсь еще добавить: не исключены возгласы и крики, оскорбляющие Величество.

— Положим, эта рвань не может оскорбить

нас, а вот если будет ранен хоть один из моих солдат или полицейских, — немедленно же пустить в ход оружие и, как говорит граф, так хватить их по воображению, чтобы долго не забыли этого дня... Я не позволю посягать на армию. Самые отчаянные головорезы должны уважать, — мы их заставим уважать, — пандурский мундир. Я уже приказал ротмистру ди Пинелли развернуть его эскадрон перед дворцом. В конном строю... — прибавил Адриан. — А вы, Бузни, дайте ему в помощь отряд пешей полиции. Манифестанты могут сколько им угодно упражняться в словесности, но если они перейдут в наступление и, повторяю, если прольют кровь первого гусара или первого полицейского, — пешие открывают огонь, конница сметает чернь...

В полдень красная лавина фальшиво и вразлад певшая «Интернационал», медленно подкатывалась к королевскому дворцу. Настроение этой лавины было самоуверенное, боевое. Еще бы! Те, кто накануне раздавали манифестантам деньги и водку, убеждали их действовать резко. Им ничто не грозит. Войска и полиция не посмеют стрелять даже в

том случае, если сами будут атакованы. Сначала все так и выходило. Никто не рассеивал коммунистов, не срывал с них красных бантов, не отнимал портретов Ленина и Троцкого, не топтал испещренных призывами к убийству и грабежу плакатов. Чем ближе ко дворцу, тем сильнее разгорались темные инстинкты и все больше и больше нагнала стая человеческих гиен и шакалов.

Женщины в такой толпе и в таких условиях всегда более фанатичны, более вызывающи и, самое главное, более отвратительны, чем мужчины. Уродливые, грязные, страшные в своей ненависти, в своей исступленной брани, эти женщины то кулаками, то растопыренными пальцами душительниц грозили полицейским, стоявшим цепью, грозили всадникам, их лошадям, грозили королевским окнам, грозили гибкому древку штандарта.

Каждое слово их было подобно комьям липкой, зловонной грязи. Эти остервеневшие мегеры, эти ведьмы, ведьмы, несмотря на свою молодость, ненавидели этих здоровых, щеголеватых кавалеристов. Не только гусар,

стройных лошадей их ненавидели эти испытанные женщины с мокрыми подолами криво застегнутых юбок, основательно впитавших в себя миазмы трущоб, — ненавидели так, как ненавидели вообще все красивое, физически чистое, так не похожее на них самих...

И вместе со слюной увядшие рты их с посинелыми губами выплевывали прямо в этот ясный майский блестящий день:

— Кровопийцы! Наемники! Холопы нашего палача Адриана!

— Сколько этот игрушечный офицерик заплатил вам?..

— Будет он болтаться на фонаре со своей молодящейся матерью!...

— Доберемся мы до этого венценосного бандита, доберемся!..

— К черту, всех к черту! Довольно! Сами хотим жить, вкусно есть, пить, одеваться в шелка!

Между головной частью толпы и живым барьером из пеших полицейских и конных гусар не было и пятидесяти шагов. Каждое слово, каждое гнусное оскорбление четко долетало до тех, кого эти мегеры честили наем-

никами и холопами. Лица под меховыми шапками с медной, а у офицеров золоченой чешуей на подбородке, бледнели от накипавшего гнева. Руки нервно сжимали эфесы кривых сабель. Настроение всадников передавалось и лошадям. Они горячились, закидывались, косили громадными белками, раздували влажные ноздри...

Высокий полицейский чиновник крикнул: — Ни шагу дальше! Я открою огонь!

Окрик сначала подействовал; передние ряды манифестантов попятнулись, но угрозы и брань продолжались, не смолкая. Описал дугу камень величиной с кулак и угодил в грудь полицейскому чиновнику.

Толпа загоготала, и ликующий рев, как волной, всколыхнул ее всю. Ротмистр ди Пинелли, обернувшись, что-то бросил из-под усов трубачу.

Рожок предостерегающе, повелительно-звонко прорезал ясный воздух. Лица гусар еще серьезнее, строже. Еще более стали закидываться лошади. Толпа на мгновение оробела, притихла. Но это было жуткое затишье. Что-то сухо щелкнуло, как будто несколько

раз. Один гусар, выпустив повод, схватился за лицо, другая пуля ранила в грудь лошадь трубача, и пурпуром окрасилась белоснежная шерсть.

Высокий чиновник взмахнул саблей:

— Огонь!

Полицейские дали залп.

В гуще манифестантов упало несколько человек, но тысячная толпа еще не сознала размеров опасности. Новые выстрелы по гусарам и полицейским уже из коротеньких карабинов, скрывавшихся под платьем.

Ди Пинелли, сверкнув саблей, бросил свой развернутый эскадрон в атаку. Гусары, не прибегая к оружию, — только самые разгоряченные били тупой стороной сабель, — тяжестью коней своих мяли толпу, разрывали на части, рубили древка плакатов, рубили портреты Ленина, Троцкого, Маркса.

Началось паническое бегство. Падали, спотыкались, давили друг друга, не брезговали подъездами «буржуазных» домов.

И опять-таки самыми стойкими оказались женщины. Растрепанные, окровавленные, вцеплялись они в стремяна, волочили за

лошадьми, вгрызаясь зубами в сапоги всадников...

11. УШИБЛЕННЫЕ «ДЕМОКРАТИЗМОМ»

К вечеру этого же дня премьер-министр, слушая доклад шефа тайного кабинета, качал своей старой, лысой головой, а иногда и брал ее в обе руки жестом, близким к отчаянию.

— Все это будет искажено, раздуто. Сколько, вы говорите, убитых?

— Пять штук всего, Ваше Сиятельство. Сушья безделица.

— Хорошая безделица! Количество так называемых «революционных жертв» и в нашей левой печати, и в заграничной вырастет, по крайней мере, в пятьдесят человек.

— Если не в пятьсот, Ваше Сиятельство. Так уж принято у них. Но я должен отметить, полиция стреляла более чем гуманно. В самом деле картина такая: сорок полицейских, мишень — громадная толпа в шестидесяти шагах расстояния, слепой на оба глаза — и тот не промахнется. Дано было неполных два

залпа, выпущено 57 патронов. Если принять во внимание, — каждая пуля в тесной людской гуще пронизывает несколько человек, то пять жертв — явный показатель, что полицейский отряд был далеко не на высоте исполнения долга. Я уже подтянул командовавшего отрядом. Я не был с ним очень строг. Бедняга и так пострадал, ушибленный камнем в грудь.

— Много раненых?

— Девяносто две штуки.

— Бузни, эта цифра уже внушительна!

— Количественно — пожалуй, качественно же — ничуть. Десяток какой-нибудь всего подобран и увезен «скорой помощью». Все же остальные передвигались собственными средствами. Легко рассеченные головы, разбитые физиономии. Кое-кого потоптали гусарские лошади. Пустяки, в общем. Некоторых я уже успел и допросить, обыскать... У всех есть деньги и почти у каждого — револьвер... Снабжал их тем и другим Макс Ганди. Он скрылся на два дня, но как только вернется, я его арестую. Вы напрасно, Ваше Сиятельство, так сильно удручены. Еще день, дру-

гой — и все утрясется. В столице полное спокойствие и, право же...

— Утрясется! — переспросил граф, как-то значительно искоса взглянув поверх очков. — Милый Бузни, я иначе думаю. Одна беда никогда не приходит. В наше же подлое время — в особенности. Моя старая голова подсказывает мне, что мы накануне новых, более тревожных событий. Да, кстати, звонили мне французский и английский посланники... И с тем, и с другим у меня было несколько минут неприятного разговора.

— Понимаю, — улыбнулся Бузни, — об этих канальях, которых мы слегка потрепали...

— Да... Тон их не понравился мне, и я дал понять... Правда, это было ими поднесено в виде благожелательных советов — пользоваться при подавлении беспорядков более демократическими мерами, но я твердо заявил, что наши внутренние дела касаются только нас самих...

— Болваны! Окончательно помешались на своей демократичности... Этак они сами у себя докатятся до большевизма.

— Погодите, я еще не сказал... Оба настаивали быть принятыми Его Величеством. И к нему хотят сунуться со своими непрошенными советами...

— И чем же это кончилось?

— Я им сказал, — просьбу их об аудиенции передам, но сомневаюсь, будут ли они приняты на ближайших днях. Так оно и вышло. Я доложил Его Величеству, и получил ответ: «Я не желаю видеть этих господ».

— Bravo, bravo! — вырвалось у Бузни. — С каждым днем я все больший и больший поклонник нашего монарха. В самом же деле — нахальство... Великодержавные дипломаты эти у себя, там, и пикнуть не смеют... дрожат перед своим хамьем, а здесь, у нас, потому что у нас король, желают оказывать давление, давать директивы и чуть ли не распоряжаться. Щелкнув их по носу, вы отлично сделали, Ваше Сиятельство...

— Я иначе и не мог поступить как слуга своего народа, оберегающий его суверенность, и как верноподданный моего государя. Но все же я далеко не разделяю вашего оптимизма. Сегодняшняя кровавая тучка является

для нас предвестницей новых туч — грозных, больших, зловещих... Дай Бог, чтобы мои предчувствия обманули меня. Дай Бог... — после некоторой паузы тихо повторил граф.

И Видо и Бузни отметили в дальнейшей беседе весьма характерное для переживаемой эпохи явление. Какой-нибудь год назад это еще не так бросалось в глаза; но со времени, как в Англии взял в свои руки власть Макдональд, а во Франции Пуанкаре сменен был господином Эррио, — этого уже нельзя было не заметить.

Каждый великобританский или французский посланник считал необходимым брать под высокое покровительство свое «демократию» той страны, где он был аккредитован.

Он заискивал перед левыми палаты и сената, таинственно шушукался с ними на своих интимных «чаях» и поощрял на всякие антигосударственные выходки.

Но если разумное, вовсе не желающее быть сметенным шайкой демагогов, правительство давало надлежащий отпор и твердой рукой ставило на свое место зарвавшихся болтунов, посланник начинал возмущаться

реакционной властью и втайне для этой самой власти готовил какую-нибудь пакость. Так, «союзники», энергично поощрявшие республиканские течения в Греции, весьма противились возвращению короля Константина.

Когда Венгрию в течение трех месяцев мял в кровавых лапах своих коммунизм, Англия и Франция, в данном случае больше Англия, не особенно торопились с удушением венгерских совдепов и с заливанием большевицкого пожара, вот-вот грозившего переброситься в Австрию, Югославию и в Чехию.

Но когда Его Апостолическое Величество Император Карл попытался увенчать вновь свою голову короной Святого Стефана, Англия и Франция запротестовали, и он был посажен под конвоем на британский монитор и послан на Мадеру, где как-то слишком скоропостижно скончался во цвете лет и здоровья. Скончался на благодатном острове, где даже находящиеся на смертном одре поправляются в несколько месяцев.

Когда вся Болгария стонала в тисках ужасного террора Стамболийского, этого грабителя и зверя, великие державы молчали, а Стам-

болгийский катался по Европе, с почетом принимаемый в Париже и в Лондоне. Но когда благородные болгарские патриоты вырвали из его рук страну и дали ей возможность свободно вздохнуть, раздалось шипение о недемократичности и реакционности тех, кто спас болгарский народ от удушения в коммунистических объятиях. То же самое и в Пандурии. Правда, каких-нибудь полгода назад французский посланник виконт Гро был дипломатом, державшим себя вполне корректно. Но когда воцарился Эррио и пошла чистка и демократизация французских посольств, и отозванный виконт Гро уехал, смененный неким Тиво, этот мосье Тиво стал вмешиваться во внутренние дела королевства в ущерб династии и правящей партии и в угоду Мусманекам и Шухтанам.

Сам же мосье Тиво пошел в дипломаты лишь только тщеславия ради. Он имел парфюмерную фабрику, ворочал миллионами франков и, хотя последние соки выжимал из своих рабочих, весьма усердно сам себя стриг под социалистическую гребенку.

После совещания с Шухтаном и Мусмане-

ком мосье Тиво пообещал им обуздать «этого молодого человека», доказав ему всю недопустимость расстрелов безоружной трудящейся демократии.

Дипломат-парфюмер изливал свое негодование:

— Возмутительно! Это анахронизм! Почти уже нигде этого нет, а здесь, оказывается, король не только царствует, но и управляет... Поэтому я лишь вскользь поговорю со стариком Видо, основательно же побеседую с этим молодым человеком в гусарском мундире.

Но «молодой человек в гусарском мундире» не пожелал беседовать с мосье Тиво, и озлобленный фабрикант-посланник отправил в Париж другому фабриканту из Лиона, приятелю своему Эррию, шифрованную телеграмму в 250 слов.

Он требовал если и не разрыва дипломатических сношений, то, во всяком случае, морской демонстрации у берегов. В противном же случае он, Тиво, не ручался, что этот коронованный деспот не вырежет всю демократию во всей несчастной Пандурии...

12. В КЛАССНОЙ КОМНАТЕ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА

В Пандурии, как и повсюду на белом свете, были русские эмигранты и беженцы. В общем собралось их несколько тысяч. Каких только человеческих осколков всевозможных белых армий нельзя было встретить здесь. Закинуло сюда и колчаковцев, и деникинцев, и врангелевцев. Очутились в Бокате, рассеялись по всей стране и те, кто дрались в свое время с большевиками на Мурмане, у Пскова, под Архангельском, в Оренбургских степях и в Прикаспийских солончаковых пустынях.

В Пандурии жилось русским лучше, пожалуй, чем где бы то ни было. Кое-кто из офицеров был принят в армию. Многие нашли частную службу. Менее удачливые устроились на фабриках, на лесных, рудниковых и шоссежных работах.

Бедная пандурская казна по мере сил и средств помогала более неимущим и тем из беженцев, которые по болезни, по увечью на войне или по старости лет уже не могли взяться ни за какую работу.

Бывали случаи, что король и его мать помогали русским из своих личных средств. А дважды в год принцесса Лилиан устраивала по всему королевству однодневный сбор в пользу русских детей.

В Бокате издавалась русская газета.

Велась интересно, живо и читалась далеко за пределами Пандурии, едва ли не всей двухмиллионной эмигрантской массой.

В середине мая редактор, писатель с именем, обратился к министру Двора с просьбой устроить для его газеты интервью с королем.

— Зачем это вам? — спросил министр.

— Мы все знаем про милостивое отношение Его Величества к нам, русским. А мы так не избалованы вниманием и лаской на чужбине! И если Его Величество выскажется о русских со свойственной ему теплотой и сердечностью, вы не поверите, до чего ободряющим светлым лучом озарит это всю лучшую часть нашей эмиграции...

— А кто же будет интервьюировать Его Величество?

— Один из постоянных сотрудников, бывший офицер Калибанов... Талантливый жур-

налист! Я выбрал именно его, зная симпатии короля к русской армии.

— Калибанов? Сейчас запишу... Хорошо, будет доложено Его Величеству... Мой секретарь известит вас...

Ответ был дан в тот же день, и ответ положительный, с указанием дня и часа, когда ротмистр Калибанов удостоится аудиенции.

Вся редакция ликовала. Еще бы не ликовать! Известно было, что еще недавно Адриан отказался принять двух знаменитых интервьюеров — итальянца и француза, — оба специалисты по «коронованным особам».

Навсегда осталось у Адриана какое-то нежное, почти сентиментальное чувство к своей бывшей классной комнате. Она сохранилась целиком в своем прежнем виде. Тот же глобус на подоконнике, та же карта обоих полушарий с отмеченными синим и красным карандашом городами... Тот же квадратный, небольшой, с тоненькими ножками стол, за которым сидели сменявшие друг друга преподаватели. Та же изрезанная ножом и залитая чернилами школьная парта маленького престолонаследника.

В простенке между двух окон висела в узенькой рамке большая фотография. Восемилетний Адриан, впервые севший на лошадь, снят был верхом. Придворный фотограф запечатлел этим снимком первый урок верховой езды юного принца. Рядом с маленьким всадником — его инструктор, полковник Рочано, в свое время один из первых кавалеристов Пандурии, а ныне полный генерал и военный министр.

Помимо природной ловкости и смелости, Адриан обязан был еще Рочано своей великолепной посадкой, умением ездить, искусством вольтижировать и лихо брать трудные, рискованные препятствия.

Было два Рочано. Один — офицер, фанатически преданный династии, другой — такой же фанатик кавалерийского дела.

Искренно, от всей души, чуждый искательства, придворной лести, целовал он руку маленькому принцу, но когда в манеже этот самый маленький принц садился в седло, Рочано, с берейторским хлыстом в руке, уже не видел престолонаследника, а видел перед собой ученика.

Иногда полковник горячился, выходил из себя, кричал на весь манеж:

— Баланс, Ваше Высочество, баланс! Да не опирайтесь на стремена, не откидывайтесь назад, черт возьми, как пехотный адъютант... Повод отдайте!.. Повод!..

Порой, сильно раздосадованный своим учеником, Рочано, посылая бичом на препятствия лошадь и всадника, робевшего перед высоким барьером, так вытягивал его бичом пониже спины, что у маленького принца из глаз сыпались слезы, но слезы не обиды, а физической боли.

Через минуту, когда кончался урок верховой езды, Рочано, покидая манеж, с почти-тельным благоговением склонял свою коротко выстриженную голову к маленькой ручке Адриана.

Много лет спустя король вспоминал с военным министром свои первые шаги манежной езды:

— Впечатления детства, генерал, всегда особенно сильны и живучи. Когда я лежал раненый, физическая боль мне казалась безделицей по сравнению с теми обжигающими

ударами...

— Ваше Величество, пощадите... — готов был провалиться сквозь землю военный министр, краснея своим и без того красным обветренным солдатским лицом.

— Полноте, мой славный Рочано!.. Ваш бич меня научил не бояться препятствий и смело идти на них. Мой мальчишеский страх шлепнуться на барьере поглощался еще большим страхом получить этакий обжигающий удар, как-то однажды рассекший мне рейтузы...

— Возможно ли это, Ваше Величество? Я что-то не помню...

— Зато я хорошо помню, — улыбнулся Адриан, улыбнулся этим детским воспоминаниям и Рочано, уже не красному, а багровому, вот-вот готовому расплакаться слезами беспредельного восхищения и умиления...

В своей бывшей классной комнате король принимал иногда тех, кого хотел обласкать сердечно, совсем запросто, без всякой декоративной помпы.

Вот почему адъютант Джунга ввел ротмистра Калибанова в классную и, оставляя его, сказал:

— Его Величество пожалует через две-три минуты.

Калибанов, сухой, маленький, бритый, с внешностью жокея, осматривался с приятным удивлением. После целой анфилады покоев, убранных с казенной дворцовой роскошью, — этот маленький, застенчивый глобус, эта изрезанная парта и два полушария на стене с густо-зелеными равнинами, свинцовой гладью океанов и коричневыми сгустками горных хребтов.

Русский офицер, лишившийся своей родины и своего монарха, с каким-то особенным, прямо священным восторгом и трепетом шел на эту аудиенцию, полный хорошей, чистой зависти к народу, имеющему своего короля.

До сих пор Калибанов видел Адриана на портретах, видел промелькнувшим на автомобиле, проезжающим верхом или на параде войск, а сейчас, увидев близко, услышит его голос...

И было как-то страшно, волнуяще страшно, и как-то празднично, и чудилось, что яркий, ослепительно яркий луч озарит сейчас серые эмигрантские будни ротмистра Кали-

банова...

И, как всегда в таких случаях, и он сам, и хаотический бег мыслей его застигнуты были врасплох.

Первое ощущение чисто физическое, — сильное мужское пожатие руки, затем — приветливая улыбка, осветившая не только смуглое красивое лицо, но и самого Калибанова, и всю эту детски-наивную комнату. И лишь после этого он увидел Адриана в защитном кителе с генеральскими погонами и с белым эмалевым орденом св. Георгия на шее. Русский орден, никакого другого больше. Редкое, исключительное внимание.

Калибанов готов был расплакаться. Еще бы, мало он видел французских офицеров, так домогавшихся в дни императорской России ордена св. Георгия, а после революции уже никогда его не надевавших.

— Вы много скакали? — спросил король. — Вы весь такой сбитый, тренированный.

— Так точно, Ваше Величество... Приходилось, и не только у себя на родине, а и за границей — в Лондоне, в Вене, в Пинероле.

— И в Пинероле?

— Я там год изучал итальянскую школу.

— О, да вы кавалерист Божьей милостью! Ах, эта русская конница! Лучше ее на свете нет... Садитесь, ротмистр.

— Куда прикажете, Ваше Величество?

Только и было всего в комнате парта да стул возле преподавательской «кафедры».

— Садитесь там, — указал король на «кафедру», — вы будете спрашивать, я буду отвечать. Следовательно, мое место будет здесь, — и Адриан сел на парту, но не на скамью, а на отлогую доску в чернильных пятнах. — Я к вашим услугам. Задавайте вопросы, и мы вместе будем решать, что для печати и что — нет. Кроме того — условие: когда интервью будет у вас готово, я его процензурую с графом Видо... Вернее, цензуровать будет граф, я же буду отстаивать по мере сил то, что ему покажется недипломатическим и резким.

— Ваше Величество, я боюсь, что интервью после такой цензуры... значительно... как бы это сказать... побледнеет...

— Не бойтесь!.. Я как-нибудь отвоюю у графа самое яркое и ценное для вас и для вашей газеты. Итак...

— Ваше Величество, как вы изволите смотреть на вооруженное вмешательство в целях свержения большевиков и большевизма? — спросил Калибанов. Голос его почти не дрожал. И он почти владел, вернее, понемногу овладевал собой... Казалось, что молодого короля он знает давно-давно — так влияла чарующая простота Адриана.

13. ДОСТАТОЧНО ТРЕХ ТЕЛЕГРАММ

Адриан забросил ногу на ногу и обеими руками охватил колено.

— Вас интересует мой личный взгляд, — может ли интервенция спасти Россию? Иначе говоря, может ли экспедиционный корпус разбить Красную армию? Я полагаю — да. Однако, увы, сомневаюсь, чтобы Европа пошла на это... Теперь об этом не может быть и речи. Вы видите, и Франция, и Англия накануне признания международной злодейской банды, оккупировавшей несчастную родину вашу.

— Это для печати, Ваше Величество?

— Да.

— Значит, Ваше Величество изволит счи-

тать интервенцию необходимой?

— Нет. Не вижу никакой необходимости в этом. — И, встретив удивленный взгляд интервьюера, пояснил. — Чтобы свергнуть большевиков, не надо не только экспедиционного корпуса, не надо даже дивизии, даже полка...

— В таком случае, как же?.. — недоумевал Калибанов, — что же надо, Ваше Величество?...

— Всего-навсего три серьезных деловых телеграммы. Из Парижа, Берлина и Лондона — в Московский Кремль с требованием уйти, немедленно уйти, пока не поздно и пока вся эта правящая шайка может получить визы и гарантии личной безопасности. Увидев, что с ними не шутят, все эти Троцкие, Зиновьевы, столь же наглые, сколь и трусливые, — разбежались бы, как крысы с погибающего корабля. В этом я так же глубоко убежден, как и в том, что ни Берлин, ни Париж, ни Лондон в Москву таких телеграмм никогда не пошлют. В этом-то вся трагедия...

— Ваше Величество, до чего же вы правы! — с заблестевшими глазами воскликнул Калибанов. — Три телеграммы! Только и все-

го!.. Счастье так возможно, так близко...

— И так бесконечно далеко, — молвил с сочувствием Адриан.

— Ваше Величество, а как вы смотрите на великодержавные правительства, идущие на соглашение с большевиками?

— Как на пастухов, глупых и нечестных. Пастухов — одних сознательно, других бессознательно пускающих волчью стаю в свои овчарни.

— Это для печати?

— Но только придется немного смягчить... Заодно уж возьмите на себя труд отметить, что я выгодно выделяю Северо-Американские Соединенные Штаты и некоторые невеликодержавные государства, как, например, Испанию, брезгливо сторонящиеся от каких бы то ни было отношений с палачами русского народа и русской императорской семьи... Затем, нельзя не приветствовать Болгарию, сумевшую раздавить свою большевицкую гадину и повернуться спиной к Совдепии... Это и красиво, и смело, и гордо. Да, для этого была нужна смелость и беззаветная любовь к своей родине!.. Смелые вожди и несколько сот риск-

нувших своими головами людей... В Югославии какой-то проходимец Радич, бывший австрийский агент, а сейчас большевицкий наймит, начинает мутить, подкапываться под основы существующего строя, не встречая, или почти не встречая, отпора. Между тем давно пора разогнать свивающую там прочное гнездо кучку советских лакеев... Если бы Мильеран и Пуанкаре не пожелали уйти и отдать Францию на растерзание социалистам, право, любой колониальный капитан с батальоном сенегальцев водворил бы строгий порядок в Париже, а следовательно, и во всей Франции, и Пуанкаре мог бы еще тверже проводить свою национальную политику... Ваше лицо сияет, ротмистр. Я вас понимаю. Но палка о двух концах. Так же легок и, это гораздо хуже, переворот слева. Опять-таки при наличности железного вождя и каких-нибудь пятисот азартных смельчаков.

Бритое, жокейское лицо вытянулось:

— А народ, Ваше Величество? Армия?..

— Народ всегда пассивен, даже если и был доволен свергнутым режимом. Относительное довольство... Полного никогда не бывает.

Что же касается армии, если она сплошной военный лагерь, подчиненный близкой, единой, осязаемой воле, тогда другое дело. Если же она разбросана по всей стране, один какой-нибудь верный кавалерийский полк опоздал на четверть часа — и свершилось уже непоправимое. Четверть часа и мало, и бесконечно много. Не опоздай на четверть часа в Варение преданные королевские гусары, Людовик XVI не был бы казнен и жил бы за границей. Не опоздай на четверть часа Груши со своим конным корпусом во время Ватерлооского боя, и карта Европы была бы совсем другая, и Тюильерийский дворец не был бы сожжен, и правила бы из него династия Бонапартов. Согласны вы или нет?..

— Вполне, Ваше Величество, вполне. Все это для печати?

— О, на этот раз далеко не все. Об Америке, Испании, Болгарии, Югославии и Радиче — пожалуйста. Что же до переворотов, пусть это между нами. Будь я частным лицом, — отчего же? Но согласитесь, неудобно же королю доказывать легкость революционных свержений, да еще эту самую легкость снабжать ка-

ким-то чуть ли не руководством... Есть у вас еще вопросы?

— Ваше Величество, я хотел бы коснуться прошлого... Несколько эпизодов войны, где вами проявлено было столько героизма.

— Во-первых, героизм ли это, милый ротмистр? А, во-вторых, если и так, кому нужно теперь героическое? В наш век торгашей лионским шелком, подобно Эррио, и бисквитом, подобно Макдональду... Война! — задумался Адриан. — Сколько тяжелых воспоминаний! Несколько лет не знал я того, что зовется радостью, солнечным счастьем. Несколько лет вычеркнутой молодости. Зато я постиг изнанку жизни, и какой жизни! Слезы вдов и сирот, перевязочные пункты, лазареты с тяжелым запахом гниющего человеческого мяса, горы трупов на позициях... Многое узнал и увидел многое, включительно до голода... страшного, звериного, пожирающего все внутренности.

— Вашему Величеству приходилось голодать?.. Мне казалось, что коронованные особы подвергаются таким лишениям только во время революции, все и вся сметающей...

— Война тоже сметает обычные условия

жизни. Раз я не имел крошки хлеба во рту на протяжении пятидесяти двух часов. Это — когда отступал вместе с армией... Ах, это отступление. Что это был за кошмар! — и набежала какая-то тень на лицо Адриана. — Мы шли глубокой осенью по голым каменистым кручам на такой высоте, где уже орлы вьют свои гнезда... Эти орлы поживились тогда человечинной... Весь путь наш устилался отставшими, изнуренными голодом. Еще у живых людей крылатые хищники выклевывали глаза и так громко долбили клювом по обмерзающему черепу, добираясь до мозга... — эти удары эхом откликались меж скал. И до того безразличие с голодной апатией ко всему овладевала еле бредущими от голода солдатами, — ни воли, ни желания, ни даже сил не хватало вскинуть винтовку и пристрелить орла, в какой-нибудь сотне шагов терзавшего свою жертву... Я видел, как мои солдаты за кислую лепешку отдавали свои винтовки. С точки зрения воинской они совершали преступление, но разве можно было их винить? Когда возмущенные офицеры докладывали мне о таких случаях, я им отвечал: «Оставьте. Под-

крепившись, он кое-как добредет и получит новую винтовку... А если он упадет здесь со своим оружием, — он погибнет, а винтовку подберут местные жители». Да, это школа! Это были сверхчеловеческие испытания, это было страшнее войны. После этого уже трудно удивить, поразить чем-нибудь...

Король умолк, умолк во власти обступивших его призраков, словно забыв о своем собеседнике. Молчал и Калибанов, боясь вспугнуть затаившееся настроение классной комнаты. Калибанов смотрел на маленький глобус и почему-то обратил внимание на лежащую у африканского берега зазубренную полосу Мадагаскара.

Вдруг он встрепенулся и привскочил, ощутив такое же сильное рукопожатие, как и вначале. Обаятельная улыбка, два-три слова, и Адриана уже не было в комнате.

Вошел усатый, массивный Джунга.

— Поздравляю, ротмистр, с милостивой аудиенцией. Его Величество изволил беседовать с вами тридцать две минуты.

— Неужели? — изумился Калибанов, — а мне показалось, что это был один миг. Только

во сне так быстро бежит время. Да это и был для меня сон. Дивный, чарующий сон человека, лишенного своей Родины и своего Государя...

14. ГЛАВА ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ, НО НЕОБХОДИМАЯ

Русские эмигрантские газеты делятся, и делятся весьма резко, на два лагеря не только в партийно-политическом отношении, но и в «имущественном», и даже в расовом. И все это вместе: партийная сторона, имущественная и расовая имеют свою последовательность.

Газеты в самом прямом, настоящем, значении слова — русские, а не только печатающиеся по-русски, националистические, обслуживаемые русскими людьми, перебиваются с хлеба на квас, ютятся в подвалах при типографиях, которые, в свою очередь, ютятся еще при чем-нибудь... Их никто не субсидирует, а если поддерживают сочувствующие единомышленники, то в таких аптекарских дозах — где уж, куда уж, чего уж...

Такова доля правых буржуазных газет,

«приверженцев царских генералов, помещиков и капиталистов».

Совсем иначе живут и работают левые газеты, поддерживающие демократию.

Помещаются эти редакции в особняках, а не при типографиях, потому что типографиям с их мощными машинами самим тесно в громадных, залитых электрическим светом «ма-нежах».

Сотрудники, творящие демократическую политику в комфортабельных кабинетах с кожаной мебелью, все сплошь жгучие «финикийцы», и только благопристойности и приличия ради в этот шумный финикийский табор вкрапливается какой-нибудь «свой собственный» Милюков.

Сотрудники оплачиваются не грошами, как в «капиталистических» газетах, а самой добропорядочной валютой, имеющейся в изобилии в несгораемых шкафах «демократических» органов. Если сотрудник, перебежчик из белого стана, с холопским усердием ренегата готов этот самый белый стан облить помоями и грязью, такого сотрудника оплачивают уже не построчно, а в зависимости от

удельного веса покупают в рабство — временное или постоянное. Специализировались на этом уловлении душ финикийские «Последние новости». Они купили голодного полусумасшедшего Львова, чтобы он очернил светлую память Корнилова и канонизировал при жизни Керенского. Ими куплен был за триста франков гадкий мальчишка-проходимец Вонсяцкий для очередного плевка по адресу «монархической Добровольческой армии».

А мрачный Дю-Шейля, «донской казак», иезуит, масон, француз, все что угодно, кувыркающийся вместе с Магдалиной Радзивилл на радушных столбцах тех же «Последних новостей», доказывая в поте лица, что Сионские протоколы сочинил «царский охранник» Рачковский. А паж Его Величества и конно-гренадер Воронович, нанятый в керенские «Дни» на амплу профессионального клеветника, чернящего белое движение, белую армию, белых генералов?

Откуда же деньги на покупку всех этих, если и не мертвых, то, во всяком случае, презренных душ?

Темными принято называть эти деньги.

Напрасно! Они такие ясные, такие определенные и так легко почти всегда указать источник. Разве Керенский за время недоношенной семимесячной власти своей не успел перевести за границу несколько миллионов рублей золотом? Он потребовал их из Государственного банка запиской на клочке бумаги. Разве часть сибирского золотого запаса с каплями крови на нем, святой колчаковской крови, не попали в цепкие жадные лапы товарищей-эсеров? Мало разве передавал Стамболийский народных болгарских денег трубадуру своему Лебедеву, этому швейцарскому адмиралу?

Разве нет уже пороха в пороховницах, и разве мало денег у Животовских, Высоцких, Шкаафов, Залшупиных и разных других банкиров, одной рукой субсидирующих левую эмигрантскую печать, а другой обдeldывающих гешефты с хищными кремлевскими стервятниками?

Демократические газеты выходят сразу и, как грибы в дождь, растут. Газету «буржуазную, капиталистическую» надо выстрадать, выносить, и еще как выносить, в мучитель-

ных, иногда прямо-таки безнадежных муках.

На эту же тему шла беседа в крохотной, из двух клеточек, редакции русской газеты в Бокате. Говорили двое, — их только и было двое в редакторском кабинете. Это больше для красоты слога и по традиции — кабинет. На самом же деле — пять шагов в длину и три с половиной в ширину.

За «редакторским» столом — еле-еле одному примоститься. Тут же бок о бок стучала барышня на пишущей машинке с тремя недостающими буквами «К», «С», «П». Эти пробелы в стройных рядах нанизанных букв производили впечатление выщербленных зубов. Почему, трудно сказать, но это именно так.

Барышня, грациозная, тонкая, хотя и казалась барышней, на самом же деле четыре года назад большевики расстреляли ее мужа-полковника и георгиевского кавалера. Если хорошенько всмотреться, — в темно-пепельных волосах заметно серебрились настоящие откровенные седины.

В редакции она была не только машинисткой. Она вела театральный отдел, переводила из французских и английских газет, писала

под диктовку и сама выстукивала на узеньких полосках адреса иногородних подписчиков.

Редактор, полный мужчина, — полный, хотя питался весьма умеренно и отдавал газете добрых 17 часов в сутки, — одет был в люстриновый пиджачок, до глянцу лоснившийся и спереди, и со спины, и у протертых локтей. Он был не только редактором, он писал фельетоны, передовицы, вел обзор печати и чего-чего только еще не писал и не вел! Звали его Евгением Николаевичем, а барышню — Любовью Андреевной.

15. ПОД СТУК МАШИНКИ

— Ба! — спохватился Евгений Николаевич, — да ведь с минуты на минуту должен вернуться с королевского интервью Калибанов. Вот будет сенсационный номер! Цитировать будут всюю! Наши правые — с почтительной дружественной завистью, «товарищеская» же печать поднимет змеиный шип... Я дам это на первой полосе и так разверстаю... Да вот и он сам — наш герой. Смотрите, Любовь Андреевна, так и сияет!.. Золотистый нимб над головой... Ну, скорее же, скорей, Калибанов!..

— Дайте отдышаться, — упал на табурет Калибанов.

— Устали?

— Физически — нет! А вот и душа, и сердце, и голова переполнены! Я в опьянении каком-то...

— А ведь верно. В глазах у вас томный блеск. Дружище, я боюсь за вас: вы, можно сказать, в таком экстазе, поди, толком ничего и не запишете... А интервьюировать коронованных особ с блокнотом и карандашом не

полагается.

— Минуточку... минуточку, погодите... Все расскажу. — И в самом деле глаза ротмистра были томные, счастливые, блаженно усталые и такая же блаженно-счастливая улыбка на бритом жокейском лице. Он немного отдышался. — Теперь я к вашим услугам...

Вспыхнувшая Любовь Андреевна спросила:

— Какие у него руки?..

— Ай да Любовь Андреевна! Женщина, всегда женщина! — воскликнул Евгений Николаевич. — Нас интересует, что он сказал, а вас — какие у него руки?..

— Нет, отчего же, — вступился уже овладевший собой Калибанов, — интересно какие руки у того, чьи предки тысячу лет творили Пандурию и кто сам сейчас ею правит, а не сидит во дворце декоративным манекеном, подобно Виктору-Эммануилу и английскому Георгу... Отвечу я вам, Любовь Андреевна, следующее: руки у него сильные, мужские, не маленькие, но породистые, с длинными пальцами. Руки монарха, но такого монарха: в случае заминки где-нибудь на позициях помо-

жет солдатам вытащить увязшее в болоте орудие. На пальце — узенькая полоска обручального кольца и рядом железное... Я обратил на них внимание сразу после того, как при пожатии оба эти кольца надавили мне...

— Стоп, Калибанов! Уже пошла беллетристика, — перебил Евгений Николаевич. — Когда вы будете описывать Его Величество в романе, тогда все эти штришочки с успехом найдут себе место. А сейчас — ближе к делу. Сначала рассказ, а потом все это вы продиктуете Любове Андреевне, и пошлем в набор.

— В набор, милый Евгений Николаевич, еще рано. Поставлено условие: личная цензура Его Величества и премьер-министра.

— Гм, жаль... Задержка на несколько дней... Хотя да, да, конечно. В таком случае, мы сделаем вот что: Любовь Андреевна переведет на французский язык, и вы уже сами займитесь этим.

— Я отнесу полковнику Джунге.

— Вот. А сейчас... России и русским уделено, разумеется, немало?

— Как вам сказать...

— Что же это вы так? — покачал головой

Евгений Николаевич.

— Вам легко, сидя в редакции, а побыли бы вы на моем месте! Мысли, как молнии, вспыхивали, погасали, теснили одна другую... Надумаешь вопрос и тотчас же его забудешь. Моментами овладевало что-то умилительное — хотелось и плакать, и смеяться, и лепетать какую-то детскую восторженную чепуху. Вот, Любовь Андреевна меня понимает...

— И я вас понимаю, — сказал Евгений Николаевич. — Сам готов нести умилительную чушь... В лице вашем этот светлый король обласкал всех нас, бесприютных скитальцев. Сегодня нам есть чем гордиться.

— Да, — вспомнил Калибанов, — ваш упрек? Едва я немного освоился и хотел задать еще несколько вопросов, аудиенция кончилась. Тридцать две минуты промчались, как мгновение... А вы сердитесь.

— Ну, ну ладно...

Калибанов обстоятельно рассказал все, и едва ли еще когда-нибудь в своей жизни имел он таких внимательных слушателей, какими были сейчас Евгений Николаевич и Любовь Андреевна. Он уже кончил, уже хотел

диктовать, вошел Сумцов, другой сотрудник газеты, красивый, плечистый, загоревший, высокий.

— Можно поздравить с успехом?

— А то как же! Интервью на 12 баллов, — похвастал Евгений Николаевич. — А у вас что?

— Интересные новости!..

— Да?! Садитесь ко мне поближе... Не будем мешать, пусть диктует...

Проворные пальчики Любови Андреевны забегали по круглым клавишам-буквам сухо щелкающей машинки. Сумцов выкладывал свои новости.

— Савинков-то, Савинков! Появились большие деньги...

— От Бузни?

— Бузни уже больше месяца не давал ему ни сентима. Да и давал-то он пустяки. Нет, источник другой.

— С большевиками снюхался? От этого мерзавца...

— Большевики-большевиками, а снюхался еще и с Шухтаном, у Шухтана же денег куры не клюют.

— Свои?

— Откуда свои? Он, правда, немало зарабатывает своей адвокатурой, но чтобы он поделился с кем-нибудь, это уж извините... «Абарбанель-банк» — вот вам Эльдорадо, посыпающее золотом почтенного Бориса Викторовича... Шухтан же — посредник, честный маклер. Я встретил в кафе князя Ленко Магалова. Мы с ним в Дикой дивизии вместе служили. Он здесь метеором на несколько дней из Парижа, по делам. Так вот, Ленко Магалов говорит, что в Грузии к началу осени предполагается восстание. Савинков держит связь с грузинским комитетом. Он им предложил такую комбинацию: вы, мол, поднимите у себя восстание, а я проберусь в Совдепию и, одновременно с вашим выступлением, постараюсь изнутри взорвать большевиков.

— Что же, комбинация недурная... Если б... если б только этому господину можно было верить. Но в том-то и дело, что нельзя ему верить, нельзя! Типичный кондотьер от революции. Кто больше даст, тому готов служить и своими бомбами террориста, и своим окровавленным ножом убийцы. Не так ли?..

— Так. Но я внесу маленькую поправку. Видите ли, кондотьер — это, пожалуй, для него много чести. Кондотьеры, как тигры, бросались первыми в бой впереди своих наемников и ландскнехтов. Некоторые сделались владетельными герцогами, твердо усевшись на троне, подобно миланским Сфорца. А кондотьер Калеоне, увековеченный резцом Вероккио, — одна из лучших статуй во всем мире! Помните, в Венеции... Нет, какой же Савинков кондотьер. Проститутка, социалистическая проститутка... Да, так Магалов его видел вчера в Альгабаре. Кутил со своей Дерентальшей. Туалет — умопомрачительный, вся в бриллиантах. А он, бледно-каменный, с физиономией убийцы и с четырехвершковой сигарой. Этакий Сарданапал эсеровский... Шампанское, устрицы, угодливый метрдотель, целая свора лакеев.

— Шампанское, устрицы, — задумчиво повторил Евгений Николаевич, — на чьей крови, на чьих слезах отзовутся это шампанское и эти устрицы?.. Но, дорогой мой, раз товарищ Савинков здесь так пышно расцвел, значит, в воздухе пахнет если даже и не гарью,

то чем-нибудь жареным, во всяком случае...

— Я сам это думаю. У нашего брата, пережившего и падение Скоропадского, и падение Новороссийска, и падение Крыма, и десятки мелких падений и эвакуации, выработался прямо-таки собачий нюх. Более чем собачий — дьявольский. И...

— И? — подхватил редактор.

— В одно совсем не прекрасное, довольно кислое утро мы можем очутиться в объятиях куда менее приятных, чем правительство короля Адриана...

— Возможно ли это? — вмешался Калибанов. — Ведь показало же первое мая, что власть крепка... Пусть относительно даже, но не станете же вы отрицать — тверда...

— Можно свергнуть и твердую власть, особенно же теперь, в наши дни.

— Господи милостивый... Неужели опять скитания? — вздохнула Любовь Андреевна.

— Хорошо еще, если скитания, — подхватил Сумцов. — Эта сволочь может нахлынуть к нам и потребовать наших скальпов...

— Не печальтесь раньше времени, — успокаивал Евгений Николаевич.

— Потом уже будет поздно печалиться, — заметил Сумцов.

— Полноте, Сумцов! Ничего еще нет и, пожалуй, ничего и не будет. А мы с вами не будем заглядывать вперед, будем жить сегодняшним днем. Иначе же, право, с ума сойдешь...

«На наш вопрос относительно последней войны, Его Величество изволил ответить...» — продолжал диктовать Калибанов, дымя папиросой.

Щелкающими, сухими, торопливыми звуками стучала, содрогаясь, машинка, под быстро-быстро бегающими пальчиками Любови Андреевны...

16. КОРОЛЕВА ПАМЕЛА «В ОЖИДАНИИ»...

Молодая королева тяжело и очень болезненно переносила свою беременность. Она и так была бледная, прозрачная, слабая, а материнство, мощно призвавшее к творчеству весь ее организм, все здоровые соки, — их было очень мало, — всю здоровую кровь — ее было еще меньше, — подкосило этот тепличный цветок, чуть-чуть державшийся на своем тоненьком стебле.

Трансмонтанская династия, замкнутая, гордая, в течение столетий роднилась только в своем семейном, хотя и успевшем сильно увеличиться, кругу.

Отсюда пошло и вырождение, такое же, какое в XVI веке отметило уже роковой печатью своей испанских Бурбонов и Габсбургов, создав медлительных, усталых, не живших, но пресыщенных жизнью королей и худеньких бледных инфант, увековеченных бессмертной кистью Веласкеса.

Они, эти слабенькие, со стеариновыми личиками девушки-подростки, были как-то тра-

гически беспомощны в своих тяжелых одеждах, с твердыми «колокольчиками» робронов.

Молодая королева Пандурии напоминала одну из этих инфант, но, к сожалению, в нашем XX веке дамы не носят робронов, сумевших бы скрыть заметную беременность Памелы, слишком заметную при ее длинной и плоской фигуре.

И, сознавая, что ее фигура стала ужасна, королева куталась в широкие просторные складки, скрадывавшие предательскую выпуклость живота. Она мало двигалась, больше лежала и сидела, что одинаково было вредно в ее положении.

Готовясь быть матерью, она сама, как ребенок, во всем подчинялась принцессе Лилиан. Эта девушка с лучистыми глазами-звездами трогательно ухаживала за молодой королевой и потому, что любила ее, и потому, что она стала близким существом Адриану и даст жизнь его сыну, непременно сыну, и потому еще, наконец, что Лилиан по натуре своей должна была о ком-нибудь благотворить.

Ежедневно присаживалась на полчаса у изголовья Памелы и королева-мать, проявляя

максимум того внимания, на которое она была способна.

Глядя на истощенное личико с грустными запавшими глазами, на худенькие, острые плечи Памелы, плечи недоразвившегося подростка, думала королева-мать с грустью и с каким-то бессознательным эгоизмом:

— Бедняжка, она вдвое моложе меня, а ведь старуха-то она, а не я....

Чем дальше, тем озабоченней становился Адриан. Что-то будет? Какие роды сулят ближайшие месяцы? Во имя интересов династии он разбил свою личную жизнь, обвенчавшись с этим созданием, кротким, милым, но чужим и чуждым ему...

Дорогая цена! Дорогая! Но если б он купил ей право стать отцом нормального, здорового ребенка — он не посетовал бы, не пожалел бы.

А если, если, не дай Бог, ничего не будет, или, еще хуже, будет жалкий, хилый дегенерат? Какой ужас...

С мягким, но страстным упреком он обратился однажды к Маргарете:

— Мама, если уж так нужно было, отчего

же выбор ваш остановился на Памеле? Я вижу, да и раньше видел, что делать это слабенское существо матерью — это идти против Бога, против самой природы, больше — это варварство... Варварство, мама!..

— Увы, дитя мое, ты прав, но не было выбора. То есть, он был, но не такой, как нам надо. Это в мирное время Виктор-Эммануил мог позволить себе роскошь жениться на принцессе крохотного нищенского княжества...

— Какие у них крепкие, здоровые дети! Последний раз, что я был в Риме, я любовался ими! — с жаром подхватил Адриан.

— Сын мой, ты раньше времени приходишь в уныние. Может быть, твоя кровь и сила Ираклидов победят, как победила там у них в Квиринале здоровая, свежая славянка. Ведь, в сущности, наша Памела и маленький, кривобокий, кривоплечий Эммануил стоят друг друга.

— Да, пожалуй... Дай-то Бог, дай-то Бог...

Советовались с лейб-акушером, сухоньким старичком, длинноволосым, носатым, с листовской внешностью...

— Полагаю, что роды будут мучительны,

хотя далеко не безнадежны, — успокаивал он. — Я бы совсем смело глядел вперед, если б не этот чрезвычайно узкий таз Ее Величества...

Двадцать восьмого мая, — запомним этот исторический, во всех отношениях неудачливый день, — сильно не в духе был Адриан. Так уже одно к другому, другое — к третьему, четвертому...

Прежде всего — здоровье молодой королевы ухудшилось. Она лежала пластом, вконец обессиленная. Даже по ночам Лилиан ее не оставляла, накоротке, тут же засыпая в кресле.

Это — одно. Потом — не ладилось с дворцом инвалидов. Вернее, сам-то по себе он даже очень ладился, этот пятиэтажный гигант, в несколько месяцев выросший в пятидесяти километрах от Бокаты среди живописной местности, на берегу судоходной реки. Но смета — сама по себе, а осуществление — само по себе. Чтобы довести все начатое до конца, создать и оборудовать при общежитии большую библиотеку, ремесленные мастерские и домашний театр, словом, чтобы пу-

стить в ход громоздкий и сложный механизм дома, рассчитанного на две тысячи инвалидов, не только не хватало тех миллионов франков, что принесла реализация древнего клада, откопанного в имении короля, но предвиделись расходы еще и еще...

Из своих личных средств король не мог ничего выделить уже по той простой причине, что средства его были весьма ограничены. Урезанный парламентом «цивильный лист» едва позволял сводить концы с концами.

Этот же самый парламент, еще не разъехавшийся на летние каникулы, ни за что не утвердил бы даже самых мелких кредитов. Социалисты воспользовались бы удобным случаем, — для них всякий случай удобный, — с три короба наговорить с демагогическим пафосом о милитаристических затеях того, кто, поощряя профессиональных убийц, — с точки зрения социалиста, каждый военный — профессиональный убийца, — ищет популярности среди героев войны, ищет на деньги, потом и кровью добытые трудящимися...

Адриан меньше всего раскаивался в дан-

ном русской газете интервью, но последствия этого интервью превзошли все ожидания. Перепечатанное многими десятками больших европейских и американских газет, оно произвело большое впечатление. А так как добрых девяносто процентов мировой печати находится в руках тех, кто не мог питать симпатий к королю Адриану уже за то лишь, что он король, то и выпадов была тьма-тьмущая по адресу «венценосного фашиста».

В этих же самых газетах появились и карикатуры в духе следующей, помещенной на столбцах крупного парижского буржуазного органа, который с поистине воровской щедростью субсидировался большевиками.

Пандурия была изображена в виде загородки, обнесенной высоким, зубчатым частоколом, кишмя кишевшей истерзанными, истощенными людьми. Жиденькой цепочкой выходили они, попарно скованные цепями, из своею «чистилища», подгоняемые длинным плантаторским бичом. Этот бич держал в руке Адриан, одетый полуковбоем, полуофицером. На голове — широкополое сомбреро, у шеи — повязанный платок, на ногах — кавал-

лерийские бриджи и гусарские сапоги с рюшечками и чудовищными шпорами.

Бузни хотел конфисковать этот номер газеты, не допустить к продаже. Но король, усмеявшись, возразил:

— Отчего же, пусть смотрят! Пусть... Карикатура так нелепа, что не только на нее нельзя обидеться, а наоборот, она производит как раз обратное впечатление на всех тех, для кого предназначалась.

— Но, Ваше Величество, вы изволите забывать о крайних элементах! — возразил, в свою очередь, Бузни.

— Крайние элементы? Они и без того вопят на всех перекрестках, что я — коронованный палач, рабовладелец, а народ мой — все сплошь несчастные белые негры...

— Невероятная гнусность! — воскликнул Бузни.

— Вот с этим я вполне согласен! А разве не гнусность, что мосье Тиво, вежеталем которого и я мою свою голову, требует у Эррио морской демонстрации учащих берегов? Другой мой, все кругом сплошная гнусность, и я уж давно перестал возмущаться и негодовать...

17. В НОЧЬ С 28 НА 29 МАЯ

Этот день, вернее, эта ночь с 28 на 29 мая была исторической не только для Пандурии, но и вообще.

Уже чуть-чуть за полночь, раздетый, лежа на турецком диване в своем кабинете, — он перекочевал сюда с тех пор, как обострилось недомогание жены, — Адриан читал воспоминания генерала Людендорфа в переводе на французский язык.

Но книга с первых же страниц разочаровала его сухостью изложения и материалом, лишенным того захватывающего значения, какого можно было ожидать от главнокомандующего армиями двух империй. Это — само по себе, а кроме того, не читалось как-то. В смысл людендорфовских строк врезывались другие, посторонние мысли.

В безмолвии летней ночи за дверями кабинета вздыхал в старческой бессоннице семидесятивосьмилетний Зорро.

Гайдука Зорро вся Пандурия знала, да и не могла не знать. Сухой, цепкий особенной цепкостью горца. Костистое резкое лицо и седые

усы, спускавшиеся на грудь. И это лицо, и выносливое, закаленное тело старика все сплошь было в штыковых уколах, в кинжальных и сабельных ранах.

Зорро служил трем королям — четвертый был Адриан, и со всеми четыремя делил походы и войны.

На его душе много было турецких, сербских, греческих, австрийских, мадьярских и всяких иных неприятельских голов. В семидесятих годах прошлого столетия их было двести, а там он уже и сам потерял всякий счет.

При жизни короля Бальтазара седоусый гайдук Зорро был его неофициальным телохранителем — отголоском восточных нравов, занесенных Ираклидами в Европу. И так уже было заведено: Зорро к ночи раскладывал свои матрац у дверей королевской опочивальни и, как преданная собака, стерег своего господина, охранял его ночной покой.

С кончиной отца то же самое по традиции перешло, как бы по наследству, вместе с Зорро и к сыну.

Так же раскладывал старый горец свой матрац у дверей, за которыми спал Адриан, и

так же в чуткой старческой дреме проводил ночь одетый, с чалмой на выбритой голове, с двумя кинжалами и громадным кольтовским револьвером за матерчатым широким поясом, двенадцать раз охватывавшем его тонкую, как у женщины, талию.

Порой Адриана тяготила, даже стесняла, эта преданность, выражавшаяся в таких отживших, азиатских формах. Но удалить Зорро на покой, запретить раскладываться со своим матрацем, — сохрани и помилуй Бог. Это значило бы смертельно обидеть, оскорбить старика, значило бы отравить его последние годы, — немного уже оставалось их.

Адриан отложил увесистый том Людендорфа, услышав чей-то голос вперемешку с сердитым, хриплым голосом Зорро.

Это Бузни пытался проникнуть в королевский кабинет.

— Ты же меня знаешь, Зорро! Экстренное, государственной важности дело к Его Величеству.

— Знаю тебя, хорошо знаю, а только не пу-цу! Спит, натомился, ездил целый день. Какие такие дела ночью? Для этого утро есть...

Понимаю, еще если бы война была, а раз нет войны...

— Хуже, чем война, Зорро...

— Пустяки, Зорро! — откликнулся из глубины кабинета Адриан.

Ворча что-то в свои длинные усы, Зорро оттащил матрац, пропустив шефа тайного кабинета.

— Ваше Величество, простите... В такое неурочное время осмелился нарушить... Но нельзя терять ни одного часа... — Бузни был, как никогда, взволнован и, как никогда, бежали глаза на его лице, загримированном самой природой.

— Садитесь, в чем дело? — приподнялся на локте Адриан, застегивая ворот мягкой белой рубахи, обнажавшей мускулистую, выпуклую грудь.

— Только что в мои руки попали нити заговора. Смело и дерзко задумано... В одну из ближайших ночей решено сделать переворот...

— Кем и как? — спросил Адриан.

— Всей технической частью ведаёт полковник Тимо...

— А, раз Тимо, значит, это, в самом деле, серьезно... Фанатик, отчаянная голова и ненавидит меня... Тимо из тех, которые умеют мстить... Да и вообще он выкован из того самого железа, из которого ковались прежде конквистадоры, а теперь выковываются диктаторы... Жаль, что Тимо не со мной, а против меня... Дальше, Бузни, дальше!..

— Тимо с несколькимистами своих людей берет штурмом дворец, занимает Бокату, оба миноносца поддерживают его с моря огнем, высаживают десант... Ваше Величество, спасти положение могут лишь самые энергичные меры, без малейшего промедления. Всякая нерешительность будет пагубной, губельной, как для династии, так и для народа... Или они, или мы — выхода нет...

— Да, речь идет о наших головах. Я хорошо знаю Тимо. Начнем действовать, но сперва еще один вопрос... Кто эти люди?..

— Ваше Величество изволит спрашивать об идейных заговорщиках, или заговорщиках-убийцах?

— О заговорщиках-убийцах...

— Это все офицеры запаса. Приверженцы

Тимо... Пойдут за ним куда угодно...

— Мне только хотелось выяснить... Вопрос усложняется не в нашу пользу. Самую буйную чернь легко разогнать при помощи одного конвоя. Но раз это все бойцы, сделавшие войну, умеющие драться, необходимо вызвать гвардейскую бригаду, улан и гусар, вызвать броневики. Оба миноносца, — я сегодня проезжал мимо, — пришвартованы к молу. Если они еще не вышли на рейд, их захватит незаметным ударом эскадрон спешенной конницы. Это будет первый случай в истории внешних и гражданских войн. Спешенная конница, атакующая флот! Первый случай, — улыбнулся Адриан.

— Он может еще улыбаться? — сам себя спросил Бузни, хотя и вспомнивший тотчас же, как изумительно владел собой Адриан в самые тяжелые моменты войны. Шеф тайного кабинета видел его и в главной квартире, куда приезжал с докладом, видел и во время отступления армии...

И тогда таким же, как и сейчас, был Адриан, и тогда, как и сейчас, — только блеск глаз и вздрагивающие ноздри соколиного носа вы-

давали его возбуждение.

Голос повелительно, твердо звучал:

— Бузни, к телефону! Звоните в штаб кавалерийской бригады. Потребуйте от моего имени полковника Кадарро, если его нет — полковника Занно, если его нет — ротмистра ди Пинелли. Потом передайте трубку мне!.. А я пока начну одеваться...

Зорро уже тут как тут и, бормоча себе под нос что-то свое, стариковское, подает королю сапоги.

— Станция?.. Станция?.. — добивался Бузни. — Алло! Алло! Говорит шеф тайного кабинета! Алло! Алло! — повторяет Бузни уже неуверенно, тише, и краска сбегает с его лица. Он чувствует, как мгновенно пересох рот. Вместо обычного пискливого женского отклика, он услышал какие-то мужские голоса. И сразу понял: телефонная станция уже занята...

— Что там такое, Бузни, у вас? Не отвечают? — спросил король, натягивая на свои длинные, сильные ноги темно-синие гусарские бриджи.

— Ваше Величество, телефонная станция

занята бунтовщиками... — упавшим голосом отозвался Бузни.

— Так скоро?

— Очевидно, они пронюхали, что раскрыты, и поспешили предупредить нас... Мне никто не отвечал, но меня слушали, а рядом грубые, мужские голоса... Неужели? Неужели? — повторял похолодевший Бузни и видел стынувшим мозгом своим, что катастрофа надвинулась, сердцем же отказывался верить. В самом деле, какая дикая чудовищная мысль! Так спокойно и прочно текла жизнь во дворце, в Бокате, во всей стране, и вдруг в одну ночь, в ближайшие часы, быть может, минуты — все рухнет и остервенелые банды ворвутся в это до сих пор святая святых, не знавшее никогда никаких потрясений, никаких переворотов.

Адриан, уже надевший сапоги, поднял свою гордую голову:

— Если нам суждено умереть, мы умрем с честью!.. Но вот в чем весь ужас... Тимо не пощадит женщин... У нас около тридцати человек конвоя... Если мы продержимся, в кавалерийской бригаде услышат перестрелку и по-

доспеют... Позовите сюда Джунгу и Алибега, а я предупрежу королев и сестру!.. — И, застегивая на ходу венгерку, Адриан быстро покинул кабинет.

Только что хотел Бузни броситься за Джунгой, жившим во дворце, и за ротмистром Алибегом, командиром конвоя Его Величества, как они сами вбежали. Массивный широкоплечий Джунга с саблей и револьвером у пояса и маленький, худой, весь из нервов мусульманин Алибег.

И хотя оба они, — о штатском Бузни и говорить нечего, — были до крайности возбуждены, внимание всех трех отвлек на минуту Зорро. Да и не мог не отвлечь.

Он вытащил из-за пояса громадный «кольт» свой и деловито проверил барабан, все ли гнезда заряжены, а потом, не спеша, потрогал сухим пальцем отточенные лезвия обоих кинжалов...

— Пусть сунутся только, собачьи дети, — буркнул он из-под своих длинных белых усищ и остался высокий, худой, спокойно-бесстрастный. Десятки войн и сотни кровавых стычек за 78 лет научили его быть фатали-

18. ЗОРРО НАХОДИТ ВЫХОД ИЗ БЕЗВЫХОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

— Где Его Величество? — в один голос спросили Джунга и Алибег.

— Король уже знает все, — ответил Бузни. — Он пошел предупредить королев и принцессу... Что с нами будет? Что с нами будет? — хрустя пальцами, с тоской вопрошал всегда румяный, а сейчас бледный шеф тайного кабинета. — Уже не выйти, не прорваться! Мы отрезаны от всего мира, ото всех... Бедный граф Видо... Если его не арестуют сегодня ночью, завтра он проснется... нет, это ужасно, ужасно!.. Господа, вы офицеры, военные... неужели никакого спасения?..

— Довольно, — перебил Джунга, и усы двумя крысенками зашевелились над его верхней губой. — Дворец уже в мешке... Этот мешок с каждой минутой стягивается!.. Мы готовы их встретить, готовы своей жизнью спасти королевскую семью!.. Они сюда ворвутся только по нашим трупам!.. К нам никто не подоспеет на помощь... Сейчас миноносцы нач-

нут обстреливать кавалерийские казармы... Слышите?

И действительно, полуосвещенный кабинет встрепенулся от двух пушечных выстрелов. И особенно зловеще и жутко было: это свои, свои пандурские орудия били по своим же пандурским казармам. Смолкли раскаты, затихли совсем, а стекла все еще дребезжали в переплетах окон, и это было страшнее, пожалуй, чем сами выстрелы.

Новая очередь, новые раскаты и вновь длительно дребезжат стекла.

— Кавалерия отрезана!.. Последняя надежда... — пролепетал Бузни чужим, деревенеющим языком, окончательно пришибленный бомбардировкой. На него, штатского человека, она производила убийственное моральное впечатление. — Но хорошо!.. Есть же еще пехота... Почему же пехота?..

— Пехота?.. — переспросил Джунга. — Эти распропагандированные мерзавцы объявили нейтралитет и своих офицеров не выпускают из казарм... Мусульманский же гвардейский батальон...

Где-то совсем близко защелкали винтовоч-

ные выстрелы.

— Тимо уже атакует нас! — и Алибег бросился прочь из кабинета к своим людям, уже отвечавшим на выстрелы.

— Где же Его Величество? Где?.. — зарычал адъютант с искаженным лицом, потрясая громадными кулаками своими.

Бах... ба-бах-бах... палили взбесившиеся миноносцы в глубь темной звездной ночи.

— Алибег продержится час, а может, и больше... За это время... В двух километрах отсюда, в бухточке Адора стоит лейтенант Друди со своей «Лаураной». Если бы... если бы можно было добраться... через три с половиной часа Друди перебросил бы королевскую семью к берегам Трансмонтании... Проклятие, никак не выбраться из этой западни!.. Дворец окружен!.. Все выходы.

Чья-то рука цепко сжала адъютантский локоть. Лицом к лицу Джунга увидел старого гайдука Зорро.

— Есть ход под землей... Зорро знает... Кроме Зорро — никто...

— Куда?..

— К морю... как раз на Адору выходит...

— Правда, Зорро? — и, схватив гайдука за плечи, Джунга мотал его в приливе безумной радости.

А уже весь дворец, всего несколько минут назад величавый, сонный, ожил, заговорил... С криками метались охваченные паникой слуги, задевая и опрокидывая мебель...

Вошел, почти вбежал Адриан, физически бодрый, — шаги звучали твердо, но невыносимо страдающий, не за себя, нет, за трех женщин, оставшихся в глубине дворца.

— Я их обманул. Разве я мог поступить иначе? Сказал, что им не грозит... А где Алибег?

Ответом была частая, уже перешедшая в залпы ружейная трескотня.

— Мой долг — вместе с ними! — и, подбежав к дивану, — на нем он четверть часа назад перелистывал воспоминания Людендорфа, над ним висело огнестрельное оружие, — Адриан уже хотел сорвать небольшой карабин.

Джунга всем мощным телом своим вырос перед королем.

— Ваше Величество, сию же минуту, не те-

ряя ни одного мгновения — бегите...

— Бежать? Куда? Джунга, вы с ума сошли?

— Зорро знает подземный ход прямо к Адоре. Там лейтенант Друдри на «Лауране». Его преданность безгранична. Около четырех часов — и вы в Трансмонтании...

— Бежать? Мне бежать? Ни за что! Из короля-главнокомандующего превратиться в короля-дезертира? В Керенского? Джунга, снимите мой карабин!..

— Не сниму и вас не пущу...

— Что? Вы не повинуетесь мне? Я вам приказываю!..

— Ваше Величество, это безумие! Вы обязаны спасти и себя, и свою жизнь, и свою династию от злодейского покушения. Это ваш прямой долг, а не дезертирство...

— Как, вы хотите моего бесчестья? Мой Алибег и мусульмане умирают за меня, а я, как трус, буду в это время удирать потайным ходом. Ни за что!..

— Повторяю, это безумие! Подумайте об Их Величествах, о принцессе... Подумайте, что грозит им... А без вас они и с места не двинутся... Господи, время бежит... Ваше Величество,

вы меня знаете... Я ломаю подковы... Если вы сейчас же не подчинитесь мне, в первый и последний раз в жизни, я вас свяжу и понесу на руках. А этого не хотелось бы, так как в моих руках нуждается королева Памела...

Вид у Джунги был решительный, непреклонной волей звучал голос и угрожающе, ходуном ходили крысыта над верхней губой.

— Хорошо, — как-то сразу согласился король, — но я должен проститься с Алибегом, обнять его...

— Алибегу сейчас не до вас. Слышите, какой жаркий бой?... Скорей! Пусть они возьмут драгоценности. Я понесу королеву Памелу. Если бы не это, я был бы там вместе с Алибегом... Скорей же, скорей!

Король исчез. Шеф тайного кабинета повторил:

— Моя жена, моя жена.

Старый гайдук, верный принципу диких гор своих, — во всех случаях капризного бытия надо быть вооруженным до зубов, — снял со стены два карабина, в один, незаряженный, втиснул обойму и горстями сыпал патроны из сумок в необъятные карманы своих

шаровар.

Адъютант, он же и министр финансов, и казначей своего короля, бросился к письменному столу, вырвал «с мясом» боковой ящик и в маленький туалетный несессер бросал белые колонки золотых монет и пачки иностранной и пандурской валюты. Вслед за деньгами — ордена и бриллиантовые звезды. Туго набив несессер и с трудом захлопнув, Джунга ткнул его Бузни.

— Несите! У вас свободные руки...

Зорро дал Джунге карабин.

— Иду за королевой...

Когда сын в первый раз вошел в спальню матери, зажег электричество и, разбудив королеву, посвятил ее в готовящееся нападение, Маргарета, почти не волнуясь, встретила ошеломляющую новость

— Я давно готова ко всему... С тех пор, как начались войны... А тебе ничего не грозит, мой мальчик?..

— О да, разумеется! — ответил сын, избегая смотреть на мать. — Самое большее — потребуют отречения и выезда за границу. Переворот будет бескровный для нас. Одевайтесь, бе-

гу к Лилиан и Памеле...

Королева нажала звонок, проведенный в комнату Поломбы. Громкий дребезжащий треск был способен разбудить и мертвую. Но вот минута, другая, а Поломбы нет как нет. Обыкновенно же она, сорвавшись, через пять-шесть секунд одетая появлялась на первый зов своей госпожи.

Маргарета, накинув японский халат, прошла к Поломбе.

Комната горничной пуста, кровать не смята.

Где же Поломба? В десять часов вечера она была еще здесь, и, как всегда, помогала королеве в ее ночном туалете.

За долгое время — это первый случай отсутствия Поломбы, за которой не водилось никаких романов.

Неужели? Неужели? Маргарета верить не хотела, да и никаких оснований не было. Однако же невольная мысль о вероломстве Поломбы, ее обдуманном предательстве — закралась. И вполне логически шаг к шкатулке с драгоценностями. Открывая ключом массивную железную шкатулку, увидела царапи-

ны вокруг скважины. Пытались добраться до королевских бриллиантов, но безуспешно. Все цело, все на своем месте...

19. С ПОМОЩЬЮ «ПУШЕЧНОГО МЯСА»

Королева Памела и принцесса Лилиан — каждая по-своему — встретили то обжигающую, то леденящую новость.

Лилиан менее всего жила для себя и более всего для других. При первых же словах брата она не подумала, что будет с ней, а мучительно заработала мысль, что будет с Адрианом, с матерью, особенно с этой бедной Памелой? Сегодня еще лейб-акушер советовал оберегать королеву от самых малейших волнений.

И вот Адриан говорил и спешно бросал лаконические, убийственно-понятные фразы. А Лилиан слушала, не спуская глаз, этих кротко сияющих «звезд», с Памелы, затерянной под одеялом на громадной широкой постели. Вся Лилиан так и дышала тревогой за Памелу.

Но и лейб-акушер, а за ним и Лилиан ошибались. С каким-то изумительным безучастием отнеслась Памела к надвигающимся, —

они уже надвинулись, — событиям ночи. Может быть, и не слышала, забывшись той дремой, которая бывает почти наяву с открытыми глазами?

Нет... Слышала все от слова до слова. Оттуда, с возвышения, из-под тяжелых драпировок балдахина слабо, чуть-чуть доносилось:

— Чего же они медлят... скорей бы... хотя...

И больше ничего... Так же вяло и так же коротко, так же безучастно несколько веков назад встретили такие же, как и Памела, бледные, узкоплечие инфанты весть об открытии Колумбом Америки.

А когда через пять минут вновь прибежал Адриан и торопил готовиться к бегству, Памела и на этот раз проявила то, что с одинаковым успехом можно было бы назвать и крестинизмом, и поистине олимпийским величавым отношением к муравейнику брэнной человеческой жизни. Вернее, пожалуй, это было соединение одного с другим.

Памела с усилием произнесла:

— Я не дойду...

— Дорогая, ты ни о чем не думай...

Вопреки ожиданию сына, вопреки своему

собственному ожиданию, королева-мать как-то не обрадовалась перспективе бегства, а следовательно, спасения и полной свободы. Сейчас, только сейчас, впервые за долгие годы романа своего с ди Пинелли, почувствовала, что он необходим ей не только лишь как мужчина, любовник, но и как преданный человек и верный друг. Каждый день виделись они, создалась, привычка, такая властная, сильная, сильнее всего на свете — и вот разлука, такая внезапная, с таким тревожным настоящим и таким неведомым будущим. Что с ним? Вряд ли эти бандиты пощадят камергера и секретаря Ее Величества.

Всегда владевшая собой и учившая этому других, на этот раз королева изменила себе. Ее пальцы дрожали, и она долго не могла открыть тяжелую шкатулку с бриллиантами, чтобы наспех уложить их в ручной саквояж.

А грохот морских орудий и щелканье винтовок все нарастали. Врезалось еще спешное, захлебывающее таканье пулеметов. И мало-помалу прибавлялось еще и более страшное, чем пулеметы и орудия. Это — сначала неясные, как гул прибоя, а потом все нараста-

ющие, как огонь, вой и рев толпы...

Обыватель сидел в страхе, забившись у себя в четырех стенах, а чернь, та чернь, содействие которой учитывал полковник Тимо, высыпала на улицы, густо усеивая доступы ко дворцу и держась позади атакующих, вдоль решетки городского сада.

Тимо не рассчитал своих сил, уверенный, что совсем не трудно овладеть дворцом, имея отряд из пятидесяти человек. Правда, к нему стекались подкрепления, правда, уже десятки «сознательных» рабочих вливались в жиденькие цепи нападающих, но все же небольшой королевский конвой, эта горсть мусульман, предводимых Алибегом, оказалась твердым орехом, который не так-то легко разгрызть, а дворец оказался крепостью.

Алибег часть солдат расположил на крыше. Оттуда, как на ладони, была видна вся площадь вместе с городским сквером. Под прикрытием труб защитники довольно метко, насколько позволял мрак ночи, поражали нападающих.

У Тимо были уже и раненые, и убитые, и у самого была прострелена офицерская фураж-

ка, — впервые после отставки надел он свою форму.

Не желая терять отборных людей, он привлек к участию в штурме теснившуюся позади толпу.

— Товарищи, вперед, вперед! Вперед, славные, доблестные, кто желает свергнуть засевшего там со своими янычарами Адриана. Вперед!

Озверелая, опьяненная выстрелами чернь бросилась к воротам, — нижняя половина сплошь железная, верхняя — гирлянды железных цветов с просветами. Появились откуда-то бревна, и десятки рук таранили этими бревнами обе створки, осуществляя план Тимо. Пусть это «пушечное мясо» отвлечет на себя огонь противника. Пусть!

И, действительно, мусульмане били без промаха это скупившееся у ворот человеческое месиво.

Наконец усилия увенчались успехом, ворота распахнулись, задние толкали передних, и весь человеческий клубок, шумный, горланивший, хмельной и жестокий ввалился во двор, этот запертый двор, всегда пустынный, сияв-

ший чистым ровным асфальтом. Притаившийся у главного подъезда пулемет встретил незваных гостей свинцовым «веером», валяющим с ног, косящим, режущим пополам человека.

Отхлынуть, увернуться, разбежаться — поздно было. Где уж отхлынуть, когда Тимо и его друзья, как и он, такие же недовольные королем, саблями, прикладами, рукоятками револьверов гнали все вперед это «пушечное мясо».

Противников отделяла друг от друга какая-нибудь сотня шагов. Пулемет уже накопил кучи трупов, уже по твердому асфальту текла черная дымящаяся кровь, черная даже при свете молочных электрических фонарей. На смену упавшим — все новые и новые любители похозяйничать во дворце. Подлая плебейская жадность преодолела животный шкурнический страх...

А Тимо, холодный, презирующий всю эту сволочь, гнал ее на пулемет, гнал и саблей, и заманчивым обещанием:

— Смелей, товарищи, смелей! Доберитесь только, а там уже все ваше!

Пользуясь живым человеческим прикрытием, разбив свой отряд на две части, он приказал обеим этим частям атаковать с крайних флангов засевший в подъезде конвой, атаковать возможно стремительней, чтобы понести наименьшие потери и от пулеметного огня, и от стрелков, бивших сверху.

Маневр удался, и уже под портиками главного подъезда кипел рукопашный бой. Мусульмане, занимавшие позиции на крыше, не видя больше регулярного противника, бросились вниз выручать своих. Схватка достигла крайнего ожесточения. Сплетались грудь с грудью. Уже нельзя было пустить в ход прикладов, не было где и как замахнуться саблей. Нападающие колотили по головам рукоятками револьверов. Мусульмане защищались и атакывали кривыми турецкими ножами. Удары, колющие и рубящие, были ужасны. С малолетства этим оружием владевшие конвойцы одним взмахом легко отхватывали голову, отсекали щеку, а то и половину лица, распарывали весь живот снизу до самой грудной клетки. Яростные крики нападающих смешивались с гортанными возгласами му-

сульман, как смешивалась кровь и тех, и других.

Сцеплялись до того вплотную — уже и коротким оружием нельзя было действовать. Выцарапывали глаза, откусывали носы, вгрызались в горло...

Маленький Алибег, весь окровавленный, в мундире, висевшем клочьями, с затекшим багровой опухолью глазом, охрипший, иступленно работал своим кинжалом, окровавленным, как и он сам. Две силы — бешенство и безграничная преданность королю — удерживали его еще на ногах. Он уложил пятерых, а дальше, дальше уже не считая, колот и рубил в каком-то горячем, туманном экстазе.

Перед ним вырос Тимо в разорванном мундире, с полуотрубленным ухом.

— А, собака! Предатель!..

Алибег уже слабеющей рукой вонзил ему кинжал в плечо, а Тимо в упор обжег, физически обжег его голову выстрелом из револьвера. Алибег упал, и последним впечатлением были мириады огненных кругов, с горячечной быстротой завертевшихся в его гаснущих

глазах...

Сопrotивление под портиками — сломлено. Защитники — все полегли. Раненые побежденные хватали за ноги победителей и, свалив коротким хищным движением, кусали и душили...

Ворвались в обширный вестибюль. Но там с площадки мраморной лестницы мусульмане, уже последние, осыпали градом пуль, как на учебном плацу, стреляя с колена...

20. ВОРВАЛАСЬ ЧЕРНЬ...

Давно ли эта широкая лестница вся была в тепличных растениях? На площадке рыцарями средневековья стояли два кирасира в полной парадной форме. И мимо этих пальм, мимо этих неподвижных гигантов в чешуйчатых латах красивой нарядной волной плыли и плыли туда, вверх, гости Их Величеств.

Обнаженные плечи, бриллианты, яркие кавалерийские мундиры, расшитые золотом дипломаты всех стран, ленты, фраки, звезды и вслед за этой человеческой волной такая же волна тонких духов.

А сейчас — огоньки, щелканье выстрелов,

звон разбитых вдребезги стекол, зеркал, падающие куски отстреленных барельефов, окровавленные тела, проклятия, нечеловеческое рычание и пороховой кисло-приторный запах...

Эта лестница, эта площадка — последняя агонийная судорога...

Мусульмане успели разрядить по два патрона, и уже нельзя было стрелять, уже разъяренный и этой неожиданной помехой и новыми потерями человеческий клубок подкатывал снизу к площадке. И опять и свои, и чужие так переплелись, так смешались — нельзя было пустить в ход приклады. Опять кривые ножи... Опять револьверы заменяли кастеты. Опять схватывались друг с другом в последнем смертельном объятии и, вгрызаясь в лицо и в горло противника, скатывались по беломраморным ступеням...

Взяли численностью. Раздавили погибших на площадке восьмерых конвойцев и, шагая через их трупы, добывая раненых и полуживых, хлынули дальше...

И тогда только рядом с Тимо, шатающимся, растерзанным, окровавленным, появился

майор Ячин, выбритый, свежий, с аккуратно подведенными бровями, в новенькой, с иголочки, форме и с обнаженной саблей, девственно блестящей, никого не зарубившей. Ячин, не желая подвергать себя случайностям, благоразумно держался в тылу и, уже ничем не рискуя, нашел нужным вместе с полковником Тимо разделить и вкусить сладость победы... Из всего отряда только двое они бывали здесь и знали расположение дворца. Но еще лучше знали они Адриана и его характер — смелый, гордый.

— Куда он девался? Убежать не мог, а если он здесь, он встретил бы нас на площадке вместе с янычарами. Где же он? — спрашивал Ячин.

— Да, да, сам не понимаю... — слабо отвечал Тимо, только страшным напряжением воли державшийся еще на ногах. Вначале опьяненный боем, не ощущал ни потери крови, ни своих ранений, а сейчас его охватила непреодолимая слабость, кружилась голова, тошнило...

За победителями ворвалась шумная, стучащая сапогами, разнузданная многоголосая

чернь. Щелкали выключатели, электричество заливало ярким светом гостиные, белый концертный зал, тронный. В портретном зале Тимо опустился на золоченый стул под изображением короля Бальтазара. Подоспевшая со своей сумкой социалистка-фельдшерица начала перевязывать Тимо.

— Воды! Скорей воды! — потребовала она пискливым, неприятным голосом.

Несколько человек бросилось за водой. А Тимо сказал Ячину, откидываясь на спинку стула и закрывая глаза:

— Возьми людей... Отыщи Адриана... Отыщи всех... Убей его... И женщин.

— Ха, кровопийца! Наверное, забился куда-нибудь под маменькину кровать, — загоготал какой-то неведомый тип, уже почувствовавший себя хозяином в этом дворце.

— Болван, — осадил его Ячин. — Адриан не из тех, которые забиваются под кровать. — И, вложив саблю в металлические ножны и взяв револьвер, Ячин приказал кучке офицеров: «За мной!»

— Погоди... — остановил его Тимо, — сначала расставь везде патрули... пока... пока по-

дойдут с миноносцев подкрепления...

Но матросы уже валили гурьбой с винтовками и красными бантами. Камеристка Ее Величества Поломба тоже с ними и тоже с красным бантом. Ей было очень весело, она хохотала, обнажая редкие зубы, и в их широком оскале было что-то крокодилье. Недаром профессор Тунда назвал ее «крокодилкой».

— Товарищи, за мной! — приглашала матросов Поломба. — Я вас поведу к этой старой ведьме! Мы ей покажем! Мало еще надо мной измывалась. Довольно! Теперь на нашей улице праздник! Доберемся до ее шкатулочки. Полным-полнехонько бриллиантов...

«Шкатулочка» вдохновила матросов, и, все ускоряя, ускоряя шаги, они бежали за Поломбой сквозь длинные анфилады покоев.

Бежали, спотыкаясь, как на льду, на паркете тронного зала, где на возвышении под балдахинном уже развалился на троне какой-то оборванец с бутылкой.

Издали Поломба крикнула ему, сделав ручкой:

— Товарищ, наша взяла!..

Матросы попутно кололи штыками порт-

реты, картины:

— Сволочи! Все наше, трудовое!..

Еще несколько больших комнат, коридор, площадка лестницы, и вся ватага под предводительством Поломбы очутилась на частной половине королевы Маргареты.

Еще немного, и Поломба увидит бледную, дрожащую Маргарету, насладится ее испугом, расхохочется ей в лицо, униженной, беззащитной...

— Товарищи, в этой голубой гостиной она занималась пакостями со своими любовниками. Ай-ай, чего-чего я только здесь не насмотрелась! А вот ее спальня. Ну-ка, выходи, паскудница...

Но никто не выходил. Никого не было в освещенной спальне. Поломба бросилась к драгоценностям, и сразу погасла вся. Шкатулка раскрыта, и на самом дне только забытая безделица какая-то.

— Товарищи, что же это такое?.. Не может быть. Вот ведьма... вот...

Поломба не успела договорить. Ближайший матрос закатил ей оплеуху.

— Обманывать, стерва! Так ты заодно с

ней...

— Ей-Богу, нет... Ей-Богу, товарищ... Давайте искать ее, найдем и бриллианты... Давайте...

Начали искать. Кололи штыками постель, подушки, нащупывали под кроватью. Осмотрели уборную, ванную и квадратную комнату без окон.

— Вот здесь, здесь, товарищи... На этом самом диване...

Сегодня еще днем причесанная, вымытая, в строгом темном платье — это была горничная, — королева следила за ее опрятностью, — а сейчас — это уже растрепанная уличная девка, наглая, разухабистая, полная дикой, непонятной ненависти к своей поверженной благодетельнице, которая баловала ее всячески и у которой она таскала духи, тонкое белье, шелковые чулки и чего-чего только не таскала...

Убеждаясь, что нет ни Маргареты, ни драгоценностей, матросы не на шутку начали свирепеть. По взглядам, бросаемым на нее, бывшая горничная королевы почуяла, что эта буйная ватага может ее зверски избить до по-

лусмерти за свои обманутые надежды. И глупая, но хитрая животным инстинктом, Поломба поспешила рассеять скопляющиеся над ее головой грозные тучи:

— Ах, товарищи, я и забыла... Ликеры у нас — первый сорт!.. Дорогие!.. Шкапчик целый...

Расселись в голубой гостиной. Поломба выкатила на стол целую батарею бутылок и раскупоренных, и запечатанных.

Матросы, отбивая горлышко, пили прямо из бутылок и заставляли пить Поломбу.

— Пей, сволочь, сука...

Угодливо хихикая, она не заставляла повторять...

Чем больше пили матросы, тем гуще багровели их грубые скуластые лица и тяжелой мрачной злобой наливались глаза.

В несколько минут от голубой гостиной, такой изысканной, одухотворенной тонким вкусом, — ничего не осталось. Картины Ватто и портрет королевы были сорваны со стен и растоптаны. Даже рамы, и те были изломаны в щепы. Мягкую мебель пороли штыками, а когда больше нечего было портить и когда

вконец опьянили матросов и непривычный ликер, и дьявол разрушения, им захотелось женщин.

— Баб давай сюда, баб! — наступали они на Поломбу.

— Где же я возьму, товарищи? Где же я возьму? — еле ворочала она языком.

— А это видишь? — и красный, потный кулак угрожал ее красной, потной физиономии.

— Э, да чего там с ней долго канителиться! Тащи, ребята! — и несколько рук, схватив Поломбу, начали ее с таким похотливым жестоким бешенством тискать, мять, что она в истерике хохотала, визжала. Это еще больше подхлестнуло возбужденных горилл в матросской форме...

21. НОЧЬ АРЕСТОВ, НОЧЬ ТРЕВОГ И СОМНЕНИЙ

Майора Ячина с его маленьким отрядом постигло такое же разочарование, как и Помбю с ее матросами. Смятая постель королевы Памелы и Адриана в кабинете, — обе эти еще теплые постели, выдвинутые ящики письменного стола и безнадежность самых тщательных поисков, — все это говорило об исчезновении королевской семьи.

— Но ведь нет же у них шапок-невидимок и не могли же они умчаться на ковре-самолете? — недоумевал Ячин, и его слегка подрумяненное лицо омрачилось тревогой... — А что, если с помощью каких-нибудь маскарадных переодеваний им удалось выскользнуть, обратиться в кавалерийские казармы и он вернется во главе своих гусар и улан и жестоко расправится с восставшими?

Ячин высказал эти невеселые мысли одному из офицеров-сообщников.

Тот, усмехнувшись, покачал головой:

— Это невозможно...

— Почему невозможно?

— Ты гораздо больше музыкант и штатский кавалер, чем солдат. Ну, посуди сам. Допустим даже чудо... Невзирая на все наши заставы и дозоры, ему посчастливилось прорваться в казармы. Допустим... А дальше что? Попробуй-ка вывести и построить эскадрон под таким артиллерийским огнем. Но допустим и это... Допустим, что Адриан повел конную бригаду на восставшую Бокату. В наших же руках броневики. Мы так расчесали бы всю эту великолепную конницу — ничего бы не осталось. Нет, друг мой, нет! Адриан слишком неглуп и слишком понимает в военном деле, чтобы пуститься в такую плачевную для него авантюру... А, вот что скажу! — Счастье наше, что мусульманский батальон находится сейчас в трехстах пятидесяти километрах и готовится к горным маневрам. Будь он здесь, наше предприятие не удалось бы.

— А ты находишь, что оно удалось?

— Как видишь, мы победители...

— Победители? А где его труп, Адриана? Вот если бы мы его пристрелили...

— Что делать... Нельзя же требовать полной удачи во всем... Но будь спокоен, король

не иголка — найдется...

— Увидим, увидим, — усомнился Ячин, — а пока вернемся к Тимо с докладом...

Тимо, уже обмытый, перевязанный, лежал на диване с полужакрытыми глазами, морщась от физической боли в отяжелевшей голове и в плече.

Увидев Ячина, встрепенулся.

— Нашли? Прикончили?..

Ячин развел руками.

— Представь себе — исчезли!.. Всем августейшим семейством исчезли!

— Как! Что такое? Я прикажу перерыть всю Бокату! — вскочил Тимо. — Я, я... — и, не договорив, откинулся на диван в бесчувствии.

План его был выполнен в точности. Высший генералитет, министры, сановники арестованы были на своих квартирах.

Рочано не удалось арестовать.

В халате и с заряженным револьвером вышел военный министр к заговорщикам.

— Меня? Меня арестовать? Да как вы смее-те? Кто вы такие?..

— Генерал, бесполезны всякие пререкания.

Вы в нашей власти, как и весь город, как и королевский дворец... Потрудитесь следовать за нами, если не...

— Мерзавцы! Мятежники! — застрелив двух офицеров, третьей пулей Рочано размозжил себе череп.

Героически кончил старый солдат, верный своему королю.

Совсем в другом жанре, комическом, разыгрался арест маркиза Панджили. Церемониймейстер, без парика и вставных челюстей, безмятежно почивал у себя в спальне. Когда ворвались к нему заговорщики, он, с голым черепом и в полосатой пижаме, зашамкал беззубым ртом:

— Я ничего... ничего... Я лоялен... и... подчиняюсь новой власти...

— Но все-таки мы должны вас арестовать...

В этот момент в спальню мужа величественно вошла Мариула в легком кружевном капоте.

— Господа, я всегда была республиканкой... Еще в детстве... Я, маркиза Мариула Панджили, даю вам слово, что бывший церемониймейстер Высочайшего двора действи-

тельно будет лоялен по отношению к новой власти. Он слаб здоровьем и уже не первой молодости...

Апломб Мариулы имел успех.

Офицеры откланялись.

К графу Видо тоже ворвались в спальню. Потрясение было велико. Древнего годами премьер-министра мгновенно разбил паралич.

Шеф тайного кабинета избежал ареста. Да и не только ареста. Тимо приказал не выпустить его живым. Была схвачена супруга, заподозренная в содействии к бегству.

Единственный из министров не ложился и встретил неожиданных гостей, как если бы они вовсе не были для него неожиданными. Это министр путей сообщения.

— Вы арестованы, господин министр!..

— Я к вашим услугам... Исполняйте ваш революционный долг... Но сначала соблаговолите ознакомиться вот с этим... — и с хитрой улыбочкой на своем носатом левантийском лице он протянул сложенную вчетверо бумажку.

Она возымела магическое действие. Заго-

ворщики, откозыряв, удалились, а Рангья с той же улыбкой сказал им вслед:

— Я - вне политики. И в монархии, и в республике одинаково не обойтись без железно-дорожных, шоссейных, воздушных и всяких иных сообщений.

Рангья с легкостью ренегата превратился из монархиста в республиканца. Вернее, этот господин с тяжелыми, набухшими веками никогда не был ни тем, ни другим. В данном же случае переворот был ему весьма по душе из личных соображений, чуждых всякой политике.

И если в эту ночь под грохот пушек, «таканье» пулеметов и гул высыпавшей на улицу черни Его Величество Адриан перестанет жить, — левантинец так и подумал, — а, может, и «перестал» уже, — он, министр путей сообщения, почувствует себя отомщенным.

С тех пор, как он узнал про связь своей жены с королем, он возненавидел его. Если это была ревность, то, во всяком случае, совсем особенная какая-то...

Например, почтенный левантинец не только ничего не имел, чтобы Зита сделалась

любовницей Абарбанеля, но даже злился, за-
чем она «медлит»?

Там — ревность. Здесь — полное отсут-
ствие таковой. Что это значит? А вот что: он
знал, каким большим чувством любит она
Адриана. И вот именно этой самой любви от-
вергнутый муж никак не мог простить. Что
же касается Абарбанеля, к нему Зита немно-
гим разве лучше относилась, чем к мужу. И
вот на их связь Рангья смотрел бы как на вы-
годное предприятие, как на небольшой капи-
тал, дающий, однако, чудовищные проценты.

Хотя господин министр не мог пожало-
ваться. Он прямо-таки изнемогал под непре-
рывным потоком сыпавшихся на него абарба-
нелевых щедрот и благодеяний. И это теперь.
А что же будет потом, когда Зита выбьет у се-
бя из головы дурь?

Многие мучительно переживали эту ночь.
Жирный Шухтан холодным потом обливался
у себя, в своем кабинете с дребезжащими от
орудийных выстрелов окнами. А что если Ти-
мо, этот «бонапартик», окажется не на высоте
и проиграет ставку?.. — Не поздоровится то-
гда и ему, Шухтану... И адвокат, метящий в

председатели совета министров Пандурской республики, уже рисовал себе мрачное tête-à-tête [6] с Бузни, а дальше, дальше — и рисовать боялся...

В таком же, или почти в таком же, духе мучился неизвестностью и Мусманек, мучались остальные заговорщики.

Но все их тревоги подлого шкурнического характера были ничто по сравнению с тем, что переживала Зита.

Врасплох, неподготовленную, разбудила ее бомбардировка. Восстание? Революция? Никакого другого объяснения и быть не могло. Вскочив, наскоро одевшись, бросилась на половину мужа. К ее сначала изумлению, потом невольному подозрению, господин Рангья, одетый в черную визитку, не собирался спать и как-то чересчур был спокоен. Это еще тем более странно, что левантинец никогда не отличался избытком отваги. Спокойствие мужа Зита могла объяснить двояко: или Рангья посвящен во все, или и посвящать-то его было не во что, а происходят какие-нибудь ночные маневры флота с пушечной пальбой. О, как хотелось верить в последнее...

— Что все это значит? — спросила она.

— Мне столько же известно, сколько и вам, — пожал он плечами с той самой улыбочкой, с которой спустя каких-нибудь полчаса встретил явившихся его арестовать.

— Революция? — вымолвила Зита дрогнувшим голосом.

— А почему я знаю... может быть, и революция...

— Почему я знаю? И это говорите вы, — монархист, обласканный королем? Вы, так домогавшийся баронского титула? И вдруг это циничное: «Почему я знаю»! Даже от вас, слышите, от вас не ожидала!..

— Что делать, что делать... — как-то бесстыже повторял он, раскачиваясь и засунув руки в карманы.

Зиты уже не было в кабинете. Она позвала к себе горничную.

— Христа, дорогая... знаю, опасно сейчас в городе, но сделайте это для меня... Я вам никогда, никогда не забуду... Пройдите ко дворцу... спрашивайте, узнайте, смотрите... И когда узнаете все, бегите ко мне... Поняли?

— Поняла... — и, действительно, хотя и не

было произнесено имя короля, однако Христа не сомневалась, что о нем, и только о нем думает ее госпожа.

От министерства путей сообщения до королевского дворца и пятисот шагов не было. Минут через двадцать, выросших для Зиты чуть ли не в целое столетие, вернулась запыхавшаяся Христа.

В глазах ее были и ужас, и какой-то бессознательный восторг. Зита бросилась к ней, схватила за руки.

— Ах, госпожа, госпожа!.. Что делается! Я была совсем близко... И страшно, и так тянет, тянет... Офицеры с полковником Тимо берут дворец... Сколько убитых...

— Говорите же... что вы узнали?..

— А разве узнаешь? Стрельба, суматоха... Разное болтают... Люди как сумасшедшие... Ах, госпожа!..

— Христа, пойдем вместе... Я должна узнать, что с ним...

— Что вы, что вы? Да разве можно! Да вас на куски разорвут... Нет, нет, я вас никуда не пущу... Вот немного отойду только и опять побегу.

И, оставляя Зиту мучаться в смертельной тоске, дважды бегала и возвращалась Христа.

В последний раз она сообщила о взятии дворца, о том, что никого из королевской семьи не могут найти.

Зита, на коленях перед висевшим у изголовья распятием, горячо, проникновенно, как никогда, молилась о спасении своего Адриана.

Еще, уже в третий раз, побежала Христа. Отсутствие ее длилось больше часу. Вернулась на заре. Еще немного, и яркое золото первых лучей брызнет в окно.

Измученная, бледная Зита, — глаза стали громадными, — уже не могла говорить, уже беззвучно шевелились сухие губы.

Умоляющим взглядом вопрошала она Христу...

— Теперь уже все знаю... Все... Убежали морем к отцу королевы Памелы... Только-только сейчас разнеслось. В погоню послали миноносец, а только, я думаю, уже не догнать...

Тихо, медленно сомкнулись веки. Погасли громадные глаза на бледном лице. Склони-

лась к плечу золотистая головка, озаренная первыми лучами солнца, и Христа бережно подхватила свою потерявшую сознание госпожу.

22. ТРЕВОЖНЫЕ ПОЛЧАСА

Как гулко отдавались шаги под каменными сводами, казалось, бесконечного коридора.

Каждый шаг приближал беглецов... К чему? К свободе? Так ли, нет ли, но в данном случае надлежало уходить от грозящей опасности, а не дожидаться, пока она сама, как спрут, охватит клейкими щупальцами своими.

Впереди шли рядом — подземный ход был широкий, — Адриан с электрическим фонариком и гайдук Зорро.

Миниатюрный прожектор, нащупывая мрак, порождает фантастические трепетно-исполнинские тени.

Вообще все это шествие трех коронованных особ — четвертую нес на своих могучих руках адъютант — разве не было выхваченной из средних веков фантастикой? Да и вся-

кое средневековье побледнеет перед этим концом первой четверти двадцатого столетия.

Шествие замыкал шеф тайного кабинета, несший несессер с золотом, деньгами и бриллиантовыми звездами. Первые свои звезды получил Адриан еще маленьким ребенком от султана Абдул-Гамида и персидского шаха. Кому совсем недавно еще могло прийти в голову, что и эти звезды, и остальное все заботливый адъютант уложит в несессер, дабы в трудный момент, где-нибудь на чужбине превратить эти орденские ценности в деньги?

Сам Бузни, как выбежал из своей канцелярии с сотней франков, так и остался при них. Весь его капитал! Но не это угнетало его. Не давала покоя мысль о жене.

Двигались молча, словно боясь вспугнуть вековечное безмолвие этих позабытых сводов, так основательно позабытых, — во всем дворце вспомнил об их существовании один только лишь седоусый Зорро.

А сейчас опять-таки он один из всей группы думал о том, удастся ли им выйти отсюда и не явится ли двухкилометровый коридор

западней с крепко заколоченной дверью на том конце. Каждый думал свое. Только Памела, лежа с закрытыми глазами в сильных объятиях Джунги, ни о ком и ни о чем не думала. Все мысли Зорро — там, впереди... Адриан вспомнил Зиту, все очарование ее тела и ласк. Почему вспомнил в такие минуты, — разве можно сказать, почему?

Королева-мать в мыслях своих была с оставшимся ди Пинелли. Принцесса Лилиан тревожилась за судьбу своего горбатого секретаря Гарджуло. Могут расстрелять за одно лишь то, что был секретарем принцессы.

Шли, не справляясь с часами, но шли уже минут двадцать пять. Шли в замороженной тишине, и звуки шагов не только не нарушали ее, а, наоборот, подчеркивали. И могло показаться невероятным, нелепым, что наверху, над этими сводами, там, где и земля, и небо, и люди, — кипят жестокие страсти, гремят орудия, щелкают карабины.

Другой, совсем другой мир, словно тридцатое царство какое-то... И впервые за весь этот путь нарушил молчание Адриан:

— Долго еще, Зорро?

— Сейчас, сейчас...

И действительно, сноп лучей фонарика, до сих пор низавший нескончаемый глубокий мрак, уперся в небольшую дверь — не прямоугольную, а с овальной верхней частью. У всех затаилось дыхание. Эта дверь, крест-накрест перехваченная железными полосами, — эта дверь — их свобода или плен, их жизнь или смерть...

Она отпиралась не от себя, а к себе, и Зорро потянул за массивную ржавую ручку. Ни с места! Нагнулся, прищулив глаз свой, глаз горного ястреба — замочная скважина пустая. Прильнул ухом, — вместе со струей свежего воздуха рвется в этот склеп вольная жизнь, зовет к себе тысячами голосов и шелестом колеблемых дуновением ветра гигантских кактусов, и рокотом — всплеском прибоя волн, и неясным человеческим говором, и отголоском ружейной перестрелки, — пушечная затихла.

Шибко, шибко строчит пулемет... Явный признак — дворец еще не взят, еще не во-рвался в него Тимо...

Зорро хотел попытаться разбить дверь

прикладом, но остановил донесшийся говор... Что за люди? Не навлечь бы их на себя... А с другой стороны, не было никакого выбора. Позади — это уже верная гибель. Впереди же? Много шансов, что это не враги, а друзья... Друзья с «Лаураны».

Джунга приблизился к королю со своей ношей.

— Ваше Величество, подержите! — и, передав ему Памелу, сделал несколько движений затекшими, онемевшими руками. Затем оглядел хорошенько дверь и, нагнувшись, расставив ноги, зацепившись руками, начал сры-вать с петель эту последнюю преграду.

Хотя Джунга считался одним из первых силачей во всем королевстве, хотя он ломал подковы и гнул медные монеты, но сорвать эту дверь с петель являлось куда более трудным делом, чем упражнения с подковами и медяками. Здесь требовались не только страшные руки, — они должны превратиться в железные рычаги, — но и поистине самсоново напряжение всех ножных и спинных мышц.

Ничего не выходило. Джунга перецарапал

себе руки и от, увы, тщетных усилий кровью налились его мощный затылок и шея. Весь уйдя в титаническую работу, он подбадривал себя и свои мускулы каким-то глухим рычанием. Так рычали первобытные люди, подкапывая к своим пещерам обломки скал.

Пятеро человек не отрывали глаз от широкой спины и рук адъютанта.

Помочь ему никто не мог, уже хотя потому лишь, что дверь была узка. Это раз, а во-вторых, если бы взялся помогать даже Адриан, — мужчина более чем средней силы, он только мешал бы.

А там, на воле, на море — голоса, и такое впечатление, что и «Лаурана» собирается покинуть бухточку...

И сознание это нервировало пленников, нервировало до искаженных лиц, до глаз, полных мучительной невыразимой тоски... Теперь уже нечего было думать, что можно привлечь на себя врагов чрезмерным шумом. Надо сделать все, чтобы не ушли друзья, не оставили беглецов на произвол Тимо и его озверевшей черни.

— Так ничего не выйдет, — сказал Зор-

ро, — очень крепкий замок... Надо его немного подпортить.

— Чем?

Зорро, не отвечая, отстранил Джунгу, всем остальным сделал знак отойти и, приложившись, из карабина всадил три пули в замок, разворотив его.

Отдохнувший Джунга вступил в последнюю борьбу с этой проклятой дверью. Что-то заклокотало у него в горле, и затылок сделался уже не красный, а багровый в лучах фонарика, перешедшего от короля к Бузни. У всех вырвался вздох облегчения. Джунга победил, сорвав дверь, и новым движением сломал поврежденный замок.

Пахнуло струей соленого морского воздуха. Путь был открыт. Глянули прибрежные камни, глянуло черное кружево гигантских кактусов, глянуло звездное небо, глянула чудесно укрытая бухточка с потемневшей зеркальной гладью воды.

А в каких-нибудь пятидесяти метрах от беглецов «Лаурана», уже разводившая пары, готовилась к отплытию.

— Друдиди, Друдиди! — во всю мощь своих бо-

гатырских легких закричал адъютант.

Его крик слился с двумя выстрелами — тут же, в нескольких шагах. И так это было неожиданно, так молниеносно, лишь через пару секунд сообразили все, в чем дело и какой они новой опасности подвергались.

Лишь только выбрались из подземелья, шагах в двадцати вырос патруль из четырех матросов с одного из миноносцев.

Сначала их внимание было привлечено «Лаураной», — потому-то она и спешила уйти, а затем они увидели, точно выросших из-под земли, беглецов и, конечно, узнали, — трудно было не узнать, — короля в его гусарской форме.

Матросы уже хотели взять его «на мушку», но Зорро, всегда начеку, всегда настороже, всегда ко всему готовый, упал на землю и, выхватив свой кольт, уложил двух матросов. Двое других, ошеломленные этим отпором, кинулись наутек вдоль берега. И вот тогда только замечено было и понято случившееся... Но это еще не все. Старый гайдук сообразил: если выпустит их живыми, они поднимут тревогу, и тогда прощай «Лаурана», про-

щай все...

Он побежал за матросами со своим карабином, скрылся за камнями и через минуту дал о себе весточку двумя выстрелами, а еще через минуту, когда «Лаурана» уже спустила шлюпку, вернулся с трофеями — две винтовки.

23. К ЧУЖИМ БЕРЕГАМ

Бухточка Адора была постоянной базой «Лаураны». Из этого небольшого, напоминающего крохотное озеро залива совершал лейтенант Друдри свои вылазки и набеги на промысляющих оружием большевицких пиратов. Здесь, в этом тихом заливе с грудями береговых камней, сквозь которые мощно и властно пробивались зазубренные гущи мечеподобных кактусов, ночью застала «Лаурану» вспыхнувшая революция.

Лейтенант Друдри являл одно целое, неотделимое со своим маленьким экипажем. Одно тело, один дух, одни желания, мысли, одни политические верования.

Мусульмане-матросы и сами по себе были преданы королю и династии, но Друдри сумел

воспитать в них пламенных монархистов. Когда оба «истребителя» в четырех километрах от Адоры открыли мятежнический огонь, Друды, выстроив своих матросов на палубе, сказал им звучно и громко, так, что каждое чеканное слово ясно звенело сквозь пушечный огонь:

— Матросы Его Величества! Слышите вы? Это — бунт, бунт распропагандированных лестью, подкупом и лживыми обещаниями, бунт на море и на суше. Бунт против короля и против тех, кого он поставил править над своим народом. У нас, преданных Его Величеству, есть два выхода: первый — броситься на бунтовщиков и тотчас же погибнуть в неравной борьбе. Я знаю, вы все пошли бы за мною! Знаю! Но нашей гибелью мы не принесли бы никакой пользы делу, и я не могу и не смею рисковать вашими головами... Другой выход — сняться с якоря, уйти к берегам Трансмонтании и выждать, чем кончится это злодейское выступление. Будет оно подавлено — мы вернемся, дабы так же верно и честно служить Родине и Его Величеству, как до сих пор служили. Если же, не дай Бог, побе-

дит революция, мы будем терпеливо ждать лучших дней на чужбине. На первое время хватит чем жить. У нас есть руки и головы, у нас есть «Лаурана» и, наконец, у нас есть хранящийся в моей каюте ящик с большевицким золотом — наша последняя добыча... Если кто-нибудь среди вас колеблется, желает остаться, пусть он выйдет из рядов и покинет борт нашей дорогой «Лаураны», с которой мы сжились и которую полюбили всем нашим морским сердцем... Я кончил, матросы!.. Решайте же, кто уйдет со мной навстречу неизвестности в чужие края и чужие воды и кто останется на этом берегу?..

Никто не шелохнулся. Все в один голос:

— Пойдем за вами, господин лейтенант!

Ведите нас.

Восторгом светились смуглые, мужественные лица. Энтузиазмом горели глаза.

— Спасибо, друзья! Спасибо! Ничего другого я и не ожидал от вас... Теперь мы вместе спаяны крепко и на жизнь, и на смерть. Говорю «на смерть», потому что, если бегство наше обнаружат и будет погоня, мы сумеем умереть, исполняя свой долг. Да хранит Господь

Бог Его Величество и Пандурию! — воскликнул с искаженно-счастливым лицом и засверкавшими на ресницах слезами Друды.

— Да хранит Господь Бог Его Величество и Пандурию! — эхом откликнулись матросы.

Судьба «Лаураны», этой ветхой пассажирской посуды, кое-как переделанной в канонерскую лодку, была решена, как решена была судьба горсточка героев-патриотов, сроднившихся с ней. Под национальным пандурским флагом смело и гордо пойдет она в ночную неведомую даль, пойдет туда, где сходится море со звездными небесами.

Пусть они все, те остальные, забыли и присягу, и совесть, и честь, пусть на их мачтах развеваются красные тряпки... Пусть упиваются они вероломной предательской победой своей. Пусть...

Начались спешные лихорадочные приготовления к отплытию, протекавшие, однако, в образцовом, отчетливом порядке. Уже поднят был якорь, уже разведены были парьсы уже задышали металлической грудью своей машины, как где-то совсем близко защелкали выстрелы — это старый гайдук приводил в

негодность дверь подземелья — и через минуту все покрыл своим голосом Джунга:

— Друди, Друди...

Где король — там и Джунга, особенно же в такие опасные минуты. Юный лейтенант знал это хорошо и, воспрянув духом, загоревшись, увидев на берегу несколько силуэтов, бросился к шлюпке. И когда старый Зорро расправился по-своему, по-гайдучьему, с первыми двумя матросами, лейтенант Друди приближался к берегу с четырьмя гребцами, быстро гнавшими лодку.

Ни изумляться, ни спрашивать, ни даже пламенеть безумной нечеловеческой радостью не было времени. Дорога была не только каждая минута, но и секунда.

Уже взбунтовавшиеся миноносцы сделали то, с чего им следовало начинать.

Они нащупывали своими ослепительными прожекторами и всю Бокату, и предместья, и море, к великому счастью, не в том направлении, где находилась «Лаурана». О, эти страшные прожекторы, настигающие все и вся с молниеносной быстротой, быстротой света своих белых, длинных, в несколько ки-

лометров, лучей... И, как будто резвясь, играя, скользили по воде эти лучи. Не ушла бы незамеченной даже крохотная рыбачья душегубка.

«Лаурана» удаляется и удаляется...

Уже разместились в каюте капитана. Заботливый Друдди устроил у себя обеих королев и принцессу. Боровшаяся между забытьём и безразличной ко всему явью, лежала на узенькой, твердой койке Памела. На двух табуретах сидели измученные, погасшие, с отяжелевшими полузакрытыми веками Маргарета, машинально державшая на коленях драгоценный саквояж свой, и Лилиан. И мать, и дочь столько пережили, переволновались — вместе с физической усталостью ими овладела такая сонная, тягучая апатия...

Если бы грозила сейчас новая смертельная опасность, вряд ли они пошевелились бы даже...

Мужчины сгруппировались на капитанском мостике. Смотрели на Бокату, горевшую переливчатыми огоньками.

Ночью с моря Боката, живописно размещавшаяся на холмах, была особенно красива

со своим хаотическим амфитеатром и своими огнями, — синеватые, желто-белые и красноватые гигантские светлячки.

А сейчас в этой красоте было еще и какое-то недоброе, жуткое очарование. И уже совсем были зловещие моменты, когда одержимые демоном разрушения, потерявшие голову, пьяные, обезумевшие, выбрасывали миноносцы все новые и новые очереди снарядов. И вспыхивали пламенем жерла пушек, чертили на небесах огненный след свой пролетавшие снаряды, и тотчас же грохот оглушительного разрыва и дьявольский смерч огня и дыма словно вырывался из-под земли.

Адриан не мог отвести глаз. И все молчали, затихшие кругом, молчали, понимая, что творится в душе короля, и это самое творящееся больно переживали вместе с ним. Несколько часов назад он был повелителем страны, от которой удалялся с каждой секундой.

Был монархом, любимым, желанным... Была территория, почти равная Франции, была армия, была власть, настоящая власть. Были почет и блеск, блеск тысячелетней династии,

создавшей народ, создавшей воинственно-славное королевство.

И вот мятежная толпа изменников и продажных негодяев смела все... Надолго ли — это другой вопрос, однако же смела, и вчерашний король-властелин уже беглец, и вся территория его — зыбкая, — один меткий снаряд пустит ее ко дну, — по всем швам трещавшая «Лаурана». Все подданные, вся его армия, весь его флот, над которыми он еще не утратил своей власти, — пятнадцать человек экипажа.

Адриан вздохнул, отвернулся от сиявшей огоньками столицы и спросил лейтенанта Друды:

— Куда мы идем?..

— В Феррату, Ваше Величество, — кратчайшая прямая между Бокатой и Трансмонтанией.

Друды удачно выбрал первое прибежище для своей «Лаураны» с ее царственными пассажирами.

Феррата — большой приморский город и стоянка военных кораблей соседней страны.

Помолчав, король обратился уже ко всем:

— В Феррате мы отдохнем денек-другой, обзаведемся штатским платьем и выясним дальнейшее. Не думаю, чтобы нам пришлось там засидеться. Хотя король Филипп, тесть мой, несомненно, не откажет нам в гостеприимстве, но сам он связан по рукам и ногам своими социалистами. Они обрадуются случаю поднять травлю и потребуют нашего удаления из пределов Трансмонтании.

— Возможна ли такая наглость, Ваше Величество? — вырвалось у шефа тайного кабинета, не расстававшегося с несессером, два часа назад сунутым ему Джунгой.

— Милый Бузни, теперь, именно теперь настало время самой беспредельной человеческой наглости. Да, — спохватился король и уже другим тоном, — если будет погоня, я не решусь подвергнуть и обеих королев, и сестру новым моральным пыткам... — И, хотя Адриан больше ничего не прибавил, но все поняли недосказанное и, подавленные, молчали, избегая смотреть и на короля, и друг на друга.

«Лаурана» шла со скоростью, на которую только способен был ее дряхлый изношенный организм. Превышение этой выносливо-

сти могло повлечь за собой катастрофу.

Ночь уже переливалась в сизо-молочный зябкий рассвет, и на бледнеющем небе звезды становились из золотых и серебряных молочными. Уже раздвигалась все шире и шире, светлела и редела обступавшая «Лаурану» со всех сторон мгла. Уже просыпалось море, потягиваясь утренней зыбью. Проснулись и дельфины, следуя за пароходом и выбрасывая сбитое упругое лоснящееся тело свое.

Уже бледно и вяло забытые, ненужные, догорали фонари на мачтах. Уже ясно были видны бессонные, усталые, посеревшие лица мужчин. Друдри протянул свой бинокль Адриану:

— Виден берег, Ваше Величество...

Пока еще туманная смутная береговая полоса разметалась без конца-края вдоль горизонта между морем и небесами.

— Сколько еще пути?

— С небольшим час, Ваше Величество...

— А я мыслями там! — опять ко всем обратился Адриан, и задумчивой грустью звучал его голос. — Я не могу себе простить, никогда не прощу и всегда будет тревожить меня и

мою совесть образ несчастного Алибега. Он сложил за меня свою голову. Видит Бог, я не хотел этого... Ах, Джунга, зачем.

Адъютант ничего не ответил, и только свирепо зашевелились два крысенка над его верхней губой.

У Бузни уже была готова сорваться какая-то галантная утешительная фраза, но она замерла у него на губах, да и все кругом на мгновение замерло...

Друди всем своим существом ушел в бинокль, но уже не по направлению берегов Трансмонтании, а туда, где скрылась давным-давно родная, своя Пандурия.

— Нас преследует «Бальтазар». Если мы не успеем войти в трансмонтанскую зону, мы погибли!.. Они нас пустят ко дну...

Адриан выхватил у него бинокль. Друди бросился вниз в машинное отделение. Старушка «Лаурана» заскрипела, закричала и, собрав последние силы, еще ускорила и без того максимальный для себя ход.

Да, это был «Бальтазар» — быстрейший из двух миноносцев. Адриан, как и Друди, узнал его по глубокой посадке, узнал по силуэту.

Сближение шло с быстротой, на воде мало ощутимой, в действительности же убийственной для бедной «Лаураны».

Не прошло и двух-трех минут, король уже различал в бинокль среди ясного утра целые оргии красных тряпок, покрывавших и всю палубу, и все снасти «Бальтазара». А еще через две-три минуты донесся грохот, сверкнуло коротким огнем одно из орудий, над головами пронесся с противным металлическим визгом снаряд, и в полутысяче шагов впереди «Лаураны» с новым грохотом высоко взметнуло из моря фонтан вспененных волн и густого-густого дыма...

24. ПРИЗРАК ДИКТАТУРЫ

Тимо очнулся...

Сначала, в первый момент, не сообразил, где он и что все это значит. Он так сжился со своей меблированной комнатой, а здесь, с этих стен, глядят на него величавые портреты. С потолка смотрит плафон, перевитый гирляндами лепных золоченых барельефов.

Вырос щеголеватый, высокий, нарумяненный Ячин.

— Ну, что? — привскочил Тимо, забывший и свой обморок, и свои ранения.

— Как сквозь землю! И не только он, а и мать, и жена!.. все!..

Ячин хотел еще что-то прибавить, но был страшен Тимо. И это впечатление усугублялось еще забинтованной головой. Это не был гнев. Это было бешенство.

— Если он исчез, если он избежал нашей мести... Даю тебе слово, слово Тимо, — я застрелюсь!..

— Не говори глупостей... Ты потерял много крови... у тебя повышена температура...

Тимо подошел к нему вплотную. Черты его

исказились, и он как-то шипяще бросил прямо в чисто выбритое, с подведенными глазами лицо Ячина:

— Молчи!.. Ты ничего не понимаешь!..

А не понимал «музыкальный майор», да и не мог понять творившегося в сердце Тимо. Злоба эта и бешенство, захлестнувшие Тимо, были не столько против Адриана, сколько против самого же себя. Случилось то, чего он никак не предвидел. Адриан скрылся и объявится где-нибудь уже недосягаемый, неуязвимый. Неужели стоило затевать всю эту резню, весь этот ужас? Для кого и для чего? Чтобы пустить к власти Абарбанелей, Мусманеков, Шухтанов? Да будь они трижды прокляты! Он, Тимо, ненавидит Адриана, ненавидит, но, по крайней мере, уважает и как монарха, и как солдата, а этих господ и не уважает, и презирает.

Вот что огненным вихрем пронеслось в его отяжелевшей голове. Но что сделано — сделано, кровь пролита... много крови! Павших уже не воскресишь, зверь выпущен из клетки. Он здесь, близко, он кругом — этот зверь... Гогочет, рычит, упивается королевским ви-

ном и возможностью невозбранно бесчинствовать, грабить.

Ячин знал своего друга Тимо. В такие моменты необходимо нажать какой-то клапан и, подобно пару, выпустить излишек того, что клокочет внутри.

— Слышишь, Тимо? Ворвалась чернь... Со всем то же самое, что было в Петрограде в Зимнем дворце...

— Что? Я им покажу Зимний дворец! За мной! — и, выхватив свою с густо запекшейся кровью саблю, Тимо бросился разгонять врывающуюся улицу.

— Вон отсюда, негодяи, канальи! Вон, сволочь! — и, не глядя, он бил плашмя по головам, по рукам, по спинам, по чем попало, бил, не разбирая, всех-и агитирующих «интеллигентов», и каких-то темных прохвостов, «загримированных» рабочими, и визжащих баб, и матросов, обвешанных красными бантами, пулеметными лентами и ручными гранатами.

Он — один. Ячин благоразумно держался поодаль, — а их десятки, сотни, — здоровенных, опьяневших, обнаглевших, разнуздан-

ных... Они, особенно матросы, щелкали зубами и, огрызаясь, хватались за револьверы. Но никто на смел не только броситься на Тимо, а даже послушаться. Так тигр, одним взмахом лапы могущий превратить своего укротителя в бесформенные клочья мяса, боится его и, пятясь к железным прутьям клетки, спружинивается для гигантского прыжка... А в конце концов, подгоняемый хлыстом, прыгает сквозь цветной обруч.

Войдя во вкус производимой им дезинфекции, играя с огнем, бессознательно упиваясь сладким ядом власти над этим двуногим зверем, Тимо подвигался все дальше и дальше, очищая один за другим и тронный зал, и концертный, и анфилады гостиных. Но чернь успела уже везде и повсюду напакостить. Разорванные картины, обломки мраморных бюстов, срезанные драпировки, залитая вином и еще чем-то мягкая, гобеленами обитая мебель.

Какой-то запыхавшийся черноглазый молодой человек, уже с красным бантом, уже с красной повязкой на рукаве бархатной куртки, уже самозванный углубитель революции,

нагнал Тимо:

— Товарищ полковник, уже все собрались!.. Ждут вас...

— Где собрались? Кто ждет?..

— Скорей, товарищ! Я приехал за вами...

Нас ждет машина...

— Да вы сначала отвечайте на мой вопрос, черт вас дери совсем! — прикрикнул Тимо.

— Виноват, сами знаете, — спешка... Там, у Абарбанеля... Уже собрались... Мусманек, Шухтан, Ганди, Савинков... Признавший революцию министр Рангья... и еще... Скорей же, товарищ!..

— Пусть подождут! Видите, я очищаю дворец от хулиганья... А вы... не теряйте меня из виду.

— Товарищ, это совсем невозможно... И затем — такие меры... Вы вооружаете против себя демократию...

— Еще одно слово, и я прикажу вас арестовать...

«Углубитель революции» понял, что с этим «солдафоном» шутки плохи, сократился и с выдвинутой улыбкой поджал хвост.

Вершители судеб пандурской демократи-

ческой республики только тогда отважились собраться у Абарбанеля, в его роскошном особняке, оберегаемом офицерским патрулем, когда выяснилась победа по всему фронту.

Когда было известно уже, что дворец захвачен, хотя и ценой больших потерь, когда выяснилось, что весь город уже в руках восстановших, а на всякий случай к кавалерийским казармам, и без того терроризированным огнем морских пушек, двинуты броневые машины и артиллерия...

Только тогда, узнав самую последнюю новость, что жандармерия и полиция разоружены, пришли в себя и Шухтан, и Мусманек, и Ганди, и холодный липкий страх, такой подлой животной дрожью колотивший этих трусов, стал понемногу улетучиваться.

Собрались в готическом, разделенном на две половины острой готической же аркой, кабинете Абарбанеля. Кроме хозяина, Шухтана, Мусманека и Ганди, был еще министр путей сообщения барон Рангья, был Савинков, бледный, важный, почти священнодействующий, со своим волчьим лбом. Он выглядел как-ким-то колониальным охотником.

Английский, ловко сидящий китель, к этой ночи специально сшитый. Два ремня крест-накрест на груди, ремень вокруг пояса, и на нем — тяжелый маузер. Защитные галифе, желтые кожаные гетры, желтые ботинки. Едва Савинков успел войти, кабинет наполнился запахом аткинсоновского «Шипра».

В эту ночь Савинков успел проявить большую активность. Что-то делал, кого-то арестовывал, куда-то ездил, кого-то расстреливал. Он хотя и молчал, дымя сигарой, предложенной Абарбанелем, но всем своим надменно холодным видом говорил: «Все вы здесь — жалкие, мокрые курицы! Забившись по своим щелям, выжидали. А я, старый бомбист и революционер, не прятался, не выжидал, а действовал, и, если бы не я, еще неизвестно, какой бы все это приняло оборот...»

«Историческое» совещание, — оно должно войти в историю, — не клеилось как-то. Все еще не могли прийти в себя, и даже дон Исаак, менее всех скомпрометированный и более всех бронированный. Шухтан, Мусманек и Ганди пытались говорить, но ничего не выходило.

Им чудился мерный конский топот, чудился Адриан во главе своих лихих-эскадронов, и слова застревали в горле, а зубы предательски выбивали дробь... Министр путей сообщения сопел из-под крашенных усов и вытирал покрывшееся испариной лицо

— Мы подождем главного виновника... торжества, — хотел сказать Абарбанель и поправился, — событий...

И все обрадовались этому предлогу помолчать еще каких-нибудь четверть часа, и все, кроме Савинкова, поспешили отозваться:

— Да, да, конечно...

И потянулись неприятные, неловкие минуты в готическом кабинете. Выстрелов почти уже не было, но все же за этими узкими стрельчатыми окнами в свинцовой пайке с цветными пажами и принцессами притаилось что-то взвинчивающее нервы, необъяснимое, жуткое. Еще не было времени осмыслить умом и понять свершившееся...

И чем больше цеплялись одна за другую медленно ползущие минуты, тем больше дон Исаак внешним возмущением маскировал внутренний страх свой:

— Что же это Тимо не едет? Это безобразие прямо! Раз я послал за ним...

Наконец, когда всем наскучило ждать, молчать и рассматривать гигантские, как алтари, восьмисотлетние резные шкафы черного дуба с тысячами фигур животных, людей и птиц, вошел солдатской тяжелой поступью Тимо.

В этот кабинет, с глушащими шаги бесценными коврами, вошел он, высокий, худой, с забинтованной головой, с перевязанным плечом, в разорванном мундире; в эту атмосферу миллионов и безмятежной размеренной роскоши внес он вместе с собой только что отгоревший кровавый кошмар схваток грудь с грудью, выстрелов в упор, сабельных ударов, последних проклятий...

И, никому не кланяясь, он опустился в кресло в обычной для него, неудобной для других и удобной для себя позе. А свою саблю положил поперек на колени, держа ее обеими руками, и — так и застыл.

Он был похож на конквистадора, завоевавшего с горстью таких же, как и сам, авантюристов неведомую страну. И вот, вернувшись,

он положил ее к ногам правительства... Но пусть это правительство не забывает, что он, конквистадор, знает хорошо цену и себе самому, и своим авантюристам, и своему тяжело-мечу, который он держит на виду, крепко держит обеими руками...

И все сразу поняли, что перед ними в этом кресле с высокой спинкой — диктатор. Поняли, что приказывать и говорить будет он, а они будут исполнять и слушаться...

Но еще не успел Тимо собрать мысли, как за дверями кабинета послышалась какая-то возня. Кто-то кого-то не пускал, кто-то хотел прорваться. Все переглядывались в испуге, все, за исключением Тимо, окаменевшего в позе конквистадора, и Савинкова, выхватившего свой маузер.

Распахнулись массивные дубовые двери, и вошли два матроса, — один вооруженный, другой весь в крови и в наспех сделанных перевязках.

— Они все бежали на «Лауране»... Все... Товарищ видел... Зорро его подстрелил... и он дополз... и все рассказал...

25. ТО, ЧЕГО НИКАК НЕ ОЖИДАЛИ

А там опять вспыхнуло огоньком орудие, но уже не так явственно донесся противный металлический визг. На этот раз не перелет, а недолет, и тоже, примерно в полутысяче шагов от «Лаураны», мощно взметнулся фонтан воды, пены и густых клубов дыма.

Все чаще и чаще... Миноносец бил из нескольких орудий, бил, к счастью, прескверно, и напрягавшая последние силы «Лаурана» бежала, будучи как бы центром широкого кольца разрывов. Боже, сохрани и помилуй, если это кольцо начнет смыкаться... Лейтенант и король в один голос решили:

— Да они все там пьяны...

И действительно, другого объяснения быть не могло. Слишком уж беспорядочен и не меток был огонь «Бальтазара». Угадывалось отсутствие офицеров-артиллеристов. Да и откуда же им взяться, если все они сидели под арестом, согнанные в одну каюту, и хозяином положения была остервеневшая, пьяная от успеха и от вина матросня...

А далеко, где-то на линии встречи морской

глади с небесами, всплыл оранжевый диск таких больших размеров — получалось впечатление театральной декорации, а не настоящего солнца. Не было еще ослепительного сверкания. Был ровный, четко и ясно отмеченный круг, словно вырезанный из цветной бумаги.

Уже больше, чем наполовину, плыл этот круг над водой и, зажегши морскую зыбь косяком, длинным снопом оранжевых лучей, следил за обстрелом изнемогающей «Лаураны». И при свете солнца еще фантастичнее были разрывы, нежно окрашиваемые и в золото, и в жемчуг, в опал и перламутр.

Но тем, кто был на «Лауране», тем было не до эстетики. Все заметней и заметней сближение... Преследователям уже незачем тратить снаряды. Зачем, когда «Бальтазар» через несколько минут настигнет «Лаурану» в виду берегов Трансмонтании, уже из призрачных ставших реальными, настигнет и...

— И что произойдет потом? — высказал Друдри. — Они возьмут нас в плен или, по крайней мере, то, что было нами, — наши трупы. Но мы дорого продадим себя. У нас есть «гочкис» и два пулемета...

Дерзкая мысль, мысль, внушенная безнадежностью положения, безумием, отчаянием, осенила Друди. Он рискнет, рискнет всем и всеми, благо все кругом — сплошной риск, сплошная обреченность...

Когда нет выбора и нет даже традиционной «соломинки», которая полагается каждому утопающему, почему же, в самом деле, не попытаться счастья?

Словом, лейтенант Друди, этот Давид со своей «Лаураной», вздумал вступить в единоборство с Голиафом — «Бальтазаром». Сблизившись на полкилометра, он прямой наводкой, одним выстрелом из своего «гочкиса» попробует пустить миноносец ко дну.

Это было уже почти у самой Ферраты. Уже революционный миноносец, вопреки всякому международному праву, нахально ворвался в чужие воды. В морском штабе Ферраты уже слышна была пальба на море, уже в бинокль замечен был «Бальтазар», осыпающий снарядами какое-то жалкое суденышко. Уже по телефону дан был приказ двум миноносцам выйти для энергичной разведки, не исключавшей и захвата чужеземного «истреби-

теля», осмелившегося без предупреждения и с боем ворваться в пределы — это уже ее пределы — Трансмонтании.

Вслед за миноносцами бросилось несколько моторных лодок, подгоняемых любопытством. Корреспонденты, большевики, люди, тесно связанные с биржей, и просто те, кто имел моторную лодку и был разбужен бомбардировкой, — каждый по-своему спешил навстречу сильным ощущениям.

Но пока задвигался, засуетился и замелькал рейд красавицы Ферраты, пока сама «красавица», словно сбросив одежды свои, в лучах солнца, нагая, разметалась рощами своими, храмами, тонкой кружевной готикой, старинными дворцами, кипарисовыми кладбищами, «Бальтазар» и «Лаурана» уже почти сблизилась на ту дистанцию, какая нужна была лейтенанту Друды.

Простым глазом отлично был виден взбунтовавшийся миноносец, весь в красных тряпках и с толпой матросов. Доносился их ликующий рев... Они уже прекратили огонь... Зачем огонь, когда сейчас же, сейчас возьмут они живьем всех беглецов-пассажиров и свя-

занных, оскорбляемых, с триумфом доставят в революционную столицу...

В это мгновение сам лейтенант наводил свою «игрушку», сам же и дернул шнурок. Снаряд попал в середину миноносца, в подводную часть. Разрыв с грохотом, пламенем и треском — не оставлял никаких сомнений... Друдди тотчас же бросился к пулемету и начал засыпать свинцовым дождем человеческое стадо, панически заметавшееся на маленькой, узкой палубе.

Радостный, ликующий гул сменился воплями отчаяния.

А когда подоспели трансмонтанские миноносцы и моторные лодки, все было кончено. Им досталось одно — вылавливать раненых и здоровых матросов, смытых волной с «Бальтазара». Сам же «Бальтазар» шел ко дну, и только трубы его поднимались еще над поверхностью моря.

Офицеры обоих миноносцев, узнав короля Пандурии, не покидавшего капитанского мостика и такого заметного в своей гусарской форм, отдали ему надлежащие почести.

Через полчаса все вместе, целой малень-

кой флотилией вошли в порт. «Лаурана» и так стремительно разыгравшиеся вокруг нее события были первой весточкой для Европы и для всего света о революции в Пандурии. Все средства извещения были тотчас же использованы. Телеграф, морской кабель, телефон, радио. Стаей птиц вылетали по всем направлениям эскадрильи почтовых аэропланов. И раньше всех правительств, монархов, президентов узнала о перевороте мировая биржа, узнали международные банки. Биржа и банки, — именно то, что фактически властвует на земле.

Потрясающая сенсация облетела Феррату, и не успела «Лаурана» пришвартоваться к гранитному молу, вся набережная уже кишела тысячной толпой. Полицейские и жандармы с трудом прокладывали в этой человеческой гуще путь для беглецов, стиснутых двумя живыми стенками. Давили друг друга, чтобы увидеть, как рослый, плечистый офицер несет больную королеву Пандурии, бывшую трансмонтанскую принцессу, увидеть Адриана в черном плаще, — этот морской плац лейтенанта король накиннул на себя, чтобы

меньше бросалась в глаза его яркая форма.

Глядя перед собой, никого не замечая, с надменно застывшим лицом шла Маргарета.

Не было оваций, приветствий. На лучший конец, было оскорбительное, праздное любопытство зевак, на худший же — крики:

— Поделом этим убийцам, тиранам! То же самое и со своими сделаем!..

Так встречали местные и советские коммунисты сверженную династию Пандурии, только что вступившую на трансмонтанскую землю. Жандармы, в высоких киверах, оттесняли карабинами слишком назойливых из этой горланящей потной, покрасневшейся черни.

Бледный, стиснув зубы, двигался Адриан под перекрестным огнем подлых выкриков и глумлений.

Слава Богу, путь был очень, очень короток. Сотня шагов всего какая-нибудь до отеля «Мажестик», высившегося у самой набережной эффектной громадой своих шести этажей.

26. ДВА КОРОЛЯ

Лириан почти никогда не пользовалась преимуществами высокого положения своего или, — это, вернее, пожалуй, — не замечала его.

Вот и теперь, очутившись в номере гостиницы вместе с Памелой, она ушла целиком в одно: как бы под впечатлением всех потрясений, буквально с кинематографической быстротой промелькнувших, Памела не разрешилась несчастными, преждевременными родами.

Совсем другое — мать и брат. И хотя оба они были такие доступные, благородно-простые, однако и власть, и почет, и блеск, окружавшие их до сих пор, — все это было для них родной стихией, было тем воздухом, которым они дышали. И в одну ночь, опять-таки с кинематографической быстротой, — нет ни власти, ни всего тесно переплетенного с ней. Даже нет клочка своей территории, а вместо дворца, тысячелетнего гнезда Ираклидов, — номер «Мажестика», быть может, вчера очищенный каким-нибудь спекулянтом.

Оставшись одна у себя, Маргарета дала волю слезам, что вообще допускалось этой сильной, твердой женщиной в исключительных случаях. В самом деле, ничто так не портит женскую красоту и свежесть, как слезы. А мы знаем, до чего заботилась королева-мать о своей красоте и неувядаемой свежести... Она чувствовала себя такой разбитой, подавленной, такой измученной и физически, и морально. Другая на ее месте, свалившись, уснула бы тем-мертвым, тяжелым сном, который почему-то называют «свинцовым».

Но Маргарета, позвонив опрятную, в белом чепце горничную и проведя параллель между ней и вероломной Поломбой, — к невыгоде Поломбы, — заказала едва-едва теплую ванну. Культ тела — прежде всего! С освеженным, чисто вымытым телом легче как-то переносятся все невзгоды жизни.

В силу таких же соображений взял Адриан холодный душ и, выхватив у Зорро мохнатое полотенце, растер им докрасна мускулистое тело свое. Живее переливалась кровь, бодрее забегали мысли.

Он говорил своему адъютанту и Бузни:

— После такой милой встречи... Что будет дальше? Какая травля начнется! Я останусь здесь ровно столько, сколько необходимо портному, чтобы в спешном порядке одеть нас всех с ног до головы.

— Как, Ваше Величество не желает быть гостем королевской четы?! — удивился Бузни. — Вы можете таким образом их смертельно обидеть...

— Да?.. А мне кажется, я их гораздо чувствительнее обижу, оставшись их гостем. Да и не только их, а и себя... Безработный король, живущий во дворце у своих тестя и тещи, — это самая худшая, самая унижительная разновидность приживальщика. Ну, а затем, милейший Бузни, вы сами успели убедиться, чем здесь пахнет. Во-первых, я не желаю, чтобы коммунисты требовали моего удаления, а во-вторых, не желаю вторично попасть в переделку. Довольно. Довольно с меня Бокаты...

— А я думал как раз наоборот, Ваше Величество... Что вам надлежит находиться поближе к Бокате.

— Забудьте об этом! Это — затяжное... Так, академически, даже очень красиво... Прохо-

дит месяц... Народ и войска свергают узурпаторов, и под звон колоколов, на белом коне въезжает король в столицу... Нет, уж если выждать, так лучше в Париже, где мне не будут устраивать кошачьих концертов... А пока вот что, Джунга, давайте нам скорей лучшего портного. Пусть возьмет втридорога, зато через двадцать четыре часа мы будем экипированы.

Хотя Феррата не была столицей, но это был самый многолюдный, самый большой, самый богатый город во всей Трансмонтании. Находящаяся же в часе езды столица имела вдвое меньшее число жителей и казалась гораздо провинциальнее, чем пышная, клокочущая жизнью Феррата.

Извещенные по телефону, приехали в автомобиле король Филипп и королева Элеонора. Сначала они прошли к Памеле. Мать осталась у дочери, а отец очутился по соседству с глазу на глаз с Адрианом.

Филипп, высокий, худой, с маленькой головкой, был «штатский» монарх. Он почти не носил военной формы, да она и не шла к его длинной узкоплечей фигуре. В пиджаке ему

было гораздо лучше, чем в мундире.

Он пытался шутить:

— Нет, положительно, наше ремесло с каждым днем становится... становится, как бы тебе сказать...

Шутка не удалась. Жалостливо, беспомощно улыбался Филипп. В том, что случилось в Бокате, он видел зловещее для себя предостережение: «Сегодня ты, а завтра я...»

Адриан молчал. Да и что мог ответить он, только что на себе самом испытывший все превратности и капризные случайности «королевского ремесла»?

— Однако же вам здесь неудобно в этой... гостинице, — продолжал тесть. — Не бесприютные вы какие-нибудь... Мой дворец — ваш дворец... Как-нибудь потеснимся... — опять пошутил трансмонтанский король, этой шуткой маскируя тайную досадную мысль, что свергнутая династия будет для него обузой и в смысле расходов и, главным образом, в политическом отношении. Левые начнут всех собак вешать...

Он осторожно полюбопытствовал:

— А как же материальная сторона? Есть у

тебя что-нибудь в заграничных банках?.. Успели вы захватить с собой ценности?..

— В европейских банках ничего нет лично у меня, — пожал плечами Адриан, — мой адъютант захватил какие-то пустяки, — он указал на лежавший на столе несессер. — Что же касается мама, ей посчастливилось спасти свои бриллианты.

— Все это очень хорошо, но ведь этого не хватит надолго...

— Не будем думать о завтрашнем дне. Будем жить сегодняшним, — ответил Адриан. — Теперь все так хрупко, изменчиво...

— Да, да, конечно, — поспешил согласиться трансмонтанский король. — А вот что самое главное: твоя сестра сказала мельком в двух словах... Это же прямо чудесное спасение. Двойное! И там, и здесь, на море... Пустить ко дну миноносец одним выстрелом какого-то жалкого «гочкиса». Нет, воля твоя, Адриан, тебе повезло. Всем вам повезло... Но этот юный лейтенант! Совсем мальчик, и уже такой герой! Знаешь, я охотно взял бы его к себе на службу... Я произведу его в следующий чин и... как ты думаешь?.. Такие люди в

наше время не имеют цены... Их так мало, — честных, доблестных, решительных... Как ты думаешь?..

— Я думаю, что это невозможно. Друдиди очутился в таком положении... Самое лучшее для него — на время исчезнуть совсем. Ты понимаешь, сколько ненависти обрушится на него?.. И за то, что он спас меня, и за то, что пустил на дно моря целую шайку пьяных мятежников... Если бы ты даже взял к себе Друдиди, социалисты немедленно потребовали бы его удаления. И, наконец, поскольку я его знаю, он не кондотьер и шпагой своей вряд ли будет....

Шум снизу, с набережной, привлек внимание обоих королей. Они подошли к окну. Со второго этажа им было видно все.

Толпа в несколько сот человек, всё время, как лавина, увеличиваясь, над волной своих голов несла матросов с «Бальтазара», выловленных трансмонтанскими моряками. Махая флажками, еще мокрые после холодной ванны, протрезвившей их, матросы горланили что-то. И сквозь беспорядочное сумбурное «что-то» можно было расслышать:

— Смерть Адриану! Смерть коронованным убийцам!..

Адриан и Филипп переглянулись.

— Видишь, как сразу обнаглела здесь чернь после переворота в моей стране... А ты еще предлагаешь мне свое гостеприимство... Сначала у меня было желание уехать вместе с мамой, а Памелу и Лилиан оставить у вас. Но теперь об этом не может быть и речи. Я их возьму с собой...

Высокий, худой, узкоплечий король, такой слабый и немощный в своем королевстве, молча поник головой. Адриан тихо сказал:

— Тебя может спасти какой-нибудь свой собственный трансмонтанский Муссолини... Или ты погибнешь... Вы все погибнете... — и, вспомнив Памелу, такую же узкоплечую, слабую, как и отец, он мысленно добавил: «Погибнете, потому что выродились, утратив умение властвовать, и она, эта непостижимая таинственная власть, уже выскользнула из ваших дряблых рук. Вы — обреченные»...

А с улицы сквозь гул врывалось отдельными выкриками:

— Долой Адриана!.. Долой... Вон!..

Буржуазия, трусливая, с заячьей, робкой душой сидела по домам, либо из кофеен и ресторанов смотрела на все эти бесчинства обнаглевших подонков.

А если бы она вышла на улицу одной своей компактной «массой», она смела бы, развеяла бы демонстрацию черни.

27. ДВОЕ МОНАРХИСТОВ, УБЕЖДЕННЫХ И БЕСКОРЫСТНЫХ

Была даже попытка проникнуть в отель «Мажестик». И проникли бы, пожалуй, если бы не четыре вооруженных матроса с «Лаураны». Их поставил Друды у подъезда отеля. Решительный вид этих сильных, отважных мусульман, — штыками встретят малейшее посягательство, — весьма и весьма отпугивал толпу, и она с бранью обходила подъезд.

А во втором этаже у дверей королевского номера стоял Зорро, цепкий и хищный, готовый открыть самый убийственный огонь из своего арсенала — два кольца и карабин — по какой угодно коммунистической банде, если бы она посмела ворваться...

Демонстранты, неся на плечах пандурских

товарищей-матросов, отхлынули к центру, и лишь тогда королевская чета уехала на своей машине в столицу, уехала кружным путем, чтобы не пересекать города и не подвергаться оскорблениям...

Едва печальный, готовый расплакаться Филипп покинул своего зятя, Зорро доложил о лейтенанте Друдии.

— Ваше Величество, так и чешутся руки... Я с горстью своих людей разогнал бы все это красное отребье и навел бы порядок... А сотни полицейских и жандармов, соблюдая «нейтралитет», попустительствуют безобразию. Мои четыре молодца там, внизу, производят ошеломляющее впечатление... Весь этот сброд чувствует, что с ними шутки плохи... Нет, здесь все гниет... Подальше отсюда...

— Что вы намерены делать с собой, Друдии? Я ваш должник, вечный должник... Удастся ли мне когда-нибудь...

— О, Ваше Величество, вы меня страшно конфузите! — вспыхнул Друдии. — Я ничего такого не сделал. Я исполнил свой долг. На моем месте любой верноподданный...

Адриан пристально взглянул на него, по-

ложив ему на плечо руку.

— Будь у меня в минувшую ночь в Бокате с ее полумиллионным населением тысяча таких верноподданных, как вы, я не сидел бы здесь, в отеле «Мажестик», в ожидании штатского портного. Да, так что вы намерены делать? Поедем в Париж, будете состоять при мне...

— Состоять при Вашем Величестве?! Эта высокая честь — предмет моих юношеских дум и грез...

— Но... Я чувствую, Друди, за этим скрывается какое-то «но»...

— Так точно, Ваше Величество. У меня содался план кое-каких действий... И хотя это глубокая тайна, разумеется, у меня от Вашего Величества не может быть никаких тайн...

— В чем же дело?..

— Как все моряки, — я суеверен и потому... — смутившись, подыскивал слова Друди.

— Ради Бога... Я вам верю и ни о чем не спрашиваю...

— Верьте мне! — горячо подхватил Друди. — Скажу одно Вашему Величеству: там, — он подчеркнул это слово «там», — я буду го-

раздо полезнее и моему королю, и моей родине, чем находясь в Париже.

— Вам нужны деньги?..

— Мне лично — нет, — поспешил оговориться Друди, — но для задуманного мной дела, пожалуй, не хватит сбережений «Лаураны»...

— Каких сбережений?..

— За несколько часов до мятежа я захватил парусник с большевицкой литературой и ящичком золота. Гнусная литература была брошена в море, а золото — наше сбережение.

— Друди, вы опоздали родиться этак... этак лет на четыреста...

— Вашему Величеству угодно сказать, что из меня был бы отменный морской пират? Очень может быть. Дальние предки мои были именно таковыми. Один из них, Пиппо Друди, в XVI веке был грозой обеих Сицилии... Купеческие корабли... Но об этом как-нибудь при случае...

— Сейчас вернется Джунга. Вы ему назовите необходимую вам... Да вот и он сам... Оставайтесь, Друди, мы и вас оденем в штатское... — хотел Адриан улыбнуться, но груст-

ная вышла эта улыбка. Снять форму не по своей воле, не для того, чтобы в любой момент надеть ее, а снять вынужденно и, кто знает, быть может, навсегда, — какая это, в сущности, драма для офицера вообще, и в особенности для монарха, уже в самом раннем детстве носившего мундир и чтившего его, как святыню, как нечто неотъемлемое, как частицу своей власти, своего могущества, своих верховных привилегий, частицу самого себя, частицу Божьей благодати, осенявшей династию...

Джунга вошел с портным, внушительным господином южного типа с бородой-лопаточкой. Он был на седьмом небе от выпавшего ему счастья. Он прямо священнодействовал, снимая с Адриана мерку и записывая количество сантиметров.

— Итак, Ваше Величество, две пиджачные пары, два пальто — летнее и демисезонное, жакет, смокинг, фрак... Да, еще спортивный костюм для верховой езды...

— Что вы! Что вы! Довольно и половины! Я в Париже оденусь, как следует.

— В Париже? Смею Ваше Величество уве-

рить, что я, Антонио Санца, не ударю лицом в грязь перед лучшим парижским портным...

— Как хотите... Но успеете ли вы сделать все это?

— Успею, Ваше Величество! — пламенно подхватил Санца. — Я мобилизую всех моих рабочих, не лягу спать и под моим наблюдением...

— Имейте в виду, — не только я. Вы оденете еще и полковника, и лейтенанта, и господина Бузни. Его сейчас нет, он сам к вам заглянет...

— Не извольте беспокоиться, Ваше Величество... Всех оденем в тридцать шесть часов! Уже через четыре часа я буду с примеркой пиджачного костюма Вашего Величества, а еще через шесть часов костюм будет готов...

— Феноменальная быстрота, можно разве с такой скоростью шить?..

— Для поставщика Его Величества короля Пандурии нет ничего невозможного! — еще пламеннее воскликнул Антонио Санца. — Ваше Величество, разрешите мне украсить мою вывеску званием «Поставщика». Клянусь, я этого жажду не из коммерческих соображе-

ний... Я очень богат, у меня восемь домов... Я работаю лишь на избранную клиентуру... Но это будет для меня такое счастье, такое счастье!..

— Милый мой, — мягко остановил его Адриан, — вы опоздали. Прежде всего это будет смешно: поставщик низложенного короля. Согласитесь, какая выгодная мишень для издевательств и по моему адресу, и по вашему адресу... А затем, это далеко не безопасно... Вы лучше меня знаете здешние настроения. Большевики натравят на вас чернь, и ваш магазин разнесут в щепы. Вы не согласны со мною?

— Увы, это так, Ваше Величество, — загрустил Антонио Санца, — но, я надеюсь, когда с Божьей помощью вы вернетесь вновь на престол ваших предков, тогда вы не забудете Высочайшей милостью вашей верноподданного Антонио Санца. Верноподданного потому, что тогда я ликвидирую все и перееду в Бокату. Ваше Величество, могу я надеяться? — дрогнувшим голосом спросил вот-вот готовый расплакаться портной.

— Тогда об этом не может быть и речи. Я

сделаю для вас все, что могу. Но, как знать, вернусь ли я когда-нибудь...

— Вернетесь, Ваше Величество, вернетесь!.. Это мое глубокое убеждение! Это республиканское поветрие сгинет, как нечистая сила, будь оно проклято! Народом править должны и будут править помазанники Божьи, а не проходимцы из адвокатов и из эмигрантских подполий и каторжных тюрем... Извините, Ваше Величество, я разболтался, а надо спешить и взяться немедленно за работу.

Адриан протянул ему руку. Антонио Санца бережно подхватил ее и поцеловал.

Пятясь к дверям с низким поклоном, восторженный Санца ушел. Адриан обратился к адъютанту и Друдиди:

— Это, кажется, единственный убежденный монархист во всей Трансмонтании...

— Ваше Величество, таких, как он — очень много! — возразил Друдиди, — и в Трансмонтании, и в Пандурии, и везде! Только они не могут или не умеют организовать.

— А вот социалисты и могут, и умеют, — укоризненно покачал головой Адриан.

28. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА

С того самого момента, когда вбежавший ночью в королевский кабинет Бузни уже не мог дозвониться в кавалерийские казармы, так как телефонная станция была в руках заговорщиков, — началась для Адриана переоценка всех ценностей. Началось то неопределенное, призрачное, так резко вдруг безо всяких переходов сломавшее все, что казалось до этой роковой ночи таким прочным, величественным, таким законченно-прекрасным в тяжеловесной чеканной монументальности целого тысячелетия...

А сейчас, сейчас он сидит в номере «Мажестика», этот бывший король Пандурии, сидит без паспорта, потому что вообще монархам не полагается никаких паспортов.

На границах жандармерия не проверяет у них виз. Вместо жандармерии — почетные караулы, склоняющие знамена.

Каждая поездка Адриана в Лондон, Рим, Париж, в Белград, в Софию становилась известной задолго. Вырабатывался церемониал. Париж, Лондон, Рим, София, Белград, Бухарест

запасались пандурскими флагами, дабы расцветиться, разукраситься ими ко дню приезда высочайшего гостя.

И он шествовал по своей территории в своем королевском поезде с министром иностранных дел, с нарядной свитой и с конвоем из мусульман, одетых в свою сказочную по яркости красок восточную форму. На границе его, монарха соседней страны, встречали высокие представители. В собственном же поезде он продолжал свое триумфальное шествие с овациями, почетными караулами и десятками депутаций на главных и узловых станциях.

В Париже ему отводили роскошные апартаменты в отеле «Крион» на площади Согласия. Традиционный отель для коронованных особ — гостей французской республики. В эти дни над отелем «Крион» развевался пандурский флаг, и далеко было видно его и от Елисейских полей, и от Тюильрийского сада, и от дворца Бурбонов.

Совсем, совсем недавно... Президент Мильеран чествовал его большим парадным обедом у себя в дворце, и, когда Адриан ехал

на этот обед, громадная толпа парижан с энтузиазмом встречала экипаж короля Пандурии с почетным конвоем из драгун в кирасах и греко-римских касках.

Это было еще так недавно, и так еще свежи были воспоминания... А сейчас здесь... Бузни отправился к французскому консулу, отправился, в глубине души своей далеко не уверенный, пожелает ли дать господин французский консул визу на въезд во Францию и пребывание в Париже Адриану Ираклиду, вчерашнему королю Пандурии.

Вчерашнему, — как это звучит дико и как трудно привыкнуть к этому за еще неполные, еще не истекшие сутки. Давно ли пожаловал он и Мильерана, и Пуанкаре высшим орденом Ираклия первой степени со звездой и широкой темно-вишневой лентой? Давно ли он мог производить в фельдмаршалы и своих генералов, и чужеземных монархов? Давно ли он мог награждать и своих, и чужих подданных титулом, придворным званием? Давно ли и на самого Адриана сыпался дождь почестей, высоких, редчайших орденов? Давно ли он сам был фельдмаршалом двух армий в

двух дружественных королевствах? Давно ли?..

А сейчас — сейчас он человек без паспорта и, если французский консул окажется «демократическим» хамом каким-нибудь, то с особым удовольствием не пустит во Францию низложенного короля.

Но если в Пандурии произойдет новый, уже монархический переворот, и Адриан вновь сядет на свой древний трон Ираклидов, вновь вернутся к нему волшебные права волшебного могущества делать и совершать то, чего не могут делать и совершать все вместе взятые Ротшильды с миллиардами своими, о, тогда «демократический» консул почтет для себя за величайшее счастье удостоиться мимолетного королевского взгляда...

Вопреки ожиданию, французский консул оказался милым воспитанным человеком из хорошей семьи, четвертым сыном графа и потому носящим дворянскую частицу «де». А у шефа тайного кабинета, — иначе каким же он был бы шефом тайного кабинета, — оказалось при себе несколько заграничных паспортов с монархическим текстом, монархиче-

ской печатью, монархической подписью. Оставлены были пробелы для фамилий и чисел. Бузни эти пробелы заполнил, а числа поставил задние, те, когда Пандурия была еще королевством, а не республикой Шухтанов и Абарбанелей.

Консул де Броссе — одна сплошная предудредительность — обворожил Бузни.

— Ах, какое несчастье! Какое несчастье, Ваше Превосходительство! Чума? Нет! Революция, коммунизм хуже всякой чумы! Увы, у нас во Франции далеко не все благополучно. Я многое мог бы сказать, но, вы понимаете, мое официальное положение... Что же касается виз, то конечно, конечно. Я даже не буду запрашивать свое министерство иностранных дел. Вы сами отлично знаете, когда консул ссылается на министерство иностранных дел, — это лазейка, желание позолотить пилюлю. Всю эту процедуру я вам сделаю в несколько минут...

— О, господин консул, вы так любезны... Его Величество будет очень признателен...

— А я, в свою очередь, Ваше Превосходительство, горячо желал бы получить у вашего

монарха аудиенцию и лично выразить мои чувства.

«Еще один монархист», — подумал Бузни, вспомнив Антонио Санца.

Кстати, Санца блестяще справился со своей трудной задачей. Действительно, спустя тридцать шесть часов и король, и Джунга, и Бузни, и Друды, — все были одеты с ног до головы. И как безукоризненно одеты! Антонио Санца сдержал обещание перед парижскими коллегами своими лицом в грязь не ударить.

— Вы побили рекорд профессиональной быстроты, — удивлялся редко чему изумлявшийся Бузни.

— А я вам сейчас объясню, господин министр. К ночи я приказал сервировать стол, позвал небольшой цыганский оркестр, и двадцать восемь моих мастеров, закусывая, выпивая под музыку и пение, шили, шили всю ночь... В противном же случае их ни за какие деньги не заставишь работать. Избаловался народ! Бездельник на бездельнике!..

Изумился и Джунга, но только совсем по другому поводу. Когда Санца предъявил ему счет, усы-крысята зашевелились на скула-

стом, широком лице адъютанта.

— Позвольте! Такая ничтожная сумма! Проверьте, господин Санца! Быть может, здесь не хватает одного нуля?

— Нет, господин полковник, счет правильный!..

Адъютант молча, испытующе взглянул на портного и ничего не ответил.

— Господин полковник, не откажите в любезности доложить Его Величеству, что весь остальной гардероб я дней через десять лично доставлю в Париж... Буду иметь это счастье...

Расчувствовавшийся Джунга наградил Санца таким рукопожатием, что бедняга портной целых два дня потом не мог взять в руки ножниц.

Хотя и паспорта, и визы уже в порядке, и все готово к отъезду, но пришлось задержаться на несколько дней. Прибывший из столицы лейб-акушер, внимательно осмотрев дочь своих короля и королевы, заявил: хотя состояние здоровья Памелы и не внушает опасений, однако необходим полный покой в течение двух-трех дней. На вопрос, что думает лейб-

акушер относительно предстоящих родов, он, значительно пожевав губами, слово в слово ответил сказанное в Бокате седовласым Армстронгом с листовской внешностью:

— Я смотрел бы вполне оптимистически, если бы не этот узкий таз Ее Величества... Хотя у королевы тоже узкий таз, но это не помешало ей быть матерью сына и дочери.

— Но каких сына и дочери? — мысленно прибавил с подавленным вздохом находившийся у постели жены Адриан. Престолонаследник Трансмонтании был таким же слабым, апатичным, равнодушным ко всему дегенератом, как и Памела.

29. КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ ИСПОЛНИЛА СВОЙ ДОЛГ

Была еще причина задержки.

Так хотелось узнать последние новости! Узнать, что происходит за морем — в Бокате и во всей стране.

В обычных нормальных условиях пассажирско-почтовое сообщение между столицей Пандурии и Ферратой было ежедневное. Но по случаю революции ни один пароход не был выпущен из Бокаты и, в свою очередь, также ни один пароход не рискнул войти в пандурские воды, чудившиеся теперь чем-то пугающим, страшным...

Прервано было и сообщение по беспроводному телеграфу и подводному кабелю. В течение 48 часов Пандурия была отрезана от внешнего мира. Но газеты оповещали на весь этот внешний мир самое свежее, самое достоверное о ходе пандурской революции.

Левая печать всю старалась угодить и своим читателям, и новым демократическим владыкам вчерашнего королевства.

«Весь народ, как один человек, вздохнул

полной грудью, сбросив с себя иго кровавых тираний потомков „кровавого Ираклия“, — захлебывались от восторга социалистические газеты.

Это — „весь народ, как один человек“ — обычный прием крикунов и демагогов всех стран. А разве в России в 1905 году какой-нибудь волосатый фармацевт из Елисаветграда не посылал в милюковскую газету очередную корреспонденцию, начинавшуюся именно так: „Весь народ, как один человек, задыхается в зверских тисках самодержавия“?

На третий день в Феррату начали прибывать беженцы. Эти люди, вырвавшиеся из когтей неминуемой смерти, добравшиеся чудом каким-то на мусульманских фелюгах и на рыбацких парусниках и едва ли не на каких-то самодельных плотках, истощенные, голодные, оборванные, принесли и в полубезумных глазах, и в торопливой несвязной речи, и в складках одежды — все кошмарное, оставшееся на том берегу. И отблеск пожара, и отзвук повстанческой резни, и все насилия, бесчинства, грабежи и убийства, творившиеся именем „свободы“ и во имя ее...

Зорро впустил к Адриану оборванца с забинтованной головой и колючей щетиной на бледно-шафранном лице и подбородке.

Адриан пять-шесть секунд с недоумением смотрел на этого человека.

— Кафаров?!

Да, это первый красавец всей гвардии и всей столицы, командир улан Ее Величества полковник Кафаров.

Первый военный щеголь, неотразимый Дон Жуан, лихой кавалерист, отличившийся на войне. И вот он, этот блестящий Кафаров, — в лохмотьях, изможденный, небритый, потерявший много крови и постаревший лет на пятнадцать.

Адриан крепко, сердечно обнял его. Кафаров, весь потрясаемый судорогой, еле державшийся на ногах, двое суток ничего не евший, двое суток трепавшийся в маленькой, ежеминутно готовой опрокинуться лодке, разрыдался на королевском плече.

И сквозь всхлипывания этот мужественный солдат несвязно ронял:

— Я... я... одного хотел... одного... полуживым доползти... и чтобы знали... все знали...

доложить, что уланы Ее Величества исполнили до конца свой... свой... — тут Кафаров умолк, потеряв сознание.

Король бережно усадил его в кресло, привел в чувство, подкрепил коньяком упавшие силы командира гвардейских улан и потребовал из ресторана обед.

Прислуживал Адриану полный, внушительный метрдотель с внешностью министра. Он подавал и утренний кофе, и завтрак, и обед, не желая делить ни с кем из простых лакеев чести прислуживать Его Королевскому Величеству.

Но и этот важный уравновешенный ресторанный олимпиец, войдя с металлическим подносом, уставленным вкусно пахнущими кастрюльками, чуть не выронил и поднос, и кастрюльки, увидев в королевском номере и королевским гостем какого-то ужасного оборванца.

Не менее удивлен был важный метрдотель, увидев спустя несколько часов, как оборванец, вымытый, выбритый и одетый в отлично сидящий костюм, превратился в джентльмена, джентльмена с головы до ног.

Минуту пребывал метрдотель в состоянии глубокой задумчивости и, спустившись за чем-то в кухню, сказал „шефу“ в белоснежном колпаке:

— Теперь я понимаю, что такое революция!..

— А что такое по-вашему? — любопытно спросил „шеф“.

— „Шеф“ видел, как свиньи едят из одного корыта?

— Видел...

— Ну вот, „шеф“, это и есть революция! Желание принизить человека до свинского образа и подобия, и чтобы все ели из одного корыта. Это для тех, кто хорошей породы, хорошего воспитания, а самим, самим — власть, автомобили, меха, бриллианты, и чтобы наедаться тем, что ели их вчерашние господа и чего они сами есть не умеют. Так я понимаю революцию.

— Что ж, господин метр, пожалуй, вы и правы...

Подкрепившись, утолив голод, овладев собой, Кафаров описал королю события мятежной ночи в кавалерийских казармах.

— Я кончал ужин в нашем собрании. У нас были гости. Кое-кто из гусар и ротмистр Хаджи Муров, командир кирасирского эскадрона... Уже мы хотели расходиться, вдруг началась канонада, всех нас крайне изумившая, И еще изумительней было, что разрывы — совсем близко где-то... Бросаюсь к телефону, хочу соединиться с Вашим Величеством, с военным министерством, главным штабом, — никто не отвечает! Не отвечает, а слышны какие-то мужские разговоры, совсем не похожие на голоса телефонных барышень. Даже наш местный телефон между гусарскими и уланскими казармами, и тот не действовал. Это — плюс бомбардировка, не оставляли никаких сомнений. Через минуту мы уже все были на дворе. Я вызвал штаб-трубача. Весь полк высыпал по тревоге. Строиться не было времени. Я сказал моим уланам, вернее, прокричал, что королевская семья в опасности и наш долг защищать ее и родину... Тотчас же все кинулись по эскадронным конюшням седлать. То же самое происходило по соседству — у гусар. Но тут начались уже попадания. Двумя тяжелыми снарядами развороти-

ло конюшню первого эскадрона. Конюшня третьего эскадрона загорелась. О, Ваше Величество, какое это было зрелище! Ужасней, чем на войне... Искалеченные лошади, — у некоторых вывалились дымящиеся внутренности, — выбегали из конюшни во двор, давя и опрокидывая людей... Началась паника. Уже с десятков улан было ранено и убито вместе с лошадьми во время седловки. Выйти большой конной группой нечего было и думать. Дорога обстреливалась на всем протяжении... Но оставаться в неизвестности было мучительно невыносимо... Я выслал разъезд под командой лейтенанта Ковако, приказав ему мчаться напрямик, без дорог в Бокату, произвести разведку и немедленно вернуться с донесением. Но ни Ковако, ни пятеро улан, бывших с ним, — никто не вернулся... Потом обнаружилось, что они все были убиты, наравшись на матросскую заставу с пулеметом... У гусар были еще большие потери, чем у нас. Два их разъезда постигла такая же участь... Наконец, когда огонь как будто начал утихать, ближе к рассвету, мне удалось успокоить людей, построить эскадроны. Еще

две-три минуты, я их повел бы, но мы были атакованы броневыми машинами и несколькими орудиями. Нас засыпали картечью. Один броневик почти въехал в ворота. Из всадников и лошадей получилось какое-то кровавое месиво. То же самое творилось и у наших соседей. Мы очутились в самом беспомощном положении, в каком может очутиться только конница. Я был ранен в голову из пулемета и упал без сознания. Очнулся уже утром в какой-то хате на отшибе предместья. Меня спасли штаб-трубач и Гулев, улан первого эскадрона. Им удалось скрыться со мною во время суматохи. Они унесли меня, когда победители-матросы кинулись грабить офицерские квартиры и погреб собрания. Потом за офицерами охотились, как за дичью... Трубач и Гулев переодели меня в эти... в этот костюм и... Кафаров осекся, увидев, каким невыразимым страданием искажено было лицо Адриана.

— Моя гвардия... Моя славная гвардия! — с тоской, глухо повторял он. И, озаренный какой-то надеждой, хватаясь за нее, желая услышать возражение, спросил:

— Но... но потери не так велики?..

У Кафарова не хватило ни духу, ни воли ответить. Покачав головой, он как-то безнадежно махнул рукой...

30. ХАМСТВО...

Описанное Кафаровым было ужасно, хотя самого ужасного не видел Кафаров, потерявший сознание после ранения в голову. Он не видел, как ворвавшаяся в казарменный двор вслед за броневиками, перемешанная с матросами чернь добивала офицеров, глумилась над ними, над их полуживыми трупами. Гонялись за метавшимися по двору лошадьми, породистыми, холеными, щеголевато заседланными, и с улюлюканием, с торжествующим гоготанием расстреливали, неумело рубили тупыми саблями сухие мускулистые ноги.

В самом деле, разве не один и тот же шаблон у всех революций? Осуществляются так называемой «интеллигенцией», подхватываются же и углубляются самой что ни на есть преступной и темной сволочью.

Так протекала восемь лет назад в России

«великая бескровная». Так протекала восемь лет спустя в Пандурии если и не великая, то далеко не «бескровная».

Абарбанелю, Шухтану, Мусманеку хотелось республики. Абарбанелю — потому, что при монархии Панджили не мог устроить ему камер-юнкерское звание и он не мог быть министром финансов. Шухтану безумно хотелось быть пандурским Гамбеттой, а Мусманеку — забраться в королевский дворец, где полгода назад он во время юбилейного ужина тайком наполнял задние карманы своего фрака дюшесами и шоколадными конфетами...

Но им только хотелось прогнать короля и не хотелось резни. Помимо их желания, сама собой, получилась резня, да и не могла не получиться...

Как и в России при Керенском, в первые же дни его «власти» неизбежным явились кровавые дни Кронштадта, Гельсингфорса и Выборга, так в самом начале пандурской керенщины неизбежно логическими были ужасы в кавалерийских казармах и вообще во всей столице, где разбушевались почуявшие полную безнаказанность разжигаемые и на-

правляемые коммунистами человеческие отбросы.

Если бы не Тимо, и в революции оставшийся суровым, любящим порядок и дисциплину солдатом, без сомнения началась бы поголовная резня всех тех, у кого белые, мягкие, а не мозолистые руки.

Вообще, с самого же начала Тимо убедился, что ему не по дороге ни с вдохновителями революции, ни с ее углубителями. Он очутился в положении кавалериста, настигающего неприятельского всадника, которого он во что бы то ни стало должен зарубить. И вот они сблизились. Он уже занес саблю, и вдруг всадник мгновенно тает в воздухе, и страшный удар сабли приходится впустую. Преследователь, разочарованный, взбешенный, потеряв баланс, едва не падает с коня.

Тимо пошел с кучкой революционеров во имя личной мести, желая уничтожить, физически уничтожить короля, нанести ему давно взлелеянный, обдуманый удар. Король ускользнул, и удар пришелся по воздуху...

И тогда только отрезвевший Тимо сознал, ощутил всем существом своим весь ужас того,

что свершилось, и без него, Тимо, не могло бы свершиться. До сих пор отрава мести убивала в нем патриота, сына своей родины, но теперь, когда месть, во имя которой он пошел на все, не удалась, он с холодным отчаянием понял всю необъятность, всю чудовищность своего преступления...

И хотя ненависть к Адриану далеко еще не погасла в нем, но презрение к Мусманекам и Шухтанам было больше и глубже этой ненависти. До того больше и глубже — являлось страстное желание, чтобы катастрофа оказалась недобрым сном, как сон, растаяла, и все очутилось бы на прежнем месте нетронутым, непоколебленным...

Совсем по-другому чувствовал и мыслил его приятель Ячин. Революционный вихрь захватил и увлек его, но не как идея, а как возможность играть заметную роль, обогатиться.

Отставной майор, произведенный в революционном порядке новой властью в генералы, с красным бантом на груди, объезжал казармы нейтральных полков. Он создавал себе популярность митинговыми речами и само-

довольный, подрумяненный, с подведенными бровями, жадно упивался дешевыми лаврами дешевых аплодисментов.

Еще такая недавняя дружба с Тимо в несколько дней зачахла, поблекла. Ячин заискивал у новых вершителей судеб с тайной надеждой самому поскорее сделаться одним из «вершителей». Он был уже своим человеком и во дворце Абарбанеля, и в бывшем королевском дворце — теперь президентском, куда поспешил переехать Мусманек, выбранный главой государства «волей народа», народа, которого никто не спрашивал.

Из крохотной тесной квартиры где-то на грязной улице переехал Мусманек с женой и дочерью в наскоро приведенный в мало-мальски сносный вид королевский дворец.

Наскоро была замыта кровь на мраморных ступенях широкой парадной лестницы. Наскоро сняты были изрезанные штыками картины и вынесены осколки разбитых вдребезги дубинами и прикладами мраморных бюстов и зеркал. Все делалось небрежно, как-нибудь, лишь бы скорей, скорей.

Хотя и старался Мусманек убедить себя,

что «избранник народа» не только может, но и обязан жить во дворце, — в первое время он чувствовал себя, как лакей, забравшийся в роскошный барский особняк. Вот-вот, казалось, войдет кто-то сильный и властный, даст коленкой пониже спины, и «народный избранник» скатится кубарем с лестницы, освященной героической кровью последних защитников, павших за своего короля и за свою династию.

Но человек, особенно же беззастенчивый, свыкается со всякой обстановкой. Так и вчерашний адвокат без практики «свыкся» со дворцом, но не как господин, а именно как лакей, поселившийся в расчете на долгое, очень долгое отсутствие господ.

Господа «мешали» ему. Портили кровь. Они смотрели на него из широких золоченых рам, потускневших от дыхания времени. Мусманек сжился под презрительными, гордыми взглядами королей, королев, принцев и принцесс, веками создававших Пандурию, ее благосостояние и ее мощь. Мусманек сначала велел повесить портреты густой марлей, но и сквозь марлю ему не давали покоя глаза

Ираклидов. Тогда он приказал снять все портреты и сложить их в какой-нибудь нежилой и непроходной комнате.

Он сделал то же самое, что было сделано во всех министерствах, во всех казенных учреждениях. Этим новая революционная власть как бы зачеркивала, вернее, пыталась зачеркнуть всю тысячелетнюю историю Пандурии, пыталась объявить ее «не существующей». А вот, мол, с конца мая тысяча девятьсот двадцать четвертого года начинается уже подлинная, настоящая, демократическая Пандурия.

И в этом — все по шаблону. В таком же духе другой адвокат, Керенский, зачеркивал тысячелетнюю Россию вообще и трехсотлетнюю романовскую в частности. А когда Керенский сбежал, переодетый бабой, оставив баб, одетых по-мужски, защищать Временное правительство, большевики вычеркнули вдобавок еще и самого болтуна-дезертира с его постыдным семимесячным недоношенным правлением...

Взамен погибшего королевского конвоя Мусманек завел свой собственный, прези-

дентский, куда более многочисленный. Адриан в исключительно торжественных случаях выезжал, сопровождаемый конвоем из мусульман, одетых в восточную форму и величественно сидевших на светло-серых арабских лошадях, заседланных стильными азиатскими седлами. Мусманек ежедневно везде и повсюду разъезжал с конвоем. Сам в коляске, в сереньком пиджаке и в шляпе-панаме, а спереди и сзади на рысях — два полуэскадрона кавалеристов, плохо остриженных, в плохо пригнанной драгунской форме, плохо сидевших на плохо вычищенных лошадях.

Конвой был в полной гармонии с президентскими пиджаком и панамой.

Иногда президент выезжал со своей супругой и с дочерью Альмой. Обе — некрасивые, костлявые. У обеих лица в красных пятнах. Мать — давным-давно увядшая, дочь — увядающая старая дева.

Президентша с дочерью поселились в апартаментах королевы Маргареты. Вместе с тупой злобой к Маргарете, изящной, неувядаемой, величественной, у них была такая же тупая зависть к ней, зависть, ежедневно подо-

греваемая ежедневным смотрением в зеркало. Они изнывали от жажды походить на ту, которую ненавидели и которая теперь, когда они засели в ее дворце, скитается где-то по Европе.

Они хотели разыскать Поломбу, знавшую все туалетные ухищрения и секреты своей госпожи. Но Поломба куда-то исчезла. Зато не исчезла массажистка — мускулистая высокая молчаливая шведка. Ее стальным пальцам вверили мать и дочь свои твердые, обтянутые кожей скелеты.

Добросовестная шведка пыталась возражать:

— Но мадам, мадемуазель!.. Массаж вам не принесет никакой пользы... — взгляд голубых скандинавских глаз договаривал остальное, — у вас обеих кости да кожа, у вас обеих не груди, а какие-то серые чулки с опущенной медной монетой...

— Мы не спрашиваем ваших советов. Делайте все то, что вы делали с ней... А платить мы вам будем вдвое больше, чем платила она...

Скандинавская дева, закусив улыбку, дово-

дила до изнеможения своих новых пациенток. Особенно доставалось им, когда массажистка растирала их волосяной перчаткой, смоченной уже не разбавленным водой одеколоном, как было при королеве, а дорогими французскими духами...

Научила шведка их пользоваться паровой электрической ванной для лица. Ее они еще выдерживали кое-как, но перед сильными душами холодной воды были вынуждены капитулировать.

Мать и дочь набросились на тонкое, нежное белье королевы и чуть не поссорились, деля его между собой. Что же касается туалетов, они нашли платья королевы слишком скромными для себя. Им нужен был последний крик моды, и за этим «последним криком» от Дусе и Пекена посылались в Париж аэропланы.

Одного не могли простить они Маргарете, что все свои бриллианты она успела взять с собой. Но Мусманек утешал жену и дочь:

— Погодите! Вот поеду в Париж с визитом к Эррио и Думергу, — я вам привезу такие бриллианты, перед которыми спрячутся все

эти Маргаретины побрякушки...

31. ЗИТА ХОЧЕТ БЫТЬ БЕЗУМНО БОГАТОЙ

Министр финансов дон Исаак Абарбанель, успевший превратиться в недоступного олимпийца, в самом деле сильно занятый и много работающий, успевал, однако, почти ежедневно заглядывать к баронессе Рангья.

Вот и сегодня, высокий, упитанный, затянутый в черную визитку, появился он в будуре Зиты после того, как Христа доложила о нем и разрешено было войти.

— Я на одну минуту, баронесса... Только на одну... Поцеловать вашу ручку и... исчезнуть.

— Какой вы галантный, дон Исаак... — молвила Зита и дрогнула чуть-чуть изогнутая линия губ:

Дон Исаак не понял насмешки и просиял. Да и вправду, чем же он не галантный мужчина?..

— Садитесь, дон Исаак. Я разрешаю вам побыть минут... минут десять. Что нового в сферах?..

— В сферах? — улыбнулся Абарбанель. —

Ах, я вам скажу, это прямо для юмористического журнала!.. Представьте, супруги Панджили не выходят из дворца... Он ими превращен в какую-то... не подберу слов... академию изящных манер и светского тона. Церемониймейстер, эта общипанная старая лисица, но лисица с отменными манерами версальского петиметра, учит президентское трио, как надо ходить, кланяться, сидеть за столом, обращаться с вилкой, держать себя на аудиенциях. Панджили, утратив свое церемониймейстерство, теперь именно более, чем когда бы то ни было, — церемониймейстер...

— И балетмейстер! — добавила Зита.

— И балетмейстер, — покорно согласился дон Исаак.

— А роль Мариулы?

— Роль Мариулы?.. Она туалетмейстерша... учит одеваться мамашу и дочку...

— Странно... Сама Панджили одевается хотя и молодо для своих почтенных лет и вызывающе, но всегда со вкусом. А между тем, вчера только я видела мадам Мусманек с дочерью... Жалко было смотреть на них... Что-то нелепое, яркое, какие-то чудовищные эспри в

жанре кафешантанных звездочек, да и то далеко не первоклассных...

Дон Исаак расхохотался от всей души. Смеялось его большое бритое лицо, смеялось мягкое, полное тело под черным жакетом.

— Чему вы смеетесь?

— Помилуйте! Ну можно ли не смеяться?.. Да ведь она же все это нарочно — Мариула!.. Она издевается над ними... — и опять дон Исаак заколыхался весь в припадке неудержимого смеха.

Маленькая баронесса в упор на него смотрела, и как-то загадочно менялись ее глаза, пока Абарбанель не кончил смеяться. Эти глаза успели переменить три цвета. Из серых они стали сначала синими и наконец — зеленоватыми.

— Вам смешно? — почти строго спросила она.

— Смешно... — ответил дон Исаак неуверенно и как бы теряясь.

— Вам не только смешно, вы еще и рады! Вы ликуете от сознания, что те, которые сидят сейчас во дворце, комичны, жалки и что вы, дон Исаак Абарбанель, великолепней их...

Дайте досказать мне... Это не только ваше личное — это психология очень многих. Психология тех, кого приятно щекочет сознание: «Хотя они и занимают самое высокое положение, но я гораздо лучше их умею жить и вращаться в обществе». А ведь какой-нибудь месяц назад, всего месяц, и вы, дон Исаак, и те, и другие совсем иначе думали о дворце, не президентском, каким он есть, а о королевском, каким он был... Угадала я? Говорите же правду, не вывертывайтесь!..

— Ууфф... Да вы, положительно, инквизитор! Очаровательный инквизитор... — тяжело отдышался покрасневший Абарбанель.

— Теперь я с особенной ясностью поняла, для чего и вам, и тем, другим, нужна революция...

— Позвольте, баронесса...

— Опять баронесса? Опять? Республиканский министр финансов забывает, что в демократической Пандурии титулы отменены. Баронессы нет, есть гражданка... — И вновь дрогнула линия губ. — Что вы так смотрите на меня умоляюще?

— Бар... бар... гражд... мадам Рангья, когда

же наконец?

— Что?..

— Когда же наконец вы сжалитесь над моим бедным сердцем?

— Сердцем ли, дон Исаак? Да, вот что я хотела вам сказать... Ваша материалистическая революция, революция желудка и стяжания, как и все революции, не прошла мимо меня... Вернее, я не прошла мимо нее... Да, да... Вы не верите? Я сделалась жадной. Я хочу денег, хочу бриллиантов, драгоценностей... хочу быть безумно богатой...

Дон Исаак внимал, полураскрыв рот... Неужели? Неужели Бимбасад прав, что нет женщины, которую нельзя было бы купить, и что весь вопрос лишь в цене? Если так, — он, Абарбанель, готов бросить к ногам этой маленькой женщины половину своих богатств.

Пресеклось дыхание. После вынужденной паузы с усилием выговорил:

— Приказывайте!..

— Где ваш потемкинский султан?.. Я хочу его иметь!..

— Он ваш!

— Где обе короны пандурской династии?

— Короны? — удивленно переспросил дон Исаак, — Они хранятся в бронированной кладовой государственного банка.

— Я хочу их иметь!..

— Это невозможно!..

— А я хочу! — капризно топнула ножкой Зита.

— Но, позвольте бар... мадам Рангья... Они ценны как реликвии, но особенной валютной ценности не представляют...

— Ах вот как! А я думала...

— Уверяю вас! В короне монарха имеется, правда, большой изумруд, но не особенно чистой воды и треснувший... Что же касается бриллиантов, уверяю вас, тоже ничего особенного! А вот я купил для вас оставшееся после графини Шамбор изумительное кольцо Марии-Антуанетты. Оно долго переходило из рук в руки. О, это целый роман... Роман нескольких десятков больших и прекрасных бриллиантов. Я вам как-нибудь расскажу... Сегодня вечером и потемкинский султан, и кольцо будут у вас...

— Смотрите же!

— Я человек слова, — обиделся дон Иса-

ак, — но, мадам Рангья, я купец и банкир. Поколения моих предков были купцами и держали меняльные лавки. Я ставлю вопрос в деловой плоскости. Я не романтик и верю тому и в то, что вижу и осязаю на ощупь. Короче, мадам Рангья, что я буду иметь от вас и за потемкинский султан, и за колье Марии-Антуанетты, и за те три миллиона франков, не пандурских и не французских, а швейцарских, заметьте, каковые положу в любой из европейских банков, указанный вами?

Впервые за все свои встречи с Зитой овладел собой дон Исаак. И не только овладел собой, но и ощутил под ногами твердую почву. До сих пор, смущаясь и робея, терялся перед этой маленькой золотистой блондинкой. Она была недосыгаемой богиней заоблачных высей, разжигавшей до безумия его чувственность... Была. А сейчас, сейчас богиня, покинув заоблачные выси свои, спрашивает, сколько же ты мне дашь, обнаруживая при этом ай-ай какой аппетит! Аппетит скорее акулы, чем богини.

Дон Исаак подсчитал: колье, султан, швейцарские франки. За все это он мог бы купить

целый гарем премированных красавиц. Но зачем ему премированные красавицы, когда он желает, до сумасшествия желает, маленькую Зиту с ее капризным рисунком губ, ее переливчатыми глазами и со всем тем, что ему не дает спать по ночам!..

— Что я буду иметь? — повторил он уже смело, как собственник, глядя на нее.

Ответив ему таким взглядом, что он не выдержал и опустил глаза, она молвила спокойно, почти деловито:

— Я вам позволю меня целовать...

— Куда? — спросил уже окончательно осмелевший дон Исаак.

— Только не в губы...

— Почему же не в губы? Вы брезгуете мной?! — заговорил в нем задетый самец.

— Меня никогда еще никто не целовал в губы, и я никого не целовала и не хочу делать для вас исключения, — солгала Зита, — а впрочем, если мои условия вам не подходят...

— Нет, нет... подходят, подходят! — заторопился Абарбанель. — Сегодня я буду у вас с драгоценностями. Мы.. Вечером... у вашего мужа заседание, и мы будем одни...

32. ГАДИНА

Не успел уехать дон Исаак, пьяный нежданно-негаданно свалившимся на него счастьем, ног под собой не чувствуя, как Христа доложила Зите о том, что пришла к ней Поломба, бывшая камеристка Ее Величества.

— Спросите, что надо? — поморщилась Зита. Ей было известно поведение этой мерзкой твари в ночь переворота в покоях королевы.

— Поломба непременно хочет говорить с госпожой! — сказала Христа, вернувшись в будуар.

— Хорошо... Только не зовите сюда... Я сама выйду к ней... в вашу комнату, — пояснила Зита.

За какой-нибудь месяц Поломба успела превратиться в грязную, с опухшим лицом и нечесаными волосами девку, именно девку. Спереди не хватало одного зуба, вышибленного матросом. Улыбка теперь была уже совсем крокодилья.

Поломба пыталась придать нахальным глазам своим менее нахальное выражение. Тщетная попытка.

— Здравствуйте, баронесса!

— Что вам угодно? — сухо спросила Зита.

— Помогите мне... Я очень нуждаюсь...

— Как вы смеете являться ко мне за помощью, — вспыхнула Зита, — вы, так подло, с такой плебейской неблагодарностью предавшая свою благодетельницу? Королева осыпала вас подарками, а чего не дарила, то вы крали у нее. Будь вы мало-мальски порядочной девушкой, ваш долг, ваша обязанность была не покидать королеву и вместе с ней уйти... А вы, зная все, что готовится, не только не предупредили ее, а скрылись, чтобы вернуться с матросами... Низко и мерзко, пресмыкательски, вы этих своих новых друзей науськивали на бриллианты королевы. Во мне все кипит... Я не могу говорить спокойно! Вы мне противны, отвратительны! Ступайте вон! Хотя нет, подождите... Меня интересует, что же, наконец, руководило вами? Тупая, беспросветная глупость или же такая же беспросветная подлость вашей хамской душонки? Что?

— Я не знаю, чего вы сердитесь, баронесса? Что я сделала такое? Я сама несчастна... У меня забрали все вещи... Все, что имела... Надо

мною издеваются... И вот я хожу без всякого пристанища... Нет, я утоплюсь... Ей-Богу, утоплюсь... Я такая несчастная, такая несчастная...

— А, вот как! Я очень, очень рада... Судьба вас наказывает... Видите, Поломба... Есть умные подлецы и есть глупые. Умные делают подлость ради выгоды, глупые же — только ради одной подлости и часто в ущерб себе же. Вы — именно подлая дура. Вам жилось во дворце не по заслугам... Королева была так милостива к вам. Я, например, ни за что не взяла бы к себе вас в горничные. Вы нахальны, грубы, нечистоплотны, ничего не умеете делать... Вы — типичнейшая большевичка. Ну, скажите мне, попробуйте шевельнуть вашими глупыми мозгами. За что вы ненавидите королеву?..

— Так... Надо мстить!..

— За что?

— За все. Она пила нашу кровь...

— Вашу кровь? Этому вас научили новые друзья, которые вас обобрали и выгнали. Кому нужна ваша кровь? Гнилая, вонючая кровь? Нет, вы глупее даже, чем я думала...

Королева пила вашу кровь? То-то у вас была тогда краснощекая физиономия, вот-вот готовая лопнуть. А сейчас вы-желтая, отекающая, противная...

— Ей-Богу, утоплюсь... — захныкала вдруг Поломба, сморщившись. Потекли по щекам слезы и, вынув грязный тонкий, с короной, батистовый платок, она терла глаза. Тут она закашляла, быстро поднесла грязный комочек батиста к губам и что-то противное, клейкое поползло по красно-коричневым пальцам.

— Христа, уберите вон, уберите скорее эту гадину! — затопала ногами Зита, вся содрогающаяся от отвращения.

— Ступай, ступай, — слегка подталкивала Христа к дверям вобравшую голову в плечи Поломбу.

33. ПИСЬМО ЗИТЫ

Зита вернулась к себе и, запретив Христе тревожить себя, приказав отвечать на телефонные звонки, что ее нет дома, заперлась на ключ и принялась заканчивать длинное письмо. Поставив последнюю точку, а вместо своего имени какую-то неразборчивую букву, она внимательно перечитала все.

Вот оно, это письмо, по крайней мере, в самом главном, в самом любопытном.

...Вас интересует, конечно, как воспринята революция всей страной? Громадное большинство высказывает определенное недовольство. Особенно это чувствуется среди горцев всех трех округов. Туда брошены агитаторы и, это уже много действительней, — полки и батальоны, присягнувшие новому строю. В двух округах не обошлось без волнений. Была пролита кровь, были жертвы с обеих сторон. При всей своей воинственности, горцы вооружены плохо. У них нет пулеметов, нет организации. Во всяком случае, они монархисты. Их можно с успехом использо-

вать при наличии денег, оружия и опытных боевых офицеров.

Опытных боевых офицеров? Часть — перебита, часть бежала за границу, часть укрывается в диких, неприступных горах, пользуясь гостеприимством туземцев — как мусульман, так и христиан.

Большинство же офицерства, похуже, особенно молодых, успело перекраситься в республиканцев. Не могу не отметить с удовольствием, что уже началась глухая борьба из-за власти между Тимо и всеми остальными. Тимо? Кажется, вообще с ним творится что-то. При всех своих отрицательных качествах, он все же пандурский патриот и пандурский офицер.

Мечтает ли он о диктатуре, — сказать не могу. Но Тимо хочет прибрать к рукам армию. И приберет, если не «приберут» его, Тимо. По моим сведениям, от него желают отделаться, боясь бонапартизма! Говорят, Савинков, взявшийся уничтожить его, получил на это дело крупную сумму. Весьма возможно. Савинков ведь профессиональный убийца. А деньги нужны, так как нужно их тратить. Об его ку-

тежах с Шухтаном и Ячиным в компании шантаных артисток говорит вся Боката.

Сановники вновь испеченной республики легко расшвыривают легко достающиеся им деньги. Королевские же министры нуждаются и продают картины, бронзу, фарфор... А сколько на них выливалось грязи за те миллионы, которые они якобы в свое время наворовали.

Охраняет себя республиканская власть, как и не снилось королевской. В вестибюле дворца министра финансов Абарбанеля и днем, и ночью дежурит взвод юнкеров. Юнкеров, а не солдат, ибо «аристократический» нос Абарбанеля не выносит солдатского запаха.

Конвой Мусманека — это целый эскадрон из двухсот драгун, всегда в полной боевой готовности. Шухтана повсюду сопровождают агенты. Даже во время кутежей находятся в соседнем кабинете.

Бедный граф Видо, разбитый параличом, свезен в больницу и там медленно угасает без языка и без движения.

Мадам Бузни исчезла без следа в первые

же дни революции. Вне всякого сомнения, ее увезли за город, прикончили, а тело бросили куда-нибудь в пропасть. Определенных улик нет, но утверждают опять-таки, что это дело рук Савинкова.

Ди Пинелли, секретарь Ее Величества, зверски убит. Исколотый штыками, затоптанный ногами, был превращен в какую-то бесформенную массу.

У меня такое впечатление: если Тимо будет «ликвидирован», этот единственный человек, могущий и умеющий проявить твердую власть, — все полетит. Наступит типичнейшая керенщина, и в любой момент большевики ее опрокинут одним пинком ноги. Что же, чем хуже, тем лучше. А следовательно, чем скорей Савинков съест полковника Тимо, исполняя, с одной стороны, желание Мусманеков и Шухтанов, с другой — большевиков, субсидирующих его, тем скорей дождемся реставрации. Я уверена, что коммунисты больше двух месяцев не продержатся, а республика с Тимо во главе, пожалуй, могла бы удержаться надолго.

Да, вот еще новость: на море появились ка-

кие-то неуловимые, таинственные пираты. Они до того терроризировали республиканский флот — коммерческий, пассажирский и даже военный, что пароходы и канонерские лодки боятся выходить из портов. Они исчезают бесследно. Видимо, их сначала грабят, а потом пускают ко дну. Ни одна живая душа не спаслась... Не уцелело ни одного очевидца. Никто не может ничего рассказать об этих таинственных пиратах, — кто они такие и на чем совершают свои неотразимые молниеносные нападения.

Наши морские власти мечутся в панике... Мечется Вероника Барабан, мечется здоровенный матрос, — забыла его кличку, — произведенный Вероникой чуть ли не в товарищи морского министра.

Многие посольства встретили переворот более чем сдержанно. Таковые: болгарское, испанское, итальянское, сербское, бельгийское и венгерское. Остальные же заискивают перед красными тряпками. Особенно отличается вежетальных дел мастер мосье Пино. До сих пор пребывает в восторженно-глупом состоянии. Надо видеть эту красную вульгар-

ную физиономию типичнейшего француза Третьей республики!..

В трагическом положении очутились русские, без вины виноватые во всем этом сумбуре. Боюсь, что начнутся гонения... Да и уже начались. Русская газета, симпатичная по своему направлению, — закрыта. Типография и помещение разгромлены, а сотрудники бежали... Социалисты терпеть не могут всех, кто против большевиков. Ведь они же сами большевики, только более трусливы, менее решительны и более лицемерны, чем преступники, избравшие московский Кремль своей цитаделью.

Социалисты начали ухаживать за мусульманами. Пожалуй, напрасные усилия. Эти пергаментные люди в фесках — загадочны, как вообще загадочен Восток. Они слушают, качают головами, причем наш европейский положительный кивок у них — знак отрицания, пьют свой кофе, курят свой кальян и, в конце концов, подняв свои мечтательные глаза к небесам:

— Аллах все знает... В Коране все написано...

Митингами их не возьмешь, и социалистическим седлом не оседлаешь мусульманского коня.

Кстати, профессор Тунда пишет в мусульманских кварталах свои этюды. А когда президент хотел заказать ему большой семейный портрет, славный старик отклонил от себя эту честь, сославшись на полное отсутствие вдохновения. И действительно, самое пылкое вдохновение погаснет при одном виде папаши, мамы и дочери...

Кажется, Тунда упорхнет со дня на день в Париж. Отказать же ему в заграничном паспорте неудобно. Как-никак — европейская знаменитость.

Кончаю. На днях напишу еще. Думаю, будет чем поделиться.

Зита заклеила письмо, запечатала и, позвонив в испанское посольство, вызвала герцога Альбу.

— Милый герцог, когда вы отправляете вашего курьера?

— Сегодня вечером, баронесса... У вас есть какая-нибудь корреспонденция?

— Письмо. Вы не откажете в любезности?

— Помилуйте, я сам заеду за письмом. Когда прикажете?

34. НОВЫЙ КАПРИЗ

Зита хорошо подметила, — вообще она многое хорошо подмечала, — что захватившие власть революционеры охраняли себя куда тщательней, чем королевские министры. Давно ли Мусманек и Шухтан смеялись над Бузни и его агентами? Давно ли? А теперь сами окружали себя удесятеренным количеством агентов. И действительно, в обширном вестибюле роскошного абарбанельского дворца дежурит взвод юнкеров. Дон Исаак несколько дней назад телефонировал начальнику военного училища:

— Только, пожалуйста, генерал, не присылайте мне юнкеров в сапогах, пахнущих кожей. Терпеть не могу этого запаха...

Генерал, стиснув зубы, выслушал приказание министра финансов, и на следующий день юнкера, несшие караульную службу в передней богача-эспаниола, были все в лакированных сапогах.

Юнкеров угощали вином, кормили вкусными обедами, какие и по праздникам никогда не снились в училище, но всю эту молодежь угнетало сознание своего унижения.

В самом деле, они, будущие офицеры, как наемные ландскнехты, вынуждены охранять великолепную особу революционного министра финансов.

Им внушено было вскакивать и вытягиваться при его появлении. Обыкновенно дон Исаак не замечал юнкеров, но сейчас, вернувшись от Зиты, счастливый, безумно счастливый, он удостоил этих «дворянских сынков» благосклонной улыбкой и таким же благосклонным поклоном.

Очутившись у себя в кабинете, он вынул из черного готического восьмисотлетнего шкафа потемкинский султан и кольцо Марии-Антуанетты. Перед тем, как вручить драгоценности маленькой Зите, он хотел полюбоваться ими в последний раз, и не без тайного сожаления. Таких дорогих вещей он еще никому не дарил.

Налюбовавшись, с подавленным вздохом закрыл оба футляра.

Счастье душило его. Изнемогающий, он хотел с кем-нибудь поделиться своей с таким трудом вырванной победой.

— Приезжай сейчас же! — позвонил он Бимбасаду.

Через десять минут Бимбасад-бей очутился в объятиях своего друга.

— Что за телячий восторг?

— Хотел бы я тебя видеть на моем месте?!. Сегодня вечером она будет моей!

— Кто?

— Глупый вопрос! Она, и только она! И никто, кроме нее! Зита!..

— Ааа... разве?.. — усомнился Бимбасад-бей

— Сама только что сказала... — Что же она сказала?

— Что позволит себя целовать... И, представь, чудачка! За исключением губ...

— По-твоему, — чудачка, а по-моему, ты ей неприятен как мужчина. Впрочем, это уже ваши интимные дела. А только я не вижу из этих скромных условий, что ты возьмешь ее или она отдастся тебе, что одно и то же...

— Ну, так я же не наивный мальчик! — игриво и весело подмигнул дон Исаак. — Козла

только пусти в огород, а уж он сумеет полакомиться капустой... Ах, Бимбасад, Бимбасад, — мечтательно закатил глаза дон Исаак, — сколько времени эта капуста не дает мне покоя!..

— Что ж, в добрый час. Лучше поздно, чем никогда! — философски заметил Бимбасад-бей. — А на каких условиях?

— Не спрашивай!..

— Хм... значит, дорогая капуста?

— Не говори этого слова... Оно бьет по нервам. У меня уже темнеет в глазах...

— Ты меня только за этим вызвал?..

— Только за этим! Ты же мой первый друг.

— Спасибо за доверие и до свидания! Приятного аппетита...

— Выйдем вместе. Я подвезу тебя. У меня заседание совета министров.

Заседание совета министров не было посвящено расстройству как-то уж очень быстро пришедшего в упадок железнодорожного транспорта, не было посвящено голоду, начавшемуся в отдаленной горной провинции, не было посвящено прямо-таки чудовищному превышению бюджета, грозившему банкрот-

ством, а было посвящено выработке мер борьбы с контрреволюцией. Между прочим, было решено упразднить общежитие инвалидов — эту империалистическую затею Адриана, и учредить общежитие для детей, дабы они могли там воспитываться в социалистическом духе.

Дон Исаак еле высидел эти два с половиной часа. Он испортил несколько листов бумаги, рисуя женские груди, женские бедра и ноги...

Вернувшись домой, облачившись в смокинг, вдев в петличку орхидею, пообедав без всякого аппетита и захватив оба футляра, поспешил к Зите.

Он предвкушал уже, как она встретит его, вся просвечивающаяся, в чем-то легком, воздушном, и был весьма разочарован, увидев ее забронированную в глухое серое английское платье. Но был еще клочок надежды: она помучит его, а потом...

— Вот... Я привез...

— Покажите!..

Дон Исаак раскрыл оба футляра.

Эффект получился в буквальном значении

ослепительный. Султан, как живой, трепетал, и, как живые, горели сотни украшавших его бриллиантов. Он затмевал собой колье, хотя и оно было царственно прекрасно.

Зита не обнаружила особенного восхищения.

— Что? Вам не нравится? — воскликнул дон Исаак с яростью отчаяния.

— Нет... отчего же...

— Но... но вы их принимаете? — как-то неуверенно спросил Абарбанель.

— Принимаю... — и чуть-чуть дрогнула линия губ, а глаза вдруг стали синие-синие из серо-зеленых.

Все это было для дон Исаака изрядной порцией ледяного душа. Он двинул в бой последний резерв.

— Что же касается трех миллионов швейцарских франков, эту сумму я приказал моему банку перевести на ваше имя в Париж на дом Ротшильдов, улица Лафит... Я честно выполнил все мои обязательства...

— И удивились, застав меня так, как я есть... Вы хотели бы меня видеть более «транспарантной», не так ли, дон Исаак? Я

угадала?..

— Это не трудно было угадать, — глухо ответил он, потупившись, покраснев и тяжело дыша.

— Дон Исаак, вы имели дело с капризными женщинами?..

— Никогда! Они подчинялись моим капризам!.. До сих пор... Вы же, вы первая...

— Вот видите, как это интересно! По крайней мере, не банально... Так вот, дон Исаак, исполните мой последний каприз, и тогда я буду для вас — «транспарантная».

— Чего же хотите еще? — с полуотчаянием, полумольбою спросил он.

— Хочу иметь обе короны...

— Опять? Ведь я же вам докладывал, что цена их вовсе уж не так велика! За стоимость этих двух принадлежащих вам футляров можно иметь целую дюжину таких корон.

— Я хочу иметь только две...

— Угодно вам получить их либо чеком, либо в драгоценных камнях? Только оставьте в покое эти короны...

— Вот именно, я не хочу оставить их в покое! Каприз! Каприз иметь у себя эти священ-

ные реликвии, одухотворенные, облагороженные веками... Каприз!.. И наконец, дон Исаак, вы же человек не глупый... Вы понимаете не хуже меня, еще месяц — два, скажем, три... Большевики выгонят вас, выковыряют из этих корон все самоцветные камни и, как краденое, будут продавать их в Амстердаме или Брюсселе... А я сумею лучше их сберечь, и у меня они будут в большей сохранности, чем в бронированной кладовой государственного банка, который большевики первым делом бросятся грабить...

— Вы считаете неизбежным их приход к власти?

— А вы — разве нет? Вы только сами себе не желаете сознаться в этом. Итак, господин министр?

Дон Исаак беспомощно развел руками.

— Ничего с вами не поделаешь, вы способны убедить кого угодно и в чем угодно. Завтра я сложу к вашим маленьким очаровательным ножкам обе короны династии Ираклидов. А вы, вы завтра будете «транспарантная»?!

— Я уже сказала...

— И без всяких новых капризов?

— Без всяких но... и без всяких новых капризов!

35. В КАФЕ-ШАНТАНЕ

— А теперь давайте посплетничаем... Что нового в большом свете? Я так теперь далека от всего... Как поживает премьер-министр?

— Ах, он по уши влюблен в свою Менотти.

— Танцовщицу из «Варьете?»

— Да.

— Интересная?

— Очень! Красивые ножки, и она вся такая гибкая, пластичная... Маленькая хищница...

— Маленькая?

— Да. Приблизительно вашего роста. Разве немного повыше. И тело такое же, точеное...

— Вот как! И что же, Шухтану этот хищный зверек обходится недешево?

— Он тратит на нее безумные деньги...

— Разве он так богат? — с наивным личиком спросила Зита.

— Что такое — богат? — пожал плечами дон Исаак. — В распоряжении премьер-мини-

стра громадные суммы... Но вот на днях был любопытный трюк... После «Варьете» он кутил с Менотти у Рихсбахера. Менотти подвыпила и с такой милой шантанной развязностью говорит ему:

— Ну вот, мой друг, ты теперь у власти и можешь все. Дай мне титул маркизы... Это красиво звучит — маркиза Менотти! И ты понимаешь, мой милый, — тут она кошечкой прыгнула ему на колени и поцеловала, — имея титул маркизы, я буду везде получать выгодные ангажементы. За мной будут охотиться. Я закажу себе диадему с короной... У меня везде будут короны — и на кровати, и на дверцах автомобиля и... на... ну, да ты знаешь, на чем...

— Нет, это действительно забавно, — смеялась Зита.

— Слушайте дальше! Бедный Шухтан, как на иголках, слушает, слушает эту болтовню и, наконец, собравшись с духом, говорит:

— Дорогая моя, ты знаешь, как я тебя люблю... Требуй, чего хочешь, но только не этого!..

— А я хочу быть маркизой! — упрямо твер-

дит она, болтая ногами.

Он пытается объяснить:

— Видишь ли, у нас республика, а в республике не принято жаловать титулы...

— Врешь, во Франции тоже республика, а сколько там графов, маркизов, герцогов!..

Хохот кругом гомерический.

Взбешенная Менотти вскакивает, выплескивает несчастному Шухтану в лицо шампанское и, топая ножками, кричит:

— А, вот как! В таком случае... Je m'en fiche de toi et de ta republique, sacrebleu!.. [7]

— Она положительно прелестна, эта Менотти. У меня явилось желание ее посмотреть. Свезите меня в «Варьете». Сегодня же, сейчас же! Поедем? Я буду готова в десять минут.

— Видите ли, мадам Рангья, в моем положении... как вам сказать... Не совсем удобно. Это раньше можно было, а теперь: общий зал, смешанная публика.

— Зачем же общий зал? Сядем в боковую ложу, и нас никто не увидит. В котором часу выступает Менотти?

— В одиннадцать...

— Вот видите! Еще бездна времени. Посидите, поскучайте, а я переоденусь...

Двухъярусные ложи внизу и наверху так были устроены, так наглухо задергивались драпировками, — можно было видеть и наблюдать все, что делается на сцене и в публике, самому оставаясь незамеченным...

Перед каждой ложей было нечто вроде маленького вестибюля с зеркалом и с диваном. Впечатление кабинета. Особенно, если драпировки были плотно задернуты, горело электричество, а в металлическом ведре покоилась бутылка шампанского, стиснутая льдом.

Так и в данном случае. Но кроме шампанского дон Исаак потребовал еще конфет и фруктов. Он лелеял тайную надежду подпитать маленькую баронессу, и, почем знать, быть может, здесь повезет ему больше, чем везло до сих пор в казенной квартире министра путей сообщения?

Кем-то когда-то проделана была в вишневой портьере круглая дырочка. Прильнуть к ней глазом и — ничто не укроется. Так и сделала Зита. Прежде всего бросилась ей в глаза ложа vis-a-vis [8]. Драпировки там были полу-

раскрыты. Свет не горел, и в полумраке белело пятно жилета. Над этим жилетом: баронесса скорее угадала, чем увидела, большое жирное лицо Шухтана с блестящими стеклами пенсне. Тут же, рядом, сияли золотые генеральские погоны Ячина.

— А ведь они и в самом деле неразлучны, — заметила Зита, не отрываясь от наблюдательной дырочки.

— Шухтан каждый вечер таскает его за собой, чтобы не было скучно. Сам же он, по приказанию Менотти, является сюда, как на службу. И куда аккуратней, чем в совет министров... Но пейте же ваше вино, баронесса...

Маленькая ручка в длинной замшевой перчатке протянулась назад, и министр финансов бережно поднес плоский бокал — чашу с искрящимся холодным шампанским.

Внизу — белые, четкие квадраты столов. За ними сидели и военные, и штатские со своими дамами, и мусульмане в фесках, тоже в обществе дам, но не мусульманок, оставшихся в гаремах, а веселых, покладистых европейских женщин.

Программа уже началась. Клоунов-эксцен-

триков в широчайших клетчатых панталонах, длинных, худых, у которых дыбом вставали рыжие волосы и вспыхивала на конце носа синяя электрическая лампочка, сменил балет, в свою очередь смененный дрессированными собаками. Еще несколько номеров, и выпорхнула на сцену Менотти в пышном ярком манто и в головном уборе из больших страусовых перьев.

Под музыку она прощebetала бойким речитативом, что сейчас «будет иметь честь продемонстрировать почтеннейшей публике офицеров итальянской, французской, германской и пандурской армий».

Она упорхнула за кулисы. Оркестр огласил театр задорными, стремительными звуками марша берсальеров, а через минуту у рампы уже очутился «берсальер» Менотти в шляпе с петушиными перьями и в коротеньком мундире, плотно охватывавшем талию, красивый небольшой бюст и бедра. Менотти, напевая марш, пробежала несколько раз вокруг сцены типичным гимнастическим шагом берсальеров, согнув руки в локтях и делая ими резкие движения.

Аплодисменты, овации. Особенно старалась ложа министра-президента.

— Она прехорошенькая, и все это у нее так грациозно выходит! — молвила Зита, желая прибавить еще что-то, но у своего затылка она ощутила горячее дыхание Абарбанеля.

— Дон Исаак, мне так неудобно... Сядьте подальше.

— Но я... я не могу...

— Тс... смотрите лучше...

Оркестр уже играл «Мадлон», уже в сверкании ярких прожекторов появилась Менотти. Расшитое золотом, лихо сдвинутое набекрень кепи, синий мундир, красные штаны, лакированные ботинки и трехцветный флажок в руке. И вместе с оркестром Менотти пела «Мадлон»...

Легкомысленного француза сменил тяжеловесный германский кирасир в каске, латах и высоких ботфортах. Выпячивая грудь, с моноклем в глазу, покручивая воображаемые усы, Менотти, широко расставив ноги и опершись на длинный палаш, что-то насмешливо болтала берлинской картавой скороговоркой. Это имело наибольший успех.

Взрыв шумных рукоплесканий не давал ей уйти со сцены.

Вопреки всеобщим ожиданиям, и Зиты в частности, Менотти, напоследок имитируя пандурского офицера, вышла без красного банта и в полной парадной форме королевских гвардейских гусар. меховая шапка, чешуя на подбородке, бутылочного цвета доломан в белых бранденбургах, красные галифе, сапоги с розетками.

Это было очень смело, хотя бы уже потому, что республика упразднила гвардию, а также гусар и улан, оставив лишь драгунскую конницу и сочинив для нее простую «демократическую» форму.

Зите понравилось это. Менотти овладевала ее симпатиями.

Публика сначала была в недоумении, как встретить этот ее смелый «монархический» жест. Но мусульмане бешеными аплодисментами положили конец недоумению, и зарукоплескал весь театр. В общем гуле как-то бесильно и жалко потонули одиночные шиканья и свистки.

Занавес опустился в последний раз. Про-

грамма кончилась. На особой эстраде черные лоснящиеся негры в смокингах заиграли что-то дикое, оглушительное, свое...

Зита и дон Исаак видели, как в ложу Шухтана быстро вошел офицер — адъютант министра-президента. Шухтан и генерал вскочили изумленные, потрясенные...

А через минуту внизу по всем столикам бежала сенсационная, многообещающая новость:

Тимо только что убит. Брошена ручная граната, разорвавшая его в куски...

Часть третья

1. ТОГДА И ТЕПЕРЬ

Приехали в Париж ясным солнечным утром. На душе же и на сердце далеко не было ясно и солнечно.

Настроение короля и королевы-матери передавалось их маленькой свите, а настроение Их Величеств не могло быть радужным.

Мать и сын вспомнили свой предпоследний официальный приезд в столицу Франции. Это был шелест склоняемых знамен. Это были балконы в коврах. Это был весь Париж, расцвеченный пандурскими флагами. Это были драгуны в касках и сияющих кирасах впереди и позади королевского экипажа. Это были роскошные апартаменты в отеле Крион с уже развевавшимся над ним пандурским штандартом. Это были завтраки, обеды, рауты и в Енисейском дворце, и в министерстве иностранных дел, и в пандурском посольстве. Это были Мильеран, Пуанкаре и специально примчавшийся из Лондона Ллойд Джордж,

околдованные неувыдаемой чародейкой Маргаретой и обаятельным Адрианом. Это были живые шпалеры экспансивных парижанок и парижан:

— *Vive la reine, vive le roi! Vive la Pandourie!*

[9]

Это были смотры, парады пехоты, конницы, артиллерии. Это было окончание маневров, когда мимо трибун с президентом республики, генералитетом и высочайшими гостями в течение двух часов, салютуя, проходили церемониальным маршем белые и колониальные войска. Пандурский гимн чередовался с «Марсельезой».

Это было тогда — такое красивое, декоративное, величественное, а теперь — такое далекое, щемящее. Лучше и не вспоминать, чтобы не было еще тяжелей на сердце как у самых венценосных героев, так и у автора, так и у тех читателей, которые готовы оплакивать крушение не только своей монархии, но и чужой и которые от всей души презирают республику — это «правление адвокатишек», по меткому определению великого Наполеона.

Явно, официально, их никто не встретил на вокзале. Неофициально же, тайно, было командировано несколько агентов. Им вообще поручено было кабинетом Эррио следить за эмигрировавшей династией, неприятной и неудобной тем левым партиям, которые постепенно губили Францию через своего большевицкого и германского наймита — самодовольного коротенького человечка с плебейской внешностью и с чисто керенской болтливостью.

Остановились в «Континентале», а в течение нескольких дней снимут где-нибудь в Пасси небольшой особняк, где Памела могла бы спокойно разрешиться от бремени и где вся маленькая группа беглецов разместилась и жила бы почти как у себя дома, почти, ибо настоящий, свой, незаменимый дом остался позади, далеко, оплеванный и поруганный.

Кумир поверженный — все же бог. Низложенный король — все же король. Потерявший в глазах социалистического правительства, он продолжает интересоваться и волновать широкие круги общества. Этим кругам любопытно видеть его изображение на пер-

вой странице газеты и под этим изображением прочесть интервью с ним. А пойдя вечером в кинематограф, посмотреть на экране хотя бы, как бывший монарх Пандурии, быстро выйдя из-под портиков гостиницы, садится в автомобиль...

Вот отчего фотографы и операторы, пользуясь колоннами аркад «Континенталья» как надежным прикрытием, с особенным профессиональным терпением часами выжидали кого-нибудь из королевской семьи, чтобы сделать два-три моментальных снимка и «крутнуть» несколько метров фильма.

Фотографам и операторам, нападающим внезапно и с молниеносной быстротой, неизмеримо легче дается успех, нежели интервьюерам. Попытки этих последних проинтервьюировать кого-нибудь из высочайших эмигрантов были тщетны. Адриан, Маргарета и Лилиан никому не давали никаких интервью. Французским, английским, американским и всяким иным журналистам и корреспондентам приходилось довольствоваться в конце концов беседами с Бузни и с Джунгой, хотя из такого свирепого на вид адъютанта

вообще трудно было что-нибудь выжать...

Привлекал всех воинственной суровой живописностью своей старый гайдук с неизменным кинжалом и кольцом за поясом, но разговариваться с ним никак нельзя было. Во-первых, и это самое главное, Зорро не знал ни слова по-французски, во-вторых же, он никогда не отличался особенной словоохотливостью.

Но так или иначе, и его портреты появились в журналах и газетах с текстом со слов Бузни, текстом, которому никто не верил, но который был самой настоящей действительностью. И не виноват же Зорро, что какая угодно фантастика бледнела перед его правдивым жизнеописанием.

Быстро, быстрее, чем думалось раньше, таяли деньги. Уже королева-мать продала через Бузни часть своих драгоценностей, уже не осталось ни золота, ни валюты, захваченных второпях Джунгой из письменного стола в момент бегства, и он, этот же самый Джунга, ликвидировал уже парочку бриллиантовых звезд.

Нельзя сказать, чтобы тратили на себя

много. Наоборот, жили очень скромно даже, но приходилось помогать бежавшим из Пандурии чиновникам и офицерам. Одни бежали от неминуемой смерти, другие от республики, которой не хотели служить.

Как первые, так и вторые, богатые еще вчера, сегодня очутились на парижских панелях нищими. Все трое — королева-мать, король и принцесса — оказывали этим людям самую широкую помощь...

Правда, в Лондонском банке лежало сто тысяч фунтов — приданое Памелы. Но, во-первых, это ее личные деньги, что весьма подчеркивалось в Феррате Элеонорой и Филипом, и, во-вторых, этой суммой обеспечивалось будущее ребенка. Его появление ожидалось почти со дня на день, а грядущее, грядущее принцессы или принца в изгнании, — кого Бог пошлет, — было туманно и неопределенно.

Дорогой отель, хотя и не такой дорогой, как «Мажестик» и «Клеридж», дорогие обеды и завтраки в этом же самом отеле, длинные, выроставшие к концу недели счета, — все это подхлестывало Бузни скорей нанять особняк.

В Пасси, в двух шагах от Булонского леса, на улице доктора Бланш, почти рядом с домом русской гимназии, нанял он за полторы тысячи франков в месяц трехэтажную виллу легкого павильонного стиля, с полной обстановкой, до посуды и столового белья включительно. Здесь было много зелени, было уютно, по-деревенскому тихо. И шум, и грохот Парижа не долетали сюда. Если бы не проносившиеся мимо по вечерам с освещенными окнами поезда городской железной дороги, то нырявшие в закопченную пасть тоннеля, то мчавшиеся на уровне двух этажей, совсем было бы впечатление какого-нибудь Сен-Клю, Буживаля, Севра.

Лет двадцать назад этот особнячок из десяти комнат, соединявшихся витыми лестницами, подарил возлюбленной своей Леле Заруцкой, одесской полуфранцуженке-полупольке, русский богач Печенежцев, служивший тогда, вернее «кутивший», в гродненских гусарах. После этого Печенежцев имел новых любовниц, которых тоже одаривал виллами, пока, наконец, не женился. А в это время Леля Заруцкая старилась и увядала в

Ницце, парижский же особнячок свой сдавала внаймы, вернее, сдавал его преданный консьерж, едва ли не родственник отставной фаворитки генерала, — он теперь уже генерал, — Печенежцева.

И вот капризная гримаса судьбы: в этой вилле, обставленной со вкусом и не кричаще, поселилась королевская семья, царствовавшая в Пандурии, а в широкой белой золоченой людовиковской кровати, где Леля Заруцкая ласкала своего покровителя, спала теперь королева Маргарета. В устных мемуарах веселящегося Парижа запротоколировано было, что пышная людовиковская кровать была некогда ложем самой Екатерины Великой. Печенежцев, при его сказочном состоянии и при его дворцах, мог позволить такую роскошь — приобрести эту антикварную редкость.

Сначала Великая Императрица великой страны, затем одесская красotka без роду, без племени и, наконец, бежавшая на чужбину королева Пандурии. Это ли не «завитушка» переменчивой истории? Предметы и вещи куда «историчней» людей, ибо люди живут

десятки лет, а вещи и предметы — века и даже тысячелетия...

2. ЛИШНЯЯ...

Мы сказали в этой же главе, что правящая Франция отнеслась с плохо скрытым недружелюбием к коронованным изгнанникам.

Да, эта Франция, действующая по указке Блюма, — личного друга Макдональда и Эррио, — и по указке московских большевиков, отнеслась именно так.

Другая же Франция, — она еще совсем недавно была правящей, — оказывала всяческое внимание низложенной династии. В первые же дни, когда королевская семья жила еще в гостинице, поперебывали с визитами и Мильеран, и Пуанкаре, и генералы Фош и Кастельно.

В парламенте среди левых партий это вызвало едва ли не переполох. Социалисты с коммунистами, — они всегда вместе, — кричали:

— Не успел этот король, выгнанный своим народом, приехать к нам, как уже собирает

вокруг себя наших французских фашистов. Это — вмешательство во внутренние дела Франции! Его надо подвести под категорию нежелательных иностранцев и поступить, как с таковыми поступают, — выслать! С его появлением наши роялисты подняли голову. У Адриана происходят тайные заседания членов Бурбонского дома...

Никто не умеет с таким виртуозным мастерством лгать и клеветать, как социалисты, когда «из тактических соображений» необходимо облить противников грязью, и не только одно это, а еще и сделать на них донос. Кому следует.

Разумеется, никаких тайных заседаний не было. Совершенно явно бывали у Адриана его родственники дон Хаиме Бурбонский и принц Сикст из ветви пармских Бурбонов, брат австрийской императрицы Зиты. В этом усмотрена была Кашеном и Блюмом «роялистическая опасность»... Блюм пошептался с Эррио, и министр-председатель с парламентской трибуны заявил, что не потерпит никаких выступлений справа. О том же, что он распахнул двери Франции для советских про-

ходимцев и каторжников, хлынувших в Париж преступной и наглой ордой, об этом Эррио скромно умолчал. Разве это не было в порядке вещей, и разве не точно так же поступил в России ничтожный слизняк Керенский?..

Из Испании приехал полковник герцог Осуна с письмом короля Альфонса, теплым сочувственным письмом Адриану.

Герцог Осуна пояснил, вручая письмо:

— Его Величество поручил мне передать вам, Государь, что при других политических условиях он сам бы приехал в Париж, но это невозможно в данный момент. Позиция, занятая теперешней Францией, Францией господина Эррио, тенденциозно враждебна испанской монархии и королевскому дому. Здесь находят и приют, и деньги, и оружие наши революционеры. Местные социалисты нелегально перебрасывают их на нашу территорию. Здесь сочиняются гнусные памфлеты и пасквили на благородного короля-рыцаря. Вообще, Государь, вы, вероятно, сами заметили, какая здесь нездоровая, отравленная ядовитыми газами атмосфера?! Газами бер-

линского и московского происхождения...

В заключительных строках письма своего король Альфонс приглашал Адриана погостить в Мадриде. Адриан с удовольствием проехал бы на несколько дней, если бы не положение королевы Памелы, день ото дня становившаяся все тяжелей и тяжелей...

Врачи опасались трудных родов, и опасения их, к сожалению, оправдались. Это была уже середина лета в особняке на улице доктора Бланш. Это были непрерывные, страшные физические муки. В течение двух суток вопли и крики несчастной Памелы слышны были далеко за стенами виллы. Принцесса Лилиан, без сна, все время на ногах, переживала все эти ужасы вместе с Памелой.

Консилиум лучших парижских акушеров требовал немедленной операции. Только ценой кесарева сечения можно будет спасти ребенка. Консилиум, совещающийся по-латыни, походил на жрецов-авгуров. Они, только они, знали тайну. Знали, что молодая королева будет принесена в жертву и погибнет под хирургическим ножом. Тайну эту они хранили про себя, заявив всем близким, что в удачном

исходе ни на минуту не сомневаются.

Родился, вернее, вынут был из материнского чрева здоровый крупный мальчик, весивший пять кило. Когда обмывали его красное тельце, мать, обескровленная, не приходя в сознание, скончалась под хлороформом. Эта смерть вышла какой-то незамеченной, побледнела и отодвинулась перед эгоистической радостью отца, бабушки, тетки и всей маленькой свиты и обнаружила со всей беспощадностью, что Памела сама по себе была никому не нужна, не интересна. Никому. Она сделала именно то, чего бессознательно хотели все, все, за исключением, быть может, одной Лилиан с ее кроткой любвеобильной душой...

Она дала жизнь наследнику пандурского престола, она выполнила миссию продолжательницы династии и, выполнив, ушла, как будто сознавая, что нелюбимая, скучная, вялая, всем была в тягость и была бы в еще большую тягость после своего материнства, ибо кому, в конце концов, нужен сделавший свое дело, исчерпавший свою энергию, «отработанный» пар?..

3. ДВА МАЛЬЧИКА — ЖИВОЙ И ВОСКОВОЙ

Лилиан все свое время делила между крохотным племянником и благотворительностью. Подъехал вырвавшийся из Бокаты, бежавший Гарджило, секретарь принцессы. Вместе с ним Лилиан отправлялась туда, где ютились в нищете семьи пандуров, таких же эмигрантов, как и сама принцесса. И Лилиан, и Гарджило брали по корзине со сгущенным молоком, сыром, хлебом, холодным мясом, со всем тем, что кажется таким вкусным голодным людям. К вечеру эти корзины возвращались пустые, а на другой день — то же самое.

Гарджило был калека. И спереди, и со спины он имел по большому горбу и, как у всех горбунов, длинные, сухие, очень сильные руки. В самом деле, природа, обращая человека в безобразный комочек, всю силу, полагающуюся нормальному телу, отдает одним только рукам.

Гарджило от большинства горбунов отличался выражением глаз. У большинства они злые, насмешливые, холодные, пытливые, с

металлическим блеском. У Гарджило они были кроткие, влажные, мечтательно-умоляющие.

Есть женщины, — и много, — у которых горбуны имеют успех. Грешниц тянет к ним чувственное любопытство. Добрых и нежных — сострадание. А кому не известно, что женщины, сплошь да рядом, становятся любовницами несчастных и обиженных судьбой не по темпераменту, а из благотворительности.

Женщины, сделавшие из любви ремесло, особенно же суеверные итальянки, отдаются горбунам в надежде, что те принесут им счастье, т. е. богатую, выгодную клиентуру.

Отношения между Лилиан и секретарем ее были таковы: он боготворил ее, не только ей, но и самому себе боясь признаться в этом. Лишь украдкой осмеливался он снизу вверх поднять на нее свой мечтательный, полный молитвенного обожания взгляд. У нее же была к нему бесконечная жалость. Бережная, хрупкая. В этом чувстве была вся Лилиан с ее трогательной, христианской заботливостью обо всех убогих, обездоленных, сирых...

— Такие, как он, такие больше всех других нуждаются в теплой, хорошей человеческой ласке, — говорила она матери.

А мать говорила сыну:

— Я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день моя дочь, а твоя сестра, заявит нам, что выходит замуж за своего секретаря. Она готова это сделать из своей вечной жажды подвига.

— Это было бы больше, чем подвиг, больше, чем самопожертвование, — с улыбкой, не допускающей мысли о подобном браке, отвечал Адриан. — Слов нет, Гарджило — честнейший, порядочный человек, отлично воспитанный, из хорошей семьи, но одна мысль сопоставить их рядом — чудовищна! Лилиан — высокая, стройная, воздушная, — и этот маленький гном? Это напоминает мне сказку о принцессе и жабе... Нет, не знаю, как вы, но я своего согласия не дал бы ни под каким видом...

На Маргарету сильно повлияла весть о трагической смерти ли Пинелли. Только теперь, когда его уже не было, оценила она во всем объеме и этого человека, и его любовь к

ней. И она казнилась, вспоминая, как она его мучила и с какой изумительной кротостью переносил он все ее капризы, ее высокомерие и надменность.

Она заказывала по нем панихиды в парижских церквах, коленопреклоненная где-нибудь в темном углу, сама вся одетая в темное, молилась, уходя целиком в себя и в свое горе...

Было прямо какое-то желание утомить себя физически, чтобы к вечеру, без мрачных мыслей, вернее, безо всяких мыслей, без досадной бессонницы, лечь и забыться сразу. Она ходила пешком в Люксембургский музей, в сокровищницу Лувра, в «салоны» во время выставок и, не присаживаясь, переходя от одной картины к другой, пешком возвращалась обратно в Пасси. Те, кто узнавал ее, почти-тельно кланялись королеве пандуров, а те, кто никогда не видел ее ни в натуре, ни на снимках, угадывали в этой величавой, необыкновенно сохранившейся красавице знатную, очень знатную чужестранку.

Маргарета еще успела побывать на выставке весенних салонов, закрывавшихся в

первой половине лета. До войны она ежегодно приезжала к первому мая в Даридж и вместе с президентом пышно открывала выставку, приобретая для своего дворца несколько выдающихся картин и скульптур. А сейчас, одинокая, в гладком темном платье и под густой вуалью, чтобы ее поменьше узнавали, ходит она среди бронзовых, бело-мраморных и гранитных изваяний. И шуршит под ее ногами сухой гравий, а высоко над головой раскинулся коричневый гигантский тент, смягчающий потоки горячих лучей июльского солнца.

Маргарета успела осмотреть бесконечные анфилады малиновых зал с тремя тысячами картин и по широкой лестнице спустилась в этот павильон, разбитый на «улицы и кварталы» город, но город не живых людей, а металлических и каменных, застывших, неподвижных. Люди живые — гости, пришельцы здесь.

Эти монументальные изваяния, эти героические мужчины и женщины, эти фигуры в два и больше человеческих роста, обнаженные и полуобнаженные, не сказали ей ничего. Они были грамотны, пластичны, пожалуй,

но холодны, и она так же холодно проходила мимо.

Но вот вниманием ее овладела совсем-совсем небольшая вещь: под стеклянным, в виде усеченной пирамиды, колпаком. Это — сидящий мальчик из красного воска. Хорошенький мальчик, лет восьми, изящный, породистый. В эскизной смелой лепке, широкой — и в то же время тончайшей, в обработке лица и рук угадывался свежий, сильный талант. Явилось желание купить эту вещицу. Она заглянула в каталог: «Портрет князя Леона Радзивилла. Не продается».

— Мадам, вас интересует эта... этот маленький портрет? — услышала она близко-чуждый, робкий голос и так же близко увидела перед собой молодого человека, вернее, юношу, отлично и мощно сложенного, с непокрытой головой, с орлиным лицом, гордым и в то же время наивно-прекрасным, детским.

— Да, это очаровательная вещица! — ответила Маргарета. — А вы, мосье, вы автор?

— Да, я... — сконфуженно ответил он, вспыхнув всем своим нежно-румяным лицом.

— У вас большой талант! Большой! Вы так молоды и уже выставляете в «салоне», куда многие годами тщетно стараются попасть... Перед вами громадное будущее...

Юноша виновато молчал, как пойманный на месте преступления школьник. Его живые, блестящие глаза смотрели умоляюще и, словно крылышки черных мотыльков, трепетали мягкие длинные ресницы.

Маргарета заметила: у него такие же ресницы, как и у Адриана... Этот юный художник, такой беспомощный, конфузливый, со своей фигурой юного Геркулеса, которой было тесно в синем шевиотовом пиджаке, стал ей как-то сразу симпатичным и близким...

— Над чем вы работаете? — спросила она, вкладывая все свое очарование и в голос, и в улыбку, чтобы хоть немного ободрить юношу...

— Я? Ни над чем... Нет настроения... хотя... До сих пор не было... Но, мадам, если бы вы согласились... О, если бы вы согласились позировать мне для такой же маленькой статуэтки, я... я вылепил бы королеву... королеву в тихих, мечтательных сумерках...

— Королеву в изгнании, — мысленно поправив, молвила она вслух. — Так вы хотели бы изобразить меня королевой, милый мальчик?

— О, да! — вырвалось у него уже смелее, и он окинул ее всю загоравшимся артистическим взглядом. — Ваши линии — царственны! Я не буду утомлять вас... Пять-шесть коротеньких сеансов и...

— Хорошо, я буду с удовольствием позировать вам. Но с условием — статуэтку я приобретаю... Она — моя...

— Нет... зачем же... Я и так... я вам ее преподнесу...

«Он не француз», — подумала Маргарета и спросила:

— Вы не парижанин?..

— Русский... эмигрант... Как все мы теперь...

— Да, мы все эмигранты, — невольно вырвалось у нее.

— Ах, мадам тоже русская?

— Нет, я иностранка... Где ваше ателье?

— Увы, очень далеко от центра... Пожалуй, это вас испугает и вы... не захотите... Пасси,

улица Гро, дом 48. Мой адрес в каталоге. А фамилия моя — Сергей Ловицкий.

— Я знаю улицу Гро... Я буду к вам приходить...

— Как это хорошо!.. В таком случае, когда же первый сеанс? Когда вы пожелаете ко мне?.. Только, ради Бога... у меня очень скромное ателье... очень...

— Я могу быть у вас завтра в одиннадцать утра.

— Я буду вас ждать... Непременно? — это «неприменно» было страхом, что она забудет или раздумает и не придет.

— Непременно, — обнадежила она его.

Юноша, боясь быть в тягость этой величественной даме, поспешил откланяться, поцеловав протянутую руку...

4. НОВОЕ ЧУВСТВО

Широкий в плечах, с обнаженной головой, он скрылся за группой громадных мраморных женщин, изображавших фонтан.

А королева с каким-то новым чувством всматривалась в портрет маленького Радзивилла. Вообще что-то новое угадывала в себе, и оно, это новое, заставило по-особенному как-то, не изведенному еще, забиться сердце...

Она ощутила вдруг прилив материнской любви к этому юноше, той любви, какой не могла, да и не имела времени дать дочери и сыну в их детстве. Королева на каждом шагу заслоняла и заглушала мать. Между ней и детьми были целые анфилады комнат. Она видела своих детей каждый день, но мельком, второпях.

Правда, она следила за их воспитанием, сама внушала им любовь к прекрасному, хорошему, чистому, но это выходило как-то рассудочно, не согретое настоящей материнской любовью. Королеве хотелось, чтобы принцесса и наследный принц, дети ее, были хорошо

воспитаны, образованы, понимали в литературе, искусстве, умели чаровать всех... Да, это было именно так, но это не было чем-то родным, бесконечно близким, когда дети поверяют своей матери самые сокровенные уголки своих мыслей, желаний и своих сердец, жаждущих высказаться...

Этого не было. И сейчас, под коричневым тентом возле тумбочки с детской фигуркой под стеклянным колпаком, особенно ярко и ясно поняла Маргарета материнскую вину свою по отношению к собственным детям. Но теперь уже поздно искупать ее. Уже выросло и окрепло, — не отчуждение, — нет, — они, в конце концов, большие друзья, а то, чего уже никак не вернешь. Да, не вернешь теплоты, безмятежной радости, ласки.

И если бы она вздумала приласкать выросших детей, она встретила бы недоумение не только в темных миндалевидных глазах короля, но даже и в лучистых глазах принцессы. Пожалуй, эта запоздалая материнская ласка показалась бы им сентиментальной, сама же она, Маргарета, — сошедшей со своего пьедестала.

На другой день, в без четверти одиннадцать, выйдя из дома, направилась она в ту часть Пасси, где была улица Гро. По пути — уютные виллы в зелени садов и цветников. В этих садах и цветниках — наивно-провинциальные синие и голубые стеклянные шары, с яркими бликами горевшего на них солнца. Да, и эти шары, и эта зелень, эта листва деревьев, затаившая в себе щебечущих птиц, это почти безлюдье — все это совсем-совсем отодвигало Париж. Вот почему любила Маргарета свои утренние прогулки по этим дремлющим за железными решетками тихим, застенчивым кварталам с их особенной французской серебристостью, серебристостью и в воздухе, и в бело-серооливчатой окраске домов, и в зелени травы и деревьев, и во всем, решительно во всем...

Маленький асфальтовый дворик с водопроводом и вползающим по стене виноградом. Узкий винт деревянной лестницы, скрипящей под ногами.

Полуоткрыта дверь. Юный скульптор в белом балахоне ждет обещавшую ему позировать даму. Он едва-едва себя заставил под-

няться с постели всего каких-нибудь полчаса назад, наспех прибрал комнату, наспех умылся. На его густых волосах еще блестят капли воды.

— Я не опоздала?..

— О, нет! Одиннадцать минут в минуту! Ах, как хорошо, мадам, что вы в том самом платье, в каком были вчера. Оно делает фигуру более пластической. Это именно как раз для скульптуры... А только вот как относительно шляпы? — и это показалось ему смелым, и он сконфузился.

Но Маргарета поспешила на помощь.

— Позировать в шляпе, которая через несколько месяцев выйдет из моды, а через несколько лет превратится в анахронизм, — я вас понимаю... Я захватила с собой испанскую мантилью. Она скрадывает современную прическу и портрет никогда не устареет. — И с этими словами Маргарета вынула тончайшую черную кружевную мантилью.

— Какая работа! — восхищался Ловицкий. — Воздушность какая! Настоящие испанские кружева!..

— Это подарила мне знакомая испанка в

день моего ангела, — пояснила Маргарета, не пояснив, однако, что подарок сделан инфантой Эулалией, теткой испанского короля.

С первого взгляда убедилась Маргарета, что юный, так блестяще дебютировавший в «салоне» скульптор живет бедно, одиноко, ничья заботливая женская рука не ухаживает за этой скромной гарсоньерой, соединяющей в себе жилое помещение с ателье.

Работ не было никаких, кроме большой головы, застывшей в экспрессии ужаса. Какая-то горячая галлюцинация, холодящая кровь, бьющая по нервам, приковывающая внимание. Получеловек-получудовище, и трудно сказать, где в этих крупных и резких чертах грань между реальным и фантастическим...

Мощная лепка так непохожа на ту нежную, изящную технику, с какой исполнен был портрет мальчика.

Маргарета долго не могла оторваться, наконец сказала почти с волнением:

— Это непременно следовало бы выставить! Непременно! Вы имели бы громадный успех...

— Да, я хотел, но уже не было времени отлить в гипсе... — краснея, сочинил Сергей Ловицкий первое попавшееся. Время было, он еще месяц назад вылепил эту голову, но не было денег заплатить формовщику за гипс и за работу.

Королева так и поняла. В один из ближайших сеансов она закажет ему эту вещь в бронзе и предложит аванс.

Начали сообща выбирать позу. Решили, что она должна быть сидячей, — наиболее удобная композиция для мечтательных сумерек.

— Было бы профанацией посадить вас, мадам, на этот жалкий, мещанский стул! К вашей фигуре и к вашей мантилье очень пошло бы тяжелое кресло с высокой спинкой, вроде тронного... Какой-нибудь испанский ренессанс... Это было бы такое впечатление, такое...

— Не волнуйтесь, милый мальчик, не волнуйтесь... — успокаивала его Маргарета. — мы как-нибудь это поправим...

— Как же мы это поправим? Как? — с отчаянием вырвалось у него.

— Сегодня же будет у вас кресло... Именно такое, тяжелое, с высокой спинкой, резной по краям, с завитушками эпохи Возрождения...

— Ах, у вас есть? Как это прекрасно! — и у него сразу отлегло, будто спал с души камень, и весь он, такой меняющийся, неровный, повеселел сразу. — Отлично! А пока мы наметим в общих чертах, подготовим эскиз, который завтра начнем разрабатывать...

Он усадил свою модель и бережно поправил складки платья, чтобы они живописно драпировались и чтобы видны были красивые, породистые, с высоким подъемом и тонкой сухой щиколоткою ноги этой незнакомой дамы, принявшей в нем такое участие.

Как только начал лепить, — преобразился. Робкого, беспомощного юноши не было и в помине. Маргарета с удивлением наблюдала эту разительную перемену. Это был творец, прекрасный, как молодой полубог. Мощное вдохновение горело в блестящих глазах, в сильных, ставших такими нервными, пальцах, во всем существе...

Несколько минут — и бесформенный воск превратился в женщину, пока еще эскизную,

хаотическую, но уже одухотворенную трепетанием жизни... Еще не было портретного сходства, ибо не было еще портрета, но было то, что дороже всех портретов на свете. Был угадан и схвачен «стиль» Маргареты, ритм ее линий и форм. Это была она, это были ее колени и плечи, ее ноги и складки платья, хотя голова и лицо едва-едва только намечены...

Прищурился глаз, скульптор последний раз проверил себя, сравнив свою модель и свой набросок. Он остался доволен и, с еще не погасшим румянцем творческого возбуждения, сказал:

— На сегодня будет! Если вы сегодня пришлете кресло, я им займусь, чтобы завтра не утомлять вас... Ах, как я вам благодарен, мадам! Это выйдет... чувствую, выйдет хорошо...

Она уходила. Юноша не вызвался ее провожать. И это было оценено ею и показало лишней раз его чуткость. Всякий другой на месте его пытался бы расшифровать ее инкогнито, добиться, — кто она?

Она же хочет остаться для него незнакомой дамой без имени. Разве не вправе она, хотя бы теперь, в изгнании, доставить себе это

невинное удовольствие? Удовольствие быть хотя бы для этого мальчика просто женщиной и просто человеком, другом, матерью, а не королевой, которой она была всю жизнь.

Да, всю жизнь, и всю жизнь окружающие относились к ней сначала как к принцессе, а потом как к королеве. Правые — с обожествлением каким-то, левые — с тупой завистливой злобой. Первые, что бы она ни сказала, что бы ни сделала, — все находили неподражаемо-прекрасным, вторые же ударялись как раз в противоположную крайность...

Взять хотя бы этого юношу. Он чужд всякого карьеризма, он чист душой, парит в облаках. Но если он узнает, что ему, так просто и мило позирует дама, которую все зовут «Вашим Величеством», он почувствует себя святым, потеряет свою самобытную прелесть и перестанет вдохновенно творить, подобно птице, поющей на ветке. Пускай же она поет, и сохрани Бог вспугнуть ее...

5. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На другой день в это же самое время, в этой же самой бедной комнате Маргарета позировала уже в том самом кресле, которое мерещилось вчера воображению Ловицкого.

Маргарета обошла несколько антикварных магазинов по бульварам Гаусман и Мальзерб, пока нашла наконец то, что искала. Мрачное монументальное великолепие было в этом кресле, и, почему знать, быть может, в нем сидели гранды и вельможи Филиппа IV и Карла V.

— Как оно отражает эпоху! — восторгался Ловицкий. — Здесь и красота, и блеск, и незыблемость... И веришь, что тогда, именно тогда, могла Испания дать и Сервантеса, и Веласкеса, и Колумба, и что в ее владениях никогда не заходило солнце...

Второй сеанс значительно подвинул работу. Уже достигнуто было и портретное сходство. Уже лицо, черты и голова были тщательно если и не отделаны пока, то прочувствованы, а легкая, воздушная техника воздушной мантильи, покрывавшей волосы, сде-

лала бы честь даже очень большому мастеру.

Сеанс кончен. По желанию Маргареты юноша рассказал ей о себе.

Он родился на берегу Черного моря, в Одессе, где его отец был директором банка. Сережа имел еще двух старших братьев. Сам он в первый день своего появления на свет обещал быть крупным, здоровым мальчиком. Когда его взвесили, в нем оказалось пятнадцать фунтов. В гимназии он был сильнее всех. Он ходил даже зимой без фуражки, и за это ему доставалось от начальства. Зимой же он купался в море. За это доставалось тоже. На это хватало у него и энергии, и воли, а на все остальное — нет.

Он ни разу не пришел вовремя в гимназию. Каждое утро мать самым решительным образом старалась его добудиться. И если бы не это, он спал бы до полудня, а то и дольше. Учиться не было никакого желания. Особенно трудно давалась математика и, когда на выпускном экзамене учитель хотел поставить ему двойку, другой учитель-ассистент остановил своего коллегу:

— Вы только посмотрите на него! Какие

плечи, грудь, мускулатура! Ну, зачем, зачем ему ваша математика, если он и без нее будет счастлив?

Экзаменатор подумал-подумал, четко вывел тройку, и аттестат зрелости был спасен.

Еще в гимназии Сережа начал заниматься скульптурой. Мать настаивала, чтобы он шел в Академию художеств. Подоспела революция. При большевиках отец был арестован как буржуй и увезен куда-то. Он успел шепнуть жене, чтобы она бежала с младшим сыном за границу. Старшие сыновья были уже там. Миша имел свою торговую контору в Галаце, Борис жил вместе с женой в Швейцарии.

Сережа с матерью бежал в Румынию. Там они разделились. Мать уехала в Швейцарию к Борису, а Сережа в Милан. Почему в Милан — Сережа и сам не знал. Первое время он бедствовал, зарабатывая гроши своей скульптурой. Но вот он познакомился с синьором Гамерио, владельцем большой кинофабрики «Гамерио-фильм».

С первой же встречи Гамерио постановил:
— Вы будете у меня на главных ролях... Я

сделаю из вас знаменитость!..

Сережа играл в пятнадцать кинодрамах. Кого он только не играл! И английского офицера, и «салонного» атлета, бродягу и художника, герцога и индийского магараджу в тюрбане и в фальшивых бриллиантах. Снимались в Венеции, в Неаполе на вилле д'Эсе, на берегу Комо. Сережа зарабатывал много и еще больше тратил, неизвестно даже на что. Хотя, вернее, раздавал больше, чем тратил. А мать за это время очутилась в Париже и настойчиво требовала в письмах бросить кинематографию и ехать в Париж, чтобы серьезно заняться скульптурой.

И вот они вдвоем в Париже, в этой самой комнате. Под влиянием матери и под ее неусыпной опекой Сережа начал работать, посещать Академию художеств. Материально было очень тяжело. Братья помогали, но этого еле-еле хватало. В последнее время Сережа получал кое-какие заказы, и стало много лучше.

Маму угнетало отсутствие всяких известий о муже. Говорили, что он в Крыму, но никто ничего не знал в точности. Мучимая

неизвестностью, мама, всегда склонная к истерии, все больше и больше нервничала. Все резче и резче проявлялась в ней лунатичка. Стоило месяцу заглянуть в окно, как неодолимая сила тянула ее из дома. Она ходила по всему Парижу с закрытыми глазами, спокойно лавируя среди автомобилей, трамваев, экипажей. Она ходила так быстро, что Сережа едва поспевал за ней. Однажды ночью на авеню Клебер она сказала ему, не открывая глаз:

— Я сейчас найду двадцать франков...

Через несколько десятков шагов нагибается и поднимает двадцатифранковую бумажку. Это было весьма кстати. У них было всего несколько сантимов.

В такие «сомнамбулистические» моменты в нее вселялась громадная физическая сила. Однажды они шли во время этих скитаний по Парижу через мост Александра III. Мать каким-то несвойственным ей хищническим движением рванулась к перилам и уже занесла ногу, чтобы броситься в Сену. Сережа вовремя успел схватить ее и оттащил, оттащил после тяжелой борьбы. А ведь он легко справлялся с двумя-тремя мужчинами обыкновен-

ной средней силы. Еще на днях Карпантье звал его: «Идите ко мне. Через полгода я сделаю из вас чемпиона бокса».

Около двух месяцев назад мать истерзалась вконец сама, и вместе с ней истерзался и сын. Приступы лунатизма обострились все в более и более опасной и жуткой форме. С закрытыми глазами, в трансе, она твердила, что отец расстрелян, описывала во всех подробностях картину убийства. Наяву же ничего этого не помнида, жадно стараясь получить хоть какую-нибудь весточку об исчезнувшем дорогом человеке.

И вот она пришла — весточка, неумолимая, не оставляя никаких сомнений... Он погиб в Крыму. Погиб в той самой обстановке и в тех самых условиях, как рисовалось матери в лунные ночи. Этот удар сломал ее, и без того надломленную. У несчастной помутился рассудок. Из Швейцарии приехал Борис, увез с собой мать и поместил ее в лечебницу для душевнобольных в окрестностях Люцерна.

А Сережа? Сережа остался один. Портрет маленького князя Радзивилла — это последний заказ, добытый матерью. Сам же он в

этих делах ничего не понимает. Ему кажется неловким и странным брать деньги за то, что ему самому доставляет удовольствие...

Окончив свой рассказ, он умолк с виноватым видом. Молчала и Маргарета. Теперь, после всего услышанного, укрепились в сложившемся с первой же встречи мнении, что этот мальчик погибнет при всех своих богатых данных. Пропадет без теплой, душевной ласки и без строгой, умной опеки. До сих пор и то, и другое ему давала мать, но, увы, она очутилась в доме для душевнобольных, и этот ребенок с фигурой юного Геркулеса предоставлен самому себе в громадном, чужом и холодном Париже...

После длительной паузы между юным скульптором и его моделью начался диалог из прямо поставленных, как бы экзаменационных вопросов и еще более прямых обезоруживающих ответов.

Королева. Вы работали как артист кинематографа. Теперь вы занялись скульптурой. К чему же у вас большее влечение?

Сереза. Ни к тому, ни к другому...

Королева. Ну, хорошо. Вы играли интерес-

ные роли, вы перевоплощались, меняли обстановку... Вас окружали красивые артистки. Неужели все это вас не захватывало?..

Сереза. Ничуть, мадам... Уверяю вас, мне было скучно, и, если бы не Гамерио, заставлявший меня играть едва ли не из-под палки, я бы давно его бросил...

Королева. А скульптура? Ведь это же настоящее, глубокое творчество!

Сереза. Процесс работы иногда увлекает меня, но чтобы я любил скульптуру, желал посвятить себя ей целиком, — нет, не скажу...

Королева. Странный мальчик... Такой одаренный и такой...

Сереза. И такой пустоцвет! Да, я пустоцвет. Из меня никогда ничего не выйдет...

Королева. Но почему же? Почему?.. Хорошо, оставим в покое искусство, но вы же молоды, красивы, цветущи. Перед вами — жизнь, полная самых прекрасных возможностей, ярких пленительных радостей. Неужели вам не хочется жить? Просто, язычески просто упиваться жизнью без всяких мудрствований, сомнений?..

Сереза. У меня нет вкуса к жизни...

Королева. Но вы влюблялись? Были у вас романы?

Сереза. Нет, не влюблялся... А романы были... Но... помимо моего желания.

Королева. То есть как это?

Сереза. Так... Я никогда не делал первых шагов... Ленъ была. Если даже мне кто-нибудь и нравился... Обыкновенно инициативу брала в руки женщина... И я... подчинялся...

Королева. Даже если она вам не нравилась?

Сереза. Да... У меня не хватало воли для сопротивления.

Королева. Вам часто проходило «не сопротивляться»?..

Сереза. Да... Я не знаю, что их тянуло ко мне... Как будто мало на свете мужчин...

Королева. Но все-таки, вы же хотите чего-нибудь от жизни. Есть же у вас какие-нибудь идеалы?

Сереза. Я хотел бы лежать целыми днями, не вставая, и думать...

Королева. О чем?

Сереза. Я и сам не знаю... В последнее время, прочитав «Тарзана», я все приставал к ма-

ме: «Почему ты не отдала меня на воспитание к обезьянам? Я жил бы среди них в джунглях, лазил бы по деревьям».

Королева. Вот видите, лазили бы! Приходилось бы добывать пищу, бороться за существование... Тарзан, лежащий целыми днями в гамаке из древесных ветвей, — надеюсь, вы себе его не таким представляете?..

Сереза. Вы правы, мадам... В таком случае, я не хочу быть Тарзаном... Но я утомил вас своими глупостями. Вы думаете: «Вот еще урод!»

Королева. Да, урод, но какой неиспорченный, чистый...

Сереза. Нет, я испорченный! Я одно время нюхал кокаин.

Королева. Зачем вы это делали?

Сереза. Меня заставляли...

Королева. Женщины?

Сереза. Да, женщины...

6. РАСКАЯНИЕ...

Внешне Адриан почти не изменился. И в штатском он держался так же прямо и так же энергичны были его движения. Движения солдата-спортсмена, которому всегда тесно в четырех стенах и как если бы он продолжал носить шпоры и зеленоватый гусарский доломан, расшитый белыми бранденбургскими.

Но в душе его и катастрофа, и все последующие события оставили глубокий след. В конце мая 1924 года он впервые лицом к лицу столкнулся с человеческой несправедливостью и подлостью, узнал истинную цену этой несправедливости и этой подлости и увидел всю их отвратительную, неприкрашенную изнанку...

Уже спустя месяц с чем-то начались паломничества из Пандурии в Париж, Приезжали отдельные граждане, приезжали целые делегации «ходовиков» из горных и степных провинций. И все в один голос:

— Ваше Величество, горе нам! Эта республика, — будь она проклята... Мы никогда не знали, что такое голод. И хлеба, и овец, и сви-

нины, и кислого молока, — всего было вдоволь, а теперь уже кое-где начинается нехватка всего... К зиме будет хуже. Шайка, захватившая власть, разоряет и грабит казну. На деньги народа президент сам себе полносит имение за имением. Эти подарки обошлись уже в сорок два миллиона франков. За один месяц на содержание дворца и семьи президента истрачено больше, чем отпускалось по гражданскому листу на всех членов династии на весь год. Но династия создавала страну, ковала ее благополучие и мощь, а эти мерзавцы губят и разоряют ее... Вся Пандурия плачет по своему законному Государю, который был вместе со своим народом и своей армией и вместе с ними испытал и сладость успехов и побед, и горечь несчастий и поражений. Мы знаем, Ваше Величество, что у вас ничего нет в заграничных банках, а эти каналы Мусманек и Шухтан уже перевели потихоньку за границу большие миллионы в золоте и в крупной иностранной валюте...

Молча, с неподвижным лицом и без своего обычного, такого обаятельного выражения томных миндалевидных глаз, выслушивал

Адриан эти жалобы, ничуть его не трогавшие. Выслушивал, потом говорил в ответ:

— Ах, вот какие теперь вы печальные песни поете!.. Я знаю наперед все ваши возражения. Все! Не вы хотели революции, и не вы ее делали... Так, верю вам, вполне верю. Нужна была революция ничтожной кучке бездельников, тунеядцев и мелких честолюбивых неудачников, жадных, злых, завистливых... Да, кучке! Все вы знаете меня, слава Богу, не со вчерашнего дня... Я всегда был с вами в самые трудные минуты, я, король ваш... Но когда стало очень тяжело, когда под меня начался подкоп, когда певица в парламенте и певица в прессе начала травить меня и расшатывать государство, где были вы? Не знаю где, но только не вместе с королем и не вместе с Пандурией!..

— Вы спросите, что же вы могли бы сделать? — продолжал после небольшой паузы Адриан. — Все! Одним вашим гневом, одним вашим порывом, стихийным, как лавина, могли бы вы смести все то, что губило Пандурию и валило династию, валило тысячелетний трон пятидесяти восьми королей, я —

пятьдесят девятый... Но, допустим, ленивые, беспечные, сонные, вы прозевали, проспали ту ночь, когда я чудом избежал смерти и во дворец ворвалась пьяная чернь, вслед за которой вошел туда Мусманек... Допустим... Но и тогда, в первые же дни, вы могли спасти положение. Вы могли отрезать Бокату, не дать ни одного кило хлеба, подчинить себе новую власть и продиктовать свои условия. И узурпаторы немедленно капитулировали бы перед вами, несмотря на все свои броневики, пулеметы и пушки... Вы этого не сделали... Вы предпочли вместо позиции наступательной занять созерцательную: «Посмотрим, что из всего этого выйдет»... И вот теперь, когда собственным горбом начали убеждаться, что дело дрянь и банда захватчиков вместе с четырьмястами парламентских болтунов губят Пандурию, вы раскачались и нашли дорогу ко мне... Все это противно и больно... Сейчас я и слышать ни о чем не желаю. Вам хочется возвращения короля? Вы этого пока не заслужили... Нет! Короля надо выстрадать... Потерпите... Попробуйте большевизма, который еще чаще заставит вас вспоминать «Кроваво-

го Адриана»! Пусть повластвует, поиздевается над вами вся эта темная международная шайка... Пусть она покроет Пандурию сетью своих чрезвычайек, пусть превратит вас в своих рабов, пусть проделает все, что проделали с несчастной Россией, и вот когда вы проживете несколько месяцев в этом «земном раю», тогда приходите ко мне... Может быть, мы до чего-нибудь договоримся... Может быть... Но предупреждаю: я поставлю железные условия. О конституции придется забыть: вы не доросли до нее... Только я, один я, буду отвечать перед народом, перед Богом и перед собственной совестью... Если я въеду в столицу моего народа и моих предков, то лишь как самодержавный монарх...

Так или приблизительно так заканчивалась каждая аудиенция в трехэтажном особняке близ Булонского леса. Речь короля, полная гнева и горечи обиды и в то же время полная веры в себя и в свои силы, производила на ходочков громадное, подавляющее впечатление. И, провожаемые седоусым Зорро, смущенные, виноватые, пристыженные, покидали они виллу своего монарха, долго не

решаясь посмотреть в глаза друг другу...

А через несколько дней ходоки были у себя дома, в своих горных селах и равнинных деревнях. С оглядкой и с опаской собирались то по хатам, то под открытым небом. За многие десятки километров стекалось христианское и мусульманское селячество послушать ходоков, вернувшихся из Парижа. И блестели глаза, пресекалось дыхание, учащенно билось сердце и нетерпеливо-жадно сыпались вопросы. И чаще всего:

— Ну, а как же они там живут? Как?

— Живут в обрез, — отвечали ходоки, — не держат автомобиля... Дорого! Сами помогают еще беженцам. Принцесса Лилиан такая же святая и теперь, в изгнании, какой была во дни своего величия... Королева-мать продает свои бриллианты, и через несколько месяцев, пожалуй, и продавать-то нечего будет... Это все нам Джунга, Зорро да Бузни рассказывали...

Молчание. Вздохи. Смущение. Покачивание головами.

— До чего дошло! Король нуждается! Наш король! А эти прощелыги, эти вчерашние го-

лодранцы, черт их знает, из каких крысиных подполий, греют рученьки да набивают себе карманы пандурскими миллионами. Эх, бросить клич по всем деревням и селам, от края до края, собрать этак миллионов пять и отвезти Его Величеству.

— Не возьмет, прогонит!.. — отмахивались ходоки. — Не заслужили мы этого... Не заслужили!..

— Да, что верно, то верно... Не заслужили мы такой чести, не уберегли его, — наше солнце... Потому-то с тех пор и темно все кругом... Темно и на сердце... — и, потупившись, чесали пандуры свои затылки...

— Так не хочет ехать, не хочет? — допытывался кто-нибудь.

— И слышать не желает!..

— Видать, до самого дна души прогневали мы его...

— А если бы появился он среди нас, то-то хорошо было бы!.. Все встали бы! Все! И деды, и внуки... Муллы в мечетях газават объявили бы; попы в церквах — крестовый поход против нечисти. И сказали бы ему: «Веди нас, солнце наше, веди!..»

Кто-нибудь из ходяков несколькими словами вспугивал эти мечты, опрокидывал иллюзии. И эти слова были ужасны:

— Он хочет, чтобы мы испили чашу до дна, чтобы помучились под большевиками...

— Он жесток!

— Нет. Он только справедлив!.. Мы без вины причинили ему страдание, теперь мы сами должны его выстрадать. Грех должен быть искуплен жертвой, а мы великие против него грешники... Нам не миновать большевизма, и он будет, будет, и через него придет очищение...

И все затихало в такой цепенеющей жути, словно красное коммунистическое чудовище было уже совсем близко, за спиной у каждого... Так близко, что уже обдавало своим смрадным дыханием, обдавало запахом крови, едкой гари и пороха... И ежились человеческие тела, и головы уходили в спину, как бы прячась от прикосновения липких лап омерзительного чудовища...

7. В НОВОЙ РОЛИ

Хотя этикет в королевской вилле упрощен был до крайности, но все же лицо, желавшее получить аудиенцию у Маргареты или у Адриана, попадало сперва к Джунге.

Так и в данном случае. Пухлый, розовый, подвижный иностранец, впущенный лакеем и пронизанный суровым взглядом Зорро из-под пучковатых бровей, никак не мог миновать адъютантской комнаты с дежурившим в ней Джунгой. В штатском платье адъютант имел значительно менее свирепый вид, но зато казался гораздо шире и массивнее.

— С кем имею удовольствие? — спросил Джунга, слегка привставая.

— Ван-Брамс... Издатель и журналист... А впрочем, вот моя карточка... — ответил розовый господин по-французски, хотя и довольно бегло, но с заметным акцентом.

— Журналист? — переспросил адъютант, и «крысята» зашевелились над его верхней губой. — Мне запрещено давать какие бы то ни было сведения в печать. Их Величество не дают никаких интервью... Поэтому... — много-

значительно не договорил Джунга, выпрямляясь.

Но господин Ван-Брамс сделал успокоительно-плавный жест, и на его мизинце заиграл бриллиант. И после этого уже обратил внимание адъютант на крупную жемчужину в темном галстуке издателя-журналиста.

— О, господин полковник, вы не так, совсем не так изволили меня понять... Я приехал не для получения сведений и не для интервью... Цель моего посещения куда более широкая, интересная. Я — издатель. Я разбираю ежегодно миллионы экземпляров книг по всему земному шару и, по крайней мере, на двенадцати языках. У меня отделения и свои типографии в Нью-Йорке, Париже, Берлине, Брюсселе, Гааге, Милане. Словом, я прошу вас устроить мне аудиенцию у Его Величества.

— Аудиенцию? Я обязан в точности доложить, о чем вам желательно беседовать с Его Величеством... И, в зависимости...

— О, да, да, конечно... Я вас понимаю, — вежливо перебил Ван-Брамс. — Предмет беседы следующий, господин полковник: я хочу

обратиться к Его Величеству с предложением, не соблаговолит ли он написать для меня свои воспоминания, которые я мог бы выпустить одновременно на нескольких языках. Желательно один большой том, хотя еще лучше разбить весь труд на две книги среднего формата. Если воспоследует принципиальное согласие, я уже в личных переговорах с королем выясню сумму гонорара, которая, смею надеяться... Но не будем забегать вперед... Когда я могу узнать ответ Его Величества?

— Оставьте ваш телефон...

— Телефон имеется на моей карточке...

Звонить наверняка можно от восьми до девяти утра.

— Завтра я вам дам ответ...

И действительно, на другой день Джунга позвонил господину Ван-Брамсу. Уже в десять утра Ван-Брамс был принят Адрианом в его полукабинете-полугостиной.

— Какую цель преследуете вы, желая издать мои воспоминания? — спросил Адриан.

— Коммерческую, исключительно коммерческую... От Вашего Величества не скрою, на этой книге я могу заработать. Я очень рад, что

идею мою до сих пор еще никто не предвосхитил. Я не сомневаюсь, воспоминания Вашего Величества будут интересны и живы, чего, например, никак нельзя сказать про воспоминания императора Вильгельма и кронпринца.

— Как вы представляете себе мои воспоминания в смысле материала? Что вам желательней подчеркнуть и оттенить?

— Все, Ваше Величество, все! Полная творческая свобода. Коснитесь вашей династии, задержитесь на ваших детских впечатлениях! Встречи, знакомства, воспоминания об иностранных дворах. Хотелось бы, чтобы, по крайней мере, четверть книги была уделена минувшей войне и почти столько же последним годам вашего царствования до этой нелепой революции включительно. Подходят Вашему Величеству мои условия? Условия купца, желающего иметь первосортный товар?..

— Подходят... Но не знаю, подойдут ли вам мои условия?..

— Ваше Величество, я ассигновал...

— Нет, я не об этом... — улыбнулся король. — Дело не в деньгах, а в моем субъек-

тивном освещении, которое я намерен придать этим воспоминаниям. Я буду резок, буду беспощадно правдив по отношению ко многим государственным деятелям, играющим и теперь еще большую роль в своих республиках и монархиях. Затем я буду бичевать социалистов и большевиков. Книга должна быть боевой, агитационной, иначе я ее себе не представляю... Если это вас не пугает...

— Нисколько, Ваше Величество! Наоборот, все, что вы изволите требовать — залог успеха! Это будет настоящей «бум»! А теперь позвольте, Ваше Величество, перейти к стороне финансовой и технической. Я приобретаю воспоминания в полную собственность... Размер их должен быть не менее двадцати печатных листов большого формата, другими словами, около трехсот двадцати страниц. Никак не менее! Желательно — больше. Срок написания — три месяца со дня заключения договора. Я буду рукопись брать по частям. Она будет перестукиваться на машинке в нескольких экземплярах и раздаваться переводчикам. Смею любопытствовать, на каком языке будет оригинал?

— Я буду писать по-французски, а редактировать будет королева Маргарета, владеющая этим языком в совершенстве.

— Великолепно! А с французского мы переведем на английский, немецкий, итальянский, голландский, шведский и на русский. За все это я могу предложить триста двадцать тысяч долларов, примерно по тысяче долларов за каждую страницу. Ваше Величество не имеет ничего возразить против назначенной суммы?

— Ничего...

— Порядок уплаты следующий: треть я вношу в момент подписания условия, следующую треть — через шесть недель и, наконец, последнюю треть — по окончании рукописи. Возражений со стороны Вашего Величества не имеется?..

— Нет...

— В таком случае, когда вам будет угодно подписать условие?

— Да хоть сейчас...

— Прекрасно! Я захватил с собой готовый текст и чековую книжку.

— Вы очень предусмотрительны, господин

Ван-Брамс!

— Ваше Величество, нельзя иначе! Необходимо ловить момент! Настроения меняются...

Этот «заказ» доставил Адриану большую радость. Весело, как никогда еще весело за последнее время, говорил он Бузни:

— Вот где можно будет отвести душу!.. В этих воспоминаниях!.. И вообще очень интересный труд... Я уже увлечен... А затем, затем, подумайте, Бузни... Это первые деньги, заработанные мной по-настоящему!.. И более чем кстати! Деньги нам нужны весьма и весьма!..

— Я так счастлив, так счастлив, как если бы это был мой собственный успех! — сиял Бузни.

— Да? — как-то значительно спросил Адриан, всматриваясь в него и прибавил задушевно, тепло:

— А знаете, милый Бузни, я виноват перед вами... Виноват...

— Чем, Ваше Величество? Чем? Наоборот, я всегда был так обласкан... И в лучшие дни, и теперь, в изгнании...

— Видите, бывали моменты, когда я сомневался в вас. Иногда мне казалось, что в тяже-

люю минуту вы можете... можете меня покинуть... Действительность же показала совсем другое. И вот я чувствую себя виноватым и каюсь...

— Ваше Величество, в данном случае виноваты не вы...

— А кто же?

— Я! Вернее, моя внешность! Бывают подлецы, мошенники и предатели с необыкновенно честной благообразной внешностью. И бывает совсем наоборот. Люди, более или менее порядочные, — от рождения, от Господа Бога заgrimированы какими-то темными личностями. И вот я, именно я, из этой второй категории. Лишний раз очарован благородным мужеством Вашего Величества...

— Мы обязаны всегда сознавать свои ошибки... А вот что, Бузни. У вас бисерный почерк. Не согласитесь ли вы писать под диктовку мои воспоминания. Так гораздо скорее пойдет...

— Соглашусь ли я? — с жаром воскликнул Бузни. — Это для меня будет таким наслаждением!..

8. БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ КОСТЬ

Тратить на себя, на свои удовольствия в тех условиях, в каких он очутился, Адриан считал едва ли не преступлением. С грустью наблюдал он и слышал, и читал в газетах, что русская финансовая родовая знать живет широко, мотает деньги, кутит, украшает своих жен и любовниц бриллиантами, а русские офицеры, такие же самые беженцы, как и они, здесь, в этом самом Париже, влачат нищенское голодное существование в тяжелом физическом труде на заводах.

Но и помимо такой вопиющей контрастности, не понимал Адриан, как могут люди вечно веселиться дорогостоящим весельем, когда родина их вся в беспросветном трауре, захлебывается в крови и так трагически взывает о помощи...

Сам он, очень любивший верховую езду, считал себя не вправе купить лошадь. И лошадь, и ее содержание было бы именно той роскошью, с какой не примирилась бы его чуткая совесть. А брать манежных лошадей, этих разбитых кляч, было бы слишком дур-

НЫМ ТОНОМ ДЛЯ ТАКОГО ХОРОШЕГО ЕЗДОКА, КАКИМ ОН БЫЛ ВОООБЩЕ, И ДЛЯ СВЕРГНУТОГО КОРОЛЯ, КАКИМ ОН БЫЛ В ЧАСТНОСТИ!..

Но другому «его величеству» — случаю, суждено было безболезненно и к удовольствию, спортивному удовольствию Его Величества, разрешить этот вопрос.

Адъютант доложил ему:

— В манеже на авеню Анри Марен имеется чудесный выводной гунтер!.. Две капли воды ваш Гасдрубал...

— Не напоминайте мне про Гасдрубала! Душа болит! Нашему Бузни кто-то сообщил оттуда, что Гасдрубал ходит в упряжи и катается на нем мадам Мусманек... Да, так неужели — две капли воды? Вы почему знаете?

— Ваше Величество изволит помнить русского офицера Калибанова?

— Помню! Интервьюировал меня?

— Он сейчас берейтором в этом самом манеже и заведует отпуском лошадей. Он предлагает Вашему Величеству гунтера для прогулки... Кроме вас, никто не будет на нем ездить.

— Как это мило со стороны Калибанова! А

что с их газетой?

— Все погибло! Сами еле-еле унесли свои головы, Калибанову еще повезло, а остальным...

Король начал ежедневно появляться верхом в Булонском лесу. На такой лошади, как мощный гунтер Альмедо, — не стыдно было показать себя всему Парижу, который, пользуясь всеми способами передвижения, до пешеходного включительно, посещает в известные часы Булонский лес.

Хотя Адриан для прогулок своих пользовался ранним утром, — конюх подавал Альмедо к воротам виллы уже к восьми, — однако все же попало в газеты, что Его Королевское Величество Адриан I, бывший монарх Пандурии, катается каждое утро в Булонском лесу. Кое-где появились даже фотографические снимки интересного всадника. При каких условиях и в какой момент сделаны были эти снимки, Адриан и сам не знал. Вероятно, каким-нибудь фотографом-корреспондентом он был «атакован» из-за прикрытия.

Гораздо бесцеремонней поступали фотографы-любители из англичан и американцев.

Адриану приходилось отворачиваться от наводимых на него прямо в упор маленьких, поминутно щелкающих «Кодаков».

В газетах подробно описывались и лошадь, и всадник, его костюм, шляпа, цвет бриджей, фасон сапог и даже галстук.

Вообще все это лишний раз подчеркивало, что республиканский Париж гораздо больше интересуется бывшими королями, чем настоящими президентами.

В самом деле, торжественный приезд Мусманека с успехом подчеркнул это. Мусманеку до того хотелось упиться почестями официального приема, что он, елико возможно, ускорил свой визит в Париж. Тщеславие тщеславием, но было еще соображение, не лишнее здравого смысла: того и гляди большевики сметут демократическую республику, Мусманек с треском вылетит из дворца, и уже никто не будет чествовать его помпезной встречей.

А так, так он прибыл в столицу Франции в бывшем королевском, теперь президентском поезде. Хотя внешне церемониал весь был такой же, как и по отношению к Адриану в свое

время, но все же сам Мусманек с завистью и тайной злобой чувствовал в глубине души разницу...

На Лионском вокзале выставлен был почетный караул, но, во-первых, знамя не склонилось, а, во-вторых, солдаты-зуавы, помнившие, как несколько месяцев назад молодцевато поздоровался с ними, пройдя вдоль фронта, молодой красавец-генерал в блестящей форме, со звездой и лентой Почетного легиона, разочарованно, с вытянутыми лицами, увидели невзрачного господина в пиджаке, боком вылезшего из салон-вагона и пробормотавшего что-то в свою бородку.

И все остальное в таком же духе. И хотя над отелем «Крион», где отведены были апартаменты Мусманеку, взвился пандурский флаг, хотя Эррио с Мусманеком облобызался как социалист с социалистом, хотя Мусманек обедал в Елисейском дворе и сопровождали его конные кирасиры, но какой-то червь, червь сомнения и зависти, мешал ему безмятежно почить на лаврах.

Мусманек завидовал ограбленному, бедно живущему в Пасси Адриану, завидовал его ве-

личавой внешности, завидовал его французскому языку, благородно-властным манерам, завидовал тому восхищению, с которым описывались прогулки верхом низложенного короля, все же сумевшего сохранить притягивающее обаяние, обаяние потомка древней династии...

И мнительный Мусманек терзал себя мыслью, что президент Думерг, такой же масон, как и сам Мусманек, по отношению к Адриану был бы гораздо предупредительней, много больше проявил бы и внимания, и почтения.

Газеты?..

Внешне нельзя было на них пожаловаться. В правой, буржуазной, печати было несколько интервью с Мусманеком, было несколько его портретов. Но все это без всякого пафоса, энтузиазма. Все это, оплаченное с первой до последней строчки, было честно отработано. И — только. Но Мусманек не зажег и не привел в восхищение интервьюеров, как зажигал и приводил в восхищение Адриан.

А дифирамбы мало влиятельных и мало распространенных социалистических газет не удовлетворяли социалиста Мусманека. Он

их презирал за их маленький тираж и за то еще, что они читаются рабочими, а не банкирами, академиками, графами, герцогами и женщинами, делающими погоду в политических салонах.

Но оставим в покое президента Пандурской республики с его претензиями и с его поездками к ювелиру на Avenue de l'Opéra, где на сотни тысяч франков накупил он бриллиантов жене и дочери, помня, что бриллианты — самая лучшая валюта во всех превратностях судьбы. Оставим его в покое и последуем за нашим героем...

9. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА АВЕНЮ АНРИ МАРТЕН

Бузни и в Париже, в изгнании, сумел остаться, и с полным правом остаться, шефом тайного кабинета. У него были свои люди в Пандурии, точно и добросовестно информировавшие его обо всем, что делается в молодой республике. Он следил за теми, кто, в свою очередь, следил за королевской семьей по поручению Мусманеков и Шухтанов, боявшихся возвращения Адриана, боявшихся этого больше, чем прихода большевиков.

Королевский посланник в Париже граф Лаччаро был смещен Мусманеком по телеграфу в первые же дни революции... Вместо Лаччаро, опытного дипломата, прислан был некий Донкало, продажный и темный журналист с отчаянной репутацией, бывший австрийский шпион, получивший воспитание в кофейнях Будапешта и Вены.

Французский язык демократического посланника был какой-то отчаянный жаргон именно этих самых кофеев, плюс еще развязная левантийская болтовня, отзывающаяся

Александрией, Бейрутом и Смирной.

Но господин Донкало понимал господина Эррио, а господин Эррио, хотя и с превеликим трудом, но все же понимал господина Донкало, черномазого, усатого «дядю» с внешне-стью трактирного вояки, для которого бутылка — и источник удовольствий, и метательный предмет одновременно. Во всяком случае, взаимно довольные, французский премьер и пандурский дипломат клялись друг другу в социалистической верности и в антипатии к Адриану, за которым оба они следили, каждый через своих агентов.

И днем, и вечером какие-то неопределенные милостивые государи маячили возле королевской виллы, правда, на почтительной дистанции.

Зорро, часами дежуривший у калитки, одним своим видом ходячего арсенала отпугивал не только сыщиков, но и обыкновенных прохожих с самой что ни на есть спокойной и чистой совестью.

В то время как Донкало вынужден был ограничиваться лишь наружным наблюдением, Бузни знал все тайны посольского особня-

ка на авеню Гош. Знал каждый шаг и самого Донкало, и Мусманека во дни его пребывания в Париже, знал, о чем они говорили и совещались.

Бузни успевал горевать о своей без вести пропавшей жене, успевал нести секретарские обязанности при вдовствующей королеве и овдовевшем короле.

Со дня получения заказа на «воспоминания» был установлен такой режим. Утром Адриан около часу катался верхом и, бодрый физически и духовно, с приподнятыми от движения и солнца нервами, в половине десятого возвращался домой. Легкий, с аппетитом съедаемый завтрак — и от десяти до часу король диктовал свои воспоминания. Дневная «порция» рукописи поступала в литературную обработку к Ее Величеству и, уже отшлифованная, сдавалась в переписку на машинке.

Недели через две господин Ван-Брамс осведомился у Джунги, как подвигается работа, и получил в ответ:

- Уже готово более семидесяти страничек!
- О! В таком случае, я пришлю за ними

своего секретаря... Машина заработает полным ходом...

В час все вместе садились завтракать — Маргарета, Адриан, Бузни, Джунга и принцесса Лилиан. Хотя делившая все свое время между благотворительностью и уходом за крохотным племянником своим принцесса довольно редко появлялась в этот час в столовой.

Приходил иногда к завтраку бывший командир улан Ее Величества полковник Кафаров. Изящный красавец-кавалерист преобразился в такого же изящного красавца-штатского. Он поступил в кинематографическую труппу «Гомона», играя в комедиях и драмах светских спортсменов с жалованьем три тысячи франков в месяц. Он был доволен своим успехом, но смотрел на него как на нечто временное.

— Только бы как-нибудь перебиться, переждать, а там опять с Божьей помощью в ряды королевской гвардии под наш дорогой штандарт!..

Кафаров в живых рассказах своих знакомил обитателей виллы с новым для них и со-

всем недавно еще для самого себя новым, — этим увлекательным миром фильмовых съемок.

— Можно будет как-нибудь посмотреть? — заинтересовался Адриан.

— Ничего нет легче! — воскликнул Кафаров. — Вся труппа будет счастлива посещением Вашего Величества. Я представлю Вашему Величеству нашу звезду Мата-Гей. Весь Париж восхищается ей. Действительно прекрасная артистка и очень интересная женщина. Это американская гастролерша. «Гомон» пригласил ее на три месяца. За эти три месяца она получит миллион франков. Гонорар, достойный «королевы экрана».

— Король Пандурии получал гораздо меньше, — улыбнулся Адриан. — Нет, в самом деле, Кафаров, свезите меня на ваши съемки.

— Через неделю мы будем «крутить» в Сен-Жерменском лесу. Может быть, Ваше Величество пожалуется?..

На другой день утром, по обыкновению, совершал Адриан свою прогулку на красавце Альмедо, который, благодаря обязательному Калибанову, подавался ежедневно за два-

дцать франков в час.

На Альмедо можно было показаться в самой изысканной, в самой требовательной кавалькаде. Никому и в голову не могло прийти заподозрить в Альмедо манежную лошадь. С некоторых пор Адриан изменил Булонскому лесу. Сам того не предполагая, он ввел в моду утренние прогулки верхом, и уже к восьми часам появлялись в Булонском лесу все новые и новые всадники и всадницы.

Адриан перекочевал на авеню Анри Мартен. Как ни странно, это авеню, хотя и не в самом центре города, но все-таки в живой, бойкой его части, снабжено было во всю длину свою немощеной аллеей для верховой езды. Справа и слева бегут автомобили, коляски, трамваи, а посередине между рядами густых деревьев, — одинокие всадники, большей частью выезжающие лошадей офицеры.

И то именно, что это — одинокие всадники, к тому же еще занятые своим делом, и привлекло сюда короля Адриана.

Вот и сегодня во всю перспективу зеленого грота аллеи, пока глаз хватает, кроме Адриана, — всего один офицер на золотистой кобы-

ле, еще более золотистой в лучах солнца. Маленький, худенький офицер учит свою кобылу ходить испанским шагом, щекочет камышинкой ее передние ноги, и она упруго выкидывает их вперед.

Но вот между офицером и Адрианом появилась всадница на белой лошади. Красивая, вся в тонких жилках, лошадь горячилась, приплясывала, закидывалась, но всадница, видимо, опытная, сидевшая по-мужски наездница, держалась прочно в седле.

На ней были по моде парижских амазонок бледно-желтые, как замша, бриджи, низенькие сапоги со шпорами и с желтыми отворотами и длинный, черный, в талию полужакет-полусюртук. На груди — белый пластрон и узенькая полоска галстука. На голове — котелок, закрывавший узел светлых волос.

Адриан почти нагнал всадницу. Она была тонка и стройна и, когда поворачивала голову, виден был капризный профиль. Будь он менее капризен и более правилен и бездушен, его можно было бы назвать «кукольным».

Как это все произошло, потом только вос-

становили в памяти и Адриан, и всадница. В нескольких десятках шагов трамвай наско-чил на автомобиль. Суматоха, крики, судорожные звонки, метнувшаяся толпа, — все это частью напугало, частью разгневало красивую белую лошадь. Она круто взметнулась на дыбы и сразу стала какой-то пугающей, страшной, не похожей на себя и похожей на чудовище. Характер у этой белоснежной красавицы был отвратительный и манеры очень дурные. Одна из них — опрокинуться назад вместе с всадником и, придавив его своей тяжестью, кататься по земле, трепыхаясь ногами в воздухе...

Всадник, знакомый с такими дурными привычками своей лошади, спешит всегда соскочить в сторону, предпочитая ушибы, чем двадцатипятипудовый пресс.

Знала ли скверную повадку своей лошади амазонка или не знала, не в этом дело, а в том, что, невзирая на почти вертикальное положение спины лошади, она удержалась в седле, почти не опираясь на повод и показав себя смелой, бывавшей в переделках наездницей.

Но и смелость уязвима. Адриан с ужасом заметил: еще мгновение, и потерявшая равновесие лошадь упадет навзничь и прикроет собой молодое, хрупкое существо. И в этот самый миг вспыхнули в нем и рыцарь, и прекрасный конник, учившийся у Рочано вольтижировке, и, наконец, пандур, тысячелетние предки которого носились в диких степях, как центавры, и, как центавры, похищали скифских женщин и девушек, на всем скаку срывая их с лошади.

Пришпорив Альмедо и вынесшись вперед, обхватив наездницу за тонкую талию, он вырвал ее из седла и посадил впереди себя таким же коротким и сильным движением. Белый конь уже опрокинулся на спину и мощно бил копытами воздух, и блестели на солнце все четыре подковы.

Падкая до происшествий толпа разбилась на две части. Одна предпочла остановившийся трамвай с выбитыми стеклами и весь исковерканный автомобилем. Другая — хлынула к молодому всаднику, сжимавшему в объятиях амазонку, лошадь которой переваливалась с боку на бок, расплющив новенькое, желтое

английское седло...

Адриану менее всего хотелось быть предметом внимания. Подойдет полицейский сержант, в толпе непременно окажется газетный репортер и с удовольствием поместит бывшего короля Пандурии в хронику происшествий.

Положение создавалось неприятное. Всадница, потрясенная, обомлела. На ноги ее не поставишь. Приходилось, не слезая с коня, держать ее.

Уже слышалось кругом:

— Кто такая?

— Как имя спасителя?..

Но, слава Богу, подоспел конюх, бродивший в аллее, пока всадница совершала так неудачно закончившуюся прогулку.

Бережно поставил конюх переданную ему Адрианом молодую женщину. Адриан хотел уже ускакать прочь. Но это вышло бы не рыцарски. Его долг — принять участие в этой гибкой блондинке, еще не пришедшей в себя. Но как быть с лошадью?..

Но и тут выручил конюх.

— Пусть Ваше Величество не беспокоится... Альмедо из нашего манежа... И лошадь

мадам стоит у нас... Я обеих отведу...

— Тише... Не называйте меня... — оборвал его Адриан яростным шепотом сквозь стиснутые зубы.

10. КОРОЛЕВА ЭКРАНА

Адриан остановил такси:
— Ваш адрес, мадам?

Как-то по-детски дрогнули веки, замигали часто-часто. И по-детски также шевельнулся маленький ротик:

— Рю Лисбонн, 33.

Адриан усадил ее, сел рядом; захлопнулась дверца, шофер повез их по рю де ля Помп и авеню Виктор Гюго к Этуали.

Довольный, что парижская толпа, как-то по-провинциальному жадная до скандалов и зрелищ, осталась позади, искоса поглядывал король на свою случайную спутницу.

Она или еще и в самом деле не пришла в себя, или эта разнеженная томность в полузабытьи, — была интересничанием... Если даже и так, это очень к ней шло, к ее капризному, почти кукольному профилю, к ее хрупкой на вид и сильной в действительности фигуре,

фигуре настоящей спортсменки, — ненастоящая так дешево не отделалась бы...

Он подумал, — никакие декольте, никакое оголение не сделают женщину более соблазнительной и притягивающей, чем именно такой строгий, полумужской костюм, под которым, по игре неотразимых контрастов, хочется угадывать нежное, созданное для ласк холеное тело. Да, да, именно под этими кавалерийскими бриджами, под сапогами со шпорами, под черным сюртуком с белым, целомудренно охватывающим шею пластроном, под всем этим прямолинейно-отчетливым и резким затаилась женщина и какая женщина!..

Они обогнули площадь Этуали с монументальной громадой античной арки и уже ехали по авеню Гош мимо легендарного дворца легендарного Базиля Захарова, который один богаче всех королей на свете.

Вот и тихая рю Лисбонн. Глубокий, весь в зеркалах, вестибюль и такой же, в зеркалах, лифт, быстро помчавший вверх Адриана вместе с амазонкой.

Встретило их существо, несомненно, женского пола, но такой черноты, как сапожный

глянец. И на фоне этого сапожного глянца — прямо лошадиные белки. Они еще увеличились при виде незнакомого мужчины, также одетого для верховой езды, как и госпожа.

— Не пугайтесь этой «черной опасности»! — сказала наездница. — Это моя милая, преданная Кэт!.. Кэт, чаю нам!..

Адриан — в большой гостиной с обилием светлой мягкой мебели, бронзы, мраморной скульптуры, зеркал, этажерочек с безделушками и уютных уголков. Типичная квартира, сдающаяся в Париже не только с мебелью, но и с постельным и столовым бельем и даже с посудой...

Не прошло и двух минут — «черная опасность» доложила, что чай подан. Молодые люди перешли в столовую.

Амазонка разливала чай. Адриан оценил ее руки, белые, узкие, с длинными пальцами, суживающимися к розовым твердым ногтям.

Светло-синие глаза с очаровательной признательностью задержались на его лице.

— Благодарить в обыкновенных, в общепринятых выражениях это... это неминуемо впасть в банальность... Но вы же меня спас-

ли, если не от смерти, то во всяком случае... Если бы не вы, я, пожалуй, долго не могла бы работать... Вы это проделали, как настоящий ковбой. Ковбой с внешностью... Сознайтесь, вы, наверное, князь или граф?..

— Нет, — усмехнулся он, — вы ошиблись, мадам. Я не князь и не граф...

— Вот как? Странно! — со своей капризной детскостью протянула она, мигая веками и как-то особенно складывая губы. — Хотя вот что я вам скажу, мой таинственный спаситель... Бывают мужчины, которых титул... Ну, как бы вам сказать, скрашивает, что ли... И, наоборот, бывают мужчины — их гораздо меньше, которые... которым совсем не надо никакого титула... Они сами по себе... Вы принадлежите к этой второй категории.

Адриан поклонился

— Так что вы мне прощаете, что я не граф и не князь?..

— Вполне!.. Пожалуйста, рекомендую еще теплые бриоши...

«Кто она? — соображал Адриан. — По-французски говорит с акцентом, да и по типу, и по всему не француженка... „Работать“, —

обмолвилась она. Актрисы так не говорят про себя, а для цирковой артистки она слишком изящна...» И что-то осенило его, и он спросил:

— Вы королева экрана?

— А, вы, наверное, меня видели в «Лютеции», в драме «Король без короны»?.. Нравлюсь я вам? А танец? Мой собственный танец... Помните, когда я имитирую бой быков? Матадор с плащом дразнит меня... Настоящий матадор, знаменитость! Лагартихо... А я в этом эксцентричном костюме, и на лбу у меня — рога — тоже моя фантазия... Нравится? Что же вы молчите?...

— Мадам, я бесконечно виноват, но я не видел этой картины, — молвил Адриан, в самом деле почувствовавший себя виноватым.

— Какой ужас! Какой ужас! — с негодованием, полуют мическим, полусерьезным, всплеснула руками артистка. — Мосье, если бы вы были не вы, я... я вас ни за что не простила бы... Чудовище! Следовательно, вы не знаете, что перед вами Мата-Гей, великая, всесветная, знаменитая Мата-Гей?

— Так вы Мата-Гей?! Ну конечно... Я так много слышал о вас и все такие восторжен-

ные отзывы!..

— Милостивый государь, слышать — это еще мало, это ничего! О Мата-Гей нельзя не слышать, — многозначительно подняла она палец, и ее личико стало капризно-торжественным, — ее надо видеть, надо следить за всеми лентами, где она выступает... Я вас оштрафую за ваше... ваше невежество!..

— К вашим услугам... А в чем будет заключаться штраф?

— Штраф? Вот в чем! Во-первых, сегодня в восемь вечера вы у меня обедаете, а в девять с четвертью мы будем в «Лютеции», как раз к началу драмы «Король без короны».

— Какой упоительный штраф... Я готов...

— Погодите, это еще не все. Драма кончится около одиннадцати, и мы вернемся ко мне пить чай... У меня есть русский самовар... И, представьте, Кэт научилась его разогревать. Чай из русского самовара в Париже! Ведь это, это очень оригинально.

— Больше, это восхитительно! — поправил Адриан, вставая. — Итак, Мата-Гей приказывает мне быть к восьми?

— Да, ровно к восьми. Я угощу вас пряным

испанским обедом... На эти три месяца я выписала себе повара из Валенсии...

— О, да вы с причудами?

— Как же иначе... Укажите мне королеву экрана без своих собственных причуд... А Май Мюрай? А Глория Свенсен? Я такого порасскажу вам о них... Вообще, вас надо просвещать. Вы, верно, и в кинематографе редко бывали? Сознаться? — искренно пожалела Мата-Гей своего спасителя.

— Редко, — сознался спаситель.

— Но почему же? Почему? — и она так топнула ножкой, что зазвенела штора.

— Моя профессия исключала возможность посещать кинематографы.

— Вечерние занятия? Ах, эти несносные вечерние занятия... Надеюсь, вы избавились от них?

— Избавился, — ответил он, улыбнувшись не без некоторой загадочности.

— И великолепно сделали! Все люди должны работать днем. А вечер, вечер для отдыха и удовольствий...

11. НОВЫЙ РОМАН

Повар из Валенсии оказался на высоте призвания. Испанский обед запивали такой душистой малагой, — цветы, украшавшие стол, не могли заглушить ее аромат. В полной гармонии с обедом, малагой и цветами была прелестная хозяйка, декольтированная, с обнаженными руками. Теперь это было еще более избалованное, капризное, детски-переменчивое существо, чем утром, когда строгий мужской костюм дисциплинировал тело и скрадывал женственность.

Молодых людей весело, жизнерадостно опьяняла взаимная близость, и, когда их горячие пальцы встречались, какая-то властная магическая сила мешала им разъединиться. Эта же самая сила притягивала взгляды больших синих глаз Мата-Гей и темных, опущенных длинными ресницами, глаз Адриана. Порой они замирали так, хотя и разделенные столом, но скованные одной истомой, одним желанием...

Это настроение передавалось «черной опасности», служившей им. Кэт, как бы чув-

ствуя себя именинницей, легко носила свою тяжелую тушу, и ее громадные белки как-то особенно сверкали на черном, лоснящемся лице негритянки.

Кэт кое-что знала. Знала еще с утра.

Как только утром ушел Адриан, Мата-Гей, схватив свою Кэт, завертела ее в бешеном вихре. Долго потом негритянка не могла отдышаться и, по крайней мере, минут двадцать пребывала в состоянии блаженного обалдения.

Кэт понимала свою госпожу без слов и поняла, что госпожа влюблена. Что ж, всякого им успеха! Такая пара, такая — на редкость!..

А Мата-Гей, превратив негритянку в запыхавшегося истукана, заплясала вокруг нее, как пляшут жрицы перед исполинским уродливым божеством.

Это было утром, а вечером за обедом Кэт улыбалась до ушей своим громадным ртом с такими зубами — какое угодно железо перекусят.

В «Лютецию», один из лучших парижских кинематографов на авеню Ваграм, успели к началу «Короля без короны». Когда вошли в

ложу, было темно и только экран сиял светлым прямоугольником с надписями и мелькающими фигурами.

Типичная американская драма с женщинами в изумительных туалетах и мужчинами, из которых каждый отличный акробат, боксер и наездник. Было несколько жутких, захватывающих драк, было несколько пышных, богато поставленных сцен в дансинге, и не было, или почти не было, короля — и с короной, и без короны. Так, бледная второстепенная фигура, выведенная для звучного заголовка. Весь центр тяжести в Мата-Гей, с ее прекрасной, немного манерной, идущей к ее типу игрой, ее переживаниями и, это самое главное, — ее танцами.

В танцах Мата-Гей было что-то свое, особенное, и грация, техника были тоже свои, не поддающиеся никакому определению. С ней это родилось и с ней умрет.

И вправду, очаровательна была салонно-балетная иллюстрация боя быков. Ловкий, худощавый матадор, виртуозно играя плащом, то преследовал Мата-Гей, то убегал, в свою очередь, преследуемый танцовщицей в

головном уборе с двумя настоящими рогами. Она с таким природным безыскусственным изяществом наклоняла свою белокурую головку, словно бодая рогами своего партнера-противника, — нельзя было не восхищаться. И восхищался весь театр, восхищался Адриан, сжимая теплую ручку близко прильнувшей к нему Мата-Гей...

Это было какое-то странное ощущение раздвоения... И одна Мата-Гей, и две их — та, которая рядом с ним, и другая, там, на экране. И обе — очаровательны с той лишь разницей, что Мата-Гей, сидящая в ложе, одета с подчеркнутой скромностью, а Мата-Гей, танцующая в дансинге — полуобнаженная вакханка. Ее длинным красивым ногам позавидовала бы сама богиня Диана.

Не видя еще артистки обнаженной, Адриан уже видел ее, уже знал все чары упоительного тела с его дивной пластикой. Тысячная толпа жадно следит за каждым изгибом этого тела, и никто не подозревает, что в полумраке ложи притаилась Мата-Гей, живая, настоящая и только одному, одному избранному счастливцу, обещает себя всю...

— Нравлюсь ли я вам? Нравлюсь? — каким-то млеющим от блаженства шепотом спрашивала она, сжимая его руку...

Он отвечал ей таким же ищущим, ненасытным пожатием, ласкающим, перебирающим каждый пальчик.

Да, он околдован. Прямо сказочное впечатление. Даже не верится, что Мата-Гей, милая, капризная птичка, может так перевоплощаться и так творить, творить мимикой, телом, всем существом своим...

Она захватила его и потому, что вообще не могла не захватить, и потому еще, что Адриан в силу исключительно высокого положения своего далеко не был искушенным в романах. Любой его сверстник имел гораздо больше так называемых «галантных» приключений, больше связей и больше знал женщин, чем он, всегда связанный этикетом. Все его увлечения можно было в буквальном смысле слова перечесть по пальцам, даже не прибегая к помощи обеих рук.

Полуторачасовой мрак сменился резким, ослепляющим светом. Они выждали антракт, выждали, пока вновь погасло электричество

и незаметно, словно крадучись, словно стыдясь чего-то, ушли...

Чай был заботливо сервирован толстой негритянкой. Но не до чая было артистке и Адриану. Совсем, совсем другая жажда томила обоих. Жажда поцелуев...

И хотя налиты были две чашки, но никто из них и не притронулся. Они остыли, забытые. Руки, и губы, и два тела мучительно так тянулись друг к другу... Поцелуи, объятия начались в столовой, сперва при свете, а потом электричество было потушено. Столовая казалась неудобной. Перешли, словно спасаясь от кого-то, и может быть, от самих себя, в гостиную. Ничего не видя, кроме охватившей их страсти, и еще потому, что было темно, Мата-Гей и Адриан натыкались на мебель и, производя шум, замирали, как два испуганных подростка... Поцелуй, длительный, тягучий... новые поцелуи... В изнеможении добрались они до дивана, открывшего им свои мягкие удобные объятия... Потом, через несколько минут, а может, и целую вечность, не помнили оба, как очутились в спальне...

Он уходил на рассвете. Мата-Гей, воздуш-

ная, просвечивающаяся вся сквозь тонкий ба-
тист, провожала его через всю квартиру. Это
длилось, по крайней мере, полчаса. Не было
ни воли, ни желания оторваться друг от дру-
га. И когда он нерешительно открыл дверь на
лестницу, Мата-Гей хищно, шаловливым дви-
жением захлопнула ее...

Вот он ушел. Она бросила ему вниз, в про-
лет лестницы:

— Жду к восьми!..

Спустившись еще ниже, он услышал:

— Я буду на балконе...

Он шел по улице, пустынной, сизо-холод-
ной, и в этой сизо-холодной дымке видел на
высоте четвертого этажа, словно повисшую в
воздухе, призрачную фигуру Мата-Гей, махав-
шей ему платком.

Для него это было ново, свежо, молодо, и
он был растроган и умилен. Как хорошо ино-
гда не быть королем. Такая сентиментальная
картинка разве возможна была бы в Бокате,
где за каждым шагом Его Величества следили
сотни глаз — и доброжелательных, и завист-
ливых. И добрых, и злых, но одинаково назой-
ливых.

Хотелось идти все вперед и вперед, и чем дальше, тем больше бодрости вливалось и в душу, и в тело, и ясней, отчетливей работала голова.

Так вернулся к себе в Пасси. Но лечь и забыться — нечего было и думать. Наоборот, хотелось движения, хотелось ощущать себя, свою здоровую молодость...

Он позвонил в манеж и велел подать Альмедо к шести. А сам разделся, принял холодную ванну и через несколько минут был уже в костюме для верховой езды.

На этот раз в Булонском лесу он, к своему великому удовольствию, был один-одинешенек.

В обычное время Бузни писал под диктовку. Воспользовавшись маленьким перерывом для отдыха, шеф тайного кабинета сказал, останавливая на Адриане свои живые, бегающие глаза:

— Ваше Величество, вы работаете сегодня с каким-то особенным вдохновением. Мысль так свободно и гладко льется, сравнения и образы такие яркие, — это будут, пожалуй, самые сильные страницы воспоминаний...

— Да, вы находите? — переспросил Адриан, не глядя на Бузни и думая: «Как хорошо, что он ничего не знает...»

Король ошибся. Шеф тайного кабинета знал, где Его Величество был утром, где обедал, в каком был кинематографе и где провел ночь.

Во время этого же самого перерыва поданы были утренняя газеты и, по обыкновению, в двух экземплярах. Адриан и Бузни раскрыли «Matin» и увидели на первой странице два фотографических снимка рядом, — короля Пандурии и королевы экрана Мата-Гей.

Снимки сопровождались текстом с жирными эффектными подзаголовками. Описывалось происшествие на авеню Анри Мартен. И хотя все описание был сплошной дифирамб Адриану, его смелости, рыцарству, его качествам блестящего кавалериста, он скомкал и бросил газету.

— Оказывается, и в Париже меня не оставляют в покое! И здесь нет никакой личной жизни!..

Это он сказал, а подумал другое. Подумал, что теперь, узнав, кто он, Мата-Гей уже не бу-

дет такой наивно-восхитительной любовницей, какой была несколько часов назад...

Громкий титул, преследующий его и в изгнании, пожалуй, вспугнет и самое Мата-Гей, и ее такую трогательно-искреннюю, такую желанную влюбленность. Жаль, очень жаль, если это будет так...

12. АХ, ЗАЧЕМ ОН КОРОЛЬ?

Мата-Гей спала крепко и долго, спала сном утомленных счастливых...

Напрасно звонили на рю Лисбонн из манежа, в котором часу и куда подать лошадь. Кэт яростно шипела в телефонную трубку:

— Спит... спит...

Проснулась Мата-Гей в половине двенадцатого и, все еще скованная истомой, вся напоянная, насыщенная ласками, лениво потягивалась на своей широкой постели.

На звонок госпожи негритянка внесла кофе и целую пачку газет, — Мата-Гей просматривала ежедневно с десятков газет в надежде найти о себе. И обязательно что-нибудь где-нибудь находила.

Сегодня же с особенным нетерпением на-

бросилась. Вчерашнее приключение, едва не ставшее катастрофой, повлечет за собой весьма приятную рекламную шумиху. Недаром же в течение целого дня звонили вчера ей из редакции, и сотрудники заезжали расспросить о подробностях.

Первым делом Мата-Гей атаковала «Matin». Смотрит, почудилось, что под ней заколебалась не только кровать, а и вся спальня, вся квартира, весь дом... В первое мгновение даже не поверила своим синим глазам и хорошенько протерла их.

Газетных дел мастера умели подать лицом ходкий и сенсационный товар. Рядом с фотографией Мата-Гей газета поместила один из прежних портретов Адриана во всем великолепии парадной формы гусарского генерала. меховая шапка с высоким султаном, ментик, отороченный соболем, ордена, звезды и лента Почетного легиона.

— Нет, нет, не может быть! — все еще сомневалась Мата-Гей, думая, что это мистификация. — Но нет, сходство разительное этого короля Пандурии с молодым красавцем, поцелуи которого еще не успели остыть на ее

губах, на груди, на всем теле...

При других условиях, а именно, не будь этих поцелуев, Мата-Гей безумно радовалась бы этой редчайшей рекламе, которой не выдумать и за которую можно заплатить большие деньги. А сейчас, сейчас такое чувство, как если бы у нее что-то похитили, да, похитили такое милое, дорогое, хрупкое... Этот военный, этот король в пышном мундире, весь в орденах и звездах, пугал ее своим царственным блеском, своим титулом «величества». О, как было проще и лучше, когда Мата-Гей не знала, кто он!

— Зачем не сказал правду?.. Зачем, зачем, зачем?

И какая-то ярость овладела ею. Она готова была исцарапать себе лицо, вырывать волосы прядями. Она била руками и ногами по простыням, подушкам. Она подняла такой трезвон на всю квартиру, что перепуганная Кэт лавиной вкатилась в спальню.

— Смотри!.. Смотри! Видишь? Понимаешь?

Но Кэт ничего не видела, не понимала. Артистка, зажимая газету в кулачке, выкрикивая что-то исступленное, вряд ли понятное

и ей самой, несколько минут держала так негритянку в страхе и трепете.

А потом, потом сразу сменила свой гнев на милость. Вскочив, босая, бросилась к Кэт, звонко поцеловала ее и, схватив, с размаху посадила на кровать...

— Смотри! Видишь? Он — король! Ах, Кэт, зачем все это? Зачем он король? Я не хочу... Слышишь, я не хочу... не хочу! — и, прыгнув на колени к «черной опасности», сжавшись в комочек, она расплакалась.

Днем Мата-Гей получила от него цветы, а к вечеру явился он сам. Она встретила его с какой-то выжидающей робостью, с каким-то кротким, вопрошающим укором во взгляде...

— Зачем? Зачем? — все с той же мольбой тихо, тихо шевелились ее губы.

— Что зачем, дитя мое? — ласково спросил он.

— Это! Это! — держала она скомканный номер с двумя большими снимками на первой странице.

— Я сам не знаю — зачем, и сам нахожу это совсем лишним.

— Нет, зачем вы не сказали, кто вы? За-

чем? — повторяла она.

— Друг мой, вы же меня не спрашивали, кто я? — просиял он усмешкой, такой неотразимой всегда.

— Нет, надо было сказать, что вы король! — упрямо твердила она.

— Сказать? Но что же я мог сказать? Я никогда никому не представлялся. Одно из двух — или меня знают, или же я соблюдаю инкогнито...

— Да? — поколебалась Мата-Гей. — Но почему же, когда я спросила — князь вы или граф, вы, вы отрицали это?

— Да потому, мое дорогое дитя, что я не граф и не князь...

— Погодите, погодите!.. — и недоумевающе пытливо замигала она ресницами и, вспыхнув, сконфузилась. — Ах, я совсем, совсем глупая! Ну конечно, вы же не граф и не князь... — вымолвила Мата-Гей, вот-вот готовая расплакаться.

Адриан нежно привлек ее к себе.

— Дорогая моя, право же, мы спорим из-за каких-то пустяков... Не все ли равно, в конце концов, кто я такой? И разве случайные об-

стоятельства, что я был королем и эти... эти господа поместили мой прежний портрет, разве это может внести в нашу... в наши дружеские отношения какой-нибудь диссонанс? Ведь так же?..

Она смотрела глазами, полными крупных слез, и, доверчиво прильнув головкой к его груди, беспомощно, по-детски, расплакалась. И успокаивал он ее, как ребенка:

— Не надо... Совсем не надо плакать... Не изменилось же ничего...

— Да... Нет... Да, да... Хотя, нет... Я, я буду теперь вас бояться...

— Ну, вот!.. Меня бояться!.. Я же только бывший король, бывший, а вы, очаровательное дитя, настоящая королева. Вдвойне! Королева экрана и моя, — властвующая над моим сердцем.

— Вы смеетесь, а мне... мне страшно...

— Чего же вам страшно?

— Я сама не знаю, а только страшно... — и, улыбнувшись сквозь еще не высохшие слезы, она, уже другая, веселая, счастливая, совсем другим голосом, озабоченно-шутливым, спросила:

— Какие цветы красивые... Ведь это вы их прислали?

— Да.

— Я убрала ими наш обеденный стол... Пойдем! — и, взяв Адриана за руку, она увлекла его за собой.

13. «МАКЛАКОВЩИНА»...

Мы уже знаем, что Калибанову удалось устроиться в манеже. Под его наблюдением находились конюшни. Он отпускал лошадей, выезжал их и давал уроки верховой езды богатым дамам и барышням, бравшим эти уроки частью из снобизма, частью из желания согнать лишнюю полноту.

Маленький, сухой, энергичный, с жокейской внешностью, Калибанов, отдававший манежу и утром, и вечером несколько часов в день, успевал еще писать статьи для местной русской национальной газеты, посещать лекции, доклады и собрания, связанные с Белым движением, успевал встречаться со знакомыми вообще, принимал участие в русской эмигрантской действительности. А складывалась действительность довольно-таки безотрадно,

и горизонт постепенно затемнялся трауром все новых и новых туч, мало радости суливших России и русскому делу.

Эррио — лионский «бархатных и шелковых дел мастер», убежденный в прочности социалистического друга своего Макдональда и не желая оставлять этого друга в одиночестве, спешил с признанием кровавой шайки международных бандитов, окопавшихся в Москве.

Уже темная преступная накипь — сотни людей без роду, племени и отечества, даже без имен и фамилий — устремились в Париж под видом советских чиновников для дипломатической работы, а на самом деле для взрыва изнутри как самой Франции, так и ее богатейших колоний. За последнее время Калибанов часто виделся с Джунгой и Бузни. Он был информатором шефа тайного кабинета по русским делам в частности и вообще по всему тому, что попадало в поле зрения наблюдательного, умеющего смотреть, искать и слушать ротмистра.

Раза два в неделю они собирались втроем за стаканом вина где-нибудь на веранде

скромного кафе в Отейле. Больше говорил Калибанов, а оба собеседника, время от времени задавая вопросы, слушали. Каждый по-своему слушал. Бузни — все время с неустанно бегающими глазами на румянном, словно загримированном лице. А Джунга — с мрачно-свирепым лицом и с двумя «крысятами», шевелящимися над верхней губой. В моменты негодования и возмущения «крысята» уже не шевелились, а прямо ходуном ходили на широком, скуластом монгольском лице Джунги.

Однажды вечером, после обеда, — дело шло уже к осени, — Калибанов явился на одно из таких обычных rendez-vous озабоченный, взволнованный. На его бритом выразительном лице все колебания души отражались четко, определенно. Джунга и Бузни спросили в один голос:

— Что с вами, ротмистр? Какие-нибудь новые неприятные вести?

Калибанов осмотрелся глазами старого опытного разведчика. По соседству не было никого, никаких посторонних ушей. Мраморные столики кругом — пустые. В глубине кафе гарсон клюет носом, сидя с зажатой в руке

салфеткой.

Друзья никогда не встречались в одном кафе дважды. Всякий раз в каком-нибудь другом.

Да и по пути зорко следили, не маячит ли за спиной подозрительная тень. Джунга, — солдат с головы до ног, — не искушен был во всех этих ухищрениях. Ну а Бузни и Калибанов были не из тех, кого можно легко провести.

Калибанов, закурив папиросу, начал:

— Отвратительно, так отвратительно — хуже быть не может! Сегодня у всякого русского человека такое ощущение, как если бы ему наплевали в душу. Признание социалистической Францией Совдепии — отныне свершившийся факт. Весь вопрос разве в каких-нибудь неделях...

— А вы сомневались в этом? — пожал плечами Бузни.

— Сомневался ли я? Все мы до последней минуты не хотели верить, надеялись... На что и на кого только мы ни надеялись... Но когда это признание, в котором не знаешь чего больше — глупости, продажности или подло-

сти, встало перед нами во весь рост, когда не сегодня-завтра наш посольский дворец, этот символ недавнего величия России, перейдет в руки интернационального сброда, а остатки нашего флота в Бизерте будут выданы этому самому интернациональному сброду, одно сознание, — целый град самых оскорбительных, самых убийственных пощечин... Я говорил об этом французам, говорил кровью сердца — не понимают! Или понимают очень немногие. Вам, господа, вам, пандурам, это понятно, ближе. У вас самих это все еще так свежо и так мучительно болит...

Зашевелились усы Джунги, как если бы он готовился вставить свое слово. И он вставил, вообще не будучи особенно разговорчивым. Хотелось высказаться.

— Вот вы и волнуетесь, и страдаете, места не найдете. Но странные вы люди — русские! Вы умеете доблестно погибать и погибали и в великую войну, и в гражданскую, но в борьбе с этими мерзавцами я вас не понимаю и никогда не пойму. Смотрите... У нас в Пандурии большевизма пока еще нет, есть «керенщина», а обманутый народ, народ-мститель уже

проявил себя, проявляет, и еще как! Вся эта республиканская дрянь и носа своего не смеет показать за городскую черту. Да и в городах их убивают смело, открыто, не убегая от полиции и гордясь совершенным возмездием. А то ли еще будет, когда нашу «керенцину» сменит коммунизм! Но где же ваши русские мстители? Где? Вы, эмигранты, вы должны были в такие тиски террора зажать всех этих красных дипломатов, чтобы никто из них и подумать не дерзнул выехать из Совдепии. А между тем, в одном Париже их несколько сот человек. Они свободно разгуливают, пьянствуют, и ни одна русская рука не поднялась, не раздалось ни одного выстрела. Вообще, вы сами говорите, — со дня на день передадут им посольство. Кто передаст, позвольте спросить?

— Как кто? Французское правительство!

— А французское правительство от кого получит? Сидит же там у вас кто-нибудь?

— Да. Посол Временного правительства — адвокат Маклаков.

— Хм... адвокат? Что же, этот адвокат протестует? Идет на громкий мировой скандал?

Обещает уступить только грубой физической силе?.. Перед войной я был здесь в вашем посольстве с Его Величеством, еще в бытность его престолонаследником. Мы были на большом парадном обеде. Какая поистине царственная сервировка! Какое старинное богатейшее серебро! Что же, адвокат Маклаков все это приберегает для красных дипломатов? Он должен был вывезти все это и как императорское имущество оставить на хранение у великого князя Николая Николаевича. Он сделал это?

— Нет! Он этого не сделал, — с горькой язвительной усмешкой ответил Калибанов.

— Странно! Более чем странно, — заметил, укоризненно качая бритой головой своей, Бузни.

— Вам странно, господа. Нам же, русским — ничуть! Наоборот, было бы странно, если бы господин Маклаков поступил иначе.

— Что же это за человек? — спросил Бузни.

— Что за человек? Охотно, господин шеф, набросаю вам его портретец. Адвокат, столь же талантливый краснобай, сколь и беспринципный. Но карьеру свою делал в рядах фрон-

дирующей кадетской партии. За границей оплевывал и чернил все русское и вместе с Милюковым срывал займы русского Императорского правительства, чем оба эти господина, весьма схожие с третьим сыном праотца Ноя, чрезвычайно гордились. Жадный к деньгам, Маклаков брался за такие дела, от которых порядочный, уважающий себя адвокат брезгливо отвернулся бы. Да и отворачивались... Несколько минут назад я с ужасом представлял картину вторжения большевицкого хамья в дивный дворец нашего посольства. Но, увы, должен сознаться, что и демократизация, уже внесенная туда Маклаковым и его сестрицей, — в достаточной степени была гнусна. Человек на редкость скупой, Маклаков всегда отвратительно одевался. Вы представляете себе эту фигуру в ночных туфлях-шлепанцах, расхаживающей по залам посольства? В этих же самых туфлях-шлепанцах этот «керенский» посол принимал французских сановников и журналистов. Портреты русских императоров и даже Александра III, создавшего франко-русский союз, завешены какими-то грязными простынями. Что это?

Зачем? Желание вычеркнуть самые блестящие страницы русской истории? В эпоху сначала Деникина, Колчака, а потом Врангеля в русском посольстве в Париже сосредоточивались все политические и военные тайны Сибири и Юга России, а затем — Крыма. Русский посол Маклаков нашел уместным и удобным в отделе печати и пропаганды держать нескольких своих приятелей, от которых не было никаких тайн. Один из этих пронырливых приятелей, в прошлом — корреспондент большой московской газеты, еженедельно почти ездил из Парижа в Лондон с докладом к знаменитому Красину. Надо ли пояснять, какие это были доклады? А штат русских чиновников, полезных, опытных техников, сокращался. Один из них, калека Мусатов, потерявший ногу на консульской службе, вышвырнутый Маклаковым за борт, покончил самоубийством. Приятели же как сыр в масле катались. От сестрицы, пыжившейся изобразить из себя посланницу, они получали пособия. Но если раненый русский офицер приходил за пособием, длинная, высохшая старая дева грубо, а иногда прямо-таки дерзко встре-

чала его. Иногда прямо с места: «За каким чертом вы приехали в Париж? Сидели бы там, в Сербии!» Офицеры уходили со слезами, проклиная эту гладильную доску.

— Как? — не понял Бузни.

— Доску, на которой гладят белье, длинную, плоскую. Это — фигура сестрицы, — пояснил Калибанов.

— Теперь я начинаю понимать, — отвечал Бузни, — почему погибла Россия. В ней, к сожалению, было очень много таких, как этот... этот посол. Много? Да?

Калибанов молча поник головой.

— Ну хорошо, вот вы говорите, у них был человек, ездивший в Лондон к товарищу Красину и сообщавший ему все тайны — политические и военные, как деникинские, так и врангелевские. Как вы полагаете, господин Маклаков знал об этом?

— Полагаю, что нет... Не знал.

— Следовательно, изменником, предателем вы его не считаете?

— Предателем — нет, попустителем — да. Прежде всего Маклаков — масон. А масоны — люди без отечества и люди строжайшей кон-

спиративной дисциплины, царящей в их тайных организациях. Я не допускаю, чтобы Маклаков сознательно работал на большевиков. Но бессознательно, не подозревая сам, — работал на них.

— Не совсем понятно... Будьте добры пояснить.

— Извольте. Как старый масон, господин этот находится в плену у масонов-социалистов и повинуетя, не смеет не повиноваться, их директивам. От кого исходят директивы? От товарищей Блюмов, тех самых Блюмов, которые вертят как угодно не только маргаритовым «керенским» послом, но и самим Эррио. Смею вас уверить, что Маклаков не совещался с такими русскими людьми, как великий князь Николай Николаевич, генерал Врангель, граф Коковцев, — как ему поступить с посольским имуществом. Он совещался с Керенским, Блюмом, и те, разумеется, сказали ему: «Отдай, отдай все! Будь корректен!» И не могли иначе сказать... Не могли! Большевики им понятней и ближе, чем Россия, чем русский национализм, честь и достоинство родины. И вот все, решительно все, дела-

ется к торжеству и выгоде красного хама.

— Это ужасно, ужасно! — повторял Джунга, схватившись за голову, и вдруг ударил своим громадным кулаком по столу. — Нет, лучше бы взорвать посольство, чем пустить туда эту дрянь. Лучше открыть кингстоны и потопить весь русский флот в Бизерте, чем дать взвиться над ним красным тряпкам. Будет Россия, — будет новое посольство, будет новый флот. Все будет! — и как-то пророчески звучали последние слова Джунги. Он умолк, и создалось настроение, которое никому не хотелось нарушать...

14. БИМБАСАД-БЕЙ СОМНЕВАЕТСЯ

Итак, Тимо, тот суровый солдат с душой конквистадора, метивший в пандурские Наполеоны, а может быть, и не метивший, был разнесен в клочки гранатой большой разрушительной силы.

Когда его хоронили, гробик был крохотный-крохотный, совсем детский. Только уцелели, что голова да часть груди с правой рукой. Только это и можно было похоронить.

И странным казалось: в маленьком детском гробу уместился высокий, прямой, не сгибающийся Тимо. Он потому и погиб, что не хотел или не умел согнуться.

После его похорон, пышных, с воинскими почестями, республиканское правительство вздохнуло свободнее, в слепоте своей не замечая, не желая замечать, что теперь, без твердой власти, уже все катилось по наклонной плоскости. Но сидевший в королевском дворце Мусманек гораздо больше боялся опасности справа, чем слева.

Не смея бороться с коммунизмом, он во всех своих речах делал выпады по адресу

«поднимающей голову контрреволюционной гидры».

— Правительство демократической республики найдет достаточные силы, чтобы свести на нет всю работу эмиссаров низложенного народной волей Адриана, мечтающего вновь украсить свою голову тиранической короной Ираклидов.

Таковы образчики президентского красноречия, отзывавшего такой же революционной пошлятиной и таким же дурным тоном, как и семимесячная болтовня Керенского.

Шухтан, человек более умный, пожалуй, более государственный, чем Мусманек, чуял, что вот-вот грянет гром из тучи, и она, эта самая туча, будет не белой, монархической, а кроваво-багровой.

Жирный адвокат не чувствовал в себе сил для борьбы, да и не на кого было опереться. Влюбленный в свою Менотти, он отмахивался от действительности, как от назойливой мухи, и тайком переводил за границу значительные суммы денег в иностранной валюте и в золоте. Впрочем, в этом отношении от неглупого председателя совета министров ни-

чуть не отставал и тупой, недалекий Мусманек. А от обоих этих господ не отставали в свою очередь и другие демократические савовники и министры. Все они взапуски спешили ограбить истощенную казну «облагодетельствованной» ими Пандурии.

Разлагалась не по дням, а по часам армия. Декольтированные, вооруженные до зубов матросы шатались по городу с панельными девками и самочинно занимали квартиры богатых буржуев. Только одна Вероника Барабан имела над ними власть, да и то призрачную, постольку поскольку эта «власть» поощряла их разнузданные бесчинства. Савинков неожиданно исчез и с еще большей неожиданностью вынырнул в Совдепии в новой роли — белогвардейца, принесшего повинную во всех своих буржуазно-заговорщических кознях.

Этот покаянный трагикомический фарс совпал с героическим восстанием в Грузии. К сожалению, восстание не имело успеха, на который возлагалось столько надежд. Грузинам пришлось выступить значительно ранее положенного срока. Нельзя было не выступить.

Савинков выдал всю организацию московским злодеям. Повстанцы доверились ему и за это жестоко поплатились чудовищными расстрелами, пытками и тем, что от многих селений и городов не осталось камня на камне.

Все грузинское дворянство поголовно вырезывалось. Красные палачи не щадили даже подростков и маленьких детей.

А в это время Макдональд и Эррио самым добросовестным образом спешили признать Совдепию и столкнуться с ней.

Дон Исаак Абарбанель, вначале скептически относившийся к заявлению Зиты Рангя, что в самом ближайшем будущем возможен переворот, уже понемногу утрачивал свой скептицизм. Было неприятно. Пробегал тогда холодок по его большому раскормленному телу, но своим влиянием и значением в высших масонских кругах дон Исаак был застрахован от каких-либо катастрофических крайностей. Ему обещана была неприкосновенность его дворца, его фабрик, имений, копей, лесов, и, это уже совсем милостиво, — его банка. Но — береженого Бог бережет. Следуя этой

мудрой поговорке, дон Исаак перевел свой банк в буржуазно-капиталистическую Бельгию, а сам, как говорится, сидел на чемоданах. И если еще не уехал за границу, то разве потому лишь, что его не отпускал магнит, называвшийся маленькой баронессой.

Минуло несколько дней после того, как они были вместе в «Варьете» и любовались трансформаторскими талантами хорошенькой Менотти. Дон Исаак изнывал:

— Когда же, когда наконец? — допытывался он с отчаянием исстрадавшегося самца. — Я исполнил все ваши требования, всё свои обязательства... Я даже совершил некорректный поступок, выдав, следуя вашему последнему капризу, обе короны пандурской династии... Чего же вы еще медлите? Играете со мной, как кошка с мышкой... Я измучен! Живого места нет на мне! Неужели я должен усомниться в вас, в ваших обещаниях? Во всем? Неужели?..

— Нет, дон Исаак! Я верна своему слову. Оставьте ваши сомнения. Вы получите то, что вам было обещано, — отвечала Зита, и, как по волшебству, менялись ее глаза, уступая один

цвет другому...

В тот же самый вечер дон Исаак Абарбанель получил неизмеримо больше, чем ожидал и к чему приготовился... Но не будем забегать вперед.

Собираясь к Зите, охорашиваясь перед зеркалом, дон Исаак дрожащими пальцами повязывал черную, узенькую полоску галстука и обдернул в последний раз свой лондонский смокинг. Дверца зеркального шкафа отражала его внушительную фигуру. Что ж, он мужчина хоть куда, и, право, незачем было столько времени водить его за нос...

Министра путей сообщения дома не будет. Давно переставший с ним церемониться Абарбанель ему сказал еще днем:

— Милый Рангья, моя ложа в государственном театре на сегодняшней вечер к вашим услугам. Поэт Смирнов, и грешно было бы пропустить такой случай...

Левантинец сразу даже не понял, что за такая знаменитость Смирнов и почему грешно пропустить его гастроль. Но зато очень хорошо понял, что Абарбанель желает сплавить законного супруга маленькой Зиты.

Испытующе глянув на дона Исаака из-под тяжелых, набухших век, Рангья сделал вид, что и в самом деле было бы тягчайшим грехом пропустить концерт Смирнова.

В девять вечера дон Исаак звонил у подъезда министерской квартиры и сам испугался сухого дребезжания, как бы вспугнувшего безмолвие большой казенной квартиры. Его впустила Христа с каким-то новым лицом, лицом заговорщицы. Это успокоило его. Он убедился, что уже на этот раз его не оставят в дураках. Его провели в будуар. Какое счастье! Зита! Зита, уже не «забронированная» в глухое платье, а в легком и длинном прозрачном пеньюаре.

— Вот видите, дон Исаак, видите, я — «транспарантная»...

Он упал на колени и, в таком положении, будучи одного роста с маленькой баронессой, пытался обнять ее и привлечь к себе. Но его руки встретили ее маленькие сильные руки.

— Что? Вы меня гоните? — умоляюще зывал он.

— Нет, я не гоню, а только запаситесь немного терпением... Видите эту дверь? Эта

дверь в мою спальню...

— О! — только и мог простонать дон Исаак.

— Ну вот! Вы останьтесь здесь, а я... я вам дам сигнал. Этим сигналом будет моя рука. И тогда... тогда вы войдете... Поняли?..

Все кругом было для него в трепетном, горячем тумане. И сквозь этот горячий, трепетный туман миниатюрная женщина в «транспарантном» пеньюаре проплыла и исчезла, обрекши его на целую вечность.

Пошатываясь, он опустился в кресло и, поникнув головой, закрыл руками пылающее лицо...

Приотворилась дверь, просунулась белая ручка и маняще зашевелились красивые, сейчас как-то особенно одухотворенные пальцы... Дон Исаак всем крупным, тяжелым телом своим рванулся к дверям. Не успел он войти в спальню, дверь тотчас же захлопнулась, и средь слепой крошечной тьмы обнаженные руки охватили его шею, а губы его обжег такой «грешный», такой опытный поцелуй, — у него еще больше потемнело в глазах...

Сколько времени оставался в спальне Зи-

ты, — не помнил дон Исаак. Он вышел оттуда разнеженный, пьяный, еле державшийся на ногах. Он не помнил, как добрался домой, как прошел мимо дежуривших в вестибюле юнкеров и очнулся только в своем кабинете, в изнеможении упав в глубокое кресло. Ему трудно было снять телефонную трубку и позвонить, но все же он сделал это.

— Бимбасад?

— Я...

— Приезжай немедленно!

— Так поздно? Я уже иду спать...

— Приезжай немедленно! Сейчас только одиннадцать!

— Что-нибудь важное?

— Очень, очень! Жду тебя!

Через четверть часа в кабинет вошел Бимбасад-бей и с места:

— На кого ты похож?.. Измятый смокинг, съехавший на бок галстук и прямо-таки неприличная физиономия...

— Ах, Бимбасад, если бы ты знал! Если бы ты знал! — блаженно и растерянно улыбался дон Исаак.

— Что случилось?

— Она — моя! Понимаешь, она — моя! Вся! Какой темперамент! Вакханка, ей-Богу, вакханка!

— Зита? — усомнился Бимбасад-бей.

— Конечно! Кто же больше? Какое наслаждение!

— Так ты за этим поднял меня с постели?

— А разве я мог не поделиться с тобой своим счастьем? Этим безумным, головокружительным счастьем? Ты же знаешь сам, я шел только на поцелуи, а ушел, — заласканный, зацелованный и... Но нет, нет, я щажу ее репутацию... Ведь она же светская женщина, баронесса, а я джентльмен...

— Если так... Что же, поздравляю и спокойной ночи.

— Ты с ума сошел! Я не пущу тебя... Я потребую шампанского, и мы будем пить, пить всю ночь, а потом поедем за город встречать восход солнца... Я так романтически настроен, как никогда... Бимбасад, ты мне друг с детства... Если ты...

— Ну хорошо, хорошо... Бокал вина выпью с тобой, но восход солнца предпочитаю встретить не за городом, а в своей постели...

15. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТУНДЫ В ПАРИЖЕ

Нежданно-негаданно объявился в Париже профессор Тунда. Словно упал с пролетавшего над городом самолета. Бывший королевский министр изящных искусств бросил на произвол судьбы свою богатейшую мастерскую в Бокате.

Когда на Лионском вокзале он с сигарой в зубах вышел из спального вагона, в жилетном кармане были у него скомканный стофранковый билет и еще какая-то мелочь. Вот и весь капитал. Но профессор был так бодр и весел, так беспечно поблескивали его живые глаза, право, можно было подумать, что он обеспечил себя, по крайней мере, на целый год.

Но лучшим обеспечением был его громадный талант.

Знаменитый художник приехал утром и остановился в «Мажестике», а уже в час дня внизу, в ресторане, он широко угощал завтраком Жоржа Пти, владельца картинного магазина исключительно дорогих первоклассных

шедевров.

Тунда ошеломил экономного француза и тонким, и изысканным меню, не имевшим ничего общего с дежурной картой, и наполеоновским коньяком, и шампанским, и блюдами, каких Жорж Пти отродясь не видывал. Счет был на кучу франков; Тунда, небрежно взглянув сквозь пенсне, велел приобщить его в конце недели к счету за номер, — большой номер из двух комнат.

После завтрака профессор и гость поднялись наверх, и там Жорж Пти приобрел сорок восемь этюдов, привезенных Тундой без подрамков в небольшом плоском чемодане.

Жорж Пти выгодно купил великолепные этюды, но и полчаса назад не имевший ничего, кроме долга в ресторане, Тунда был уже владельцем сорока восьми новеньких тысячефранковых билетов.

С этого дня номер «Мажестика» превратился в какое-то хаотическое ателье, где, принимая посетителей, заказчиков, друзей, дам света и полусвета, Тунда, черпая вдохновение в душистом коньяке и в таких же душистых сигарах, болтая, балагурия, ухаживая за женщи-

нами, успевал писать портреты, пейзажи и небольшие декоративные вещицы.

Все это мгновенно расхватывалось, и так же мгновенно разбрасывал, раздавал Тунда сыпавшийся на него золотой дождь. Вечера он проводил на Монмартре, возвращаясь домой уже засветло. Но к десяти часам, выспавшийся, умытый, с каплями воды на пепельных, седых, слегка вьющихся волосах, в бархатной курточке, осыпанной сигарным пеплом, он уже стоял за мольбертом, чудеса творя волшебной яркой кистью своей. Иногда, потешно ломая русский язык, Тунда напевал песенку, вывезенную им много лет назад из Петербурга:

*Тебя, мой друг Коко,
Я долго не забуду,
Тебя я помнить буду,
Коко... Коко...*

В первый день, ступив на парижскую почву и крепко почувствовав ее под собой, после завтрака с Жоржем Пти, облачившись в визитку, отправился Тунда к Их Величествам. По дороге заехал в цветочный магазин и через несколько минут продолжал свой путь с

двумя пышными букетами белых роз и белых лилий. Первый — для королевы, второй — для принцессы.

Появление Тунды в особняке в Пасси произвело сенсацию. Все были рады ему. И еще как! Перед Маргаретой, своей королевой, он, со старосветской учтивостью, опустился на одно колено и, подойдя свой букет, прослезился. Королева помогла ему встать, коснувшись губами его седых, все еще буйных волос. Король и принцесса расцеловали Тунду в обе щеки. Старик, глубоко растроганный, долго не мог успокоиться. Адриан потребовал коньяку. После двух рюмок вернулось к Тунде его обычное равновесие, и он, играя подвижным лицом, смеясь, описывал житье-бытье демократической республиканской столицы.

— Нет, какое нахальство!.. Мусманек напрашивался, чтобы я написал их семейный портрет. Как бы не так! Да у меня все краски потухли бы на палитре, кисть не поднялась бы увековечивать всю эту революционную шушеру...

— А если бы он произвел на вас давление? — заметил находившийся в общей груп-

пе Бузни.

— Давление? — с молодым задором переспросил Тунда. — Если честный солдат отказывается служить подлому узурпатору, он ломает свою шпагу и бросает ему в лицо. Так и художник: он ломает свои кисти и швыряет в физиономию проходимцу, забравшемуся в королевский дворец. Вот был бы и мой ответ в случае «давления»...

— Сколько темперамента в нашем милом профессоре, — ласково-одобрительно молвил Адриан, польщенный верностью придворного художника, запечатлевшего своей кистью царствование трех королей.

Перед желанным дорогим гостем отец похвастал своим маленьким сыном.

Крохотное, здоровое тельце наследного принца Бальтазара не хотело знать ни минуты покоя. И ножки, и ручки, и головка — все время в движении. словно ребенок этим непрерывным барахтаньем своим хотел что-то выразить, что-то объяснить, заявить о своем существовании.

Тунда поиграл с наследным принцем. Ребенок тянулся ручонками, смеялся и уже из-

давал какие-то звуки, напоминавшие воркование голубя. Большой женский угодник, Тунда отметил своим вниманием высокую, здоровую, румяную мамку, являвшую чистый законченный тип пандурской деревенской красавицы.

— Откуда же взялась здесь пандурка, да еще такая живописная? — воскликнул приятно удивленный художник.

Сияя глазами-звездами, Лилиан ответила ему по-французски:

— Ах, дорогой профессор. Это — самую черствую душу может умилить до слез... Вы знаете округ Трагона? Это — самое видное племя во всей Пандурии... Лишь только все они узнали там о рождении Бальтазара, вы представьте, бросили клич: «Кто из молодых матерей поедет в Париж выкармливать родным пандурским молоком наследника престола?»

— Великолепно! Чудесно! — заволновался Тунда. — Простите, Ваше Высочество, я весь внимание...

— Откликнулось много, и уже из них выбрали самую здоровую, самую красивую... Ед-

ва ли где-нибудь, когда-нибудь еще был такой своеобразный конкурс женской красоты... И вот своего собственного ребенка оставив на попечение всей деревни, которая сказала: «Поезжай, а мы твое дитя вырастим», она, эта славная Дага, приехала к нам и... как видите...

Улыбавшееся лицо профессора стало серьезно-почтительным. Он приблизился к Даге и, к ее немалому изумлению, крепко-крепко пожал ей руку. А потом сказал уже всем:

— Когда Его Высочеству исполнится год, я напишу его вместе с этой исторической, — она попала в историю, — пандурской женщиной. Честь и хвала ей...

16. ТО, ЧЕГО КОРОЛЕВА БОЯЛАСЬ

В этот же день, оставшись вдвоем с Тундой, Маргарета сказала ему:

— Милый профессор, можете завтра уделить мне час времени от одиннадцати до двенадцати?

— Ваше Величество, бесконечно счастлив! И огорчен лишь тем, что это будет всего один час...

— О, каким вы сделали куртизаном! — улыбнулась Маргарета.

— Ваше Величество, я был всегда таким по отношению к моей династии... Приказывайте.

— Я хочу проехать с вами к одному юноше-скульптору. По-моему, это большой, многообещающий талант. Я хочу проверить свое впечатление. Он заканчивает мою статуэтку. Я говорю — это маленький шедевр. Но важнее гораздо, что скажете вы, — великий, прославленный Тунда!

— Я не сомневаюсь, что это именно так! Я давно оценил тонкий вкус Вашего Величества. Но, во всяком случае, интересно, очень

интересно будет взглянуть!

— Только вот что, — спохватилась Маргарета, — два условия: пусть это будет наша маленькая тайна. Дети не знают, что я позирую, а этот мальчик не знает, кто я, и не должен знать. Так лучше! Пусть я останусь для него таинственной незнакомкой. Поэтому не говорите как-нибудь... Обещаете?..

— Конечно, Ваше Величество, конечно!..

Тунда уехал, почти убежденный, что горячо пропагандируемый скульптор — новое увлечение Маргареты, увлечение, вытеснившее образ несчастного ди Пинелли.

— А впрочем, какое мне дело? — решил Тунда, никогда никого не осуждавший и через минуту забывший о своих подозрениях.

Но подозрения эти, как дым, развеялись, едва вместе с королевой вошел он в более чем скромное ателье Сережи Ловицкого.

Это не роман. Ничуть! С одной стороны — платоническое обожание, чуждое и тени чего-нибудь земного, с другой — Тунда, знавший королеву десятки лет, впервые увидел ее нежной, заботливой матерью.

Тунда, сам седой, уже на седьмом десятке,

вечный ребенок, с первых же слов сумел победить Сережу, овладеть его доверием. Как художник Тунда любовался этим великолепным человеческим экземпляром, прицеливаясь творческим взглядом своим, как он напишет Сережу античным божком для декоративной композиции, заказанной ему маркизом де Кастаньян.

Статуэтка значительно превысила все ожидания.

— Ваше... Гмм... мадам, вы бесконечно правы. Это — действительно шедевр. Это, я бы сказал, облагороженный Трубецкой, что, однако же, ничуть не мешает мосье Ловицкому оставаться вполне самобытным. Молодой человек, вы сами не понимаете, что вы такое, — говорил Сереже Тунда, — в вашей неподражаемой технике вы — то буйный, стихийный скиф, то самый утонченный европеец... Нет, нет я не могу... Я должен вас расцеловать... Ваше Величество, ваш портрет лепили и Трубецкой, и Роден, и Бартоломе, но это, это... — и вдруг Тунда осекся, увидев, какое впечатление произвело и на скульптора, и на модель это громкое, неожиданное «ваше величе-

СТВО»...

Ощущения королевы опрометчивый Тунда скорее почувствовал, угадал, чем увидел. Внешне она была непроницаемо-спокойна. Поистине царственная выдержка и великолепное умение надеть маску олимпийского безразличия в те минуты, когда это необходимо.

Внутри же, внутри... Бывший министр изящных искусств не сомневался, что внутри этой гордой женщины, его королевы, что-то оборвалось...

А Сережа мгновенье стоял ошеломленный, потом еще более пунцовый, с какой-то невыразимой вопрошающей мольбой, мольбой смятенного юноши переводил свой взгляд с знаменитого художника на ту, кого этот знаменитый художник назвал, — эти слова все еще звучат, звучат, — «вашим величеством».

Тунда, поперхнувшись, стараясь затушевать свое смущение, выпятив губы, заиграл своим пенсне.

— Да, так вот... вот что я хотел сказать... Мадам, — он подчеркнул слово «мадам», — говорила о вас, но то, что я вижу, победило... по-

бедило все мои... Близится «Осенний салон»... Необходимо этот маленький... эту прелестную жемчужину отлить в бронзе и вы понимаете? Фурор!..

— Да, но я хотел бы еще поработать...

— Что такое? Поработать? Стоп! Отливайте в таком виде, как есть! Сохрани Бог! Дальше вы можете замучить и испортить прекрасный, свежий портрет. Не прикасайтесь больше. Не прикасайтесь...

Сережа, далеко еще не овладевший собой, вопрошающе смотрел на свою модель.

— Я согласна с профессором. Это свежо, молодо, полно жизни и теперь — это уже дело бронзовщика. Но я, мосье Ловицкий, еще хочу заказать вам свой бюст в натуральную величину. Вы согласны?..

— О, право же... право же... — и он хотел еще прибавить «мадам», но это слово как-то не вышло у него.

Профессор, во дни ранней молодости своей хорошо знавший, что такое нужда и голод, увидел сразу, как несладко живет юному скульптору. Он сунул руку в карман и, захватив несколько тысячефранковых билетов, по-

ложил их на высокий станок.

— Вот вам аванс. Вы заплатите бронзовщику и заодно гонорар... И вообще — вы же будете лепить бюст мадам?..

Сережа готов был провалиться сквозь землю. Он сделал движение схватить скомканные бумажки и вернуть их Тунде.

— Господин профессор, я не могу, я не вправе... Вы, вы меня... обижаете, — чуть не сорвалось у него.

Тунда крепко взял его за плечи и потряс.

— Никаких возражений! Слышите! Я сам художник, сам получаю деньги за свой труд... Вот видите, не успел приехать, а уже заработал сорок восемь тысяч. Голубчик мой, пока мы творим, мы — жрецы... Кончили, это — уже товар, его необходимо продать наиболее выгодно... Да, да, слушайте меня, старика, и учитесь.

Сережа молчал. Сердце его учащенно билось.

Маргарета, стоворившись с ним относительно сеанса, ушла вместе с Тундой. Дорогой профессор, чувствуя себя виноватым, присмирел, не говоря ни слова. И так они прошли

всю улицу Гро.

— Сколько я должна вам? — холодно спросила Маргарета.

— Ваше Величество, пустяк, о котором и говорить не стоит!

— Однако же?..

— Право, не помню. Я никогда не считаю денег. Трачу ли их, получаю ли, — никогда! Это не важно, а важно, что я влетел и сделал страшную гаффу!

— А я вас предупреждала. — с упреком молвила Маргарета. — Он до того впечатлительный и я боюсь, что вы испугнули бедного мальчика.

— Испугнул? Не думаю... Правда, сначала он был немного изумлен... Нет, нет, я этому не придаю значения.

— Дай Бог, чтобы это было так... — желая верить ему и не веря, сомневаясь, ответила она...

И уже весь день была омрачена королева и с тревогой думала о завтрашнем сеансе, как он встретит и будет ли таким, каким был до сих пор...

17. СМЯТЕНИЕ СЕРЕЖИ, ГОРЕ БЕДНОЙ МАТА-ГЕЙ

С первой же встречи в «Салоне» все время смучительно терялся в догадках Сережа Ловицкий. Кто же она, эта величественная, красивая дама, проявившая к нему столько внимания? Да что внимания! Куда неизмеримо ценнейшей была ее трогательная и нежная заботливость!..

К тому же он себя считал таким бледным, таким никому не интересным, таким затерянным в этом громадном чужом городе!..

Правда, некоторые женщины домогались его, но лучше и не говорить об этих «домогательствах», — до того они были односторонни, грубо-оскорбительны...

И вот появилась она, окружавшая себя тайной. Будь между ними роман, будь она стареющей, но все еще прекрасной грешницей, он понял бы это желание остаться для него незнакомкой. Так естественно. Светская дама, быть может, замужня, боится огласки, боится, что молодой человек, которого она не знает и который беден, как церковная мышь,

может оказаться, в конце концов, шантажистом...

Но в данном-то случае нет даже и тени чего-нибудь подобного. Безупречная, чистая, она заслуживает самых восторженных поклонений. Далекое не каждая мать относится к собственному сыну, как к нему, чужому, относится эта дама. В чем же дело?

И юноша терялся в догадках своих, терялся вплоть до момента, когда профессор, выпаливший «ваше величество», весьма этим смутился...

И сейчас же вспомнил Сережа свое знакомство с ней в «Салоне». Сережа сказал ей, что хотел бы лепить с нее мечтающую в сумерках королеву, и она, кажется, добавила тихо, про себя: «Королеву в изгнании»...

Тогда Сережа упустил это, не придавал значения, но теперь, когда он сопоставил это с обмолвкой Тунды, теперь уже не было никаких сомнений. Почему она так тщательно оберегала свое инкогнито? Почему? Этим она лишней раз подчеркнула свою деликатность и чуткость. Громкий титул ее диссонансом звучал бы в этой бедной гарсоньере, где он и

жил, и работал. Это «ваше величество» смутило бы ясный безмятежный покой Сережи. И она понимала это и, отправляясь к нему вместе с Тундой, наверное, строго-настрого запретила величать себя, как величал ее всегда этот знаменитый художник.

И что же? Она была права, глубоко права в своей, вернее в его, Сережиной, психологии. Сейчас Сережа уже не тот, каким был утром. Что-то необъяснимое овладело им... Он сам не мог сказать, что же именно. Ведь ничего же не случилось. Все внешне осталось по-прежнему. Осталось как будто, а между тем.

Артист с головы до ног, артист-мечтатель, живший вне времени и пространства, Сережа менее всего придавал значение титулам, отличиям знатности, и ничему этому никогда не поклонялся. И вот, подите же, однако... Он почувствовал себя менее свободным и более скованным, узнав, что благодетельница его — королева. Это было выше его сил, это было что-то гипнотизирующее. И уже затихший, несмелый, выбитый из колеи, ожидал он завтрашнего сеанса...

Вот он был с двадцатью сантиметрами, но эти

скомканные билеты, в общем несколько тысяч франков, не только не радовали его, а ложились каким-то гнетом, и прикосновение к ним обжигало пальцы...

— Итак, она королева... — думал Сережа. — Но чья, какой страны?...

Будь он, как все, читай ежедневно газеты, он не спрашивал бы. Хотя и здесь путеводной звездой оказался Тунда. Сережа вспомнил, что эта мировая знаменитость был придворным живописцем пандурского королевского дома. Уже вслед за этим вспомнил он прочитанное или слышанное, что в Пандурии была, кажется, революция, окончившаяся, вернее начавшаяся, изгнанием правящей династии...

Сережа и не подозревал, что в другом, дальнем, аристократическом квартале все светной столицы, то же самое или почти то же самое переживала кинематографическая артистка Мата-Гей. И ее покой был смущен, и чем-то необъяснимым омрачена была ее влюбленность в Адриана. Хотя нет, у Мата-Гей это ощущение было значительно определенной. Этой милой птичке импонировали звучные титулы. Королевский же титул Адри-

ана произвел на нее потрясающее впечатление. Увидев в газете два снимка рядом, его и свой, Мата-Гей пришла в негодование. Как они смели связать их имена? Ее, Мата-Гей, начинавшей карьеру свою в «Варьете», и его, бывшего монарха целой страны? Другой на его месте возмутился бы, имея на это полное основание.

Он же, он, с его необыкновенным тактом не только не возмутился, а, наоборот, был смущен и как-то особенно бережен по отношению к ней...

И Мата-Гей терзалась, как никогда еще не терзалась в своей жизни. И некому было поведать своих терзаний, некому, за исключением только одной черной Кэт.

И со слезами, детскими крупными слезами, пыталась она втолковать негритянке:

— Понимаешь, Кэт, я его еще больше люблю, еще больше... А он? Разве он может любить меня, как я его? Он — король! Он высшее существо, он почти бог! А боги, Кэт, боги снисходят. Они позволяют себя любить. Что я такое в его жизни? Я? Эпизод! Ах, Кэт, Кэт, зачем он король? Зачем он не такой человек, не

такой, как все... Пусть он был бы артист, пусть даже граф... Но король, король! О, Кэт, дорогая Кэт, как это ужасно... Если бы он сказал сразу; но, увы, он ничего не сказал... Мне стыдно, зачем я... я... Ах, как мне стыдно... Ты понимаешь, Кэт... Зачем так вышло?.. Зачем?..

— Это нишего... нишего... — утешала ее Кэт. — Она, эта король, она любит Мата-Гей — любит. Она посылает так много цветы... Не плачь, Мата-Гей, она любит ты...

— Нет, нет... совсем не то, моя милая, добрая Кэт... — заливалась неутешными слезами бедная птичка, за один поцелуй которой многие были готовы сложить к ее ножкам и свое семейное счастье, и свои миллионы, и свою честь...

18. ТРАГЕДИЯ ДОНА ИСААКА, И ЧЕМ ОНА КОНЧИЛАСЬ

Ошалевший от счастья Абарбанель не давал покоя Бимбасада-бею. Возвращаясь от маленькой баронессы, дон Исаак немедленно вызывал Бимбасада к себе, чтобы изливаться на груди у своего друга детских лет.

Но Бимбасада, всякий раз поднимаемый с постели, не поощрял восторгов Абарбанеля, отделяваясь разговорами по телефону.

После пятого свидания со своей восхитительной любовницей дон Исаак позвонил Бимбасаду:

— Слушай, что это было сегодня?! Зита превзошла самое себя... Ах, что это было!

— Сегодня? — как-то недоверчиво переспросил Бимбасада-бей.

— Конечно, сегодня! Сию минуту! Сейчас я только что от нее... На моем теле еще горят ее поцелуи...

— Хм... странно...

— Что такое?

— Странно, говорю...

— Ничего нет странного! — обиделся дон

Исаак — Что ты говоришь?..

— Неудобно по телефону... Я сейчас приеду... Необходимо кое-что выяснить...

— Но в чем же дело? — допытывался дон Исаак, уже не без легкой тревоги.

— Потерпи! Сейчас узнаешь!..

Первым вопросом друга детских лет, когда он вошел к дону Исааку, было:

— Расскажи мне, как вы встречаетесь? Она тебе назначает свидания по телефону?..

— Мы так поглощены взаимной страстью...

— Ваша взаимная страсть мало интересует меня... Отвечай.

— Изволь. Горничная Христа обыкновенно подходит к телефону и на мой вопрос, когда я могу быть у баронессы, говорит: «Баронесса ждет господина министра сегодня в таком-то часу». Ну, чего же еще? Я прихожу и попадаю сразу в ее объятия... Ах, Бимбасад, вот женщина! Вот! А давно ли это была сплошной лед? И я, я превратил этот лед в кипяток, больше, в какую-то вулканическую лаву...

— Погоди, погоди... Телячий восторг потом, а сейчас... Скажи мне, сегодня ты тоже был в

ее объятиях?..

— А то в чьих же? Дикий вопрос! Не спутал же я ее спальню с чьей-нибудь другой...

— Спальня — спальней, но не перепутал ли ты двух женщин?..

— Бимбасад, у тебя, кажется, не все дома?..

— Кажется... А вот я уверен, что у тебя не все дома... Давай будем говорить серьезно... Тебя мистифицируют. Слушай внимательно: я знаю, что уже два дня, как Зита скрылась из Бокаты и, как говорят в таких случаях, — «в неизвестном направлении»...

— Этого не может быть! Это чудовищный вымысел. Хотя ты мне и самый близкий друг, но я не позволю...

— погоди, Исаак, не горячись... опиши мне, как происходят ваши свидания?..

— Как? Очень просто! Являюсь в будуар. Она манит меня рукой из спальни, я вхожу и...

— В спальне темно?

— А как же иначе? Захотел тоже! Порядочная женщина, Зита стесняется... И вообще, я не понимаю, что за нелепая подозрительность? Ха, ха, она исчезла! Вот вздор! — сме-

ялся дон Исаак, но смех его был искусственный. Бимбасад-бей уже отравил его ядом сомнения.

— Исаак, ты жертва грубейшей мистификации.

— Не допускаю... Не допускаю, но если это верно... о, тогда горе ей, горе всем! Я не остаюновлюсь... Я сейчас вызову ее к телефону. Я возьму своих юнкеров, произведу обыск, арестую...

— Кого? Зиту, которой уже нет в городе? Чудак! Не волнуйся и успокой свои нервы. Важно что? Важно выяснить, с кем ты наслаждался, уверенный, что в твоих объятиях маленькая Зита. Мой совет — сделай так: завтра, как ни в чем не бывало, протелефонируй и скажи, как ее там, Христе, что будешь вечером. А вечером, оставшись вдвоем в спальне с предполагаемой Зитой, зажги свет, и ты убедишься, прав ли твой Бимбасад. А еще лучше, возьми с собой электрический фонарик. Зита умнее тебя и, наверное, электричество в спальне испорчено.

Обмякший, уничтоженный сидел дон Исаак. Иногда хватался за голову.

— Неужели, неужели это правда? Меня, меня так жестоко одурачить? За мою любовь, за мое все! А потемкинский султан, а колье Марии-Антуанетты, а миллионы швейцарских франков? О, болван, идиот, осел, околпаченный, одураченный! А еще эти... эти обе... «короны», — чуть не добавил дон Исаак, но спохватился. — Нет, Бимбасад, такого вероломства я не переживу! Бимбасад, надавай мне пощечин, бей меня изо всех сил! Я тебя прошу! Ну, бей меня... Ой-ой я не могу... Я тебя прошу, бей!..

— Зачем? Ты и так сам себе надавал хорошеньких пощечин. Будь благоразумен, смотри философски на вещи... Тебе хорошо было с этой... этой лже-Зитой?..

— Ой, не спрашивай, не спрашивай. Мне гадко, мне противно... Хотя, должен тебе сказать, такой женщины... Ой, я не могу... Неужели это не Зита? Ой, как она хороша! Ой, какое тело! Ну, а вдруг у нее вместо лица — рожка? — испугался дон Исаак. — Хотя нет, не допускаю... Эти приемы, это все... Видно, шикарная женщина! Завтра... я все узнаю. Но легко сказать — завтра! Сколько мучений! Я не до-

ждусь. Я не буду спать... Оставайся! Будем всю ночь пить шампанское...

— Успокойся, прими бром и ложись! Я тоже поеду спать. А завтра, когда все выяснится, — позвони. Меня очень интересует весь этот комический фарс с переодеванием.

— Хороший фарс! Для тебя фарс, а для меня трагедия!

— Поверь, мой друг Исаак, трагедия эта кончится тем, что ты возьмешь ее на содержание... Не трагедию, разумеется, а эту женщину.

Бимбасад уехал. Дон Исаак, последовав его совету, принял лошадиную дозу бром и тотчас же уснул.

И в дальнейшем он следовал советам друга. Позвонил Христе и получил в ответ:

— Баронесса ждет вас в девять вечера...

Он приехал, имея в кармане электрический фонарик. Несколько минут ожидания. Сердце дона Исаака так билось, можно было подумать, что это тикают стенные часы. Дверь из спальни приоткрылась, и знакомая рука дала знакомый сигнал. Темнота, насыщенная духами, и такие же надушенные руки

обняли дона Исаака, а губы прильнули к его губам.

Вчера еще эти прикосновения и поцелуи безумно пьянили, но сейчас он был трезв, если можно было назвать трезвостью клокотавшую в нем ярость...

Он осветит негодную самозванку, и, убивая, жалкая, она бросится к его ногам. Он же будет суров, непреклонен. Он покажет этой негоднице, что с ним, доном Исааком Абарбанелем, пандурским министром финансов, шутки плохи. Он, забыв про свое джентльменство, изобьет ее больно и грубо, как последнюю потаскушку. Он затопчет ее ногами и, если она красива, тем хуже для нее... Он ее искалечит...

Дон Исаак запасался решимостью, подхлестывал свое бешенство. Он подбодрял себя, мысленно считая: раз, два, три... Резким движением разорвал он кольцо обвинивших его рук и, отпрянув, озарил самозванку ослепительным миниатюрным прожектором. Бедный, он все еще ждал какого-то чуда. На один искрометный миг он пытался уверить себя, что самозванка должна в конце концов ока-

заться маленькой баронессой и Бимбасад напутал, ничего сам не зная толком.

Увы, эта последняя иллюзия погасла. В белых, ярких лучах фонарика, глазам не веря, увидел дон Исаак перед собой танцовщицу Менотти... Сейчас она смутится, упадет на колени, и он покажет ей, этой негоднице... Но поведение этой «негодницы» было ничуть не покаянное, а наоборот, сама сразу перешла в наступление, обезоружив министра финансов, — и куда только девалась его оскорбленная ярость?..

— Милый, гадкий... Наконец-то, слава Богу, вся эта комедия кончилась, и мы можем открыто любить друг друга... — и Менотти полуобнаженной вакханкой ластилась к нему.

Опешивший дон Исаак бормотал:

— Что это такое? Я ничего не понимаю...

— Хитрый! О, какой же ты хитрый! Хочешь посмеяться над маленькой кошечкой Менотти... Поросеночек, ведь ты же знал, что это я? Знал?

— Я... я ничего не знал. Хотя, конечно, я догадывался, — лгал дон Исаак, чтобы хоть как-нибудь с честью вывернуться из этого глупей-

шего положения.

— А, вот видишь, сознался!.. Ну, давай теперь выясним этот, этот маленький фарс с переодеванием... Спрячь свой фонарик, я зажгу электричество, и мы побеседуем. В самом деле... Вот потеха, честное слово!..

Менотти осветила спальню, притянула Абарбанеля к кровати и, усадив его, сама прыгнула к нему на колени.

— Милый, это вот как вышло... Зита мне рассказала все...

— Откуда ты знаешь Зиту? — изумился дон Исаак.

— Откуда? Вопрос! Зита — моя сестра.

— Какая сестра?

— Ну да... моя молочная сестра.

— Позволь, она же родилась в Милане, а ты из... а где ты родилась?

— Тоже в Милане... Ну, словом, она тебя не любит и никогда не любила, а я... я давно вздыхаю по тебе, мой миленький...

— А Шухтан?

— Шухтан? Эта жирная свинья? Он мне всегда был противен... Ну, ты доволен, пупсик, доволен?..

— Мм... Как бы тебе сказать... Все это... это... более, чем странно...

— Ничего странного! Скажи, разве я не умею любить? Ты недоволен мной? Вспомни, что было вчера? Вот почему ты и сегодня захотел этого... самого...

Дон Исаак промямлил что-то весьма неопределенное. Он постепенно сдавал все позиции, гнев прошел, и уже была одна мысль: только бы спасти положение и не расписаться в смешных дураках...

Если на то пошло, дела не так уж плачевны и скверны. Менотти — не кто-нибудь с улицы, а классная женщина, в неотразимости которой он за эти несколько свиданий убедился вполне. Надо быть философом. Он принимал Менотти за Зиту, но ведь в объятиях Менотти было ему так хорошо... Чего же еще? От добра добра не ищут. И, кроме того, он наставил ветвистые рога жирной свинье Шухтану. Эта мысль щекотала мужское самолюбие дона Исаака, и он уже расцвел, улыбаясь, как победитель.

Следившая за ним Менотти, учтя психологический момент, жалась к нему, извиваясь,

обнимая, целуя в губы.

— Мы теперь будем вместе... Правда, вместе? Мы наклеим Шухтану длинный-предлинный нос... такой! — и растопырив пальчики обеих рук, Менотти наглядно показала, какой она вместе с Абарбанелем наклеит нос председателю совета министров...

19. ТАЙНА ДВУХ ЖЕНЩИН

Околпаченный дон Исаак решил отдаться уносившему его течению. Тем более, ничего, кроме удовольствия, ему «течение» это не доставляло.

Удовольствие — удовольствием, а тщеславие — тщеславием. Как-никак лестно, хотя бы из спортивного чувства, переманить к себе шикарную содержанку премьер-министра, хотя бы и республиканского.

Но Зита, Зита!.. Странное дело, у Абарбанеля не было против нее ни гнева, ни даже особенной горечи. Во-первых, все хорошо, что хорошо кончается. Кончилось же хорошо! А во-вторых, после всей этой ловко и хитро задуманной авантюры маленькая Зита выросла в его глазах прямо-таки в какую-то исполин-

скую фигуру.

Извлечь из него большие драгоценности, большие миллионы и взамен — ничего! Ни одного поцелуя. Это уже прямо гениально! И коммерческий ум дона Исаака с чисто профессиональным изумлением восхищался гениальностью Зиты.

Теперь, когда обнаружилось все, дон Исаак ни на минуту не сомневался, как именно использует маленькая баронесса доставшиеся ей громадные богатства. Как азартный игрок, бросит она все эти миллионы и бриллианты на борьбу с революцией и на восстановление монархии. Все предусмотрено ею, все, включительно до обеих корон пандурской династии.

Да, эта миниатюрная женщина — опасный и серьезный политический соперник. Морально Зита уже победила демократическую республику, и весь вопрос, удастся ли ей победить надвигающийся большевизм. А что он действительно надвигается, — теперь уже и у дона Исаака не было никаких сомнений.

Поиграл в министры, и довольно, хватит. Он уедет в Париж, взяв с собой Менотти и пе-

реведя свой банк и свои капиталы за границу. Что же касается недвижимости, — дворца, особняков, лесов, копей и всех остальных предприятий, дон Исаак знал: большевики ничего не посмеют тронуть, ибо на все это наложено масонское «табу». Вожди пандурского большевизма получают соответствующие директивы.

А там, глядишь, вернется монархия и вернет ему все его надземные и подземные богатства. Думая об этом, дон Исаак повеселел, от всей души желая успеха маленькой Зите и ее сообщникам.

Пусть только Адриан вновь сядет на трон своих венценосных предков. Пусть! Дон Исаак тотчас же разрекламирует во всей европейской печати, что это он, Абарбанель, не только давал деньги на реставрацию, но еще и предусмотрительно сберег короны Ираклидов, с опасностью для себя, передав в надежные руки такой монархистки, как баронесса Рангья. И, кто знает, быть может, он удостоится чести носить раззолоченный придворный мундир в награду за свой верноподданнический образ действий.

Но оставим Абарбанеля мечтать о придворном звании и выясним, как произошла мистификация с заменой баронессы Рангья танцовщицей Менотти. Тем более, что пойманная на месте преступления Менотти не сказала ни единого слова правды.

В тот знаменательный вечер, когда Зита поехала с доном Исааком в «Варьете» и когда под конец разнеслась весть о трагической гибели Тимо, тогда уже созрел у Зиты план. Надо было решиться. Дон Исаак ребром поставил вопрос. Дурачить его, тянуть, уваливать уже не было никакой возможности.

На другой же день по телефону Зита спросила Менотти, когда она может принять ее. Танцовщица назначила время, думая, что это либо какая-нибудь ревнивая жена, с мольбой оставить ее мужа в покое, либо посредница, желающая свести кафешантанную звездочку с каким-нибудь богатым клиентом.

Оказалось — ни то, ни другое. Польщенная Менотти увидела супругу министра путей сообщения, которую давно знала и о которой много слышала.

Зита, не теряя ни секунды, приступила к

цели своего визита.

— Мадам Менотти, вы умная, интересная женщина и поймете меня с двух слов... Вы любите деньги... Угодно вам заработать несколько тысяч франков?

— Да, конечно, хочу!

— Вы знаете Абарбанеля?

— Кто же не знает Абарбанеля и кто не знает, что он влюблен в баронессу Рангья?..

— Ваша роль будет заключаться в следующем. В те вечера, когда я вам скажу, вы тайком будете являться ко мне на квартиру. В темной спальне вы будете встречать Абарбанеля. Ваша задача — влюбить его в себя. Как это сделать — вы знаете лучше меня. Но вот непременно условие: он не должен знать, кто вы. Он должен оставаться убежденным, что это — я! Достигнуть этого легко. Поменьше слов, даже совсем не надо слов, и побольше объятий, ласк, поцелуев. За каждый такой сеанс вы будете получать по тысяче франков. Так как я убеждена, то Абарбанель останется от вас без ума, вот вам пять тысяч за пять сеансов вперед.

— А дальше? — деловито осведомилась Ме-

НОТТИ.

— Дальше — видно будет. Если он вас не разоблачит, условия наши останутся в силе. Итак, вы согласны?

— Конечно, баронесса, конечно! — загорелась Менотти. — Конечно! Так интересно! Такой оригинальный спорт... Будет весело! Будет ужасно весело... И, наконец, говоря между нами, этот жирный свинтус Шухтан порядком надоел мне со своей противной страстью... А дон Исаак давно уже нравится мне, и он так богат, так богат!.. Ах, баронесса, я, право, не знаю, как мне благодарить вас... А вы, баронесса?

— Я на днях уезжаю.

— А кто же меня будет извещать?..

— Моя камеристка. Девушка преданная и во все это посвященная.

— А когда же первый сеанс? — нетерпеливо спросила Менотти.

— Сегодня вечером.

— В котором часу?

— В восемь вы будете уже у меня.

— Отлично! Это мне как раз удобно. К одиннадцати я должна быть в театре к свое-

му выступлению. Итак, ровно в восемь?..

20. УЗУРПАТОР

Только наши российские социалисты, узкие, тупые теоретики-болтуны, изучавшие народ либо в тюрьмах по уголовной шпане, либо в прокуренных, пропахших пивом жевневских кофейнях, думали и думают еще, что революцию можно остановить, загнать в определенные рамки.

От сих, мол, пор и до сих. А дальше — ни-ни.

Если сжечь примерно так процентов пятьдесят помещичьих усадеб, это будет эсеровский рецепт селянского министра, он же павиан из Циммервальда, — Чернова. Если же все сто процентов сжечь — это будет большевизм.

Схематический пример, — доступный даже и детям, — разницы между социалистами и большевиками.

Первые — лживы, лицемерны, трусливы. Вторые же, наоборот — дерзки, решительны и откровенны, откровенны до цинизма.

Прав был, тысячу раз прав, лихой кавал-

лерийский генерал, бывший советскую нечисть на Юге России. На чей-то вопрос:

— Ваше превосходительство, какая разница между меньшевиками и большевиками?

— А такая: меньшевиков надо меньше вешать, большевиков надо больше вешать.

Генерал, в достаточной степени перевешавший тех и других, сам едва ли подозревая, обмолвился изумительной по своей простоте и глубокой правде блестящей.

Эта обмолвка стоит известного анекдота. Бричка и сани заспорили между собой, кто из них лучше. Сани восхваляли себя, бричка — себя. Накричавшись до хрипоты и друг друга не убедив, обратились к арбитру — лошади, тут же, в конюшне, безмятежно лакомившейся овсом. Подумав, лошадь меланхолически ответила:

— И вы, сани, и ты, бричка, оба вы — сволочи!..

После семимесячной «керенщины» и семилетнего большевизма весь русский народ, подобно лошади из анекдота, именно этим крепким словцом заклеят, вернее, уже заклеил как мартовских, так и октябрьских

углубителей «великой бескровной».

Пандурские Мусманек и Шухтан, подобно российским Черновым и Керенским, думали: можно слегка пограбить и пожечь помещиков, слегка приуменьшить количество наиболее опасных революционным завоеваниям генералов, сановников и офицеров, науськивая на них чернь, и в определенное время поставить точку...

Но предводимая кровавыми демагогами растлившаяся чернь и слышать не желала ни о каких «точках».

Узнавший свободу и вкус человечины, зверь не хочет вернуться в клетку. Его туда уже ничем не заманишь.

Мусманек и Шухтан, щеголяя своей демократичностью, не думали о том, что вслед за волной, вынесшей их на своем гребне, стремительно хлынет новая, более грозная волна с другими, новыми «углубителями», которые левизной своей перещеголяют их.

Появился человек с душой степного шакала, с аппетитом акулы и с внешностью вышибалы из «института без древних языков».

Этот человек, — имя его Штамбаров, — с

неотразимой убедительностью решил:

— Чем я хуже всей этой присосавшейся к власти дряни? Чем? Они и грабитель-то как следует не умеют!.. А если живет в королевском дворце ничтожный Мусманек, я, выгнав его, сам желаю там обосноваться...

Можно ли было упрекнуть Штамбарова в непоследовательности? А ведь упрекали. И тот же Мусманек негодуяще называл его потом «узурпатором».

Штамбаров был ширококост, широколиц, смугл, черноволос и плечист. Кудластая голова, подкрученные усики. Вылитый кумир горничных и проституток. Среди как тех, так и других, он был неотразимым Дон Жуаном, пленяя своих поклонниц и усиками, и злодейским взглядом, и дешевыми перстнями на неопрятных пальцах, и затрепанными, засаленными порнографическими карточками, коллекцию каковых неукоснительно пополнял при каждом удобном случае.

Надо ли прибавить, что в амфитеатре пандурского парламента сей неотразимый мужчина был на самом крайнем левом фланге.

Выступая, он зычной голосиной своей рас-

пинался за угнетенные права угнетаемых королевской тиранией пандуров. Революционная карьера этого «народолюбца» началась с момента, когда во время тронной речи он позволил себе какую-то грубую, хамскую выходку.

«Жест» Штамбарова имел успех не только среди своих собственных левых, но и привлек симпатии русских социалистов. С ним вошла в тесную связь группа Керенского, и в газетах этого лагеря начали рекламировать, славословить и воспевать обольстителя горничных и коллекционера похабных фотографий.

Этот представитель «сельских хозяев», косивший, пахавший и сеявший в трактирах, игорных притонах и других более нескромных заведениях, решил сделаться красным диктатором, спихнув Мусманека и Шухтана.

Впрочем, необходима поправка: не сам решил этот молодец с бычачьей головой на короткой шее, а за него решили другие, убедившиеся, что негодяй этот будет слепым орудием в их опытных руках... Только бы ему хорошо платили...

Мусманек и Шухтан очень много обещали

пандурским низам, но Штамбаров обещал еще больше, и низы примкнули к Штамбарову. Он мог бы повесить, расстрелять Мусманека и Шухтана, мог бы, но не захотел, свеликодушничал. Зачем? Ведь в сущности же, и он, и они — одного поля ягоды. И разве они мешали ему вести большевицкую пропаганду и требовать их же собственного свержения? Не мешали, да и не смели, как не смел Керенский обуздать Ленина и Троцкого.

С появлением на горизонте Штамбарова к нему примкнул генерал Ячин. Когда наступил момент действия, Ячин снял свои золотые генеральские погоны — это был постепенный переход к штатскому платью, в которое он и облачился. В штатском же поехал во дворец президента неестественно розовый и с подведенными бровями Ячин.

Мусманек принял его в той самой комнате, где помещалась классная Адриана в бытность его престолонаследником. От скромного убранства, — оно было таким дорогим королем по воспоминаниям, — не осталось ничего. И глобус, и карта, и ученическая скамья, и преподавательский столик — все это было

вынесено.

Мусманек оборудовал там нечто среднее между маленьким кабинетом и курительной комнатой. Одну из стен президент украсил собственным портретом. Официальный портрет во фраке с лентой Почетного легиона. Именно ради этой ленты и был заказан портрет. Да еще ради парижского фрака, сменившего тот, в карманы которого на дворцовом балу будущий президент опускал дюшесы и конфеты с королевского стола.

Ячин, еще несколько дней назад относившийся к Мусманеку более чем искательно, теперь вошел с независимым видом, и покровительственные нотки зазвучали с первых же слов:

— Вот что, мой милый президент... Я хочу поговорить с вами серьезно. В ваших же личных интересах.

— Пожалуйста, я к вашим услугам, — ответил Мусманек, почувшавший что-то недоброе для себя в этой резкой перемене.

— Я солдат и прямо беру быка за рога! Я ваш доброжелатель, и поэтому добрый мой совет вам: укладывайте чемоданы и... — Ячин

сделал выразительный жест: выметайся, мол, отсюда на все четыре стороны...

Холодные иглы забегали у президента по спине от затылка.

— Генерал, я... я вас не понимаю...

— Во-первых, я уже не генерал, а гражданин, как и все, а во-вторых, чего же вы, собственно, не понимаете? Все так ясно. Коммунизм у ворот, а следовательно, вам рекомендуется, уйдя вовремя, унести свою голову...

— Но позвольте, как же так? Я... я не могу сдать позиций без боя. За нас армия и еще... еще неизвестно...

— Вы же развалили ее, армию. Вы сами!.. Да она пальцем не шевельнет в вашу пользу...

— А... а... конвой? — уже совсем растерялся Мусманек. — вспомните, как защищали они Адриана?

— Тоже сравнение! — свысока улыбнулся Ячин. — Вы — не Адриан, и конвой ваш не те орлы, что все до последнего пали на подступах к дворцу. Эти же, ваши, в худшем случае сами выдадут вас, в лучшем — разбегутся...

— Но ведь это же... это не имеет назва-

ния! — развел Мусманек отяжелевшими руками.

— Отчего же? Это борьба за власть. Вы, милый мой, выгнали Адриана, чтобы жить в этом дворце, а теперь появился кто-то другой, сильнейший, который желает вас выгнать.

— Узурпатор?

— Узурпатор, если уж на то пошло, — вы, свергнувший законного монарха. А все дальнейшее, идущее в революционном порядке — это уже, как я сказал, борьба за власть.

— Вы, ген... гражданин, вы говорите со мной от имени Штамбарова?

— А если бы и так?

— Неблагодарный! Мы давно могли бы его арестовать.

— Могли бы. А теперь — он «может». И не только арестовать, а и... вы меня понимаете? Но рука руку моет. Штамбаров щадит вас. Успокойтесь и возьмите на себя труд внимательно меня выслушать. Незачем цепляться за призрачную власть, да еще слабыми руками. Гораздо лучше уехать за границу, жить себе припеваючи, и каждое утро чувствовать, что у вас голова на плечах. Вы богатый чело-

век, у вас на всю жизнь останутся приятные воспоминания о том, как вы жили в королевском дворце, как ездили в королевском поезде, как вы были с визитом у Думерга. Какая-нибудь американская фирма закажет вам написать для нее мемуары... Чего же еще желать? Какие могут быть колебания? Мой дружеский совет — укладывайте чемоданы и вместе с супругой и дочерью уезжайте скромно, тихо, без всякой помпы.

— Вы издеваетесь надо мной? — с усилием вымолвил уничтоженный Мусманек.

— Послушайте, мне надоела вся эта канитель! — воскликнул в раздражении Ячин. — Столярным клеем вас приклеили к дворцу, что ли? Скажите, что лучше, — частный человек с миллионами где-нибудь в Париже или президент, болтающийся на веревке? Или, или — выбора нет. Штамбаров дает вам двадцать четыре часа... Уезжайте на королевской яхте в Трансмонтанию под видом морской прогулки...

— Спасибо вам, гражданин! Вы посылаете меня на верную смерть. Грех вам! — взмолился Мусманек.

— Почему на верную смерть?

— Да потому, что где-нибудь в открытом море этот разбойник Друдри пустит ко дну и яхту, и нас вместе с ней.

— Ах, Друдри... Вы, пожалуй, правы. Этот неуловимый пират наделал нам много хлопот и гадостей. Мы бессильны бороться с ним на море. Специалисты говорят, что у него какая-то особенная подводная лодка, — последнее слово техники... Что ж, в таком случае к вашим услугам железная дорога или же, еще лучше, — автомобиль. Багаж берите с собой минимальный, самое необходимое. Да не вздумайте прихватить с собой дворцовые миниатюры и вообще ценности, являющиеся достоянием народа.

— Хорошо, я возьму только самое необходимое, — покорно согласился Мусманек.

21. ГЛАВА, ЛЮБЕЗНО ПОСВЯЩАЕМАЯ ВСЕМ ПРЕЗИДЕНТАМ РЕСПУБЛИК

Миг — и нет волшебной сказки.

Ячин давно ушел, а Мусманек сидел пришибленный, обессиленный, и не мог подняться. Не хватало сил, да и чужим казалось все тело.

Он уже так свыкся со всем этим комфортом, с почетом и роскошью и, не угодно ли, его выбрасывают, как надерзившего лакея... Хотя он никому не дерзил. Что за гнусность!..

Мусманек с каким-то наивным цинизмом считал себя несправедливо обиженным и ограбленным. Ячину, этому размалеванному красавчику, — хорошо ему говорить о беспечальной жизни за границей! Побыл бы хоть месяц президентом, — совсем из другой оперы запел бы. Им, этим бандитам, наплевать, что через две недели Мусманек должен посетить короля Виктора-Эммануила и Муссолини. Уже все решено. Мусманека ждут в Риме, — и не угодно ли? Скорей, скорей уноси

подобру-поздорову и свою голову, и свои ноги...

Какой конфуз, какой жесточайший конфуз! Мерзавцы, дали бы ему хоть съездить в Рим и получить уже обещанный орден Анунциаты.

Но сколь ни желанны были Мусманеку и орден Анунциаты, и прием у короля и Муссолини, — все это бледнело, отходило на второй план перед поистине ужасным вопросом: как встретят жена и дочь катастрофическую новость? Как? А откладывать нельзя ни минуты. Ячин, уже совсем уходя, пригрозил, обернувшись:

— Помните же! Чем скорей, тем для вас самих лучше.

А за минуту перед этим Ячин говорил:

— В каких-нибудь два с половиной часа автомобиль домчит до Семиградской столицы. Наши патрули пропустят вас как главу государства, а, очутившись в Семиградии, вы заявите, что вы — спасающий вашу жизнь эмигрант.

— Эмигрант? Чтобы подавиться Ячину этим проклятым словом!..

Мусманек, едва оторвав невзрачную фигурку от кресла, с дрожью в неуверенных коленях побрел отыскивать президентшу в ее апартаментах, бывших апартаментах Маргареты.

Мадам Мусманек вместе с дочерью и Мариулой Панджили занята была примеркой модных тряпок, доставленных из Парижа на аэроплане.

Президент вошел не постучавшись, и мадам Мусманек целомудренно поспешила закрыть свои костлявые плечи. Дочь последовала примеру мамыши.

— Чего вы лезете без доклада? — встретила мужа мадам Мусманек, забывши, как еще совсем недавно они втроем ютились в одной спальне.

— Извини, мамулечка, но дело самой неотлагательной важности. — Мусманек пристально взглянул поверх очков на Мариулу, дав понять, что она здесь лишняя.

Мариула с полуироническим поклоном вышла. Мусманек плотно закрыл за ней дверь.

— Ну-с, в чем же дело? — торопила супру-

га.

— Мы должны немедленно уехать.

— Куда, как, зачем? Что такое? Уже? Так скоро?

— Да, часы и даже не часы, а минуты президентства моего сочтены. Сегодня к ночи большевики захватят власть, и ты понимаешь? Вы понимаете, мои дорогие, к этому времени мы должны быть по ту сторону границы...

Худые, в красных пятнах, лица жены и дочери, несмотря на густой слой пудры, пошли еще более резкими пятнами.

— Я так и знала! Так и знала! Тюфяк, болван, калоша! Ты, ты осрамил нас перед всем светом!

— Мамулечка, я не виноват! — как школьник, оправдывался президент.

— А кто же виноват? Слышишь, дочурка? Что мы теперь? Нищие, нищие, которым совестно будет в глаза смотреть людям. А наше положение?.. Наше положение?..

— Позволь, мамулечка, позволь... Ты, мамулечка... ну как бы это сказать, ты драматизируешь... Конечно, они ударили нас по кар-

ману, эти негодяи... Но все же мы не совсем нищие... В Париже, в «Лионском кредите», у нас двенадцать миллионов франков, а в Лондоне около четырехсот тысяч фунтов... Кроме того — бриллианты.

— Бриллианты? — негодуяще-злобно зашипела мадам Мусманек и, стремительно подскочив к мужу, она к самому его носу, носу-пуговке, приблизила ничуть не дворцовый кукиш из трех костлявых, крепко зажатых пальцев. — Это видишь? Я не позволю продать ни одного карата! Ни одного! Слышишь?

— Ну хорошо, мамулечка, хорошо, не надо. Я так сказал, так себе... Не волнуйся и... будем собираться... Надо сплавить эту Панджили...

Но Панджили сплавила сама себя. Подслушав у дверей начало разговора, она ударилась в бегство.

Втайне от прислуги начались сборы. Вспотевшие, разгоряченные мать и дочь вытаскивали самые большие, самые поместительные чемоданы, чемоданы Маргареты. Жадность заглушила страх. Хотелось увезти не только все белье, все платья, но и безделушки и те миниатюры великих художников, о которых

предостерегающе упомянул Ячин.

Чемоданы были уже снизу доверху набиты, а мамаша с дочкой обрывали портьеры, с бешенством кидая их прочь, так как для них уже не было места.

Мусманек с тревогой взирал на полдюжины громадных чемоданов.

— Мамулечка, дорогая, куда же все это?

— Молчите, жалкое ничтожество! Молчите! Я знаю, что делаю... Надо было все это раньше вывезти за границу... И подумать, подумать, что вся эта мебель, картины, все это пропало для нас!..

Внешний вид столицы не предвещал никакого переворота. Избалованная чернь, революционные солдаты и матросы, изнывавшие от безделья, одетые, — кто грязно, неряшливо, кто с неприличным шегольством, слонялись по городу, как и в первые дни мятежа.

Непосвященный глаз ничего, пожалуй, не заподозрил бы, но глаз Мусманека, увы, очень хорошо посвященный, угадывал за этой обманчивой маской сатанинскую красную харю...

Уже все чемоданы распухли, как наевшие-

ся до отвала примитивные животные без головы и конечностей... И вдруг Мусманека обожгло, как ударом молнии...

А что, если Штамбаров и Ячин сделали из него круглого идиота, посмеялись над ним? От одной этой мысли прохватила испарина. Действительно, идиот... Он так и уехал бы, не снесшись с товарищами.

Позвонил Шухтану. Отвечал растерянный лакей.

— Где председатель совета министров?

— Они уехали в Семиградию и не сказали, когда вернутся.

Мусманек, медленно холодея, так же медленно повесил трубку.

Хитрая каналья этот Шухтан! Его уже и след простыл. Позвонить разве еще Абарбанелю? Но из дворца министра финансов не было никакого ответа, и в пустом пространстве дребезжал телефон.

Как утопающий за соломинку, ухватился Мусманек за министра путей сообщения.

Этот оказался и дома, и у телефона. Узнав дрожащий голос Мусманека, Рангья насмешливо спросил его:

— Вы еще в городе?

— А... вы...

— Я? Конечно! При всех режимах не обойтись без железных и шоссейных дорог и всяких иных способов передвижения.

— Аа... — только и нашелся Мусманек.

— Бе... — передразнил его Рангья, энергично опуская трубку.

Последняя надежда исчезла... Бежать, бежать, бежать... А главное, чтобы это менее всего походило на бегство.

Небольшой грузовик с чемоданами и с двумя придворными лакеями отправлен был вперед, а через четверть часа на легковой машине, той самой, на которой ездил Адриан с выездным камер-лакеем в плаще и треуголке, отбыл Мусманек с женой и дочерью. Обе они цепко держали по большому несессеру с драгоценностями, так еще недавно привезенными из Парижа заботливым супругом и папашей. Уже очутившись за городом, все трое оглядывались с невыразимой скорбью на кирпично-красное здание дворца.

Часа через два — граница, где их поджидал высланный вперед грузовик, окружен-

ный солдатами.

Пограничники эти были молодец к молодцу, опрятно одетые в ловко пригнанную форму. Усатый, пожилой, с боевыми отличиями вахмистр лихим и бравым солдатом глядел — в конвое Мусманека ни одного не было ему равного. В пограничники пошли они — и эти солдаты, и этот вахмистр — потому лишь, что некуда было деваться сверхсрочным служакам, на протяжении многих лет не знавшим ничего иного, кроме войны и военного дела. Все они были сплошь монархисты, и каждый, кто в кармане, кто в вещевом мешке, имел открытку с изображением Адриана.

В полдень, еще задолго до прибытия обоих автомобилей, вахмистр Тачано вызван был к телефону, и чей-то мужской голос невнятно прожужжал, как это всегда бывает с полевыми телефонами:

— Вахмистр пограничного участка?

— Так точно. У телефона вахмистр Тачано.

— Сегодня на ваш пункт прибудет Мусманек, бывший президент, спасающийся бегством вместе с женой и дочерью. Пропустите их!

— Кто говорит? — спросил Тачано.

— Генерал Ячин.

— Есть, господин генерал, будет исполнено.

После этого Тачано собрал своих солдат.

— Ну, ребята, и будет же потеха! Эта сволочь Мусманек бежит за границу.

— Туда ему и дорога.

— Так слушайте же ребята: пустить-то мы их пустим, а только накладем по первое число и выбросим их в Семиградю налегке... Поняли?

— Поняли, господин вахмистр!..

Когда автомобиль с пассажирами очутился рядом с грузовиком, Тачано подошел к Мусманеку.

— Кто такой будешь?

Мусманек что-то промямлил в ответ, но супруга его, брызжа слюной, накинулась на вахмистра:

— Мужик! Грубиян! Как ты смеешь так обращаться с президентом республики?

— А ты что за птица? Вот еще сухая галка выискалась! А я — не мужик и не грубиян, а вахмистр Его Королевского Величества... А

вот вы — жулики, воры, везете чужое, награбленное... Выметайтесь все трое, да живо!

Присмирившая мадам Мусманек вышла из автомобиля, прижимая обеими руками к своей тощей груди несессер с бриллиантами.

— Это у тебя что? Давай сюда! И ты давай, — обратился он к дочери. — Ишь, чемоданов-то, чемоданов! Ребята, скидывай все на землю... А ты, — обратился Тачано к Мусманеку, — выворачивай карманы!..

Смеялись солдаты, смеялись оба шофера и оба лакея.

Карманы Мусманека, туго набитые американской и английской валютой, опустели в мгновение ока.

Президент молчал, дрожа, как осиновый лист. Он чувствовал, — малейшее возражение, и его начнут бить.

А Тачано глумился из-под своих кавалерийских усов.

— Благодарите Бога, что дешево отделались! Не так бы вас! Всыпать бы вам всем шомполов, чтобы недельки две ни сесть, ни встать. Демократия? Первые мошенники... «Мир хижинам, война дворцам». А сами во

дворец забрались, шантрапа окаянная! Смотришь на ваши рожи противно. Убирайтесь с глаз моих прочь! Покатались на королевских машинах, теперь пешочком прогуляйтесь!..

Минут через двадцать жалкое, общипанное трио, бледное от страха, было встречено семиградскими жандармами в высоких киверах с петушиными перьями. Дали знать в столицу, и пока пришел ответ, семья президента ночевала в пограничном блокгаузе на полу. Не было подушек, полотенец, не было даже носовых платков. Все до нитки реквизировал Тачано.

Вздыхая, ворочаясь с боку на бок и отбиваясь от наседавших клопов, вспоминали папаша с мамашей и с дочкой широкие дворцовые постели под пышными балдахинами...

*Сны мимолетные, сны беззаботные
Снятся лишь раз...*

22. ФИЛИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОВДЕПИИ

Штамбаров был вывеской, ширмой. На самом же деле не был даже главным приказчиком. Понаехавшие из Совдепии красные агенты, даже совсем захудалые, и те с глазу на глаз третировали свысока этого мордастого хама.

И хам, уже не с дешевыми перстнями на корявых пальцах, а с бриллиантами, и еще какими, — распластывался перед своими господами, творя их злую, преступную волю.

Еще зеленая листва не зачервонела багрянцем, а уже полилась в Пандурии кровь, кровь лучших, благороднейших, честнейших. Московская чрезвычайка, ставшая государством в государстве, чинила суд и расправу над всеми, кто не гнул спины перед поганым идолищем III Интернационала. В Бокате и в других городах появились одетые во все кожаное молодцы с громадным револьвером у пояса и с физиономиями палачей и убийц. Заработали подвалы и застенки. Заработал присланный из Москвы штаб, с лихорадочной по-

спешностью и с энергией, поистине дьявольской, создавая Красную армию.

Зиновьев, жирный и наглый, произносил в Москве и Петрограде речи, услужливо подхватываемые всей мировой печатью.

Он говорил:

— Товарищи, на седьмом году пролетарская революция вступает в новую эру. До сих пор все наши попытки коммунизировать Западную Европу были тщетны. Теперь же мы, как никогда, приблизились к нашей святой, заветной цели. Еще немного, еще чуточку терпения, и буржуазно-капиталистическая Европа запылает, как один гигантский костер. Пандурия — наш авангард, наши ворота на Запад, наш трамплин, откуда Красная армия прыгнет вперед, чтобы с пролетарской доблестью и отвагой перегрызть буржуазную глотку Парижу, Лондону, Риму, Мадриду, Брюсселю и водрузить над ними знамя трудящихся...

Париж, Лондон, Брюссель и Рим расписывались в получении этих милых зиновьевских плевков и, как говорится, и в ус не дули. Ни в ком не заговорило даже простое живот-

ное чувство самосохранения, не раздался ничей грозный, негодующий окрик и голос, требующий навести в Пандурии хотя бы такой порядок, какой несколько лет назад был наведен в Венгрии.

Все великодержавные посольства и миссии оставались в Бокате, и господа полномочные министры и посланники беседовали через переводчиков с новым президентом Штамбаровым.

Мало того, Штамбаров объехал с полдюжины больших и малых столиц, где встречал благосклонный прием. Стряхнув с себя на границе уличного демагога, он водил за нос государственных людей Запада своим мужицким демократизмом, и государственные люди верили ему или, по крайней мере, делали вид, что верили.

Прикидываясь казанской сиротой, этот плачущий крокодил взывал к демократизму Эррио, опять-таки с помощью переводчика:

— Сухопутная армия наша сильна и даже очень, но мы беспомощны на море. Королевский лейтенант Друды, этот реакционный пират, уничтожил весь наш скромный военный

флот, убил наше морское торгово-пассажирское сообщение...

Штамбаров настаивал на экспедиции в пандурские воды французских военных кораблей для ликвидации жестокого «пирата Друды, заклятого врага пандурского народа и вообще всех трудящихся».

На это Эррио, при всех своих симпатиях к Штамбарову, имел мужество ответить, что не считает возможным вмешиваться во внутренние дела Пандурии путем карательных экспедиций.

Вернувшись в Бокату, Штамбаров узнал от своих советских друзей следующее.

В горных областях далеко не все благополучно. Там уже идет глухое брожение и, если не принять крутых безотлагательных мер, оно может вылиться в серьезное восстание. Темные, несознательные горцы настроены сплошь монархически. В тайниках скрыто много оружия: винтовок, пулеметов, ручных гранат и даже легких малокалиберных пушек. Королевские офицеры организуют повстанческие отряды, проникнутые дореволюционной дисциплиной. Оружием снабжает

горцев все тот же неуловимый Друдри. На это гнусное дело борьбы с пролетариатом брошены немалые миллионы, имеющиеся в распоряжении Зиты Рангья. Местопребывание этой злостной контрреволюционерки не выяснено пока, но есть основание утверждать, что Зита Рангья находится в горах, в самом центре гадючьего гнезда повстанцев. Это — серьезный враг, скорейшее уничтожение которого в интересах всего народа.

После этого выпущено было около миллиона больших плакатов с портретом Зиты Рангья и с обещанием награды в миллион франков тому, кто доставит ее живой, и в полмиллиона, — кто доставит ее голову.

Этими афишами были заклеены все железнодорожные станции, все заборы, все товарные и пассажирские вагоны, все дома. Словом, клеили там, где только можно было клеить. В несколько дней Зита Рангья стала самым популярным человеком во всей Пандурии, затмив собой и Ленина, и Троцкого, и Штамбарова, и остальных красных висельников, портреты коих были брошены в толпу, тоже в огромном количестве.

На митингах и в газетах проклинали ее, как только умеют проклинать большевики с их площадным, тюремным жаргоном.

Не обходилось без опять-таки свойственных большевикам театрально-истерических воплей:

— Товарищи, сомкните ваши железные ряды и проникнитесь единым лозунгом: раздавить двухголовую гадину!

Непосвященным предупредительно пояснялось, что одна голова этой белогвардейской гадины — Зита, другая — лейтенант Друди...

Основательно же перетрусили «железные ряды», объявляя единый фронт, дружный и общий против миниатюрной золотистой блондинки, чудившейся «железным рядам» капиталистической Жанной д'Арк, и против двадцатидвухлетнего, с нежным пушком вместо усов лейтенанта, выросшего в перепуганном воображении этих самых «железных рядов» в какого-то легендарного жюльвернского героя — капитана Немо.

Боясь неуязвимых и далеких Зиты и Друди, большевики не боялись уязвимых и близких беззащитных и беспомощных буржуев.

И как в Совдепии, — а разве не была Пандурия филиальным отделением Совдепии? — ежедневные, вернее, еженощные аресты, грабежи, пытки, расстрелы, обыски... И как в Совдепии, это был пир во время чумы. В чрезвычайках лилась кровь, в королевском дворце, куда забрался Штамбаров с такой же сволочью, как и он сам, рекой лилось вино и устраивались дикие оргии в зиновьевском жанре.

Штамбаров уже мог по локоть погружать свои волосатые руки в драгоценности и бриллианты, мог скупить все порнографические фотографии всего мира и жалел, что ему дано природой всего десять пальцев, а не двадцать, дабы можно было унизать их дорогими перстнями.

К чести пандуров необходимо отметить, что далеко не все они подставляли, как бараны, свои шеи под «карающий пролетарский меч». Обреченные офицеры сплошь да рядом встречали свирепых чекистов огнем своих револьверов, последнюю пулю приберегая для себя.

А кто схвачен был безоружным или уже был выведен на расстрел, тот кидался на

главного палача — кровопийцу, душил его, вгрызаясь в горло и вырывая глаза. Каждое утро находили коммунистов и комиссаров, кого с разmozженным черепом, кого с отрезанной головой, кого с обезображенным лицом.

Большевики, праздновавшие вначале легкую победу, вскоре убедились, что предстоит борьба тяжелая, трудная.

И, почесывая каторжные затылки свои, они говорили со вздохом:

— Это вам не Россия!..

Для покорения горцев создавались отряды особого назначения из оголтелых подонков, которым нечего было терять. Но эта шпана, хотя и разбавленная отчаянными гастролерами-головорезами из Совдепии, храбрая в липких подвалах Чеки и в барских особняках, не выдерживала горной партизанской войны.

Некоторые отряды, вовлеченные вглубь опытным, знающим местность противником, не возвращались, истребленные до последнего человека. Смерть таилась в каждом ущелье, за каждым выступом скалы, в каждой морщине отвесных круч.

Невидимый враг поражал отряды особого назначения то залпами карабинов, то свинцовым пулеметным огнем, то, наконец, глыбами камней. И когда испуганное человеческое месиво панически жалось друг к другу, не видя спасения, лавиной обрушивались с потрясающими криками десятки и сотни горцев, и начиналась бойня. Рядовую мелочь вырезывали дочиста, а политических комиссаров — предводителей и красных курсантов — на арканах уводили за собой в горы. Там их жгли на кострах и, поистерзав вволю, закапывали живыми.

Эти неудачи приводили в ярость московских большевиков, и они требовали от своего наймита Штамбарова самых решительных действий и карательных экспедиций в широких масштабах, с целой армией, с легкой артиллерией на мулах, с воздушным флотом и смертоносными газами в аэропланных бомбах.

23. «ДИТЯ РЕВОЛЮЦИИ»

С каким-то волнующим трепетом шла на первый сеанс Маргарета. Первый после того, как неосторожный Тунда назвал ее «вашим величеством» в присутствии Сережи Новицкого.

Это не было нетерпение влюбленной женщины или страх неизвестности, как ее встретит любовник! Это не было знакомое Маргарете чувство венценосного дипломата перед важной дипломатической беседой. Это не было ни то, ни другое, ни третье, а что-то совсем-совсем новое.

И когда она поднималась по деревянной винтовой лестнице, был момент, — у нее подкосились ноги, потемнело в глазах, и какая-то тягучая, приторная, как запах, слабость овладела всем ее существом.

Но королева умела подчинять себе свою волю, и, когда Сережа на ее стук распахнул дверь, Маргарета внешне была непроницаема. Внешне. А под бесстрастной маской притаилась душа, душа женщины, на закате дней познавшей материнское чувство и цену ему.

Она вся ушла в одно: как он ее встретит, каким он будет сейчас?

Он встретил ее виноватый, смущенный, совсем не такой, как вчера. Что-то жалостливое было и в его чертах молодого орленка, и в кротких, бесконечно кротких глазах.

Он встретил ее, избегая прямого обращения.

— Я... я виноват перед вами... Я поступил очень дурно... Не знаю, простите ли вы меня после того, как я скажу... быть может, вы не захотите больше меня видеть... А я... я не могу не сказать...

— В чем же дело, дорогой мальчик? Я не допускаю, чтобы вы могли провиниться...

— Нет, нет, это не хорошо... Это меня мучит...

— Что же вас мучит?

— Вчера после того... после того, как профессор... я... Ах, мне так стыдно... Ведь это же гадко, гадко! — и вспыхнул весь до корней волос горячим, густым румянцем. — Я потихоньку вышел за вами, проследил и узнал, кто вы... хотя, хотя я уже догадывался и без этого, но мне хотелось убедиться...

— И это все?

— Все! Но разве этого мало? Скажите, вы меня очень презираете? Очень? — с мольбой допытывался он, со слезами в голосе.

Она с нежностью провела рукой по его волосам.

— О, какое же вы еще дитя! Славное, милое... Успокойтесь! Если бы это вы сделали в самом начале, это было бы, пожалуй, нескромно. Хотя из тысячи так, наверное, сделало бы девятьсот девяносто девять. Но после того, как профессор Тунда разоблачил мое инкогнито... Успокойтесь же... Говорю вам от чистого сердца, говорю, как мать своему сыну, что ничего дурного в вашем поступке не вижу и отношусь к вам по-прежнему. Успокойтесь и — за работу! Надеюсь, оттого, что вы узнали, кто я, у вас не прошло желание лепить мой портрет? Тем более, почти нет знаменитого художника, которому не позировали бы те, кого называют «величествами» и «высочествами». А вы — несомненная знаменитость в будущем. Ведь так же?

Потупившись, стоял он и машинально мямл в пальцах кусочек приготовленной для лепки

сочно-оливкового цвета глины, жирной на вид и на ощупь.

Наконец, не поднимая глаз, он с усилием выжал из себя:

— Нет, я не могу... Не знаю... Может быть, потом, может быть... Но сейчас, сейчас руки мои как деревянные. Вы думаете, мне легко? Меня самого терзает, терзает...

— Но объясните же, почему? Почему? — допытывалась она с тоской. — Вы — артист, свободный и гордый, не могла же вас ошеломить эта новость? В вашем сознании, в ваших глазах я такой же осталась, какой и была... Да? Говорите же, да? — и он почувствовал свои большие руки в ее маленьких мягких руках, и эти маленькие мягкие руки требовали ответа.

— Не изменилось ничего... и в то же время... Я, я не могу выразить... Это чувство не поддается... Словом, я не могу... не могу, не могу! — с отчаянием повторял он. — Помните, на днях, когда я рассказывал о себе, я назвал себя уродом? Помните? Да, я — урод, я больной, сумасшедший. Я сам не знаю, что я такое! И не хочу знать, ибо это ужасно... То, что

я узнал, кто вы, — это не главное, а лишь капля, дополнившая до краев чашу. Со мной это бывает... Ваша царственная внешность вдохновила меня. Налетел порыв, я с увлечением работал... И вот порыв этот выдохся, выдохся я сам и никуда не гожусь... Я буду лениться, хандрить, валяться по целым дням, и пройдет ли это через несколько дней, через полгода или никогда не пройдет, я сам не знаю, ничего не знаю...

— Друг мой, я вас понимаю, — задушевно начала Маргарета. — Вы — дитя революции, и, как дитя чуткое, вы надломлены всем этим кошмаром. Но нельзя же так! Нельзя! Надо хорошенько взять себя в руки, надо помнить, что вы большой талант и принадлежите не только самому себе, а и вашей несчастной родине, искусству, людям, обществу... Ваши мрачные мысли — результат еще и полного одиночества... Но я не хочу, не хочу, чтобы вы так думали... Знайте, что у вас есть семья, где вы всегда будете своим, желанным... Приходите почаще к нам. Я вас познакомлю с сыном и дочерью. Они такие — вы сразу почувствуете себя хорошо, уютно. Будете встречать-

ся с Тундой. Он заразит вас своей неисчерпаемой жизнерадостностью. И так, не спеша, будем ждать, пока пройдет ваш сплин и опять явится и вдохновение, и жажда творчества... Согласны вы? Разве я не права?

— Да, вы правы!.. — вздохнул он. — Я так одинок, так одинок...

— А теперь вы не будете одиноки. Будете греться у нашего эмигрантского очага. Ведь мы — такие же эмигранты, как и вы, мой мальчик... Это сознание должно еще больше нас сблизить... Не будем откладывать, приходите завтра к восьми часам обедать. Будет профессор, будет один наш полковник. Он играет для кинематографа. Вы более опытный в этом деле, можете дать ему несколько советов... Словом, постараемся, чтобы вы не скучали. Придете?..

— Приду, — ответил он с какой-то безразличной покорностью.

24. БОЛЬНАЯ ДУША В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Королева почему-то уверена была, что Ловицкий не придет. Но ровно в восемь он уже входил в общую гостиную во втором этаже виллы, одетый в отлично сидящий, превосходно сшитый смокинг. Этот смокинг, да еще пиджачная пара от «братьев Сангвинетти» в Милане — все, что уцелело у юноши от богатого гардероба, заказанного ему синьором Гамерио, когда он играл светских молодых людей, графов и герцогов.

Увы, от всех этих фраков и визиток — даже и воспоминания не осталось! Все это за гроши покупали парижские старьевщики, когда не было на обед ни одного франка. Но смокинг уцелел, и Сережа произвел в нем впечатление титулованного итальянского барчука.

Скучающий, рассеянный, не растерянный, именно рассеянный вид. Вряд ли он успел разглядеть своих новых знакомых. Вряд ли успел почувствовать, как они сразу к нему отнеслись — тепло и просто. Да кроме теплоты и простоты была какая-то бережность. Со

слов матери сын и дочь уже знали, что под этой здоровой, цветущей атлетической внешностью притаилась больная тоскующая душа и надлежит прикасаться к ней с особенной чуткостью.

В Лилиан, с ее сияющими глазами-звездами, уже проснулось желание «опекать» этого несчастного мальчика и путем ухода, чтения, успокоительных бесед вылечить, пробудить больную дремлющую душу.

Адриан как спортсмен, Джунга как силач, заинтересовались юным геркулесом в смокинге. Удалившись с ним в отгороженный китайскими ширмами чудесной артистической работы уголок, принялись его осматривать.

— Будьте добры, согните руку в локте! — просил Джунга. — Вот так... Ого!.. Ваше Величество, извольте убедиться, какие бицепсы и какое богатейшее предплечье! Маэстро, да вы сами вряд ли сознаете, какая у вас мускулатура! Вы, наверное, много уделяете ежедневной тренировке? Вы работаете тяжестями или гантелями?

— Никак! Я совсем не тренируюсь, — ото-

звался Сережа, ничуть не польщенный восторгом скупого на похвалы адъютанта.

Вообще, он проявлял удивительную пассивность, покорно позволяя Джунге ощупывать железными пальцами и свои руки, плечи, спину, и выпуклую грудь свою.

Подъехал Тунда, успевший по дороге выпить несколько рюмок коньяку.

— Да, да! Какой великолепный Человеческий экземпляр! Он будет мне позировать... Мы его увековечим! И не стыдно, имея такое мощное тело, валяться до полудня в кровати? Нет, Ловицкий, я вам этого не позволю! Я буду вас поднимать по утрам. Вообще, вы себя безобразно ведете! О, мы все теперь за вас возьмемся хорошенько... Ничего не имеете против? Да мы вас и спрашивать не станем...

— Пожалуйста... Я буду очень рад... — отозвался юноша без малейшей радости.

За обедом он очень мало ел и тогда лишь пил вино, когда ему подливал сидевший рядом профессор.

— Что вы любите? — допытывался Тунда. — Красное, белое, портвейн, венгерское?

— Мне все равно... Я не разбираюсь... У ме-

ня нет вкуса к вину...

— И к жизни?

— И к жизни, — согласился скульптор.

Переглядываясь с Маргаретой и косясь на своего соседа, Тунда укоризненно покачивал головой, как бы говоря: «Ничего с ним не поделаешь, и вряд ли будет из него толк!..»

В одиннадцатом часу Сережа и Тунда ушли вместе. Тихая, лунная теплая ночь, в которой не было ничего осеннего, повисла над садами и вилами Пасси и своим звездным куполом, и остро отточенной секирой ущербленного месяца. Гулко отдавались по пустынной панели шаги.

— Какое впечатление произвели на вас король и принцесса?

— Они, кажется, очень хорошие... Принцесса вся такая воздушная. Ее трудно было бы вылепить. Она скорее живописная, чем скульптурная. А он, он для монумента. Я его представляю верхом в красивой форме. Могла бы выйти редкая по красоте конная статуя... Тяжелая поступь лошади и царственный всадник. Чувствуешь — движется история...

— Видите, как это вы художественно вос-

приняли! — оживившись, подхватил Тунда. — Займитесь этой конной статуей. Его Величество охотно будет позировать. Мы выберем укромный уголок тут же, поблизости, в лесу, а чтобы вам не было скучно, и я буду писать его портрет. Согласны? Идет?

— Да, хорошо, — безразлично ответил Седрежа.

— Да, хорошо! — задорно как-то передразнил его Тунда. — Бесстыдник вы этакий!.. Сколько вам лет — двадцать два или восемьдесят, и что у вас течет в жилах — кровь или молочко пополам с водицей? Видите, там сияет огнями и рокошет Париж, он ваш, он зовет! «Приходи и бери меня! Бери со всем, что я могу тебе дать. Слава, богатство, блеск, лучшие женщины, красивая, утонченная жизнь, — все твое, твое, потому что ты молод, талантлив и мимо тебя нельзя пройти, не обернувшись»... Так или нет? Да отвечайте же вы, молодой античный божок!..

— Я пойду к себе... Можно?

— Нет, нельзя! Не пущу я вас!.. Смотрите, какая ночь. Мы возьмем такси и поедем на Монмартр. Заглянем в «Табарен», будем пить

шампанское и будем смотреть, как пляшут гитаны... Не маргариновые, а настоящие... — И, боясь, что Ловицкий удерет, Тунда крепко схватил его за локоть и, не выпуская своего пленника, усадил его в такси.

25. ОБРЕЧЕННЫЙ

В «Табарене» только что просыпалась ночная жизнь. Съезжались гости, большей частью иностранцы, занимали открытые ложи, требовали шампанское.

Профессиональные танцоры, бесцветные, вылощенные, с такими же, как и они, профессионалками, танцевали «шимми» и «фокстрот», дразня и втягивая публику...

От столиков с вином, ликерами и кофе отделялись пары и выходили на середину зала, начиная делать то, что делали наемные танцоры, только менее искусно и более прилично. Это приличие — вовсе не целомудрие, а просто дилетанты из публики не обладали бесстыдством профессионалов, бесстыдством производить тут же, на людях, непристойные, разжигающие чувственность телодвижения...

Дымя сигарой, поблескивая глазами, при-

губливая шампанское, говорил Тунда юноше:

— Я далеко не святой, наоборот, я старый, нераскаянный греховодник, но противны мне эти современные танцы. Может быть, я с удовольствием смотрел бы, как топчутся на одном месте, прижимаясь друг к другу всем телом какой-нибудь голый чернокожий красавец с рыбьей костью в носу и его партнерша в колье из крокодильих зубов на груди. Это наивно, сами они наивны в своей откровенной животной похоти... Но когда все это проделывают мужчины во фраках и дамы в бальных платьях, вышколенные балетмейстером, воля ваша — противно! Ничто, пожалуй, так не отражает эпоху, как танцы. Только послевоенные годы с их озверением, жестокостью, всяким отсутствием поэзии, только они могли создать все эти прикосновения, за которые лет пятнадцать назад мировой суд привлек бы, как за оскорбление общественной нравственности. Но, — возьмите же ваш бокал. Не бойтесь, он не обожжет вам пальцев, а вино не отравлено... Ваше здоровье! За вашу молодость, за ваш талант, за ваши успехи и, главное, за то, чтобы вы встряхнулись и

были не мокрой курицей, а настоящим орленком, с которым пока что имеете лить внешнее сходство. Но, Бог мой, как на вас смотрят женщины! Как их тянет к вам, тянет, невзирая на сидящих рядом мужей и любовников!

И действительно, такой свежий, сильный, такой эффектный в своем миланском смокинге, с нежно-румяным, юношески-свежим лицом, Сережа привлекал внимание полуобнаженных, и молодых, и увядших, сверкающих бриллиантами дам. Именно, как определил профессор, их тянуло к нему, выгодно выделявшемуся среди молодых и пожилых, одинаково потасканных мужчин.

А он — хоть бы что! Его нисколько не волновали эти взгляды, зовущие, полные обещаний, эти полураскрытые губы, тоже обещающие, зовущие.

Атака приняла более энергичный, более активный характер. Гибкая красавица-испанка в мантилье на высокой прическе с еще более высоким черепаховым гребнем и с алой гвоздикой в белых, блестящих зубах медленно подошла к Сереже и, задорно подбоченившись, заколыхавшись всем телом, вынув изо

рта гвоздику, провела ей по лицу юноши и пощекотала ему губы. Всякий другой на его месте обнял бы красавицу, а он сидел, смущенный, не зная, куда девать руки. Испанка очутилась в неловком положении, но вышла из него очень ловко. Резким, уверенным движением она воткнула ему свой цветок в петличку смокинга и, не оглядываясь, ушла, уверенная в себе, с насмешливой улыбкой. Профессор, молча наблюдавший эту сцену, забеспокоился. Положительно, этот мальчик внушает опасение. Ни на минуту нельзя оставлять его наедине с самим собой.

Перед самым началом испанских танцев, как «гвоздь», приберегаемых напоследок, Сережа начал проситься:

— Вы мне позволите уехать домой?

— Что вы? Уже надоело?

— Нет, не надоело, а так...

— Посидите еще... Эти гитаны после всей этой пошлятины дадут вам прямо художественное впечатление. Темперамент, техника, пластика, — все такое самобытное, огненное. Неужели это вас не интересует как художника хотя бы?

— Нет... Домой хочу...

— Ну, хорошо. Домой, так домой, — и Тунда потребовал счет.

Он отвез Сережу в Пасси и, прощаясь, сказал:

— Спите хорошенько! Завтра в десять я подниму вас с постели.

— Да... Пожалуйста...

Профессор, оставшись один с сонным шофером, не спешил сесть в такси. Мелькнула мысль: а не лучше ли взять юношу к себе?.. Хотя не показалось бы это ему навязчивым... Нет, пускай выспится, а завтра, завтра они проведут весь день вместе.

Утром, поднявшись на третий этаж винтовой лестницы, профессор постучал в дверь концом трости.

— Мосье Серж, вставать! Не откликается.

— О, какой же лентяй! Спит! Но я вас не оставлю в покое. — Профессор уже не стучал в дверь, а барабанил... И опять молчание.

Ушел разве? Быть не может. Тунда нагнулся к замочной скважине. Ключ внутри. Тунда похолодел, обвеянный злым предчувствием, но, желая обмануть самого себя и заглушить

страх новыми ударами трости, он закричал срывающимся голосом:

— Да отзовитесь наконец! Что за глупые шутки!..

Но Сережа не отзывался. Холодные струйки озноба сменились у Тунды испариной, и седая шапка волос сразу стала вдруг влажной. Схватился за сердце и, отдышавшись, сбежал вниз искать консьержа.

Выломали дверь и, друг друга толкая, ворвались и тотчас же попятились. Ловицкий висел посредине комнаты на крючке, вбитом в потолок для газовой люстры. Висел в смокинге и с алой гвоздикой в петличке. Висел с почерневшим, искаженным лицом. Тело, то самое тело молодого геркулеса, которым вчера только восхищались король и Джунга, успело одеревенеть. Губы, которые минувшей ночью испанка пощекотала цветком, были сизо-багровые, и такой же сизо-багровый кончик языка.

Консьерж, недовольный, — эти русские вечно устроят какую-нибудь гадость, — побежал телефониловать в полицейский комиссариат.

Тунда, отвернувшись в уголок, всхлипывал, закрыв лицо руками.

26. ДВЕ СМЕРТИ

Всегда в таких случаях добрые, чуткие люди впадают в самобичевание. Тунда терзался, обвиняя только себя.

Конечно, это он, старый дурак, виноват! Дернула же тогда нелегкая назвать Маргарету в его присутствии «вашим величеством»! А ведь как она предупреждала, как боялась этой обмолвки. Чуткость женщины не обманула ее.

А затем, дальше? Возьми он юношу к себе ночевать, этот несчастный мальчик не висел бы почерневший, с высунутым языком.

О, до чего же все это ужасно! Особенно для него, Тунды, влюбленного в жизнь и так ненавидящего смерть!..

И, не смея оглянуться на то пугающее, чужое, непонятное, что несколько часов назад было прекрасным юношей, потрясенный художник плакал, плакал едва ли не впервые за десятки лет. Всю свою долгую жизнь, бывшую для него ярким ликующим праздником, он

смеялся и шутил, скользя от впечатления к впечатлению и стараясь, чтобы эти впечатления были приятные.

Когда он всплакнул, чтобы рассеять удушливый гнет, начал убеждать себя, что его собственной вины нет здесь, что такова неудачливая судьба мальчика. Всем своим видом, всем своим существом говорил он о своей обреченности.

Она, обреченность эта, роковым клеймом отметила его. Тунда убедился в этом с первого же взгляда.

Пусть он взял бы его ночевать к себе, пусть! Это лишь отодвинуло бы фатальную развязку. На другой, на пятый день он все равно кончил бы самоубийством. Раз он потерял всякий аппетит к жизни, раз он мог быть таким, каким был вчера, уже никакие силы не могли спасти его.

Необходимо известить королеву... Ах, эта полиция. Всегда опаздывает... Но не успел профессор это подумать, лестница закрипела под ногами нескольких мужчин, и в комнату вошел комиссар с двумя агентами и с консьержем.

Тунда мог уйти, и он ушел, вернее, убежал. Дежуривший у калитки Зорро сказал ему, что королева гуляет в Булонском лесу и с минуты на минуту должна вернуться.

Хорошо ему, — с минуты на минуту... Каждая секунда, и та — чуть ли не целая вечность! А с другой стороны, хотелось собраться с духом, найти слова и форму, — как он поднесет королеве новость, которая ее глубоко опечалит.

Неожиданное появление Маргареты застало его врасплох. Он не успел приготовиться, да и незачем было. Взглянув на него, Маргарета поняла сразу, — случилось что-то большое, непоправимое. Инстинкт женщины и матери подсказал ей действительность. Но инстинкт всегда борется, всегда требует слов, подтверждений. И с резкостью, так несвойственной ей, всегда величавой, плавной, схватила она за руку Тунду:

— Говорите! Неужели? Неужели?

Он молча поник головой.

— Когда? Как? Говорите же! — и она увлекла его прочь от виллы.

Словно оправдываясь, все время с запин-

ками, повторяя одно и то же, оттягивая ненужными подробностями самое главное, рассказал он, и что они делали вчера, и что он увидел сегодня утром. Был момент, — королева пошатнулась. Профессор поддержал ее. Она крепко оперлась на его руку. И они долго стояли молча, думая об одном, ошеломленные одним и тем же горем. Тихо, спокойно, — чего стоило ей это спокойствие? — она сказала:

— Я хочу остаться одна... Заезжайте в два часа... Мы поговорим обо всем...

Тунда снял шляпу и так, с непокрытой головой, смотрел вслед Маргарете.

Ясное осеннее утро было таким траурным не только для матери, но и для сына. В то самое время, когда Маргарета, опершись на руку Тунды, медленно идя и останавливаясь от волнения, слушала его, Адриан, успевший сделать прогулку верхом и вернуться, с жутким изумлением, не веря ни собственным глазам, ни самому себе, прочел на первой странице «*Matin*» жирный и крупный заголовок:

Трагическая смерть королевы экра-

на Мата-Гей

Вчера автомобильная катастрофа унесла от нас с трагической роковой внезапностью величайшую звезду экрана Мата-Гей, унесла в самом расцвете молодости, таланта и редкой, изумительной красоты...

Дальше следовало описание. В Компьенском лесу происходили съемки новой драмы из жизни Двора II империи. Мата-Гей играла роль одной из фрейлин императрицы Евгении. После съемок, уже перед вечером, целая фаланга автомобилей возвращалась в Париж. В головном автомобиле ехала Мата-Гей с одним из режиссеров и с двумя артистками.

Шофер, не желая переехать собаку, вертев-шуюся под колесами, круто повернул и на бешеном ходу налетел на телеграфный столб. Мата-Гей и шофер — убиты на месте. Режиссер и обе артистки — легко ранены.

Адриан ощутил какой-то металлический вкус во рту. Он сделал сильное глотающее движение, еще и еще, чтобы не задохнуться. В самом деле, не хватало воздуха...

Всего два дня назад виделись они, и так же, как всегда, были опьяняющи их поцелуи и неотразимы их ласки. И вот глупый шофер, пожалевший собаку, не пожалел этой прекрасной Мата-Гей с ее прекрасной душой, дивным телом и почти гениальным талантом киноартистки. Да, гениальным. Говорилось кругом и отмечалось прессой, что за последнее время талант Мата-Гей окреп и вполне драматизировался. Это уже не была изящная, капризная куколка-танцовщица, это была актриса, актриса-женщина, умевшая глубоко чувствовать, переживать... Бульварные газеты не стеснялись намекать, и намеки эти были весьма прозрачны, что секрет пышного артистического расцвета неподражаемой Мата-Гей надо искать в ее увлечении каким-нибудь очаровательным принцем. Имя этого принца — на устах золоченого блестящего Парижа.

Содрогнулся Адриан, представляя, боясь представить себе Мата-Гей холодную, вчера еще гибкую, как лиану, сегодня — закостеневшую, с изуродованным лицом, размозженным черепом. Да, да, в автомобильных ката-

строфах это неизбежно... Адриан видел их несколько во время войны...

Им овладела физическая слабость, — это пройдет. А пока, пока нехорошо... Вяло так, беспомощно...

Овладев собой, оправившись, он помчится туда, на рю Лисбонн, чтобы узнать у черной Кэт все-все... Все подробности...

Вошел Бузни, успевший прочесть «Main». Вошел осторожно и тихо, как к больному. И хотя он принес папку рукописей, однако спросил, и это было скорей утверждение, чем вопрос...

— Ваше Величество сегодня не будет работать?..

Адриан молча взглянул на него и, молча кивнув, отвел взгляд. Бузни вышел.

Спустя минут сорок, мать, войдя к сыну, застала его таким же, каким застал Бузни.

Маргарета успела оплакать Сережу, успела взять себя в руки, освежить лицо и спустилась к Адриану.

Увидев его тяжело задумчивым, горестным, она ощутила прилив нежности, какой еще никогда не было по отношению к сыну.

Мягко взяв голову сына в обе руки, она прижала ее к своей груди.

— Что с тобой?

Вместо всякого ответа, Адриан, не меняя позы, обнял мать за талию и еще сильнее прижался лицом к ее груди.

— А ты знаешь, этот молодой скульптор! Его уже нет. Он покончил с собой... — у нее духу не хватило сказать «повесился».

— Да! — только и было ответом.

Это безучастие сына, всегда внимательно-го, чуткого, даже совсем к посторонним людям, не изумило королеву. Она истолковала это правильно: значит, у самого Адриана слишком мрачно и тяжело на сердце, если он так отнесся.

Надо развлечь его, дать другое направление мыслям, задеть в нем самое близкое, свое, родное.

Лаская его голову, она сказала:

— А у нас, в горах, восстание ширится... И знаешь, кто едва ли не главный и нерв, и душа, и мозг? Зита! Маленькая Зита!..

Адриан, восторженно взяв ее руки, почти с гневом воскликнул:

— Мама, раз навсегда... Умоляю вас, не говорите мне об этой женщине...

— Выслушай меня!..

— Мама...

— Ты должен выслушать!.. Сядем. Не перебивай меня, будь терпелив.

Он подвинул ей кресло и сел сам, готовый слушать, но предубежденный, решивший, что матери не переубедить его. Маргарета не сразу начала, обдумывая каждое слово.

— Мне это нелегко говорить... Я виновата, очень виновата и перед тобой, и еще больше — перед ней... Но другого выхода не было... Пришлось пожертвовать личным чувством во имя династических интересов... И ты никогда не узнал бы правду, если бы не овдовел... Но теперь, когда ты свободен, я тебе скажу все. Зита перед тобой чиста и боготворит тебя больше прежнего. Да, да, ты сейчас убедишься! — поспешила мать, увидя на лице сына горькую, недоверчивую улыбку. — Я не встречала еще такой героини, как Зита, способной на самое крайнее самопожертвование. Зита знала: у тебя не хватит решимости порвать с ней, чтобы жениться на Памеле.

Надо было так сделать, чтобы ты разлюбил ее, Зиту. Даже больше, почувствовал к ней отвращение. И сознательно, с истерзанной, кровавленной душой, взошла эта маленькая Зита на жертвенный алтарь. Она хотела убедить тебя в своем романе с этим... этим Абарбанелем. В действительности же не только никакого романа не было, а Зита едва разрешала ему целовать кончики своих пальцев.

Адриан хотел возразить, но ограничился нетерпеливым жестом.

— Зита по отношению к тебе и к своей любви осталась такой же чистой и светлой. Но разве не убедительней всего ее прямо титаническая работа сейчас над тем, чтобы вернуть тебе утраченную корону. Не только символически вернуть, а и в самом прямом значении слова. Ей удалось похитить и увезти в горы с помощью Друди обе короны пандурской династии. Не будь Зиты, большевики продали бы их в музей какого-нибудь американца.

Оживившийся, просветленный, Адриан, порывисто бросившись перед матерью на колени, спросил:

— Мама, откуда вы все это знаете?

— От самой Зиты, — ответила с торжествующей улыбкой Маргарета. — Я с ней все время в переписке...

27. ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

Калибанов со своим бритым лицом жокея после двух-трех месяцев манежа приобрел совсем берейторский вид. Сухой, сбитый весь, маленький, он ходил в желтых галифе, подшитых кожаными леями, в невысоких мягких сапогах, носил клетчатую кепку и не разлучался со стеклом.

Зарабатывал Калибанов недурно, и хватало не только на жизнь, а еще и угостить обедом или завтраком какого-нибудь всплывшего вдруг в Париже друга-приятеля по славной отечественной коннице.

Вот и сегодня, в воскресенье, день-другой спустя после трагической гибели Сережи и Мата-Гей, угощал Калибанов полковника Павловского.

Да, в недавнем прошлом он был блестящим офицером Лубенского гусарского полка. В его же эскадроне, кстати, отбывали воин-

скую повинность оба брата Серези Ловицкого — Миша и Боря.

А теперь, теперь это — смуглый мужчина в потертом английском кителе, знавшем и Кубань, и взятие Царицына, и агонию Новороссийска, и героическую врангелиаду в Крыму. Теперь это давно не бритый человек, хлебнувший и голода, и нищеты, отчего лицо его стало похожим на печеное яблоко. Набедствовавшись в Париже, Павловский зацепился за какую-то шоколадную фабрику, где приходилось таскать и ворочать ящики и где платили пять франков в день, за вычетом воскресений.

И вот они оба, Павловский и Калибанов, однокашники — птенцы Елисаветградского кавалерийского училища, сидят на кожаном узеньком диванчике в каком-то подобии кабинета. Именно — подобии... Справа и слева — вроде стеклянной, матовой, разрисованной всякой всячиной стены. Эти обе стены на высоте человеческого роста опускаются изогнутыми линиями к общему залу ресторана. Во всяком случае, впечатление ложи.

Гарсон поставил блюдо с закусками. Вер-

нее, целый ассортимент миниатюрных блюд, каждое в виде трапеции. На этих «трапециях» — сардинки, масло, сыр, шпроты, корнишоны, колбаса, редиска.

— А за отсутствием очищенной, мы угостимся кальвадосом, — и Калибанов потребовал именно этот крепкий напиток, приятно обжигающий все нутро.

Гарсон, налив две рюмки, хотел унести бутылку и удивился, когда Калибанов попросил оставить ее.

Павловский, огрубевшими от физической работы пальцами, поднял рюмку.

— За скорейшее возвращение домой.

— Дай Боже... Только «сумлеваюсь», чтобы скоро... — ответил Калибанов с гримасой удовольствия на бритом лице от выпитой рюмки.

— Ты сомневаешься? — спросил Павловский.

— Хотелось бы, ох, как хотелось бы не сомневаться, а только видишь сам, какая кругом мерзость... Леон Блюм, правящий Францией, через своего приказчика Эррио, справляет медовый месяц с кремлевской шпаной.

Шпана эта въехала в Императорское российское посольство, превратила его в нечто среднее между публичным домом и кандалным отделением сахалинской тюрьмы. Шпана жрет на царском серебре, угодливо оставленном ей господином Маклаковым, и не только в ус себе не дует, а задрала ноги на стол и требует, — давай ей флот Врангеля.

— Неужели отдадут? — встрепенулся Павловский.

— А почему бы и нет? Почему? У власти товарищи-социалисты, а разве есть гнусность, разве есть подлость, которой не могли бы выкинуть социалисты? Вот, может быть, Англия прикрикнет на них: «Цыц, не смей». Да еще зашевелились Болгария, Румыния, Турция, — кому охота иметь в своих водах флотилию красных пиратов? Давай еще! Хорошая штука этот самый кальвадос. Да, противно жить! Что ни день — такое ощущение, словно вступил ногой в вонючую гадость и носишь эту гадость на сапоге... Прости, дружище, за неаппетитное сравнение, но, право же, это именно так! Больше полугода правят они Францией, эти, с позволения сказать, социалисты и

чем же они занимаются? Подходят с государственной точки зрения к рабочему вопросу? Заботятся об удешевлении жизни? Благодарят род людской? Ничего подобного! Проповедуют мир, а сеют смуту, рознь, классовую и религиозную ненависть. Им, изволите ли видеть, надо порвать с Ватиканом, ибо этого желает Блюм. Хотя, хотя... это к лучшему. Все национально-мыслящее, все верующие в Бога, а не в дьявола, пробуждаются и организуются под предводительством генерала де Кастельно. У социалистов — Блюм, прятанный от воинской повинности, у националистов — генерал, доблестно воевавший на фронте и принесший в жертву отчизне трех своих сыновей. И вот, лицом к лицу, стоят две Франции: Франция — Блюма и Франция — де Кастельно. И вот вопрос, чья же Франция победит в конце концов? Все идет или к большевизму, или к здоровой диктатуре. В самом деле, разогнать всю эту сволочь легче легкого...

Калибанов хотел продолжать, Павловский, в свою очередь, тоже хотел сказать что-то, но пресекшийся Калибанов сделал ему знак, — погоди, мол...

Вниманием Калибанова овладел разговор вполголоса в соседней ложе. Речь шла на пандурском языке, довольно хорошо усвоенном ротмистром за два года жизни в Бокате. И, странная вещь, голос одного из собеседников почудился знакомым...

Он где-то слышал этот мягкий, слащаво-приторный тенорок, тенорок влюбленного в себя мужчины.

Голос говорил очень тихо, но выразительно:

— С каждым днем он становится опасней. Он — знамя! А если перерубить древко, — знамя упадет и, лежа во прахе, перестанет быть знаменем. Словом, необходимо покончить на этих же днях... — Тут слащавый голос что-то произнес до того тихо, — напрягавший свой слух Калибанов не уловил ни звука.

Тем более, ротмистр, дабы у соседей не показалось подозрительным молчание, воцарившееся в его ложе, машинально говорил первое попавшееся:

— Да... да... конечно... кто знает... увидим... увидим. А, впрочем... Пей кавальдос... я не могу, — и, нарочно, уже по-французски, запле-

тавшимися языком, Калибанов добавил:

— Я совершенно пьян...

— Вы оба хорошо знаете Париж? Ну так вот, каждое утро, от восьми до девяти, он катается верхом, на авеню Анри Мартен. В эти часы аллея для езды пустынна. Ни полицейских, никого! Стреляйте... Оба — для верности! Но не на рыси, а когда будет ехать шагом. При известном хладнокровии вам легко будет исчезнуть...

Одобрительное двойное «хмыканье» было ответом.

— Дальше... Предполагать всегда надо худшее. Допустим, кого-нибудь из вас, или даже обоих, — схватили! Допустим. Чего бояться? Что вам грозит? Что? Самое большее — несколько месяцев тюрьмы! Подумаешь, какой это ужас!.. Ведь вы же не новички-дебютанты...

Новое «хмыканье», уже с придушенным подленьким смешком.

— Я бы на вашем месте радовался! Попадете в политические герои. На суде переводчик скажет от вашего имени красивые слова о вашем желании убить «коронованного тирана».

Убить за его преступления против демократии. Сейчас это здесь в большой моде. Вас оправдают, и социалисты на руках вынесут вас из зала суда... Что же касается материального обеспечения, вы знаете, до чего щедромы оплачиваем своих агентов... Итак, с завтрашнего дня ходите аккуратно, как на службу. Ходите на авеню Анри Мартен. Что же касается... револьверы должны быть крупнокалиберные. Каждую пулю, — тут Калибанов скорее угадал, чем услышал, — надрежьте крестообразно, — и после уже донеслось — величиной с тарелку...

Восстановить было легко. Очевидно, сосед пояснял своим собеседникам, что выходное отверстие раны от надрезанной пули будет величиной с тарелку...

Слушая все это, Калибанов холодел и уже не подавал реплик Павловскому, вроде:

— Да... да... конечно... как знать...

Все помыслы его — уже там, на королевской вилле, и хотя еще много времени, но было чувство опасения, что он опоздает предупредить. Он сидел, как на раскаленной жаровне. Мысли, стремительные, короткие, с та-

кой же стремительностью сменяли друг друга. Позвать полицию? Арестовать заговорщиков? Но полиция Эррио и Блюма выпустит этих господ и, чего доброго, арестует самого Калибанова, как «нежелательного иностранца». Нет, сначала надо увидеть этих людей, увидеть обладателя голоса, показавшегося знакомым... Он, Калибанов, наденет по самые брови свою клетчатую кепку и полупьяной походкой, пряча лицо, пройдет мимо соседней ложи в уборную. Ничего не понимавший Павловский смотрел на него во все глаза.

Но соседи облегчили задачу, и ротмистр мог оставаться в своем кабинете. Главный заговорщик потребовал счет, заплатил и, бросив своим агентам: «Вы посидите еще», ушел. Калибанов, прячась за Павловского, видел, как мимо прошел к выходу щеголеватый, с подведенными бровями Ячин.

Так вот кто душа заговора на жизнь короля Адриана!..

Не сиделось Калибанову. Дергало всего нетерпением, Куда аппетит девался!.. Предоставив хронически голодающему Павловскому насыщаться, Калибанов, пройдя к буфету,

увидел двух кудлатых, черномазых, неряшливо одетых пандуров. Они пили вино, за которое заплатил Ячин. Калибанов запомнил подозрительные физиономии этих молодцов.

Вернувшись к своему столику, он сказал приятелю:

— Павловский, не обижайся на меня, дорогой. Я должен тебя покинуть... Дело спешное и чрезвычайной важности. А ты не торопись, кончай обед... И вот тебе, дружище, сто франков. Заплати по счету.

— А сдачу?

— Сдачу? Не беспокойся. При встрече вернешь.

— Да куда же ты, что с тобой? Какая муха укусила? Ничего не понимаю...

— И не надо понимать. Сам потом все расскажу. А пока... — и, крепко сжав Павловскому локоть, схватив свою клетчатую кепку, маленький ротмистр выбежал из ресторана...

28. КАЛИБАНОВ СТАРАЕТСЯ

Не мигали смотревшие прямо перед собой круглые ястребиные глаза, и кто знает, какие воспоминания теснились в бритой голове под чалмой. Сухой, не знающий усталости, могущий целыми часами каменеть неподвижно, потягивал Зорро глиняную трубочку-носогрейку, и голубоватыми прозрачными струйками выходил из-под седых усов дым. И, быть может, в этих капризно-нежных таящих струйках чудились Зорро одному ему понятные образы. Образы минувшего. В такие годы человек больше оглядывается назад, чем заглядывает вперед.

Выскочивший из такси Калибанов подбежал к Зорро.

— Господин Бузни у себя?

— Нет. Господин Бузни вышел.

— А когда вернется?

— Не знаю.

— А полковник Джунга?

— Уехал.

— Когда вернется?

— Не знаю... — и Зорро, тотчас же забыв о

Калибанове, задымил трубочкой, устремив перед собой ястребиный взор свой.

«Не особенно же словоохотлив этот гайдук Его Величества», — промелькнуло с досадой у Калибанова, решившего, будь что будет, дождаться шефа тайного кабинета. Купив в соседней лавочке папирос и газету, он двинулся в Булонский лес.

День был бодрый, осенний, и уже золотилась на деревьях листва и шуршала под ногами опавшая, скрюченная, сухая, напоминающая смерть.

А рядом — жизнь. Целые вереницы колясочек проезжали мимо скамьи, на которой сидел Калибанов. В этих легких колясочках,двигаемых матерями, боннами, няньками — улыбающаяся, резвая, пускающая пузыри де-твор.

Калибанову вспомнилась Россия. Вспомнились русские дети, бледные, чахнувшие, и он вздохнул и далеко унесся от последней речи французского Керенского, такого же неисправимого социалистического болтуна, как и наша отечественная трещотка — Керенский. Сунул газету в карман.

И вот — на ловца и зверь бежит. Навстречу Бузни, румяный, словно загримированный, и на этом гриме бегают живые карие глаза. Вид у него праздничный, беззаботный. Почти легкомысленно помахивает камышовой тростью, на вид такой невинной, а на самом деле — внутри острый и тонкий стилет, могущий пронзить человека. В руках Бузни, недурного фехтовальщика, это — опасное оружие.

— Вот встреча! Рад вас видеть...

— Я еще больше рад, господин шеф. Я ищу вас. Я уже был там, но Зорро сказал мне, что вас нет. Я собирался еще навеститься и, как на счастье, — вы...

— А что? Разве важное что-нибудь? — Бузни взял Калибанова под руку и они пошли вместе.

— Господин шеф, знаете — Ячин в Париже!..

— Знаю. Он уже больше недели здесь. Его прислал Штамбаров на предмет... — Бузни осмотрелся и понизил голос, — на предмет ликвидации Его Величества. Более подробными сведениями я пока еще не располагаю.

— Зато я располагаю, — подхватил Калибанов и описал все, что видел и слышал в ресторане.

— Увы, — вздохнул Бузни, — мы не можем перейти в наступление. Вся эта банда под покровительством Блюма и Эррио. Мы можем только охранять особу Его Величества...

— Вот, вот! Надо удержать его от прогулок верхом. Завтра эти негодяи начнут свое дежурство на авеню Анри Мартен.

— И пусть себе! Их Величества покинули Париж на несколько дней.

Хотя Бузни и был уверен в Калибанове, однако профессиональная осторожность подсказала этот неопределенный ответ. На самом же деле, Их Величества уехали в Мадрид погостить у испанской королевской четы.

— Во всяком случае, господин ротмистр, я благодарен вам бесконечно. Сведения, добытые вами, ценности чрезвычайной. Одного боюсь, что Его Величество, вернувшись, невзирая на все мои просьбы и увещевания, возобновит свои прогулки, не меняя ни часов, ни маршрута.

— Но позвольте... Именно теперь король

не имеет права подвергать свою жизнь опасности, играя своей головой.

— Я более чем согласен с вами, но король — спортсмен с головы до ног. Спортсмен и в жизни. Я его хорошо знаю и знаю, до чего возмутится его гордость — как, чтобы вся эта шушера могла заподозрить его, хотя на миг, в трусости, в том, что он боится их! Нет, я уверен, с ним будет много хлопот, и я далеко не уверен, удастся ли мне положить конец этим прогулкам... Единственный выход, единственный, — соображал Бузни, — это... это до возвращения короля как-нибудь разделаться с этими двумя негодьями... Новых Ячин не скоро найдет. Вы сегодня свободны весь вечер?..

— Свободен...

— Мы с вами поужинаем, что-нибудь придумаем сообща. Нет, это было бы ужасно. Теперь, накануне событий, накануне реставрации...

— Вы в нее верите? — с волнением спросил Калибанов.

— Готов держать какое угодно пари! Вести одна другой радостней идут из Пандурии. Му-

сманек, Абарбанель, Шухтан — все они в Париже. А через какой-нибудь месяц сюда хлынут наши красные комиссары. Хотя большинство, наверное, будет перебито на месте. А Мусманек-то, Мусманек! Купил себе отель. И где бы вы думали? Возле парка Монсо! Вот вам и демократический президент. Ах, надо вас познакомить с профессором Тундой. Умереть можно от смеха, слушая его рассказы о жизни почтенного трио во дворце...

— Воображаю!

— В первые дни, пока Мусманек еще не освоился со своей новой ролью, он суетился, бегал за спичками, подавал стулья, а уже через две недели, развалясь в кресле, протягивал руку, не глядя, пожилым дамам.

— Черт знает, какое хамство!

— То же самое относительно фрака. Вначале смотрел на него, как на буржуазный пред-рассудок, а потом, потом уже с утра не вылезал из фрака весь день. Вероятно, взяв себе за идеал кинематографических артистов, облачающихся спозаранку после ночной пижамы в отлично сшитый фрак.

— Еще, еще что-нибудь! — подзадоривал

сам подзадоренный Калибанов.

— А президентша! Ей ужасно хотелось побывать вместе с супругом в Париже и пообедать в Елисейском дворце.

— Умеет ли она сидеть за столом?

— Не знаю, умеет ли, но шельма эта Мариула Панджили дрессировала ее, как собачонку... Пробовала натаскивать в обиходных французских фразах, но ничего не выходило. На дипломатических приемах мадам Мусманек сидела истукан истуканом. Наливались кровью напудренные прыщи на лице, и она перебирала на животе свои костлявые, красные пальцы. И это после королевы Маргареты! Какой позор! Какое унижение для всей страны! Было ли у вас что-нибудь подобное? Я не говорю о большевиках, а до них?

— Было, господин шеф. Мадам Ольга Керенская, с вечной папироской в зубах, в грязной кофточке, в криво застегнутой юбке — стоит пандурской президентши...

29. ПОХОРОНЫ ЕГО И ЕЕ

Настойчивое, едва ли не третье по счету, приглашение короля Альфонса, звавшего к себе погостить Адриана и Маргарету, явилось как нельзя более кстати и вовремя.

У обоих — у матери и у сына — было тяжело на сердце, и обоим хотелось забыться мельканием новых впечатлений.

Если бы раньше, много лет назад, Маргарете сказали, что она может грустить, и грустить глубоко, от потери человека, никогда не бывшего ей близким, она ответила бы на это безмолвным снисходительным взглядом. А теперь самоубийство Сережи произвело на нее сильное, почти неизгладимое впечатление.

Он был ей таким дорогим, дорогим, этот одинокий, в сущности, чужой и чуждый юноша. Он так и покончил с собой, не подозревая, какое место занимал в ее думах, в ее мечтах. Воображение, забегая вперед, набрасывало будущую карьеру мальчика. В случае успеха и возвращения династии он был бы придворным скульптором и в условиях материальной

обеспеченности мог бы свободно и пышно творить. Его талант расцветал бы, рос, а имя его, в конце концов, стало бы европейским, таким же, как имя Тунды.

И вот в осеннее утро все эти красивые мечты разбились самым безжалостным образом. Ни пышного творчества, ни сказочной завидной карьеры, ни европейской известности — ничего. Вместо всего этого — крюк с висевшим на нем Сережей в смокинге, с алой гвоздикой в петличке.

Мы уже знаем: после того как Тунда принес ей эту страшную новость, она просила его заехать к ней позже. Внешне спокойная, успевшая втихомолку выплакаться, она сказала профессору:

— У меня не хватит сил увидеть его. И даже не хватит — следовать за гробом... Вы понимаете, это — ужасно, ужасно!.. Тунда, хороший, добрый Тунда, озаботьтесь похоронами и до самой могилы проводите его. Пусть его гроб и его могила, пусть они утопают в цветах. Какое безумие! Накануне того, чтобы войти в нашу семью таким родным, желанным, своим, он... Как это бессмысленно и как

это больно, больно, Тунда...

Тунда привык устраивать веселые, праздничные торжества, но никогда еще никого не хоронил. Это выпало ему впервые, и отнесся он к этому с внимательной и чуткой грустью. И, поникнув седой головой своей, один-одинешенек, медленно шел за погребальной колесницей, действительно утопавшей в цветах, и с двумя большими венками — его и королевы.

По непостижимой иронии судьбы в этот же самый день хоронили Мата-Гей. Но ее провожал в могилу весь Париж. Это были грандиозные похороны, с многотысячной толпой. В этой многотысячной толпе единственное существо горько, от всей души, оплакивало трагическую смерть королевы экрана. Это была черная, громадная Кэт. Вся в неутешных слезах, она протяжно выла что-то свое, негритянское, и причитая, и бормоча опять-таки что-то свое, никому не понятное. И жутко было всем окружающим от этой черной колоссальной фигуры и от этого дикого воя, отдающего берегами Конго и Сенегала, и от этих причитаний.

Одна, только одна Кэт знала и понимала бесхитростным сердцем своим драму своей госпожи. Драму наивной прелестной птички-щобетуньи, полюбившей короля и ужаснувшейся этой любви, такой пугающей, такой «неравной».

Эта любовь, сделав ее несчастной как женщину, сделала ее великой, гениальной как артистку. Еще два-три года, и она завоевала бы мир. Судьба же дала ей завоевать два с половиной квадратных метра земли на кладбище Пер-Лашез.

Над свежей могилой произносили речи знаменитые актрисы и актеры, владельцы кинофабрик, писатели и даже депутаты парламента, но бедная Мата-Гей не слышала этих громких, хвалебных фраз, не слышала тархтящих аппаратов. Они снимали для вечернего экрана эту последнюю пьесу с участием Мата-Гей.

А драма из жизни II империи, сочиненная для Мата-Гей, осталась неоконченной. Ее пришлось скомкать. Упитанный директор «Гомона» в лоснящемся цилиндре громко выражал по этому поводу свое накипавшее неудоволь-

ствие.

30. ТО, ЧЕГО НЕ ОЖИДАЛ ЯЧИН

«Паяр» уже не гремел, вытесненный другими, более модными ресторанами. Но «Паяр» был дорог шефу тайного кабинета по воспоминаниям молодости. Он свез Калибанова к «Паяру» и угостил отличным ужином.

На следующий день Калибанов, с платком на шее, одетый монмартрским апашем, зевая во весь рот, как после бессонной ночи, спозаранку слонялся по авеню Анри Мартен вдоль верховой аллеи.

С половины восьмого оба уже знакомых ему пандура явились на свой пост. Калибанов опытным глазом «почувствовал» их карманы, оттягиваемые крупнокалиберными, тяжелыми револьверами.

Целый час шатались пандуры. Каждый, очень редкий, правда, всадник вызывал их живейшее внимание. Это внимание сейчас же погасало, как только они убеждались, что всадник не имеет ничего общего с тем, за чьей головой они охотятся.

В конце концов им надоело шататься и,

убедившись в неудаче сегодняшнего утра, они сели на скамейку и давай ожесточенно курить.

Калибанов, проходивший мимо типичной апашской походкой враскачку, услышал фразу одного из пандуров:

— Сегодня ускользнул от нас, черт возьми. Но ничего... Пропустим сегодня... Завтра уж наверно будет, а будет — ему уже от нас не уйти!..

И оба смеялись.

Калибанов, весьма довольный увиденным и услышанным, отправился к себе — он жил недалеко, на рю де ля Помп, в небольшом отеле, — переоделся в обыкновенный спортивный костюм, позвонил в свой манеж и отпра- сился у начальства на первую половину дня. Калибановым дорожили как отличным берейтором, и разрешение было дано. Калибанов спустился в метро и вылез на станции Камбронн. В нескольких минутах ходьбы находилась шоколадная фабрика, где Павловский таскал и ворочал ящики. Туда-то и направился Калибанов.

Павловский вышел к нему без кителя и с

засученными рукавами и был сразу огорчен:

— Хочешь поправить свои дела и заработать тысячу франков?

— Ты шутишь?

— Нисколько! Дурак что ли я отрывать тебя от дела для подобных шуток?

— А что для этого надо?

— Надо показать, дружище, что Павловский остался таким же лихим лубенским гусаром, каким был всегда. Не скрою, однако, дело сопряжено с некоторым риском. Могут быть неприятные объяснения с полицией.

— Хм... нашему брату, русскому эмигранту...

— Ничего не хм... Когда полиция убедится, что у этих молодчиков было по револьверу с надрезанными пулями, нас отпустят. Согласен? В заключение прибавлю, что дело чистое, — на нечистое я тебя не позвал бы и сам не пошел бы, — и прямо-таки благородное.

— В таком случае, о чем же и говорить?

— Молодец! Получай тысячу франков.

— Как, сейчас?

— Естественно, сейчас! Освободись после

обеденного перерыва. Пойдешь в магазин готового платья, купишь галифе, пиджак, высокие шнурованные сапоги. Немного белья, все это обойдется франков в пятьсот. А завтра уже к семи, одетый щеголем, приходи в манеж, где и узнаешь все подробности. До свидания! Будь же аккуратен!..

По дороге в спортивном магазине Калибанов купил два тяжелых, длинных стека с массивными металлическими конскими головами.

На следующее утро два всадника ехали шагом вдоль верховой аллеи.

— Ну что, приятно сесть в седло старому кавалеристу? — спрашивал Калибанов.

— Чего лучше! Такое впечатление, — ни с чем сравнить нельзя.

— Ну вот, теперь, когда ты оделся, каждое воскресенье будешь кататься... Эх, дружище, выгорит в Пандурии монархия, — обоим хорошо будет... А вот и эти самые полупочтенные...

Оба пандура с фланерским видом уже маячили по бокам аллеи, держась друг друга.

Калибанов и Павловский, ехавшие стремя

в стремя, незаметно разделились и еще незаметней стремительно атаковали каждый свою жертву. Те и опомниться не успели, как тяжелые металлические рукоятки стеков заработали по их головам и физиономиям. Каждый удар сопровождался зловещим хрустом дробящихся костей и хрящей. Не пикнув, упали оба пандура, а всадники, наклонившись, продолжали колотить по их черепам. А потом, с места подняв лошадей в галоп, были уже далеко...

Автомобиль скорой помощи подобрал и увез искалеченных негодяев с каким-то кровавым месивом вместо лиц.

Через два дня кутивший на Монмартре Ячин был найден под утро на бульваре Роше-шуар с торчащим по самую рукоятку ножом в спине.

Только двумя-тремя месяцами пережил Ячин своего друга Тимо. Какой-то зловещий рок тяготел над всеми, кто посягал на жизнь короля Адриана...

31. В ГОСТЯХ У ИСПАНСКОГО КОРОЛЯ

Накануне отъезда в Испанию Адриан закончил последнюю главу своих воспоминаний.

Господин Ван-Брамс, выдавший последний чек высочайшему сотруднику, был весьма-весьма доволен.

— Ваше Величество, честное слово, ваш труд превзошел всякие ожидания! Ко мне прямо посыпались заказы! Что поделаешь, толпу хлебом не корми, — дай ей сенсацию! А там имеются такие резкие главы! Такие... Каждый, читая их, будет отделять свою спину на несколько сантиметров от спинки стула. Ваше Величество, смею вас уверить, эти несколько сантиметров, — лучший показатель сенсационности! О, эти резкие, бичующие главы! — полумечтательно, полуобещающе воскликнул издатель.

— Пожалуй, слишком резкие, — заметил король. — Но иначе я не мог... Я мог писать только искренно...

— Это очень, очень хорршо, Ваше Величе-

ство! Публика в восторге, когда перо превращается в хлыст или бич... Нет, скажу вам откровенно, — редко я бывал так доволен сотрудником своим, как в данном случае! Дебют поистине королевский! Я горд сознанием, что я...

Словом, уходя и унося последние страницы воспоминаний, господин Ван-Брамс расшаркивался не без ловкости и даже не без грации балетмейстера.

На следующий день в двух смежных купе международного общества спальных вагонов мчались к испанской границе Адриан с Джуной в одном и Маргарета с компаньонкой своей, вдовой убитого мятежниками гвардейца, — в другом.

Невзирая на протесты королевы, эта женщина исполняла все обязанности камеристки Ее Величества.

В Сан-Себастиано дорогих, желанных гостей встретил король Альфонс и увез их в Мадрид в своем поезде. Встреча носила не только сердечный, но и торжественный характер. На вокзале выставлен был почетный караул из полуэскадрона гвардейских гусар, в

голубую форму которых, с высоким твердым кивером, одет был и сам Альфонс.

Гостей приветствовал пандурский гимн. Знаменщик склонил штандарт гвардейских гусар. Этой церемонией испанский король демонстративно давал понять, что не признает обоих переворотов в Пандурии и считает Адриана законным ее государем. Было это также красивым жестом и по адресу масонской Франции, той самой Франции, тайный диктатор коей Леон Блюм объявил войну испанскому королю-католику.

Операторы снимали пышное зрелище, и через два дня оно обойдет экраны всей Франции.

Но это было еще только прологом. Главный эффект поджидал королевский поезд в Мадриде. От вокзала, через весь город, вплоть до самого дворца, шпалерами стояли войска. За этими стройными живыми стенами густились десятки тысяч горожан, с энтузиазмом встречавших открытые экипажи с ехавшими в них Альфонсом, Адрианом и Маргаретой.

На всем протяжении этого триумфального шествия не смолкали раскаты ликующих воз-

гласов. Особенности же овалции устроены были на главной площади Пуэрта-дель-Соль — этом «сердце» Мадрида.

Все это было убедительнейшим ответом на поведенную из Франции клеветническую кампанию против Альфонса.

Брошены были громадные деньги, нанят был знаменитый писатель Ибаньес, чтобы убедить весь мир в непопулярности испанского монарха, в том, что народ ненавидит его. А в ответ — король медленно, почти шагом едущий в открытой коляске, одинаково доступный и злодейской бомбе, и револьверной пуле. В ответ — высыпавшая на улицы добрая треть населения, исступленно, с блеском в глазах кричащая:

— Да здравствует король!..

И это не буржуазия, а пролетариат, простые женщины — работницы и жены рабочих.

Альфонс представил Адриану вернувшегося из Марокко генерала Примо де Ривера. Этот молодой, с красивым энергичным лицом, диктатор произвел на Адриана самое выгодное впечатление. Так вот он, этот человек,

этот испанский Муссолини, вместе с королем своим спасший страну! Страну, бывшую уже на самом краю бездны, бывшую уже почти во власти преступников-анархистов и разного социалистического сброда. С таким диктатором шутки плохи. Не удивительно, что вся так называемая демократия стала тише воды, ниже травы, частью же забила в подполье. Не удивительно, что Блюм, в бессильном бешенстве мобилизовавший всех своих масонов, всех своих Эррио, своих Ибаньесов, ничего не может поделать с этой «реакционной» Испанией, вымещая свою злобу на Святейшем отце, добился-таки дипломатического разрыва Франции с Ватиканом, после чего Франция сразу стала второстепенной державой и, к великой радости большевиков, потеряла весь свой престиж в африканских и азиатских колониях.

В честь гостей в ближайшее воскресенье был дан особенно торжественный бой быков с участием лучших, знаменитейших матадоров Испании.

Двадцатитысячный амфитеатр цирка весь, как один человек, поднялся при появлении в

королевской ложе Альфонса, его августейшей супруги, Маргареты и Адриана.

Накануне, в субботу, церемониймейстером высочайшего двора были приглашены в его канцелярию двое главнейших участников корриды (боя), — первые шпаги арены, — матадоры Альгабеньо и Бельмонте. Церемониймейстер предложил им оказать гостям традиционное гостеприимство и посвятить двух первых быков. Матадоры изъявили живейшее, более чем живейшее, — пламенное согласие.

И вот, когда под звуки марша появилась на арене вся квадрилья, сверкая на солнце золотым и серебряным шитьем своих сказочно красивых костюмов, Альгабеньо и Бельмонте, обнажив головы и подняв свои шпаги, обратились к королевской ложе с приветствием посвящения. И вслед за этим оба, по древнему обычаю, ловким движением бросили в амфитеатр свои цветные, яркие плащи. Подхваченные десятками рук, плащи поднимались все выше и выше, пока не достигли королевской ложи, где адъютант положил их на барьер: один — перед Маргаретой, другой — перед Ад-

рианом.

Начался бой. Альгабенъо и Бельмонте превзошли самих себя, вызвав бури потрясающих восторгов и совершив то, чего до них не совершал еще ни один из самых прославленных матадоров. Они так вели опасную игру со своим четвероногим противником и так рассчитано был нанесен решающий удар шпагой, что и первый, и второй бык, падая, пораженные насмерть, как бы преклонили колени перед королевской ложей.

От Маргареты Альгабенъо получил бриллиантовую булавку, Адриан же подарил красавцу Бельмонте золотой портсигар. Перед самым концом боя Адриану была доставлена Джунгой из дворца телеграмма, помеченная Парижем и подписанная шефом тайного кабинета:

Дела исключительной важности требуют немедленного возвращения в Париж.

32. ПЕРЕД ОТЛЕТОМ

А дело вот в чем:

Приехал Чова, — племянник гайдука Зорро, — со своим сыном Сафаром. И не успели войти, — первым делом и к Зорро, и к Бузни:

— Где Его Величество?

— Да вы-то сами с какого ковра-самолета свалились? — вопросом на вопрос ответил Бузни.

Но приезжие ценили каждое слово. Да и нельзя было иначе. Каждая минута безумно дорога.

Велико было их отчаяние, когда они узнали, что Адриан вернется только через несколько дней.

У отца и у сына это отчаяние выразилось неодинаково. Пожилой, сухой, пергаментный горец, по-восточному одетый, Чова, схватившись за голову, покрытую чалмой, завыл, стиснув зубы. Сафар, кандидат прав Бокатского университета и бывший депутат парламента, похожий на англичанина скорей, чем на пандура, по внешности утонченнейший

европеец, выдавал свое волнение только игрой лицевых мускулов.

Выслушав их, шеф тайного кабинета убедился, — всякое промедление может катастрофически отозваться на том, что уже пушено в ход и чего никакими силами нельзя остановить. Либо — смерть, провал, неуспех, либо — жизнь и свобода.

Бузни отправил королю телеграмму, и через тридцать шесть часов экспресс Мадрид — Париж примчал короля.

И с ним так же лаконичны были Сафар и Чова:

— Ваше Величество, если через трое суток вы не будете среди своих верноподданных и своих войск, счастье может изменить нам.

— Как? Уже все готово?

— Все, Государь! — ответил Сафар. — Ваше немедленное присутствие там необходимо по нескольким причинам: и моральным, и политическим. Восстание — анонимное само по себе, без объединяющего знамени, знамени, которым должны быть вы, — обречено, если и не на неуспех, то, во всяком случае, на успех под большим сомнением. Если же вы будете

среди нас и лично поведете войска, то насколько поднимется настроение у всех жаждущих раздавить большевиков, настолько падет оно у самих большевиков. Это посеет среди них панику, и мы, если не церемониальным маршем, то не встречая серьезного сопротивления, можем занять Бокату.

— Какими вооруженными силами располагаете вы?

— Организованы два корпуса: пандурско-христианский и пандурско-мусульманский. В каждом около восьми тысяч бойцов. Пехота, кавалерия, броневики, пулеметная команда, горные батареи, а также эскадрилья из двенадцати самолетов.

— Из двенадцати самолетов? — изумился Адриан. — Откуда?

— Из Бокаты! В одну ночь, — это было неделю назад, — вся красная авиация, ставшая вдруг белой, перелетела к нам.

— Вот молодцы!

— Государь, я позволю себе еще прибавить — герои! Их семьи, как это водится у большевиков, взяты были заложниками. У красных это обычная страховка от измены.

Пандурские летчики исполнили свой долг перед своей родиной и перед своим монархом. На другой же день после побега Штамбаров арестовал их семьи, распубликовав, что, если изменники революции не вернутся в такой-то срок, испортив летательные машины, их жены, сестры, матери, отцы и братья будут замучены в пытках.

Мгновение Адриан молчал, подавленный, бесконечно растроганный, потом встрепенулся, зажегся:

— Этого нельзя допустить! Едем... Сегодня же едем. Бузни, какие ближайшие поезда к итальянской границе? Нет, будет очень долго...

— А ехать через Трансмонтанию Вашему Величеству рискованно, — подхватил Сафар, — там хотя коммунисты еще не у власти, но почти заправляют всем. Если вы, Государь, будете опознаны, я не ручаюсь...

— Верно! — согласился Адриан. — Бог с ней, с железной дорогой. Мы полетим! Есть же воздушное пассажирское сообщение: Париж — Прага — Будапешт — Варшава. Нам надо только подняться без посторонних пасса-

жиров, а когда мы будем на высоте двух тысяч метров, летчик, обеспеченный на всю жизнь, плюс еще стоимость аппарата, изменит маршрут и доставит нас куда нужно. Разумеется, необходим предварительный стговор. Бузни, сейчас же поезжайте на аэродром. Сколько нас? Вы, Джунга, Чова, Сафар, Зорро и я. Пять человек. Да, хорошо было бы захватить Кафарова.

— Кафаров уехал третьего дня.

— Куда?

— Туда, Ваше Величество, куда и мы собираемся...

— Великолепно! Скорей же, скорей, Бузни, и не смейте возвращаться без успеха.

— Не вернусь, — пообещал шеф тайного кабинета, — к тому же, Ваше Величество, я знаю одного летчика, бывшего русского офицера.

— О! в таком случае...

Бузни пропал около часу. Этот час вырос в бесконечность.

Адриан забрасывал сына и отца вопросами о подготовке восстания:

— Кто во главе мусульманского корпуса?

— Ротмистр Алибег.

— Алибег? Разве он жив?! — радуясь, но все же еще сомневаясь, воскликнул король.

— Жив! После того, как, защищая дворец, он упал израненный, окровавленный, очнувшись, он нашел в себе силы выползти. В суматохе его никто не заметил. Один из дворцовых дворников, мусульманин, унес его к себе, и в течение трех месяцев под самым носом президента Мусманека Алибег отлеживался, пользуясь чудесным уходом. А как только почувствовал себя немного окрепшим, — бежал в горы.

— Слава Богу, слава Богу! — повторял Адриан. — Алибег жив, жив! Сознание, что он погиб за нас, не давало покоя, угнетало меня. И вот невыносимая тяжесть свалилась, наконец!.. Друзья мои, какие же вы добрые вестники! Никогда, никогда я вас не забуду. — И он обнял и одетого по-восточному отца, и одетого по-европейски сына, и у всех троих заблестели слезы. И старый гайдук Зорро, отвернувшись, как-то подозрительно откашливался в свои длинные, седые усы...

33. ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Горы Пандурии живописны удивительно! Что-то родственное, пожалуй, Дагестану. Та же, порой мягко-чарующая, порой буйно-восхищающая и глаз, и душу панорама, вечно зеленая, вечно цветущая, до пресыщения заласканная горячим солнцем, горячим и в глубокую осень.

Чего-чего только нет в ней, в этой панораме, так вольно разметавшейся! И отвесные крутизны с темными впадинами орлиных гнезд, и пологие скаты с целым морем дремучих лесов, мощной волной сбегających вниз к долинам. А эти зеленые долины, словно разрезанные на десятки капризных кусков серебром и сталью змеящихся рек и узеньких, как отточенное лезвие, ручейков!..

А до чего капризны очертания гор, то круглящихся куполом, то заостренных, как шлемы сарацинских всадников, то плоских, будто срезанных в полутысяче метров от подошвы. Много таких «плато» в Пандурии. Но самое большое, могущее вместить в себе любое германское княжество, плато находилось в окру-

ге Трагона. Да и плато известно было под именем Трагона.

Самой природой уготовано было это, имевшее километров двадцать в окружности, плоское, неприступное возвышение, чтобы сделаться и главным очагом, и базой, и одновременно штабом широко задуманного восстания...

Дорога настоящая, проезжая чуть-чуть поднималась вдоль карниза спиралью, и, чтобы достигнуть равнины, надо было ехать несколько часов. Но пешие горцы поднимались крутыми узенькими тропинками, а то и совсем без тропинок, и подъем их длился не более получаса.

Тыл защищен был такими громадами скал, через которые не только не пройти человеку, а, пожалуй, и не всякому орлу перелететь. Фронт же, обращенный к столице, являл собой пересеченную местность, недоступную для маневрирования больших воинских групп. Между этой местностью и основанием плато лежала широкая долина. Если бы даже неприятельским силам и удалось спуститься, они легко были бы уничтожены, очутившись,

как на ладони, перед грозной крепостью, какую являла для них Трагона.

Но, невзирая на свои похвальбы двинуть в горы сильную карательную экспедицию, большевики не смели отойти дальше, чем на один переход, от Бокаты. Красноармейцы, набранные из городских подонков, из «сознательных» рабочих, разбавленные матросами и несколькими стами кремлевских янычар-курсантов, — тоже сплошь городская чернь, — боялись, панически боялись воевать в горах.

Трагона — живописный красочный лагерь, как и все кругом живописное и красочное.

Бойцы христианского и мусульманского корпусов ютились в шатрах, в землянках, а многие, кому не хватало ни шатров, ни землянок, спали под открытым небом. Закаленным, сильным и стойким горцам это было ничем. Да и как на счастье, ноябрь стоял сухой, бездождный и теплый.

И утром, и вечером шестнадцать тысяч человек становились на молитву. У христиан служили епископы и священники. Мусульма-

не же молились со своими муллами. Эти муллы в черных одеждах с широкими рукавами походили на громадных, важных и строгих птиц.

Перед заходом солнца коленапреклоненные на крохотных квадратных ковриках мусульмане, обратившись лицом на восток и закрыв пальцами уши, взывали к Аллаху о даровании победы и о гибели нечестивцев, осквернявших мечети, осквернявших жен, дочерей и сестер правоверных.

На зов мулл, объявивших газават (священную войну), стекались все новые и новые бойцы. Стекались бойцы трех поколений — деды, сыновья и внуки. Деды — со шрамами былых, далеких битв, с медалями и орденами за эти битвы. Сухие, седобородые, с огненными глазами старики служили трем королям и взяли за оружие, чтобы послужить четвертому.

Большевики, посягнувшие на мусульманскую веру, нажили себе в горцах опасных, непримиримых врагов. Особенно после события в Чента Чинкванте, успевшем отстроиться после грозной катастрофы.

В Чента Чинкванту прислан был красноармейский батальон. Разместились по квартирам, и первые два-три дня все шло как будто гладко, если не считать недоразумений на почве грабежа хозяев. Но вот на одном из бесчисленных революционных праздников пьяная солдатня, науськиваемая политическими комиссарами, повесила у входа в мечеть свинью.

В эту же ночь мужчины-мусульмане, выкопав зарытые дедовские кинжалы, вырезали весь батальон до последнего человека, и ночью же всем населением, до женщин и грудных младенцев включительно, ушли в горы.

После этого главный мулла имам Мирсаид Хафизов, шесть раз побывавший в Мекке и знавший восемнадцать восточных языков, объявил газават.

Ненависть к большевикам объединяла, как никогда еще до сих пор, мусульман и христиан. Да и не только к большевикам. Трехмесячное правление Мусманеков и Шухтанов со всеми демократическими прелестями ожесточило народ и против социалистов.

Да, народ. Это не помещики, не фабрикан-

ты и не бывшие царедворцы, а крестьяне, пастухи, дровосеки, старые солдаты, огородники, пчеловоды — это они кричали:

— Будет с нас! Довольно! И большевиков, и социалистов, — всех без остатка вырежем! Так вырежем, — даже на семена не останется!..

И чуяли это, чуяли подлые растлители бесхитростной души народной. Кто бежал за границу, а кто лихорадочно готовился к бегству, запасаясь гримом, деньгами и фальшивым паспортом, таким же фальшивым, как и все у негодяев этих.

34. НА ГРАНИ ЧУДЕСНОГО

Этому плоскогорью, откуда были видны и подернутая дымкой столица, и море, выпала великая историческая роль.

Здесь, на нескольких квадратных километрах, на фоне чарующей дикой природы, сконцентрировалось все самое патриотическое, самое свободолюбивое, самое гордое, что только было в Пандурии... Сюда, в этот вооруженный лагерь, недоступный для свирепых палачей, стекался весь уцелевший от расстрела и пыток цвет пандурской армии, весь мозг культуры, науки, искусства, государственности. Профессора, бывшие королевские министры, художники, писатели, генералы — все они наравне с ополченцами и солдатами ютились в землянках и в самодельных шатрах, напоминающих цыганский табор.

Да и вся Трагона была сплошной гигантский табор. Под открытым небом стирали и сушили белье. Под открытым небом пекли хлеб и жарили на кострах баранов, пригоняемых из глубины гор целыми стадами. Под открытым небом сотни женщин, окончивших

гимназии, институты, знавших языки и в недавнем прошлом — богатую жизнь, чинили солдатское белье, солдатскую форму и шили из грубого деревенского сукна новые мундиры.

Под открытым небом воины оттачивали кинжалы и сабли, чистили винтовки и пулеметы. Под открытым небом ровной фалангой исполинских птиц-чудовищ вытянулось двенадцать аэропланов, перелетевших из стана красных в стан белых.

Утро солнечное, сверкающее, было таким же, как и все предыдущие утра, — кипучим, деятельным, полным бодрой, живой веры и таких же бодрых упований...

Возле большого полубарака-полупалатки с надписью у входа «Штаб 2-го корпуса» собралась небольшая группа. Вельможный и полный архиепископ Бокаты кардинал монсеньор Фругера, маленький, весь из мускулов Алибег, имам Хафизов в бело-зеленой чалме, лейтенант Друдди, накануне прибывший Кафаров и Зита Рангья, одетая хотя и по-мужски, но вся такая женственная.

И у всех одна мысль и в голове, и на устах,

и на сердце:

— Когда же прибудет король?..

Каждый день без него был не только потерянным днем, но и дорого стоящим. Казна повстанцев иссякала и, если бы не окрестное население, доставляющее муку, баранов, картофель, сушеное мясо, нечем было бы продовольствовать двадцатитысячный лагерь.

— Как вы думаете, полковник, — обратился к Кафарову монсеньор Фругера, — обстоятельство, что Его Величество в Мадриде, очень может задержать его появление среди нас?

— Я думаю, разница в сорока восьми часах. Бузни моментально протелеграфирует в Мадрид. Его Величество немедленно вернется и с первым же поездом...

— Сорок восемь часов? — вздохнув, покачал вельможной головой своей с двоящимся подбородком архиепископ. — Для нас всех это не двое суток, а едва ли не целая вечность.

— По моим соображениям, король будет здесь дня через три, — заметил Кафаров. — И, если... если... страшно подумать, ничего не случится... — и встретив меняющийся, пол-

ный страха и мольбы взгляд маленькой Зиты, Кафаров поспешил успокоить как ее, так и всех остальных, — хотя, нет, вы же знаете, Ячин убит, а тех двух наемных brave русские офицеры так обработали, — навсегда будут сданы в архив... Теперь некому платить, а нет денег, нет и так называемых «идейных» убийц...

— Пречистая Дева да хранит его, — прошептал монсеньор, молитвенно вознося к небесам руки.

И так, с поднятыми руками, и застыла вся его величественная фигура...

И все смотрели туда, куда вперил свой взор архиепископ. И вслед за ним все увидели на фоне сияющей лазури пока чуть заметную точку. Она росла, приближалась и вместе с ней приближался и рос знакомый, жужжащий, как бы буравящий воздух шум.

Всполошился весь лагерь. Женщины бросили свое шитье, воины — чистку оружия, кухари — приготовление пищи, и сорок тысяч глаз, одни с любопытством, другие с явной тревогой, третьи с изумлением, но все одинаково жадно следили за полетом аэроплана,

большого, пассажирского, с каютой во весь корпус.

Некоторые летчики, хотя и знавшие, что у большевиков не осталось ни одной летательной машины, бросились к своим аппаратам, чтобы взлетать и дать бой в воздухе непрошеному гостю. Но не успели они завести свои моторы, как «гость», упав камнем с тысячеметровой высоты, очутился на земле едва ли не рядом с ними...

Это — не враг, это — друг...

Неудержимым потоком хлынуло к аэродрому все население плоскогорья.

Живое трепетное кольцо, изнемогающее от какого-то сверхчеловеческого напряжения, сжало спустившийся аэроплан, и могучий, иступленный крик, потрясший воздух и далеким эхом откликнувшийся в горах, пронесся оглушительным ураганом...

Восставший народ увидел своего короля, каким видел его в счастливые дни, одетого в красивую гусарскую форму, казалось, так нестерпимо горевшую на солнце. Больно, физически больно было глазам. Король чудился каким-то прекрасным лучезарным полубо-

гом, снизошедшим прямо оттуда, с заоблачных высей.

Вот он уже на твердой земле, счастливый, стройный, со своей чарующей улыбкой. Мгновенье стоял он в замкнутом кольце, как бы огражденный отовсюду стеной, и вдруг как-то сразу стихийно она, эта человеческая стена, упала так инстинктивно, так дружно, словно повинувшись единой воле. Все, все до одного опустились на колени...

Мощные, иступленные крики сменились мертвой благоговейной тишиной, и были в этом безмолвии и щемящий восторг, и такое же щемящее покаяние, и любовь, любовь беспредельная...

В затаившемся безмолвии, с чеканной и звонкой ясностью прозвучал голос Адриана. Так прозвучал, — услышали самые дальние:

— Пандуры, вы меня звали, и я поспешил на ваш родной зов! Я опять среди вас, чтобы вновь, как в былое время, делить вместе наши общие невзгоды и наши радости. Подневольная пятимесячная разлука еще более спаяла и скрепила наши взаимные чувства. После наших страданий мы стали еще ближе

друг другу, поняли то, чего не понимали раньше. Эти страдания очистили наши души. Да поможет нам Господь Бог отвоевать окровавленную, поруганную, истерзанную родину и вернуть свободу, которую, быть может, мы не умели ценить и научились ценить теперь, испытав неволю и тиранию кучки презренных пришельцев, испытав горечь изгнания... Встаньте же, пандуры, встаньте, мои дети, славные, дорогие, и да стряхнем с себя подлых поработителей!..

И словно шелест прошел по двадцатитысячной толпе, когда она поднималась во весь рост. Шелест, как если бы несметная стая птиц вспорхнула в воздух. Король своим словом наэлектризовал толпу... Новые мощные крики, еще более потрясающие, крики еще большего энтузиазма...

35. СЫН СОЛНЦА

Уже все знали кругом, во всяком случае, ближайшие деревни, чудом каким-то лепившиеся по крутым склонам. А ближние — сообщали дальним, таким же, как и они, деревням, птичьими гнездами уцепившимся за морщины страшных отвесов, да так и повисшим, в буквальном смысле слова, между небом и землей.

Кругом все знали: прибытие короля в Трагону будет оповещено тремя выстрелами из пушки. Ближние деревни подхватят отголосок раската и на самых высоких точках зажгут приготовленные из сухих ветвей костры. Ясный день. Дым, стелющийся к небесам. И все дальше и дальше пойдет сигнализация, практиковавшаяся еще в эпоху ганнибаловых войн и походов Александра Македонского. В былые времена пандуры оповещали таким образом соседей и соседи своих соседей — о появлении турецких таборов.

В восемь часов пятнадцать минут Адриан спустился в Трагоне, а к полудню три горных округа, величиной в общем с Голландию, уже

знали, что король среди восставших, дабы пойти вместе с ними, вместе с народом своим свергать красных насильников и тиранов.

С плоскогорья можно было видеть медленно движущиеся отовсюду человеческие фигурки. Они спускались, поднимались, исчезали среди кустов, деревьев, в складках холмов и появлялись вновь, приближались, увеличиваясь...

И так был просторен, царственно могуч и суров этот горный пейзаж, что его, как панораму, наблюдали все находившиеся в Трагоне, этом зрительном центре, — очень немного казалось их, этих фигурок, и одиноких, и жиденькими вереницами, и жиденькими группами. Но когда они собрались, накопились, они затопили собой все плоскогорье вместе с учебным плацем, стрельбищем и аэродромом.

Пандуры — женщины, старики, подростки — все, что могло ходить, — стекались сюда, как паломники к святому месту, чтобы увидеть своего короля, проверить, не был ли обманчив дым костров, чтобы отдать на дело освобождения родины сбережения свои в зо-

лоте и серебре. Сбережения целого ряда поколений. Женщины выплетали из своих кос монеты, снимали со своих пальцев перстни. Мужчины извлекали из своих поясов и новые, и старые золотые монеты. Деды и пращурьы добывали в набегах и на войне эти турецкие цехины, венгерские и австрийские флорины, красивые, как ювелирная блеска, египетские фунты, русские дукаты, венецианские луро, сардинские монеты с профилем Карла Альберта, французские луидоры и свои родные пандурские двадцати франковики с портретом Бальтазара и Адриана.

Так в этой дикой глуши создавался заново пандурский золотой фонд, разграбленный социалистами и дограбленный большевиками. Подобно тому как из отдельных фигурок со-здалось густое человеческое море голов, так из выплетаемых из кос и вынимаемых из поясов и нательных кожаных мешочков монет выростали высокие груды золота и серебра.

Уже была ночь, уже трещали горевшие факелы и костры, а благородный металл все лился и лился звенящим, неудержимым, бесконечным потоком.

Десятки чиновников-добровольцев, подчинившихся королевскому министру финансов, считали золотой запас этого государственно-го банка под открытым небом, пригоршнями ссыпая монеты в ящики, бочонки, в брезентовые мешки и в цилиндрические жестянки из-под консервов.

Зита и Адриан, каждый по-своему, но с одинаковым трепетным биением сердца, готовились к встрече, к моменту, когда через много месяцев разлуки, через много месяцев, сплошь насыщенных такими событиями, каких, пожалуй, не выдумать самой пылкой фантазии, — они встретятся вновь...

И, как всегда в таких случаях, это вышло гораздо проще, чем ожидалось. Глаза их встретились. Темно-синие, ставшие сначала зелеными, потом — серыми, глаза маленькой Зиты и томные, в мягкой тени длинных ресниц, глаза Адриана, у обоих было такое ощущение, словно они виделись только вчера, — словно этих бурных, кровавых, этих ужасных месяцев, ужасных и для всей страны, и для них, Зиты и Адриана, — как не бывало... И в то же время их лица и глаза были хотя и

немым, но убедительнейшим, красноречивейшим объяснением...

Вот что они сказали друг другу. Вот что сказали Адриану умоляющие, кроткие глаза, умеющие быть повелительными, гневными. Вот что сказала дрогнувшая линия губ:

— Я люблю тебя, люблю с еще большей силой, чем раньше. Все прощено, все забыто, и у меня нет больше горечи и боли за то, что ты высокомерно меня оттолкнул, не попытавшись даже объяснить... Я все простила... Простила и забыла твое увлечение этой красивой куколкой, увлечение, о котором я знаю, знаю, потому что знала каждый твой шаг...

В его же глазах и в улыбке, озарившей лицо, Зита прочла целую покаянную поэму. Да, он виноват, бесконечно виноват перед ней. Он кается в несправедливой жестокости своей... И долго, долго еще будет ею казниться.

Это объяснение, длившееся каких-нибудь полсекунды, прошло незамеченным для окружающих, — архиепископа, Алибега, Джунги, Друды, Кафарова. Да и мудро было заметить что-нибудь, — так все волновались, и такое было у всех приподнятое настроение...

Да и самим влюбленным некогда было задумываться над своим чувством. Некогда! Наступило время не чувства, а дела, кипучего, реального дела, и надо использовать каждую минуту.

Переходило из уст в уста красивое, в цветистом восточном духе, приветствие главного муллы, приветствие, каким он встретил сошедшего с аэроплана короля.

Седобородый старик в зеленой чалме, отвесив Адриану глубокий земной селям, с какой-то гипнотизирующей величавой торжественностью произнес:

— Это Аллах послал тебя к нам, тебя, о Сын Солнца!

У старика это вышло без всякого театрального пафоса, вышло с наивной верой, а образ, такой красивый, подсказан был чисто зрительным впечатлением.

В самом деле, нежданно-негаданно и в то же время так фатально-вовремя оттуда, с этих бирюзовых высей, льющих потоки лучей, спустился он, такой желанный, такой смелый, молодой и прекрасный, такой сияющий, как полубог.

Да, Сын Солнца, ибо несет с собой и тепло, и упование, и радости избавления. И все, все потянулись к нему как к земному воплощению всего того, что дает животворящее солнце. Пусть он согреет их сердца и души... Это романтическое определение, — «Сын Солнца», — так и осталось за Адрианом.

Более века назад, в самый расцвет гения, славы и мощи Наполеона, лукавый, льстивый Талейран перед походом на Москву рисовал своему императору волшебные перспективы:

— Ваше Величество, Париж, Вена, Москва, Константинополь, Багдад, Индия и Восток называют вас Сыном Солнца.

— Что вы, что вы, Талейран. Да после этого мне нельзя будет показаться в Париже. Меня поднимут на смех все консьержки: какой же он Сын Солнца?

Чуткость не обманула Наполеона, и французы не поняли бы того, что понял и почувствовал главный мулла, а вслед за ним весь народ, воинственный народ-земледелец, народ-пастух, не испорченный нездоровой маргариновой цивилизацией Запада. С детской верой и с таким же детским восторгом при-

нял он этого Сына Солнца...

36. ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

За столом, кроме Алибега, Кафарова, Джунги, сидели еще офицеры и генералы, помнившие такие же военные советы во время последней войны.

И как тогда молодой Адриан, увлекающийся, страстный, но не теряющей духа и веры в самые тяжелые моменты неудач, поднимал настроение, заражал своей бодростью, так и теперь все воспрянули духом, не сомневаясь, что раз с ними их коронованный вождь, — он вместе с собой принес и победу, и счастье.

Алибег обрисовал положение на фронте, если можно было назвать фронтом две группы, разделенные десятками километров и пока вошедшие в соприкосновение только при помощи воздушной и тайной разведки. А разведка эта показала следующее:

— Количество красных бойцов превосходит едва ли не вчетверо оба наши корпуса. Но, Ваше Величество, красное командование, оказывается, не особенно доверяет своим про-

летарским легионам. Вот почему не осмеливается оно двинуться дальше Бокатской зоны, представляющей сектор с дугой в сорок — пятьдесят километров. Зона укреплена, и, хотя это далеко не последнее слово инженерной техники, но есть и окопы, и проволочные заграждения, и большое количество орудий. За проволокой довольно густые линии войск, — около шестидесяти тысяч. В ближайшем же тылу отряды особого назначения и полевая жандармерия — все испытанные коммунисты, как из советской России, так и свои, пандурские. Если фронт дрогнет, они должны остановить бегущих пулеметным огнем и обратно загнать на позиции. В поле красные не выйдут, да их и не выпустят, боясь измены. В поле не удержишь под пулеметами всех этих «железных бойцов революции».

— А с моря?

— На береговую полосу, Ваше Величество, они не обращают никакого внимания. Десанта им опасаться нечего. Они знают, что у нас нет перевозочных средств. А к тому, что Друды время от времени обстреливает их, они привыкли, хотя всякий раз эта легкая бомбар-

дировка и вызывает у них панику.

Адриан молча склонился над картой, молча вглядываясь в береговую полосу. Поднял глаза, с обычной светящейся улыбкой своей молвил:

— А мы им приготовим сюрприз! Одновременно с тем, как будем рвать фронт, мы высадимся у них в тылу, захватим Бокату, поднимем восстание и освободим томящихся в тюрьмах, чтобы эти негодяи в последнюю минуту не успели перебить своих заложников... Я думаю, с Божьей помощью и при содействии авиации это удастся... Кафаров, как вы полагаете?

— Ваше Величество, я думаю, что ротмистр Алибег, пожалуй, прав, говоря, что у нас нет перевозочных средств.

— Как нет? Десять больших фелюг найдется...

— Да, но какой же это будет десант? Триста, самое большее, четыреста человек?..

— И не нужно больше! Триста лучших, отборнейших людей, половина из них офицеры, — вполне достаточно!.. Друзи со своей подводной лодкой будет прикрывать их... Все

это мы разработаем сегодня же. Сегодня что у нас? Среда? Просто не верится. Всего только в воскресенье в Мадриде я смотрел бой быков, а сегодня... Итак, среда... — соображал Адриан, — четверг, в ночь с четверга на пятницу... — и хотя король не кончил, но все поняли, что в ночь с четверга на пятницу он поведет войска на прорыв...

И словно какой-то невидимый ток пронизал сидящих за столом, и все встрепенулись и замерли с напряженными лицами. В этом напряженном чувстве — и сознание громадной важности того, что надвигается, и смутная, необъяснимая тревога, и вера в своего вождя, и беспредельное какое-то любование этим своим вождем... Действительно, прав мулла, — именно как Сын Солнца, спустился Адриан в самый грозный, самый решительный для всей Пандурии момент. Оставшись вдвоем с Джунгой, король сказал ему:

— Попросите ко мне архиепископа Бокатского и вместе с ним имама Хафизова.

Через минуту Адриан усадил против себя двух князей церкви, — христианской и магометанской.

— Монсеньор, — обратился он к архиепископу, — сколько здесь, в Трагоне, священнослужителей?..

— Сейчас доложу, Ваше Величество... Три епископа...

— Только? — удивился Адриан, — а остальные девять?

— Там, Ваше Величество! — скорбно поднял вверх глаза архиепископ. — Все до единого расстреляны. Все... После жесточайших пыток...

— Какой ужас, — прошептал Адриан, сжав лоб рукой и проведя ею по лицу. — Дальше?

— Затем одиннадцать священников и восемнадцать монахов.

— Три, одиннадцать и восемнадцать. В общем — тридцать два! Скажите, монсеньор, могут ли эти служители Господа привести к исповеди в течение двадцати четырех часов весь первый корпус?.. Я поведу его после исповеди и святого причастия и желаю, чтобы все последовали моему примеру.

— Ваше Величество, вы поистине христианский монарх, — умилился архиепископ, продолжая тотчас же другим, уже деловым

тоном, — двадцати четырех часов вполне достаточно.

— Имам, — обратился Адриан к неподвижно сидевшему Хафизову, — ваша магометанская религия включает исповедь?

— Включает, Государь, но не в такой обрядовой форме, как у христиан. Исповедь у нас — всеобщее моление, по-арабски называемое истишфар. Происходит истишфар так: мулла читает вслух молитву, а все верующие повторяют ее за ним, стоя на коленях... Мысленно же каются в это время во всех своих прегрешениях.

— А молитва как таковая тоже покаянного характера?

— Нет, Государь, она вмещает в себя семь отдельных молений. За Господа Бога, за ангелов, за пророков, за все священные книги, за блага загробной жизни, за милостивый Страшный Суд и за то, чтобы каждый правоверный с одинаковой покорностью воспринимал как добро, так и зло, ниспосланные Богом...

— Имам, я вас прошу привести к истишфару весь мусульманский корпус...

Мулла ответил низким поклоном.

37. ПРОТИВНИКИ АДРИАНА

Макс Ганди, он же Дворецкий, он же Кирдецов, бывший дезертир императорской армии, потом шпион австрийской разведки, потом большевицкий агент и редактор социалистической газеты в Бокате, потом министр внутренних дел в демократическом кабинете Шухтана и, наконец, видный член красного правительства, — как сыр в масле катался в пандурской Совдепии.

Прошедший каторжный стаж в Москве и Петрограде, он перенес оттуда всю налаженную систему грабежей, моральных и физических истязаний, убийств и прочих коммунистических гнусностей. Эта плюгавая, худосочная мразь с красными глазами кролика, с дряблой старческой пергаментной кожей и выпирающими вперед желтыми, как будто изъеденными червоточиной зубами, очутилась на первых ролях здесь, в этом сплошном театре ужасов. Совдепская комиссарская мезюга, в Пандурии он развернулся вовсю. Теперь ему приказано было состоять при Штам-

барове, приказано самим Гришкой Апфельбаумом, он же Гришка Зиновьев.

Одетый во все кожаное и с маузером у пояса, Ганди-Дворецкий с гордостью носил кличку «Глаза Москвы».

Этот глаз Москвы попевал везде и всюду. Он помыкал Штамбаровым, этим черномазым кумиром горничных и проституток. Он руководил внешней и внутренней политикой, он контролировал чрезвычайку, допрашивал видных «белогвардейцев», тут же собственноручно расстреливая их.

Он инспектировал Красную армию, назначая и смещая командиров, и чего он только не инспектировал и кого только не назначал и не смещал! Снабдив Ячина крупной суммой денег, он отправил его в Париж для «уничтожения» Адриана. Мы уже знаем, что эта командировка завершилась уничтожением самого Ячина.

Такой неожиданный финал поверг товарища Дворецкого в бешенство. Его глаза еще более налились кровью и еще более сделались кроличьими. В течение двух суток он рвал и метал, брызжа слюной, разносил такую же

комиссарскую мелюзгу, какой еще недавно был сам, и в припадке острой и дикой жестокости расстреливал из своего маузера несчастных белых рабов.

Но еще более сильным, еще более горьким ударом была весть для него, что король не только жив и невредим, но находится уже среди повстанцев.

К бешенству присоединился еще и подлый страх ничтожного трусишки, и это чувство поглощало первое, было сильнее его. О том, что Адриан прилетел из Парижа в Трагону, Дворецкому стало известно раньше всех. Штамбаров еще ничего не знал. Дворецкий помчался к нему на бывшем автомобиле Маргареты с громадной красной тряпкой.

Во дворце полупьяный Штамбаров вместе с одной из своих любовниц, женой одного красного министра, увы, дамой из общества, рассматривал только что проявленные снимки, изображавшие его и даму в откровенных, ничем не прикрытых позах.

Стремительно вбежавший Ганди остановился на пороге и затопал ногами, — это относилось к «даме из общества».

— Убирайтесь вон! Оставьте нас вдвоем!

— Позвольте, на каком основании? — тяжело приподнимаясь, вступился Штамбаров за очередной предмет своего сердца,

— Вон! — повторил Ганди чекистским жестом, вынимая маузер.

Дама, подхватив горностаевый палантин и набросив его на свои чересчур обнаженные прелести, мигом вылетела из комнаты.

— В чем дело? В чем дело? — захлопал глазами Штамбаров, недовольный, что Ганди так бесцеремонно прервал его интересное времяпрепровождение.

— В чем дело? А в том, черт вас возьми, что Адриан прилетел в Трагону и с часу на час поведет против нас сюда этих своих головорезов.

— Чепуха! Не может быть! Вам наврали!..

— Раз я говорю, значит, это именно так! У меня самая точная информация. Понимаете?! Горцы стекаются к нему отовсюду, несут золото. Громадный подъем...

Штамбаров отрезвел вдруг.

— Будь же он проклят! И в огне не горит, и в воде не... Что же нам делать?..

— Что делать? Защищаться! У него — горсточка, а у нас — целая армия. У него нет артиллерии, — у нас двести орудий. У нас укрепленные позиции, и, я уверен, белогвардейские банды расшибут об них свой лоб.

Штамбаров, этот здоровенный бык, давно имел зуб против Дворецкого. Как-никак он, Штамбаров, у себя дома. Как-никак он — пандур, и вот им, пандуром, помыкает плюгавый, нахальный господин, и даже не свой, местный, а присланный из Москвы. Сейчас этот господин оскорбил и выгнал его, Штамбарова, даму, выгнал, как самую последнюю девку...

И захотелось уязвить одетого с ног до головы в кожу господина, побить с него нахальство и спесь. Грузно опершись на стол, втянув кудластую голову свою в плечи и тяжело глядя исподлобья, он спросил ядовито:

— Товарищ, чего же вы так волнуетесь? Чего дрожит у вас голос, как овечий хвост, и сами вы настолько потеряли самообладание, что... уж не знаю, право, как все это назвать... Раз у него, Адриана, горсточка, а у нас целая армия, раз у них две-три каких-нибудь

несчастливых горных батарейки, а у нас целые сотни тяжелых орудий, раз вы уверены, что они разобьют себе лоб и подступы к нашим укрепленным позициям будут могилой для этих королевских банд, — так чего же впадать в истерику? Надо ликовать, радоваться, что мы расколошматим в пух и прах не какого-нибудь генералишку, а самого Адриана, который считается одним из лучших полководцев в Европе. И тем более, честь этой победы, успех, триумф — будут всецело принадлежать вам... Вы — штатский человек, и вы вдруг победитель венценосного генерала...

— Что вы смеетесь надо мной? — спросил Ганди, потерявший как-то сразу весь свой апломб.

— Товарищ, не до смеху мне, не до смеху именно мне! — с ударением повторил Штамбаров. — В случае провала всей этой нашей авантюры, вы сумеете удрать, исчезнуть, а уж я-то, наверное, буду болтаться на фонаре...

— Напрасно вы себе так думаете. Я сумею исполнить свой революционный долг... И если Адриану посчастливится одержать верх и он ворвется сюда со своими звериными гор-

цами, он перешагнет через мой труп! Клянусь вам!

Так говорил Ганди, а на самом деле у него все уже было готово к побегу в момент возможной катастрофы. Все! И фальшивый паспорт, и грим, и деньги, и маршрут. Да и Штамбаров менее всего представлял себе свою массивную неуклюжую тушу болтающейся на фонаре... И у него, как и у Ганди, имелись благоразумно припасенные и паспорт, и грим, и маршрут, и мешочек с бриллиантами, и несколько увесистых пачек валюты.

Собирая со стола неприличные фотографии, он заговорил уже в другом, примирительном тоне.

— Не будем ссориться перед лицом опасности. Давайте действовать дружно... Или вместе победим, или вместе погибнем. Верно, товарищ?

— Верно! Вашу руку! А сейчас давайте обсудим наше положение... Нашу, так сказать, ситуацию. Будем действовать... Больше активности! Больше инициативы! Сейчас же едем на фронт. Сейчас же... Но сначала я хочу предложить следующее: всю буржуазию, всех

белогвардейцев, сидящих в тюрьмах...

— Расстрелять всю эту сволочь! — пылко подхватил Штамбаров, ударив кулаком по столу.

— Нет, отнюдь нет! — воскликнул Ганди. — Расстрелять эту сволочь мы всегда успеем... Пока же, пока мы выгоним всех на работы. Всех! Мужчин, детей, женщин. Их белыми руками мы превратим нашу красную столицу в неприступную цитадель! Мы изрежем окопами весь город! Вы понимаете мой план? Допустим недопустимое, что врагу ценой страшных потерь удалось прорвать наш фронт. Допустим. Тогда наша армия, отойдя в порядке, займет город и укрепится в нем. Истощенному Адриану с его сильно поредевшими бандами придется с боем брать каждый квартал, каждую улицу, каждое здание! Да мы их всех здесь уничтожим. Гениальная ловушка, не правда ли? — И, не дожидаясь похвал своему гению, Ганди продолжал: — А пока, перед отъездом на фронт, давайте напишем воззвание к солдатам и рабочим. Я прикажу немедленно отпечатать его в громадном количестве для расклейки по городу и для отправки

на позиции. Берите перо, бумагу, я вам продиктую. Это должно быть кратко и выразительно.

И он продиктовал:

Товарищи! Все в окопы! Все за винтовки! Завоевания революции трудящихся в смертельной опасности! Кровавый Адриан ведет на вас деревенских кулаков и темных горских разбойников, чтобы вновь поработить вас и отдать во власть своих генералов, помещиков и банкиров. Товарищи! Враг у ворот! Он близок! Близок этот коронованный душитель свободных крестьян и рабочих. Товарищи, крепко сжимайте мозолистыми руками винтовки! Все на Адриана! Все на остервенелую стаю белогвардейских псов!

— Вот и все! Довольно. Поставьте два восклицательных знака. Даже три... Не правда ли, очень сильно?..

— Очень! — похвалил Штамбаров.

— Посылайте в типографию! Да, напишите сверху: «Жирный шрифт. Семьдесят пять тысяч». Едем же, едем на фронт! Да, соедините меня с главным политическим управлением.

Я прикажу вызвать инженеров, согнать буржуазию и, не теряя ни одной минуты, начать окопные работы...

— Есть, товарищ!..

Ганди подошел к телефону.

38. В ГОРОДЕ И ВО ДВОРЦЕ

Раз только представляется удобный случай унижить буржуазию и как-нибудь по-новому еще поиздеваться над ней, ради этого удовольствия большевики готовы пожертвовать даже насущными интересами своими.

Так было и в данном случае.

Ганди-Дворецкий, с чисто обезьяньей повадкой перенимавший все трюки и гримасы сановных горилл русской Совдепии, как бездарный и тупой красный чиновник, хотел повторения в малом масштабе того, что в более крупном проделал в Петрограде его недостижимый идеал Бронштейн-Троцкий в дни похода Юденича на Петроград. Как тогда в Петрограде, так теперь в Бокате Дворецкому казалось адски эффектным согнать всю буржуазию и всех арестованных белогвардейцев на работы по рытью окопов. Гораздо полезней

для дела, казалось, было бы снять с позиции две роты солдат, сильных, привычных к тяжелой работе, чтобы под наблюдением саперных офицеров они изрезали столицу сетью окопов, если так уж очень хотелось этого великому стратегу Максудворецкому-Ганди.

Но что такое солдаты с кирками и лопатами? Кто на них обратит внимание? Кого ударишь этим по воображению? Где здесь революционная политика? Совсем другое впечатление, когда за лопаты и кирки возьмутся жены и вдовы офицеров, депутатов, профессоров и сами офицеры, депутаты, профессора.

Не успел всесильный сморчок с желтыми зубами распорядиться по телефону, как через четверть часа уже по всему городу начались облавы. Чекисты и комиссары выволакивали из трамвайных вагонов мужчин, дам, подростков, хватали прохожих с криками, побоями и бранью, сгоняя в разные пункты города большие толпы, охваченные паникой, оторванные от дела, от дома и от семьи... К этим же пунктам сходились узники и узницы, выведенные под конвоем из тюрем. Бледные особой желтовато-восковой тюремной блед-

ностью, месяцами томившиеся в духоте и вони, люди пьянели на свежем воздухе, слабея, испытывая головокружение и приступы голода, особенно мучительные после прогулки под открытым небом. Несчастные озирались, как выпущенные из клетки звери. Все было так ново, — и городской шум, и перспективы улиц, и ощущение под ногами панелей и асфальта, вместо грязных, заплеванных полов общих и одиночных камер. Главное же — новые лица, новые, хотя было много знакомых, ставших такими интересными после примелькавшихся компаньонов по заключению и опротивевших тюремщиков и чекистов.

Оказалось, что на воле не было ни одного инженера. Всех инженеров, понадобившихся пролетарскому отечеству, дали чрезвычайки и тюрьмы. Таких набралось человек пятнадцать. Их выделили в одну группу. К ним подошел Рангя, красный министр путей сообщения, одетый в фантастическую форму с большим револьвером на животе.

Презрительно глядя на отощавших, бледных инженеров из-под своих набухших век, Рангя обратился к ним:

— Я знаю, что все вы злостные контрреволюционеры и саботажники! Но вы должны быть полезны как специалисты и своими знаниями послужить революции. Займитесь окопными работами. Если вы будете добросовестны, вы получите амнистию. Если же вы и теперь будете продолжать злонамеренный саботаж, тем хуже для вас! Мы беспощадно расправляемся с врагами народа.

Кончив, повернулся спиной к «злонамеренным саботажникам», самодовольно поглаживая рукой в перчатке свои покрашенные усы.

Буржуазия битых два часа томилась, пока доставили лопаты и кирки. Да и этих орудий хватило едва ли на одну десятую запуганного человеческого стада.

Инженеры изо всех сил притворялись, что и в самом деле планируют окопы, и с озабоченным видом махали ослабевшими, прозрачными руками, чертили по воздуху какие-то линии.

Прыщавый молодой офицер из красных курсантов, грозя инженерам казацкой, совсем не демократической нагайкой, иступленно

выкрикивал какие-то угрозы. Больше для успокоения своей красной совести. Ибо сам ни черта не понимал в этой неразберихе.

Какие окопы, где окопы, зачем окопы?

Тем более, это был столь же неблагодарный, сколь и титанический труд. Привычные саперные команды, — и тех прохватил бы седьмой пот, что же говорить об этих барышнях, гимназистах, дамах, профессорах, художниках, одряхлевших, трясущихся вместе со своими фесками купцах-мусульманах, которые тяжелыми кирками должны были дробить асфальт и выковыривать из мостовой камни, чтобы потом уже заняться рытьем окопов.

Так в этом никчемном ковырянии, в бессмысленном топтании на месте прошел весь день. Чекисты, злые, свирепые и без того, свирепели еще больше от сознания близкой, подкатывающейся опасности. Им бы удрать охота, спасая вместе с головой награбленное, а тут, не угодно ли, укрепляй рабоче-крестьянскую столицу. И они вымещали свою злобу на бесправных, беззащитных рабах и рабынях. Чуть кто зазевался или даже не так посмот-

рел, — обжигающий удар нагайкой по лицу, по голове, по плечам. Женщин эти мерзавцы норовили ударить ниже спины, чтобы вместе ударить и по стыдливости, большей оскорбить...

Но как ни было запугано все это буржуазное быдло, паника улеглась понемногу, и к вечеру как-то незаметно приподнялось у всех настроение.

Эти дурацкие окопы, плюс еще расклеенное повсюду воззвание, — лучший показатель, что пролетарское отечество по всем швам трещит... Выгнанная на работу интеллигенция, при всей забитости своей, не могла скрыть овладевших ею надежд. Блестели глаза, и даже бледные, истощенные лица вспыхивали румянцем. Боялись говорить, перешептываться, боялись перекинуться несколькими словами по-французски. И в этом не было необходимости. Выражение лиц, глаз было само по себе так красноречиво-понятно!

Подло-преступными глазами, то жирно-свинцовыми, то убийственно-холодными, зорко наблюдали чекисты за своими рабами, скорей хищным инстинктом угадывая творя-

щеется в душах этих белых негров...

И там, и сям слышались угрозы:

— Погодите, сволочи, радоваться, погодите! Придет ли сюда, не придет кровавый Адриан, — вам один конец! Пуля в затылок! — и свистели нагайки, разрывая платье, проводя багровые полосы на лицах...

Пришла ночь. Зажгли костры. Их трепетное пламя и горячие отсветы, игра теней — все это создавало настроение чего-то полного тревоги и жути и почти красоты, почти, если бы все это не было так отвратительно.

И чем дальше к ночи, тем более нервничали власти. Как угорелые, носились автомобили с протяжным воем сирен и с озабоченными комиссарами. А буржуазия без отдыха, без пищи и даже без воды ковыряла мостовую, вернее, делала вид, что ковыряет. Инженеры притворялись, что руководят всей этой бессмысленной, идиотской затеей. Да и само начальство в глубине пролетарских душ своих осваивалось с убеждением, что и в самом деле приказ товарища Ганди — нудная и глупая чепуха. Сам, впрочем, товарищ Ганди был несколько иного мнения.

Вот и полночь. Вот двенадцать певучих ударов. Звон старинных башенных часов, такой мелодичный, так воскресающий далекое былое, как может только воскрешать запах и звук.

В первые дни переворота, когда Мусманек сидел уже во дворце, чернь хотела испортить башенные часы под предлогом, что и часы, и башня — пережиток кровавого, — у них все кровавое, — феодализма и что мелодичный бой курантов в течение веков услаждал буржуазные уши! Тимо, пославший офицерский караул, помешал кучке вандалов исполнить свою угрозу. А потом, потом буржуазные куранты были забыты и уже не возмущали больше демократический слух.

Не успел растаять в воздухе последний удар, как с позиций, — они находились километрах в двадцати, — донеслись пушечные выстрелы. Сначала вразброд, в одиночку, а затем уже густыми-густыми очередями. Согнанные на работу офицеры, — артиллеристы же в особенности, — разбирались в этой оружейной музыке, безошибочно угадывая не только калибры, но и самые оттенки, — шрапнель,

бризантный снаряд, гаубица, крепостное орудие, снятое с прибрежных фортов. Угадывали, что бой идет по всему фронту. Вдрагивали в соседних домах стекла. Уже вдали вспыхивали в темных небесах короткие зарева, вспыхивали, погасали, а красно-синие и голубые ракеты ослепительными тонкими дугами чертили темный фон...

Где-то совсем недалеко решается судьба Пандурии, — останется ли надолго еще красной или к утру уже проснется монархией? Или — или...

Ничего затяжного, длительного быть не может.

Все судорожнее метались комиссарские машины, уже забывая сигнализировать сиренами и давя людей.

Артиллерийский огонь скоро начал смолкать, слышались только одиночные выстрелы, беспорядочно-случайные. Обе стороны объясняли это каждая по-своему. Приободрившиеся чекисты решали:

— Красные гонят белогвардейскую сволочь!

Окопная буржуазия, не смея высказывать

своих мыслей, думала с биением сердца:

— Король побеждает! Король освободит нас!

Офицеры-артиллеристы были ближе всех к истине, догадываясь: что-то произошло, чего они еще не могут выяснить, но произошло несомненно, иначе двести советских орудий не замолчали бы так странно.

А произошло вот что.

Адриан осуществлял свой выработанный совместно со штабом план. Этот план — демонстрация на флангах и сосредоточенный в центр «кулак» для прорыва. Две горные батареи — вся повстанческая артиллерия — открыли огонь, чтобы вызвать ответный огонь противника. И когда загрохотали все большевицкие пушки, десять белых аэропланов, снизившись на сто пятьдесят метров, переносясь от одной батареи к другой, засыпали их бомбами громадной разрушительной силы. Таким образом, в полчаса от мощной артиллерии красных уцелели жалкие недобитки, да и то потерявшие и кураж, и сердце, с терроризированной прислугой, в панике разбегающейся куда глаза глядят.

Исполнив одно задание, летчики с таким же успехом, так же дерзко снижаясь на сто пятьдесят метров, уже другими бомбами прокладывали хаотические коридоры в тех самых проволочных заграждениях, на которые большевиками возлагалось столько упований и о которые, по их мнению, Адриан должен был расшибить лоб...

39. ПАНИКА НА КРАСНОМ ОЛИМПЕ

Несколько часов провели на фронте Дворецкий и Штамбаров. Чем они занимались там? Тем, чем могли и умели заниматься демагоги.

В штабах начальникам дивизий, особенно, если начальники эти были не новейшего пролетарского изготовления, а королевские генералы и полковники, — грозили «стенкой».

И при этом плюгавый слизняк Ганди размахивал револьвером у самых генеральских и полковничьих носов. Полковники и генералы опускали глаза, чтобы Дворецкий не мог прочесть в них всей накопившейся ненависти. В отрядах особого назначения Дворецкий призывал защищать революцию «до послед-

ней капли крови, до последнего издыхания».

— Товарищи! Дорогие товарищи! — обводил он кроличьими глазами каторжные физиономии советских жандармов. — Товарищи, за наше отечество рабочих и крестьян, за идеалы трудящихся мы все ляжем костью!

— Все ляжем костью! — повторяли каторжные физиономии без всякого, впрочем, энтузиазма.

— Товарищи, если наша Красная армия победит, вы недрогнувшей рукой встретите свинцовым ливнем этих презренных трусов!

— Встретим свинцовым ливнем этих презренных трусов!

С наступлением темноты Штамбарову и Дворецкому стало как-то не по себе. У этих белых бандитов имеются аэропланы, и черт с ней, с какой-нибудь шальной бомбой. Глупая, унижительная смерть не на славном посту, а... даже и названия не подберешь...

— Нет, во дворце надежней. — И оба укатили на королевской машине в королевский дворец, приказав каждые четверть часа доносить по телефону о положении на фронте.

Во дворе поджидало их несколько видных

комиссаров, в том числе и Рангья, и Вероника Барабан, вырядившаяся неизвестно почему и зачем какой-то опереточной маркитанткой.

Красно-желтые шнурованные сапоги подчеркивали неуклюжесть толстых ног. Короткая синяя юбка и такая же короткая синяя кофта в обтяжку. Свисающие груди, пропотевшие подмышки... На голове нечто вроде красного фригийского колпачка. Совсем одурела баба! Не хватало еще маленького бочонка, висящего на ремне сбоку.

Прибывших с фронта засыпали градом нетерпеливых вопросов.

— Ну что, как? Положение твердое?

— Дух революционных войск выше всяческих похвал! Но мы с товарищем Штамбаровым еще подняли настроение! Пролетарские бойцы рвутся вперед и будут драться, как львы, — вдохновенно врал Ганди. — Товарищи, эта ночь будет роковой для Адриана и его реставрационной авантюры... — и еще дальше заливался бы соловьем пергаментный человек, но его прервал мрачно сопевший Рангья.

— Позвольте, товарищи, это все общие

фразы! Каково же стратегическое положение? Наступает ли Адриан и, если да, где его силы? Надеюсь, разведкой все это выяснено? Хотелось бы знать фактическую сторону.

— Да, да, конечно! — поспешил обнадежить Дворецкий хитрого левантинца. — Разведка установила, что Адриан двумя группами готовится ударить по нашим обоим флангам. Вы понимаете? А еще кричат: «Вождь, вождь!» Бездарность, а не вождь. Наш центр, выдвинувшись, перестроившись, зайдет этим группам в тыл и уничтожит их. Наконец, даже и без этого наша мощная артиллерия...

Рангья, шевельнув крашеными усами своими, ничего не ответил. Он не верил ни одному слову Дворецкого, и животный шкурнический страх пронизывал тучное тело красного министра путей сообщения...

Все сидели у телефона, дымя папиросками, и все нервничали. Лакеи приносили чай, коньяк, холодные закуски. Чай и коньяк уничтожались в большом количестве, закуски же оставались нетронутыми. Все отравлены были недоверием и во все глаза следили друг за другом. Если кто-нибудь выходил в уборную,

то предупредительно заявлял об этом, дабы окружающие не заподозрили его в бегстве. У всех оттопыривались карманы, туго набитые хорошей валютой. У Вероники Барабан весь подол был превращен в «банк», и ее юбка, юбка маркитантки, была твердая, как кринолин.

К полуночи известия, одно другого тревожней, начали поступать с фронта. Вспыхнувший артиллерийский бой усугублял тревогу и растерянность. Все, толкаясь, вырывая друг у друга трубку, жаждали собственными ушами слышать, что говорят с позиции.

Полевой телефон жужжал:

— Летательные машины засекают батарею за батареей, и они вынуждены умолкнуть. В нескольких местах все ряды проволоки уничтожены. Паника растет. Намерение врага до сих пор еще не выяснено, и неизвестно, что это такое — давление на фланге, демонстрация, ловушка или осуществление задуманной операции?

Комиссары, — лица их стали серыми, чужими, — переглядывались.

— Что же будет? Что?

— А вы же два часа тому назад говорили,

что Адриан бездарность! — с холодной, тягучей злобой наседал Рангья на Дворецкого.

— Позвольте, товарищ...

— Да что — позвольте! Вы объявили себя главкомом, мы вверили вам себя, свои жизни, а получается...

— Ничего не получается, — огрызнулся Дворецкий.

Но уже все кругом напирало на него с искаженными лицами, поднятыми кулаками. Того и гляди, начнут бить... Желавший ответить от себя грозу, Дворецкий нашелся:

— Товарищи, хотя положение наше далеко еще не катастрофическое, однако мы должны принять меры в самой столице. Эти меры — прежде всего избиение всей буржуазной сволочи. Кстати, я ловким маневром почти всю ее вывел на улицу. Я сейчас отдам приказание, чтобы все буржуи, без различия пола и возраста... Я мигом слетаю на машине в главное политическое управление и сейчас же вернусь, — и Ганди уже бросился к дверям, но здоровенный матрос Казбан, комиссар по морским делам, вырос на его дороге.

Они столкнулись, Дворецкий увидел на

уровне своих глаз полуобнаженную грудь Казбана с выбритой шерстью и почувствовал ударивший ему в нос запах — смесь пота и пудры.

— В чем дело, товарищ Казбан?

— А в том, товарищ, — незачем беспокоиться! Вот вам телефон, звоните сколько влезет... Чего-чего, а избивать буржуев с превеликой охотой будут и по вашему телефонному приказанию. Не так ли, товарищи? — искал сочувствия Казбан у «маркитантки» Вероники, у Рангья, Штамбарова, у всех остальных.

— Правильно, товарищ Казбан, правильно! Зачем же, когда телефон есть!

Тщедушная фигурка Дворецкого вспыхнула благородным негодованием.

— Товарищи, это, это недопустимо. Вы оскорбляете меня самым недостойным образом. И, наконец, я, мое положение... Я взываю к нашей революционной дисциплине.

— Взывайте лучше в телефон, — бесцеремонно перебил его Казбан, — время зря уходит на болтовню...

Пожав плечами с видом несчастной жерт-

вы, Дворецкий трясущимися пальцами взял за трубку. Но в этот самый миг вновь зажужжал полевой телефон. И все притихли. Сталкиваясь плечами и головами, потянулись к маленькому круглому отверстию, глухо жужжащему, как майский жук.

И вместе с голосом телефонирующего врывалась в эту комнату с заплеванным, усеянным окурками старинным персидским ковром, пулеметная и ружейная трескотня.

— Белогвардейская пехота прорвала наш фронт. Горцы с кинжалами в зубах ураганом смели две линии окопов. Отряды особого назначения еле сдерживают пулеметным огнем наши дрогнувшие войска. Разведка обнаружила, что Адриан во главе конной группы вот-вот бросится преследовать нашу бегущую пехоту. Положение почти безнадежное. Мусульмане рубят и вырезают наших бойцов, и в окопах текут целые ручьи крови. Что делать?

— Держаться, держаться до последнего человека! — пролепетал Дворецкий, вытирая вспотевшие лоб и лицо. Глотая слюну, — рот мгновенно пересыхал, — Дворецкий обратил-

ся к своим сообщникам:

— Товарищи, вы... вы слышали? Вы слышали, товарищи? Мы честные революционеры, но мы же... мы не, не донкихоты... мы... мы...

Казбан схватил его за кожаную куртку и притянул к себе:

— Что ты мямлишь там еще! Ты губишь нас всех! Говори же, говори, черт бы тебя драл. Ну, что? Что?..

— Товарищи, нам остается одно — спасти жизнь. Перейти на нелегальное положение и... и в Семиградию...

— В Семиградию? В Семиградию! — передразнил его Казбан, не выпуская из своих пальцев кожаной куртки. — А ты забыл, что железная дорога отрезана и там рыщут белогвардейские патрули? Забыл, сукин сын?

— Но нелегальное положение... нелегальное положение, — бормотал окончательно обалдевший, перетрусивший Дворецкий.

Казбан с силой отпихнул его от себя, и Дворецкий стукнулся затылком о золоченую раму какой-то мифологической почерневшей картины.

Все заволновались. Страх будил тупую ненависть, сковывал движения. Всем хотелось бежать, бежать подалее отсюда, бежать без оглядки, и никто не смел двинуться с места. Убьют. Набросятся и убьют... Уже судорожные пальцы тянулись к револьверам.

Казбан разрядил сгущенную атмосферу, как самый сильный в смысле физическом и волевым.

— Спасайся, кто может!..

И первый кинулся прочь.

Вероника ухватила за его локоть, но он ее стряхнул с себя и скрылся.

Где-то совсем близко защелкали ружейные выстрелы, и вместе с ними доносились громкие ликующие крики.

— Так скоро? — остолбенел Штамбаров, пьяный, багровый после целой бутылки мартелевского коньяку.

— Не может быть! — раздались придушенные возгласы.

— Это... это или восстание в городе, или... или они вы... высадились, — деревенеющим языком догадывался Рангя с мокрыми обвисшими усами.

Вбежал запыхавшийся Казбан.

— Поздно! Уже во дворе! Заняли все выходы!..

40. РАСПЛАТА

Единогласно на последнем военном совещании был одобрен план короля — согласованность двойного удара как на суше, по укрепленным позициям большевиков, так и с моря — десант, осуществить который было приказано лейтенанту Друдри. Король пояснил:

— Десант, овладев городом, спасет всех тех обреченных, с кем коммунисты при малейшем колебании на фронте немедленно расправились бы по-своему. В случае победы, при входе в Бокату нас омрачило бы зрелище трупов наших сестер и братьев. Затем весь аппарат Бокаты попадет к нам не испорченный, не разрушенный, не взорванный остервеневшими от неудач и поражений большевиками. Наконец, если бы даже на фронте у них оказалось и не так уже плохо, то весть о том, что мы находимся в тылу и мы — господа положения в столице, произведет страш-

ную панику. Соппротивление будет сломлено, красноармейцы побегут под нашим натиском, и превратить Бокату, каждый квартал, каждый дом, в крепость, крепость, которая нам дорого обошлась бы, — им не удастся. Друды уже на подступах встретит их пулеметами. А при помощи двух аэропланов мы будем все время держать связь.

Напутствуя Друды, король подчеркнул:

— Как только ворветесь в город, освободите томящихся в тюрьмах и, в первую голову, — семьи военных летчиков. Будь воздушный флот у них, а не у нас, еще неизвестно, как бы все это повернулось... Надо это помнить, и да поможет вам Бог!..

Друды из ничего набрал и сорганизовал миниатюрную флотилию для десанта. Три моторные лодки, и то самодельные, тащили на буксире рыбачьи фелюги, сидевшие очень глубоко в воде, — так они были переполнены бойцами. А бойцы — все как на подбор, испытанные, закаленные партизаны — солдаты и офицеры плюс еще матросы с «Лаураны». Всех — около трехсот. Два самолета непрерывно поддерживали связь сухопутного вой-

ска со смельчаками десанта.

Операция выполнена была блестяще, чему способствовало также и море, на диво спокойное, гладкое в эту темную, тихую ночь.

Аэроплан донес лейтенанту Друдю, прикрывавшему флотилию своей подводной лодкой, — вся на поверхности, на виду, — что высадиться можно вполне свободно у самого мола. Набережная вымерла, пустынная, никем не охраняемая. Все отхлынуло к центру. Да и в самом деле, все коммунисты были на счету, и всех мобилизовал Дворецкий для несения караульной службы в правительственных учреждениях и патрулирования выгнанных на окопные работы нескольких тысяч буржуев.

Еще до высадки лейтенант Друдю разбил десант на восемь небольших групп, и каждая имела свою определенную задачу.

Чуть ли не до самого центра добежали без выстрела и, лишь занимая телефонную станцию, гараж броневых машин и дворец Абарбанеля с центральным советом рабочих депутатов, впервые открыли огонь по ошеломленным коммунистам. Они метались, бросая

винтовки, пораженные почти сверхъестественным появлением врага.

Не оказывали никакого сопротивления и те самые чекисты, что пять минут назад поло-совали нагайками окопных белогвардейцев. Сейчас они поменялись ролями с этими бело-гвардейцами. Ободренные такой неждан-ной-негаданной помощью — откуда только сила взялась? — мужчины, подростки, жен-щины с бешенством накидывались на своих палачей, разбивая им головы кирками, засту-пами. Увешанные оружием, — эти ходячие арсеналы, — чекисты падали окровавленные, пытались бежать, но все попытки были тщет-ны. Бежать было некуда. С мертвых и полу-живых палачей недавние рабы их и жертвы снимали оружие. Чуть ли не в один миг боль-ше тысячи белогвардейцев имели револьве-ры, винтовки, сабли.

Бывшие офицеры живо организовались в отряд, увеличивая едва ли не вчетверо силы десанта. Мчались грузовики, автомобили, но уже не с красными, а с белыми. Уже через полчаса самые выгодные для белых подходы к столице оцетинились пулеметами и легки-

ми противоштурмовками «гочкиса».

А Друды со своим отрядом, самым многочисленным, охватив дворец, бросился с десятком офицеров захватить военно-революционный совет. На эту-то группу и нарвался Казбан, мечтавший унести свою буйную голову. С ужасом убедившись, что отрезаны все пути, он, как затравленный зверь, кинулся назад.

Уже доносится топот бегущих, и вместе с ним врываются голоса, смелые, звонкие голоса людей, привычные к воздуху, открытому небу и, может быть, впервые за несколько месяцев очутившиеся в четырех стенах.

Эти шаги и эти голоса, такие неумолимо-близкие — последняя рухнувшая надежда. Прощай, фальшивый паспорт, грим с переодеванием, прощай валюта, прощай власть, прощай все, ради чего совершали подлости, грабежи, убийства невинных.

Сейчас трагически-смешной, жалко-бесстыдной и непристойной казалась Вероника Барабан, одетая маркитанткой, с обтянутыми боками и своей коротенькой юбкой. Вся в испарине, с крупными каплями холодного пота на похожем на стоптанный башмак носу, она

загорелась чем-то сумасшедшим, несбыточным. Казбан спасет ее. Казбан обязан ей всем, всем — карьерой и теми пригоршнями краденных бриллиантов, которыми она осыпала его с щедростью влюбленной коммунистической самки.

И она бросилась к нему и вцепилась судорожной хваткой, как если бы они вместе тонули в морской пучине.

— Казбан!.. Казбан!..

Казбан со злобой нанес ей такой удар в лицо, что у Вероники хлынула кровь ртом и носом, залившая весь костюм. Завыв, зашатавшись, она схватилась руками за лицо, считая себя изуродованной, ослепленной.

А Казбан, охваченный острым бешенством, багровый, потрясай револьвером, иступленно кричал:

— Сволочи... Труссы! Сейчас вас всех перестреляют! Даже подохнуть как следует не сумеете, — и он всех ненавидел, как ненавидел Веронику. Но все же самым ненавистным оказался Дворецкий.

— Гадина вонючая! Вот тебе! — И Казбан выстрелил ему прямо в лоб, и тотчас же, засу-

нув глубоко себе в рот дымящееся горячее дуло револьвера, нажал курок. Из размозженно-го черепа брызнули густой розовой сметаной мозги... И, падая, Казбан прикрыл своим большим тяжелым мужицким телом тщедушного, плюгавого Дворецкого.

В этот момент ворвался со своими Друды. Комиссары застыли, кто как был. Рангья — тот даже не сопел. С мокрых усов его черными каплями стекала краска на подбородок и на грудь. Вероника ничего не видела, размазывая пальцами кровь по щекам. Ее первую схватили, а затем уже и остальных.

Возбужденными глазами Друды искал Штамбарова и не находил. А он здесь, должен быть здесь.

— Где Штамбаров? Говорите же, говорите, мерзавцы!

О, с каким бы удовольствием «мерзавцы» сами указали бы его, чтобы тут же вместе с ними он разделил общую участь. Но Штамбаров сгинул каким-то для них самих непостижимым образом. Точно невидимый, неподозреваемый люк сразу поглотил его.

— Ищите его! Он во дворце! — приказал

Друдиди, и началась погоня.

Зажужжал полевой телефон. Друдиди схватил трубку.

— Алло!..

— Товарища Дворецкого!

— Есть!..

— Товарищ Дворецкий, все пропало! Красноармейцы бегут, бегут прямо на пулеметы заградительных отрядов. Своей массой они сметают и пулеметы, и части особого назначения. А прорыв все глубже и глубже. Уже Адриан бросил вперед свою конницу. Что делать? Что делать, товарищ Дворецкий?

— Частям особого назначения немедленно сняться и отходить на Бокату. Уже на подступах у нас оборудованы укрепленные позиции. На них можно будет задержаться и встретить конницу Адриана убийственным огнем. Не падать духом, еще не все потеряно. Пусть каждый исполнит до конца свой революционный долг! — и, повесив трубку, лейтенант со смехом обратился к своим:

— Мы приготовили этим красным загражденцам хорошенький сюрприз! Все попадут в ловушку. Всех выкосят наши пулеметы...

41. КАК ЭТО ВСЕ НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖЕ!

Королевский дворец был разворован сначала хлынувшей в него чернью в памятную майскую ночь. Затем потихоньку разворовал его президент со своей президентшей, а вслед за ними, уже не втихомолку, а явно, тащил, что можно было утащить, Щтамбаров, этот красный диктатор.

Король во главе конной группы входил ранним утром в освобожденную столицу, шумно приветствуемый всем населением, исторически плачущим, падающим ниц, чуть ли не под копыта королевского коня, а слуги уже спешно приводили в порядок загаженный и оскверненный дворец...

Эти лакеи, состарившиеся на службе у Их Величеств, цепко держались за эти величавые стены и при Мусманеке, и даже при Штамбарове, бесконечно презирая и того, и другого.

Но им казалось, и не без основания, — если они уйдут, разбегутся, все будет расхищено, и от дворца не останется камня на камне, а так,

будучи около, они охраняют и сберегут по мере сил все, что только возможно.

И действительно, мадам Мусманек хотела подарить кое-что из мебели одной своей бедной родственнице. Лакеям уже было приказано отправить намеченные президентшей диваны, кресла, умывальный прибор, кровать. Но лакеи тормозили отправку и затормозили ее до самого постыдного бегства президентского трио.

То же самое и при Штамбарове, желавшем облагодетельствовать одну из своих любовниц будуаром Маргареты. Любовница так и не дождалась будуара, а сам Штамбаров исчез, не дожидаясь, пока им, Штамбаровым, украсят фонарный столб.

Но, отвоевывая мебель, тяжелую, громоздкую, слуги не могли отвоевать многих картин, художественных безделушек, бронзовых статуэток, золотых и серебряных подношений королям Ираклидов, выросших в целый маленький музей. За стеклянными витринами шкафов зияла пустота. От серебряных и золотых блюд, кубков, символических и охотничьих групп тончайшей работы не осталось

и следа, как не осталось следа и от небезызвестной Европе коллекции портсигаров покойного Бальтазара. Один из этих портсигаров с миниатюрой кисти Буше нашли в кармане Дворецкого.

Трудно, невозможно было восстановить дворцовые апартаменты в прежнем их виде. Многого не хватало. Единственная комната, любовно прибранная слугами, всем видом своим напоминала счастливое дореволюционное время. Это — классная Адриана. И глобус, и карта, и преподавательский столик на возвышении, — все это уцелело, потому что на это никто не польстился.

Для Адриана, вошедшего во дворец прямо с лошади, вместе со штабом конной дивизии, классная была сюрпризом, бесконечно растрогавшим его.

В этой же самой классной комнате король принимал первый доклад Бузни в связи с назначенным в этот же самый день парадом войскам.

— Как прикажете, Ваше Величество, быть членами дипломатического корпуса? Они считают свое присутствие на параде необхо-

ДИМЫМ.

— Члены дипломатического корпуса? — сдвинув брови, нахмурился Адриан. — Какие?

— Посланники — французский, английский, итальянский, германский и польский, вместе со своими миссиями.

— Милый Бузни, я не знаю ни таких посланников, ни таких миссий. Да и знать не хочу! Раз они могли пожимать руки палачей и убийц, руки с еще не высохшей на них кровью, раз они могли украшать своим присутствием парады большевицких орд, — я не желаю знать об их существовании! И вообще предложите им покинуть в кратчайший срок нашу территорию.

— Это окончательное решение Вашего Величества? — с тревогой спросил Бузни.

— Окончательное.

— Но, Ваше Величество, боюсь, это может повлечь за собой ряд конфликтов. Мы рискуем с первых шагов обострить отношения со всеми упомянутыми державами. Удобно ли это?..

Король быстро поднялся со своей ученической парты, быстро подошел к Бузни и опу-

стил ему обе руки на плечи.

— И удобно, и выгодно! Верьте мне! Разве мы с вами за эти пять месяцев не научились многому, не прошли чудесную школу? Разве есть у всех этих великодержавных правительств то, что называется самолюбием, чувством собственного достоинства?! Чем больше их третировать, тем больше они будут вас уважать и считаться. Сами же будут забегать с заднего крыльца и предлагать заем. Пусть они пришлют нам новых, относительно приличных людей, с которыми можно будет разговаривать и которым можно будет подавать руку... Почему же Испания, Бельгия, Болгария, Сербия, Румыния сумели удержаться на высоте, а Франция, Италия, Англия и Польша не сумели?.. Почему?

— Конечно, конечно, все это так, Ваше Величество... Но это же, это пощечина!..

— Они ее заслужили и пусть распишутся в получении!

Вяло, нехотя напрашивались у Бузни еще какие-то возражения. Их ему инстинктивно диктовал весь тот уклад, шаблон, в котором воспитался, вырос и жил этот близкий ко дво-

ру чиновник. На самом же деле Адриан убедил его. Так, как король поступает, именно так и надо поступать. Бузни слепо уверовал в счастливую звезду своего монарха и что отныне будут ему, Адриану, во всем сопутствовать успех и удача.

Да, король прав. Он сумел, вернее, как человек сильный, дерзнул, осмелился научиться тому, без чего в это подлое время нельзя править.

Это раньше, до войны, было у стоящих у власти какое-то, хотя бы даже внешнее, джентльменство. Были традиции, был этикет. Из-за пренебрежения традициями и этикетом, даже порой из-за пустяков, вспыхивали серьезные конфликты. Еще совсем недавно так было, а теперь, теперь во главе правительств и на больших дипломатических постах очутились проходимцы, пожимающие, как сказал король, грязные, окровавленные лапы коммунистических палачей и убийц. Надо ли и стоит ли церемониться с подобными субъектами?

И Бузни, на сорок втором году как-то сразу перевоспитавший себя, переродившийся под

влиянием Адриана, спокойно, почти свысока заявил трем великодержавным посланникам и одному невеликодержавному, что они скомпрометировали себя, об их присутствии на параде не может быть и речи, и вообще, самое лучшее будет, если они возможно скорее оставят Пандуршо.

Товарищи дипломаты переконфузились, проглотив эту совсем не позолоченную пилюлю, и только французский посланник, он же парфюмерный фабрикант Тиво, заикнулся было:

— Но как же так, Ваше Превосходительство? Как же так? Я, например, хотел принести Его Величеству мои искренние поздравления по поводу возвращения на престол его августейших предков.

Откуда только взялся этот почтительный монархический лексикон у демократа Тиво, целовавшегося с Мусманеком и кокетничавшего со Штамбаровым и Дворецким?

Но Бузни, пропустив это мимо ушей, сухо ответил:

— Его Величество так занят, так занят, — ни о каких аудиенциях не может быть и ре-

чи...

Парад войскам, занявшим Бокату и освободившим королевство от красной тирании, был зрелищем, которое необходимо было возможно скорее дать народу, несколько часов назад сбросившему цепи рабства. Он только-только воспрянул, только-только начал приходить в себя, полупридушенный щупальцами большевицкого спрута, и пусть же он скорей увидит своих пандурских офицеров и солдат вместо чужеземных чекистов. Увидит свои родные пандурские знамена вместо красных тряпок, увидит своего короля вместо героя трактиров и кабаков.

Этот парад, такой самобытный, нельзя было ни с чем сравнить и, вероятно, нигде и никогда еще не было такого парада. Как он был далек от прежних смотров на поле Белоны, когда король пропускал мимо себя нарядные отборные полки пехоты, под которой дрожала земля, и конницу, по красоте своей напоминавшую прямо-таки феерическое шествие.

Теперь, в смысле внешнем, показном, не было даже и тени прежнего, и не могло быть. Зато дух, дух был ни с чем не сравнимый!

Шли в старых, потрепанных, выцветших мундирах. Шли в куртках, пиджаках, фуфайках, в народных костюмах, но на эти куртки, пиджаки и фуфайки с любовью нашиты были самодельные погоны — символ возрождающейся вновь королевской армии. Шли целые роты юношей, почти мальчиков. Шел батальон стариков, озаренных тенями трех королей и несших на плечах, на своих труженнических плечах, охотничьи ружья, за неимением винтовок. Шел повстанческий отряд женщин и девушек, сильных и рослых, спустившихся с гор, чтобы победоносно войти в столицу. И у многих бойцов перевязаны были головы и руки, у многих стариков, у солдат, у женщин и юношей — раны, полученные в ночных боях и не только не помешавшие участвовать в параде, но и сообщавшие ему то ни с чем не сравнимое очарование, о котором только что говорилось.

Под стать пехоте была и конница, — вся разномастная, разношерстная такая. Но это не казалось ни смешным, ни убогим. Это было свое, национальное, выстраданное. Замечалось общее: замечался воинский подъем и

не замечалось, что одни ряды сидели на случайных породистых лошадях, а другие — на мужицких рабочих коньках, третьи — на выносливых горских лошадях, четвертые — на ушастых мулах.

Важно не это. Конница, настоящая конница будет, а важно, что над этими рядами кое-как собранных лошадей, с кое-как одетыми всадниками колыхались старые боевые штандарты, как над пехотой — старые боевые знамена. Каким-то чудом собрались они вновь и зареяли над головами пандуров. Их прятали, закапывали в землю, женщины и мужчины, герои и героини, с опасностью для жизни уносили их, — кто на груди, кто зашитыми в одежду. Уносили подальше от кощунственных большевицких рук.

И вот они вновь, измятые, некоторые в лохмотьях, продырявленные пулями, полуистлевшие, прикрепленные к старым и новым древкам, движутся гордые, прекрасные, как история, и, поравнявшись со своим королем, с шелестом склоняются к его ногам...

42. ТРОННАЯ РЕЧЬ

В Париже еще, принимая ходоков, звавших его на рухнувший трон предков, Адриан, — мы это помним, — всякий раз говорил, что вернется только самодержавным монархом.

И вот он вернулся, и все покорно, с надеждой и верой подчинилось ему. Эта надежда и вера еще больше окрепли после тронной речи.

Эта речь в тронном зале была такая же самобытная, как и состоявшийся несколько дней назад смотр войскам.

Обыкновенно в такой своей речи монарх обращается к тем людям, которые менее всего выражают собой народ и действительных представителей народа. Сама же речь, казенная, бледная, составленная демократическим премьер-министром, проходит вяло и скучно, как одна из переживших самое себя побрякушек конституционной монархии.

По-другому и совсем другими нотками звучала речь Адриана, и совсем другие были слушатели. Это говорил не только самодержавный монарх, но еще и диктатор, вождь, осво-

бодивший свою страну.

А слушали его, затаив дыхание, с благоговейным чувством не адвокаты, заgrimированные социалистами, не аптекарские ученики, мечтавшие не о пилюлях, а о бомбах, не демагоги всех цветов и оттенков, — его слушали уцелевшее дворянство, офицеры, священники, слушал народ, тот самый народ-земледелец и пастух, тот мужик горной и плоскостной Пандурии, который поднялся вместе с своим королем и вместе с ним раздавил коммунистическую гадину. До сих пор от имени этих людей говорили самозванцы, вышеупомянутые адвокаты, фармацевты и демагоги. А теперь не было ни тех, ни других, ни третьих. Лицом к лицу со своим монархом стояли не маскарадные крестьяне и «пролетарии», а подлинные, — с коричневыми обветренными лицами, с коричневыми мозолистыми руками.

Король сказал им:

— Парламент дорого обошелся нам всем. Дорого, как в прямом, так и в переносном значении слова. Четыреста болтунов, — наполовину изменники, предатели, негодяи, — дове-

ли наше отечество сначала до Мусманеков, Шухтанов, Абарбанелей, а потом до Штамбаровых; оно было уже на самом краю бездны. Довольно болтовни, бесполезной, вредной, растлевающей. Эти четыреста бездельников обманывали вас, выдавая себя за ваших представителей, а вы содержали их, тратя на них миллионы. Нам надобно отстраивать заново Пандурию, надо воспитывать новые поколения, новых граждан, честных, верящих в Бога и любящих родину. Пусть другие страны продолжают в слепоте своей забавляться дорогостоящей игрушкой — парламентаризмом. Чуть не погубив нас, он губит и наших великодержавных соседей. Это — сплошное гноище, гноище, где торгуют совестью, родиной, головами противников... У нас теперь много насущнейших нужд, требующих больших денег, денег и денег, и одна из главнейших и священнейших, — призреть и воспитать многочисленных сирот-детей, отцы и близкие которых замучены большевиками.

Легкий одобрительный гул пронесся над морем голов, над человеческой гущей, затопившей громадный тронный зал.

— Кто будет править вами? — продолжал Адриан. — Я! И верьте мне, — а я знаю, вы мне верите, — я вложу в это все мои помыслы, всю мою душу, все мои пламенные молитвы к Господу, всю мою жизнь! Помогать мне будут мои министры, которых я выберу. А мне и моим министрам будете помогать вы, — мой народ! Между мной и вами, — моим народом, — не будет никаких преград. Мой дом будет открыт для вас. Каждый пандур, у кого будет что сказать своему королю, сказать необходимого, ценного для блага и процветания отчизны, — придет, скажет и будет выслушан. Нам не надо посредников, для которых вы — пушечное мясо и которые кощунственно клянутся и лгут вашим именем...

Перейдя к внешней политике, Адриан простым, понятным языком обрисовал будущие международные отношения.

— Пандурия не потерпит никаких давлений извне. Ей не надо никаких великодержавных опекунов и советчиков. Пандурия завоевала себе право идти своим путем. Международным банкирам, правящим Европой, не удастся навязать Пандурии свою волю!..

При этих словах гордо выпрямился Адриан, и чем-то смелым и гневным заблестели его глаза. Стоявший в своей бело-зеленой чалме, вместе с группой мусульманского и христианского духовенства, имам, восхищенный, шепнул соседу — мулле:

— Разве не прав я был, назвав его Сыном Солнца?!

43. ПО-КОРОЛЕВСКИ...

Некоторые иностранные корреспонденты, успевшие всеми правдами и неправдами, и по воздуху, и по морю, и по суше достигнуть Бокаты, успевшие передать в своих телеграммах содержание тронной речи, втайне сочувствуя перевороту, но не смея в этом сознаться, называли Адриана в своих корреспонденциях «крестьянским королем». Этим они хотели выгодно оттенить его перед демократией всего мира. Но это было вовсе не так на самом деле. «Крестьянский король» — это уже была бы недостойная монарха партийность. Адриан же был выше партий. Он был королем всего народа, беспристрастный к тому или иному классу, и вовсе и не думал уничто-

жать сословия, привилегии, титулы.

Он говорил:

— Соревнование только тогда и возможно, когда не все острижены под одну гребенку, — это было бы скучно и отзывало бы социалистической казармой, — а когда лучшие, способнейшие, достойнейшие пробивают себе дорогу к дворянству, к титулам, к почетным званиям.

Это свое мнение король иллюстрировал через день после тронной речи награждением всех тех, кто больше других отличился в деле освобождения и спасения родины.

Было собрано около пятидесяти человек. Кроме Зиты Рангя, было еще несколько пандурских женщин. Были офицеры, солдаты и крестьяне, начиная от подростков и кончая седобородыми стариками в шрамах и с медалями за прежние войны.

У всех, ожидавших выхода короля, был праздничный вид, и каждый по-своему волновался.

Перед дворцом густилась многотысячная толпа. В ней — и родственники, и знакомые награждаемых, и много было просто любо-

пытных, но в таком приподнятом настроении, словно всех ожидали королевские милости, Это была гордость, гордость самая платоническая, гордость за других, посторонних, ибо эти другие были свои же, пандуры.

В белом зале, где награждаемые выстроились подковой, из внутренних апартаментов появился молодой адъютант ротмистр Рокаро. Бережно поставив на круглый малахитовый стол небольшой ларец и положив несколько твердых пергаментных свитков, он громко объявил:

— Сейчас пожалует Его Величество!

Все подтянулись, кое-кто откашлялся в последний раз, как бы желая побороть смущение, и все замерло.

И потому, что все трепетно ловили момент, когда выйдет король, именно поэтому он вышел неожиданно и как бы всех застав врасплох.

Он ответил на общий глубокий поклон. Остановился в центре человеческой подковы. Адъютант протянул ему один из пергаментных свитков. Не разворачивая его, Адриан громко вызвал:

— Баронесса Рангья!

Зита, выйдя вперед на несколько шагов и сделав реверанс, ждала трепещущая, с дрогнувшей линией губ и с теми кротко-умоляющими глазами, которыми она всегда смотрела на свое божество.

— Баронесса Рангья, за ваши услуги, услуги исключительно важные и бесценные в святом деле спасения родины, жалуем вас титулом герцогини Трагона. В случае вашего вступления в брак титул сохраняется за вами. Таковы традиции владетельного дома Трагона, угасшего полтора века назад и передавшего нам право награждать этим титулом достойнейших. Соблаговолите, Ваша Светлость, получить высочайший указ.

Зита подошла к Адриану, то бледная, то пунцовая вся, — так отливала и приливала к нежному личику горячая краска. Бережно принимая высочайший указ, Зита, следуя этикету, коснулась губами руки короля. Счастье душило ее, она не могла произнести ни одного слова благодарности. Шевелились губы, но не было звука...

Герцогиня Трагона заняла свое прежнее

место. Адриан держал второй пергаментный свиток.

— Шеф тайного кабинета Артур Бузни, поздравляю вас маркизом и кавалером ордена Ираклия первой степени.

Адъютант поднес королю ларец. Король вынул оттуда большой белый эмалевый крест с золотым сиянием, с тяжелой массивной цепью, надел ее на шею Бузни и, пожав руку, поцеловал его. Маркиз Бузни, склонившись к руке монарха, вновь стал в полукруг.

Джунга был произведен в генерал-майоры с зачислением в свиту.

— Лейтенант Эмилио Друдри! Приношу вам глубокую благодарность от себя и от имени всего народа. Отныне вы капитан первого ранга, потомственный граф и наш флигель-адъютант...

— Ваше Величество!..

— Это еще не все. Вы так много сделали для Пандурии, что, как бы я ни вознаградил вас, все будет мало, недостаточно. Чего бы вы хотели еще?

— Ваше Величество, я так безмерно осыпан вашей милостью, — задушевно молвил

Друды, — но раз мне позволено моим королем высказать еще какое-нибудь желание, я его высказываю. Ваше Величество изволит помнить роковое утро, когда Господь Бог не допустил гибели «Лаураны» и все мы сошли на чужой берег в Феррате. Дабы толпе не бросалась в глаза блестящая форма Вашего Величества, вы накинули на себя мой черный морской плащ. Пусть же этот момент будет историческим для всей Пандурии, для пандурской армии и флота. Я желаю, чтобы отныне, в память этого момента, командиры военных пандурских кораблей и судов не носили черного плаща, который они в моем лице отдали раз навсегда своему державному вождю. Ваше Величество, это мое единственное желание, и я буду счастлив, если вы увековечите приказом по армии и флоту...

— Капитан граф Друды, вам пришла столь же благородная, сколь и красивая мысль, красивая, ибо в традициях всегда есть какая-то подкупающая красота. Благодарю вас от всего сердца.

Крепким пожатием Адриан отпустил Друды, поцеловавшего королевскую руку.

— А теперь подойди ко мне, мой верный старый друг Зорро!..

Король обнял седоусого гайдука и украсил его грудь орденом Ираклия второй степени.

— Чего бы ты хотел, Зорро? Ты спас и меня, и семью от неминуемой смерти! Мы твои вечные неоплатные должники. Скажи, чего ты хочешь?

— Ваше Величество... Ваше Величество, — дрогнул хриплый суровый голос старого Зорро, — я... я прошу одного, как великой милости... чтобы мне, верному слуге, и твоему, и отцу, и деда твоего, чтобы можно было умереть у порога твоей опочивальни... А то, говорят... все говорят — это-де стародавние обычаи... а я... я не могу, привык... Да и пускай кто другой охраняет так своего короля, как я!

Адриан улыбнулся своей обаятельной улыбкой, и все кругом улыбнулись.

— Не беспокойся, дорогой мой Зорро! Как было, так и будет впредь. Я же еще жалую тебя и все твое потомство в дворяне и даю тебе в дар одно из моих имений.

Ордена и кресты получило из рук Адриана несколько женщин, проявивших особенную

доблесть во время ночного боя за обладание столицей. Деревня, пославшая в Париж красавицу Дату выкармливать престолонаследника Бальтазара, вся была возведена в дворянское достоинство.

Никого не забыл Адриан и всех наградил поистине по-королевски и с королевской щедростью. Все двенадцать летчиков были повышены двумя чинами, а грудь их украсилась крупными воинскими отличиями.

44. ГЛАВА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ, ПРОЩАЛЬНАЯ

Ну вот, наше повествование о прекрасном и светлом короле Адриане, восстановившем трон славных предков своих и вырвавшем народ свой из липких смертоносных щупальцев красного спрута, — подходит к концу.

Чуть ли не ежедневно осаждали королевский дворец крестьянские делегации из ближних и дальних округов.

— Где наш престолонаследник? Пандуры хотят видеть своего маленького Бальтазара, будущего короля своего!

И вот он прибыл, этот десятимесячный

пухленький, краснощекий, здоровый престолонаследник вместе с Лилиан, теткой своей. И потянулись новые депутации, но уже с подарками. Несли пандуры маленькому Бальтазару своему вышитые полотенца, самодельные игрушки, миниатюрные национальные костюмы, — все это любовно, артистически исполненное простыми деревенскими руками пандурских девушек и женщин. Все это аккуратно записывалось, регистрировалось как живая иллюстрация трогательной любви народной к маленькому существу, которым гордились пандуры — и как будущим монархом своим, и как сыном того, кто спас страну от неминуемой гибели.

Подъехавший из Парижа Тунда исполнил свое обещание и написал великолепный большой портрет, изображающий Бальтазара с его красавицей-мамкой. Вслед за этим Тунда с увлечением принялся за батальную картину — Адриан во главе своей кавалерии Божьим гневом преследует бегущих большевиков. В смысле движения и мощно катящейся конской лавины это был шедевр изумительный.

Королева Маргарета не спешила с возвращением. После всего пережитого ей так хотелось одиночества, так хотелось грустить наедине со своими думами... Она уехала в Сан-Ремо. Окна ее виллы выходили на море, и она часами сидела, наблюдая зеленоватые, как малахит, волны и прибой с длительным шуршанием, достигающим прибрежных пальм. Она думала, что ее жизнь, ее личная жизнь кончилась и вместе с увядающей красотой увядает и ее душа, душа женщины. И, в конце концов, женщина угаснет и останется королева. Королева, знавшая мало счастливых мгновений...

Мусманек жил с дочерью и женой в своем отеле возле парка Монсо, отеле, купленном на краденые деньги. Он задавал приемы и весьма огорчился, что об этих приемах ничего не пишут в отделах светской хроники. Вопиющая несправедливость! Ни слова! А о том, что Адриан катался в Булонском лесу, об этом писали, и еще как писали!

Абарбанель тоже купил особняк, и тоже возле парка Монсо, и жил в нем вместе с Менотти. Жили в полном согласии, и только од-

нажды закатила она ему отчаянную сцену. Это когда появилось в печати, что Зита Рангья награждена титулом герцогини Трагона.

— Вот видишь! Вот видишь! — кричала в ярости всплывшая Менотти, топая ножками. — Она герцогиня! Ее светлость! А меня вы с Шухтаном не могли сделать даже маркизой! Благодаря вашей свинячей республике я потеряла титул!..

— Дорогая моя, ты потеряла то, чего никогда не имела, — пытался утешить ее дон Исаак, — а я потерял всю мою недвижимость. Мои дома, имения, леса, копи, мои фабрики и заводы, мои рудники, — все конфисковано! Все! И, как видишь, я не особенно тужу. На наш век хватит!..

— Да, но... ты зато имеешь меня...

— Конечно, это большое счастье, что и говорить, — смеялся Абарбанель.

Но Менотти никак не могла успокоиться.

— А я... все-таки хочу, хочу быть маркизой... Купи мне титул! Купи!!

— Где же я тебе его куплю, это не кольцо и не диадема. Когда была монархическая Австрия, я сделал бы тебя баронессой. А те-

перь... — беспомощно разводил руками дон Исаак.

Портной из Ферраты оказался счастливей танцовщицы Менотти. На третий день переворота он был уже в Бокате и получил звание поставщика Его Величества.

Зита овдовела в ту самую ночь, когда король взял Бокату и белые расстреляли красного министра путей сообщения. Несколько дней спустя такая же участь постигла и Штамбарова. Любитель порнографических фотографий выкинул гениальный трюк, в суматохе спрятавшись под стол, когда ворвался Друдри. В суматохе же Штамбаров покинул дворец, и только через несколько дней, опознанный крестьянами уже у самой семиградской границы, был сначала жестоко избит ими, а затем повешен на дереве, на котором проболтался целые сутки. На Штамбарове нашли много миллионов в иностранной валюте.

Спустя несколько дней после восстановления монархии в столицу Пандурии примчались из Парижа ротмистр Калибанов и полковник Павловский. Первый оставил свое бе-

рейторство в манеже, второй — свою шоколадную фабрику, где он таскал ящики.

Король, посвященный маркизом Бузни в то, как оба русских офицера лихо расправились с убийцами на авеню Анри Мартен, принял Калибанова и Павловского в милостивой аудиенции, зачислив их тем же чином в свою гвардейскую конницу. Вообще доступ русским офицерам в пандурскую армию был открыт весьма широко и всячески поощрялся. При поступлении каждого официально уведомляли:

— Когда пробьет час освобождения вашей собственной родины и вы понадобитесь ей, вы мгновенно получите полную свободу действий... и жалованье за полгода вперед.

Веронику Барабан женщины запороли до смерти, все еще приговаривая, уже над трупом:

— Вот тебе, баба-комиссар! Вот тебе! Вот тебе...

Прочная, нежная любовь поселилась в сердцах Зиты и Адриана.

А все же время от времени, наедине с самим собой, со вздохом сладостной волнуя-

щей тоски, вспоминал король хрупкую, гибкую, как лиана, Мата-Гей. Вспоминал прозрачное утро, когда уходил от нее после первых объятий, уходил заласканный, разнеженный, весь в истоме, а она белым, повисшим в воздухе видением провожала Адриана, уходящего в даль пустынной, спящей улицы.

Ах, эта Мата-Гей... Ах, эта рю Лиссбон... Король их никогда не забудет!..

А Зита? Зита угадывала между собой и Адрианом призрак соперницы. Угадывала и прощала таким же великим чувством, каким была вся великая любовь этой маленькой герцогини. Да и разве могло быть что-нибудь на свете, чего не простила бы она своему Адриану?..

Да, любовь прощает все, даже большее, чем может простить человек на земле...

Примечания

1

Предмет женского туалета (фр.).

[^^^]

2

Чтобы быть красивой, надо страдать (фр.).

[^^^]

Нижнее белье (фр.).

[^^^]

4

Увеселительную прогулку (фр.).

[^^^]

5

Я совершенно выбился из сил (фр.).

[^^^]

Один на один (фр.).

[^^^]

7

Я не буду фишкой для тебя и для твоей республики, черт побери!.. (фр.).

[^^^]

Напротив (фр.).

[^^^]

9

Да здравствует королева, да здравствует король! Да здравствует Пан-дурия! (фр.).

[^^^]